

А. Стругацкий Б. Стругацкий

Аркадий
Стругацкий

Борис
Стругацкий



Улитка на склоне
Второе нашествие марсиан
Отель «У Погибшего Альпиниста»

5



Аркадий Стругацкий Борис Стругацкий

*В этом томе
три фантастические повести.
В руках мастера фантастика может все.
Как бы в доказательство
здесь представлены три совершенно
разных жанра: философская трагедия
в духе Франца Кафки,
философская сатира булгаковской школы
и простодушный приключенческий триллер.
Между ними, по-видимому, нет точек
пересечения; читая одну вещь за другой,
мы вынуждены перестраиваться на ходу:
после сложнейших символических
построений «Улитки» привыкать
к иронически-прямолинейным ходам
«Второго нашествия», а затем —
к детективным шарадам
«Отеля «У Погибшего Альпиниста».
Стругацкие, видимо, не могут работать,
не переходя от жанра к жанру.
Как художники-модельеры, они облачают
в новое платье каждую свою новую идею.
Идея «Улитки на склоне» — пугающая
непостижимость нашего мира, чудовищного
леса, каждый шаг в котором опасен.
Главная мысль «Второго нашествия»:
человеку негоже уподобляться дереву,
пассивно ожидая своей участи.
«Отель «У Погибшего Альпиниста»:
лес жизни меняется слишком быстро,
теперь нельзя полагаться
на устоявшиеся правила —
только на ум и человечность.
Эти три книги открывают новую
в творчестве Стругацких
тему гражданского чувства
и гражданского мужества, тему
насущную — по знаменитому присловью
«не стоит деревня без праведника».*

А р к а д и й
Стругацкий

Б о р и с
Стругацкий

Улитка на склоне

Второе нашествие марсиан

Отель «У Погибшего Альпиниста»

повести

МОСКВА «ТЕКСТ» 1992

84(2)
С87

Издание подготовлено совместно
с редакционно-издательской фирмой «РИФ»

Художник Владимир Любаров

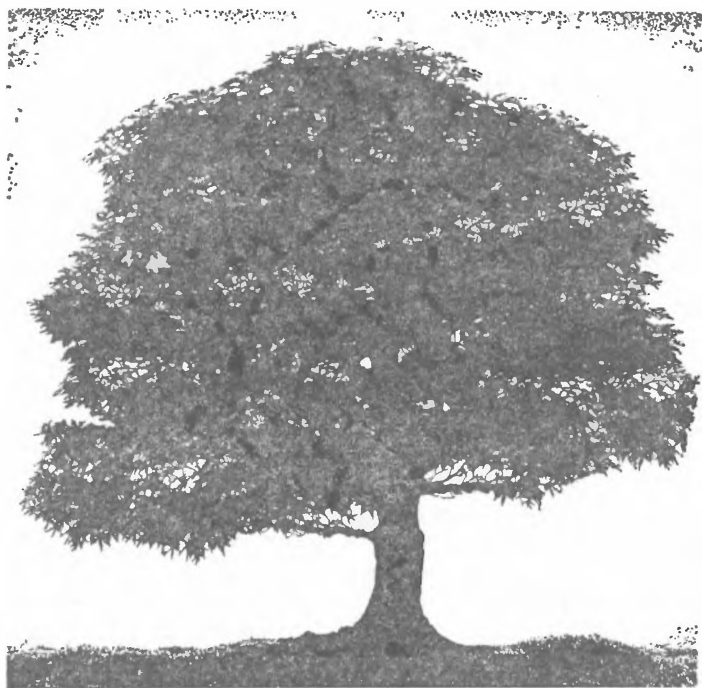
С $\frac{4702010201-020}{92}$ подл.

ISBN 5-85950-019-X

© А. Стругацкий, Б. Стругацкий, 1992
© «Текст» — состав, художественное оформление, 1992

Улитка на склоне

повесть



За поворотом, в глубине
Лесного лога
Готово будущее мне
Верней залога.

Его уже не втянешь в спор
И не заластишь.
Оно распахнуто, как бор,
Все вглубь, все настезь.

Б. Пастернак

Тихо, тихо ползи,
Улитка, по склону Фудзи,
Вверх, до самых высот!

Исса, сын крестьянина

Глава первая

С этой высоты лес был как пышная пятнистая пена; как огромная, на весь мир рыхлая губка; как животное, которое затаилось когда-то в ожидании, а потом заснуло и проросло грубым мохом. Как бесформенная маска, скрывающая лицо, которого никто еще никогда не видел.

Перец сбросил сандалии и сел, свесив босые ноги в пропасть. Ему показалось, что пятки сразу стали влажными, словно он и в самом деле погрузил их в теплый лиловый туман, скопившийся в тени под уте-сом. Он достал из кармана собранные камешки и аккуратно разложил их возле себя, а потом выбрал самый маленький и тихонько бросил его вниз, в живое и молчаливое, в спящее, равнодушное, глотающее навсегда, и белая искра погасла, и ничего не произошло — не шевельнулись никакие ветки и никакие глаза не приоткрылись, чтобы взглянуть на него.

Если бросать по камешку каждые полторы минуты; и если правда то, что рассказывала одноногая повариха по прозвищу Казалунья и предполагала мадам Бардо, начальница группы Помощи местному населению; и если неправда то, о чем шептались шофер Тузик с Неизвестным из группы Инженерного проникновения; и если чего-нибудь стоит человеческая интуиция; и если исполняются хоть раз в жизни ожидания — тогда на седьмом камешке кусты позади с треском раздвинутся и на полянку, на мятую траву, седую от росы, ступит директор, голый по пояс, в серых габардиновых брюках с лиловым кантом, шумно дышащий, лоснящийся, желто-розовый, мохнатый, и, ни на что не глядя, ни на

лес под собой, ни на небо над собой, пойдет сгибаться, погружая широкие ладони в траву, и разгибаться, поднимая ветер размахами широких ладоней, и каждый раз мощная складка на его животе будет накатывать сверху на брюки, а воздух, насыщенный углекислотой и никотином, будет со свистом и клокотанием вырываться из разинутого рта. Как подводная лодка, продувающая цистерны. Как сернистый гейзер на Парамушире...

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, это был знакомый человек. Клавдий-Октавиан Домарощинер из группы Искоренения. Он медленно приблизился и остановился в двух шагах, глядя на Переца сверху вниз пристальными темными глазами. Он что-то знал или подозревал, что-то очень важное, и это знание или подозрение сковывало его длинное лицо, окаменевшее лицо человека, принесшего сюда странную тревожную новость; еще никто в мире не знал этой новости, но уже ясно было, что все решительно изменилось, что все прежнее отныне больше не имеет значения и от каждого, наконец, потребуется все, на что он способен.

— А чьи же это туфли? — спросил он и огляделся.

— Это не туфли, — сказал Перец. — Это сандалии.

— Вот как? — Домарощинер усмехнулся и потянул из кармана большой блокнот. — Сандалии? Оч-чень хорошо. Но чьи это сандалии?

Он придвинулся к обрыву, осторожно заглянул вниз и сейчас же отступил.

— Человек сидит у обрыва, — сказал он, — и рядом с ним сандалии. Неизбежно возникает вопрос: чьи это сандалии и где их владелец?

— Это мои сандалии, — сказал Перец.

— Ваши? — Домарощинер с сомнением посмотрел на большой блокнот. — Значит, вы сидите босиком? Почему?

— Босиком — потому что иначе нельзя, — объяснил Перец. — Я вчера уронил туда правую туфлю и решил, что впредь всегда буду сидеть босиком. — Он нагнулся и посмотрел через раздвинутые колени. — Вон она лежит. Сейчас я в нее камешком...

Домарощинер проворно поймал его за руку и отобрал камешек.

— Действительно, простой камень, — сказал он. — Но это пока ничего не меняет. Непонятно, Перец, почему это вы меня обманываете. Ведь туфлю отсюда увидеть нельзя — даже если она действительно там, а там ли она,

это особый вопрос, которым мы займемся позже; а раз туфлю увидеть нельзя, значит, вы не можете рассчитывать попасть в нее камнем, даже если бы вы обладали соответствующей меткостью и действительно хотели бы этого и только этого: я имею в виду попадание... Но мы все это сейчас выясним. — Он поддернул брюки и присел на корточки.

— Итак, вы вчера тоже были здесь, — сказал он. — Зачем? Почему вы вот уже вторично пришли на обрыв, куда остальные сотрудники Управления, не говоря уже о внештатных специалистах, ходят разве для того, чтобы справить нужду?

Перец сжался. Это просто от невежества, подумал он. Нет, нет, это не вызов и не злоба, этому не надо придавать значения. Это просто невежество. Невежеству не надо придавать значения, никто не придает значения невежеству. Невежество испражняется в лес. Невежество всегда на что-нибудь испражняется.

— Вам, наверное, нравится здесь сидеть, — вкрадчиво продолжал Домарошнер. — Вы, наверное, очень любите лес. Вы его любите? Отвечайте!

— А вы? — спросил Перец.

Домарошнер шмыгнул носом.

— А вы не забываетесь, — сказал он обиженно и раскрыл блокнот. — Вы прекрасно знаете, где я состою, а я состою в группе Искоренения, и поэтому ваш вопрос, а вернее, контрвопрос абсолютно лишен смысла. Вы прекрасно понимаете, что мое отношение к лесу определяется моим служебным долгом, а вот чем определяется ваше отношение к лесу — мне не ясно. Это нехорошо, Перец, вы обязательно подумайте об этом, советую вам для вашей же пользы, не для своей. Нельзя быть таким непонятным. Сидит над обрывом, босиком, бросает камни... Зачем, спрашивается? На вашем месте я бы прямо рассказал мне все. И все расставил бы на свои места. Откуда вы знаете, может быть, есть смягчающие обстоятельства и вам в конечном счете ничто не грозит. А, Перец? Вы же взрослый человек и должны понимать, что двусмысленность неприемлема. — Он закрыл блокнот и подумал. — Вот, например, камень. Пока он лежит неподвижно, он прост, он не внушает сомнений. Но вот его берет чья-то рука и бросает. Чувствуете?

— Нет, — сказал Перец. — То есть, конечно, да.

— Вот видите. Простота сразу исчезает, и ее больше нет. Чья рука? — спрашиваем мы. Куда бросает? Или, может быть, кому? Или, может быть, в кого? А зачем?.. И

как это вы можете сидеть на краю обрыва? От природы это у вас, или вдруг вы специально тренировались? Я, например, на краю обрыва сидеть не могу. И мне страшно подумать, ради чего бы это я стал тренироваться. У меня голова кружится. И это естественно. Человеку вообще незачем сидеть на краю обрыва. Особенно если он не имеет пропуска в лес. Покажите мне, пожалуйста, ваш пропуск, Перец.

— У меня нет пропуска.

— Так. Нет. А почему?

— Не знаю... не дают вот.

— Правильно, не дают. Нам это известно. А вот почему не дают? Мне дали, ему дали, им дали и еще многим, а вам почему-то не дают.

Перец осторожно покосился на него. Длинный тощий нос Домарошнера шмыгал, глаза часто мигали.

— Наверное, потому, что я посторонний, — предположил Перец. — Наверное, поэтому.

— И ведь не только я вами интересуюсь, — продолжал Домарошнер доверительно. — Если бы только я! Вами интересуются люди и поважнее... Слушайте, Перец, может быть, вы отсыдете от обрыва, чтобы мы могли продолжать? У меня голова кружится смотреть на вас.

Перец поднялся.

— Это потому, что вы нервный, — сказал он. — Не будем мы продолжать. В столовую пора, опоздаем.

Домарошнер посмотрел на часы.

— Действительно, пора, — сказал он. — Что-то я увлекся сегодня. Всегда вы меня, Перец, как-то... Не знаю даже, что сказать...

Перец запрыгал на одной ноге, натягивая сандалию.

— Ох, да отойдите же вы от края! — страдальчески закричал Домарошнер, махая на Переца блокнотом. — Вы меня убьете когда-нибудь своими выходками!

— Уже все, — сказал Перец, притопывая. — Больше не буду. Пошли?

— Пошли, — сказал Домарошнер. — Но я констатирую, что вы не ответили ни на один мой вопрос. Вы меня очень огорчаете, Перец. Разве так можно? — Он посмотрел на большой блокнот и, пожав плечами, сунул его под мышку. — Странно даже. Решительно никаких впечатлений, я уже не говорю об информации. Сплошная неясность.

— Так а что отвечать? — сказал Перец. — Просто мне нужно было здесь поговорить с директором.

Домарошнер замер, словно застряв в кустах.

— Ах, вот как это у вас делается, — сказал он изменившимся голосом.

— Что делается? Ничего не делается...

— Нет-нет, — шепотом сказал Домарошнинер, озираясь. — Молчите и молчите. Не надо никаких слов. Я уже понял. Вы были правы.

— Что вы поняли? В чем это я прав?

— Нет-нет, я ничего не понял. Не понял — и все. Вы можете быть совершенно спокойны. Не понял и не понял. И вообще я здесь не был и вас не видел. Я, если хотите знать, все утро просидел на этой скамеечке. Очень многие могут подтвердить. Я поговорю, я попрошу...

Они миновали скамеечку, поднялись по выщербленным ступеням, свернули на аллею, посыпанную мелким красным песком, и вступили на территорию Управления.

— Полная ясность может существовать лишь на определенном уровне, — говорил Домарошнинер. — И каждый должен знать, на что он может претендовать. Я претендовал на ясность на своем уровне, это мое право, и я исчерпал его. А там, где кончаются права, там начинаются обязанности, и смею вас уверить, что свои обязанности я знаю так же хорошо, как и права...

Они прошли мимо десятиквартирных коттеджей с тюлевыми занавесками на окнах, миновали гараж, крытый гофрированным железом, пересекли спортивную площадку, где на столбах висела дырявая волейбольная сетка, и пошли мимо складов, возле которых такелажники стаскивали с грузовика громадный красный контейнер, мимо гостиницы, в дверях которой стоял с портфелем болезненно-бледный комендант с неподвижными выпученными глазами, вдоль длинного забора, за которым скрежетали двигатели. Они шли всё быстрее, потому что времени оставалось мало, и Домарошнинер уже больше ничего не говорил, а только задыхался и шипел, потом они побежали, и все-таки, когда они ворвались в столовую, было уже поздно и все места были заняты, только за дежурным столиком в дальнем углу оставалось еще два места, а третье занимал шофер Тузик, и шофер Тузик, заметив, что они в нерешительности топчутся у порога, помахал им вилкой, приглашая к себе.

Все пили кефир, и Перец тоже взял себе кефиру, так что у них на столе на заскорузлой скатерти выстроились шесть бутылок, а когда Перец задвигал под столом ногами, устраиваясь поудобнее на стуле без сиденья, звякнуло стекло, и в проход между столиками выкатилась бутылка

из-под бренди. Шофер Тузик ловко подхватил ее и засунул обратно под стол, и там снова звякнуло стекло.

— Вы поосторожнее ногами, — сказал он.

— Я нечаянно, — сказал Перец. — Я же не знал.

— А я знал? — возразил шофер Тузик. — Их там четыре штуки, доказывай потом, что ты не домкрат.

— Ну я, например, вообще не пью, — с достоинством сказал Домарошционер. — Так что ко мне это вообще не относится.

— Знаем мы, как вы не пьете, — сказал Тузик. — Так-то и мы не пьем.

— Но у меня печень больна! — забеспокоился Домарошционер. — Как вы можете? Вот справка, прошу...

Он выхватил откуда-то и сунул под нос Перцу мятый тетрадный листок с треугольной печатью. Это действительно была справка, написанная неразборчивым медицинским почерком. Перец различил только одно слово: «антабус», а когда, заинтересовавшись, попытался взять бумагу, Домарошционер не дал и подсунул ее под нос шоферу Тузику.

— Это только последняя, — сказал он. — А есть еще за прошлый год и за позапрошлый, только они в сейфе.

Шофер Тузик справку смотреть не стал. Он выпедил полный стакан кефиру, понюхал сустав указательного пальца и, прослезившись, сказал севшим голосом:

— Вот, например, что еще бывает в лесу? Деревья. — Он вытер рукавом глаза. — Но на месте они не стоят: прыгают. Понял?

— Ну? — жадно спросил Перец. — Как так — прыгают?

— А вот так. Стоит оно неподвижно. Дерево, одним словом. Потом начинает корчиться, корячиться и ка-ак даст! Шум, треск, не разбери-поймешь. Метров на десять. Кабину мне помяло. И опять стоит.

— Почему? — спросил Перец.

Он очень ясно представил это себе. Но оно, конечно же, не корчилось и не корячилось, оно начинало дрожать, когда к нему приближались, и старалось уйти. Может быть, ему было противно. Может быть, страшно.

— Почему оно прыгает? — спросил он.

— Потому что называется: прыгающее дерево, — объяснил Тузик, наливая себе кефиру.

— Вчера прибыла партия новых электропил, — сообщил Домарошционер, облизывая губы. — Феноменальная производительность. Я бы даже сказал, что это не пилы, это пилящие комбайны. Наши пилящие комбайны искоренения.

А вокруг все пили кефир — из граненых стаканов, из жестяных кружек, из кофейных чашечек, из свернутых бумажных кульков, прямо из бутылок. Ноги у всех были засунуты под стулья. И все, наверное, могли предъявить справки о болезнях печени, желудка, двенадцатиперстной кишки. И за этот год, и за прошлые годы.

— А потом меня вызывает менеджер, — продолжал Тузик в повышенном тоне, — и спрашивает, почему у меня кабина помята. Опять, говорит, стервец, налево ездил? Вы вот, пан Перец, играете с ним в шахматы, замолвили бы за меня словечко, он вас уважает, часто о вас говорит... Перец, говорит, это, говорит, фигура! Я, говорит, для Переца машины не дам, и не просите. Нельзя такого человека отпускать. Поймите же, говорит, дураки, нам же без него тошно будет! Замолвите, а?

— Хорошо, — упавшим голосом произнес Перец. — Я попробую. Только как же это он... машину?

— С менеджером могу поговорить я, — сказал Домарощинер. — Мы вместе служили, я был капитаном, а он был у меня лейтенантом. Он до сих пор приветствует меня прикладыванием руки к головному убору.

— Потом еще есть русалки, — сказал Тузик, держа на весу стакан с кефиром. — В больших чистых озерах. Они там лежат, понял? Голые.

— Это вам, Туз, померещилось от вашего кефира, — сказал Домарощинер.

— А я их сам и не видел, — возразил Тузик, поднося стакан к губам. — Но воду из этих озер пить нельзя.

— Вы их не видели, потому что их нет, — сказал Домарощинер. — Русалки — это мистика.

— Сам ты мистика, — сказал Тузик, вытирая глаза рукавом.

— Подождите, — сказал Перец. — Подождите. Тузик, вы говорите, они лежат... А еще что? Не может быть, чтобы они просто лежали, и все.

...Возможно, они живут под водой и выплывают на поверхность, как мы выходим на балкон из прокуренных комнат в лунную ночь и, закрыв глаза, подставляем лицо прохладе, и тогда они могут просто лежать. Просто лежать — и все. Отдыхать. И лениво переговариваться и улыбаться друг другу...

— Ты со мной не спорь, — сказал Тузик, рассматривая Домарощинера в упор. — Ты в лесу-то когда-нибудь был? Не был ведь в лесу-то ни разу, а туда же.

— И глупо, — сказал Домарощинер. — Что мне в вашем лесу делать? У меня пропуск есть в ваш лес. А вот

у вас, Туз, никакого пропуска нет. Покажите-ка мне, пожалуйста, ваш пропуск, Туз.

— Я сам этих русалок не видел, — повторил Тузик, обращаясь к Перецу. — Но я в них вполне верю. Потому что ребята рассказывают. И даже Кандид вот рассказывал. А уж Кандид про лес знал все. Он в этот лес как к своей бабе ходил, все там знал на ощупь. Он и погиб там, в этом своем лесу.

— Если бы погиб, — сказал Домарошционер значительно.

— Чего там «если бы». Улетел человек на вертолете, и три года о нем ни слуху ни духу. В газете траурное извещение было, поминки были, чего тебе еще? Разбился Кандид, конечно.

— Мы слишком мало знаем, — сказал Домарошционер, — чтобы утверждать что-либо со всей категоричностью.

Тузик плюнул и пошел к стойке взять еще бутылку кефиру. Тогда Домарошционер нагнулся к уху Переца и, бегая глазами, прошептал:

— Имейте в виду, что относительно Кандида было закрытое распоряжение... я считаю себя вправе информировать вас, потому что вы — человек посторонний...

— Какое распоряжение?

— Считать его живым, — гулко прошептал Домарошционер и отодвинулся. — Хороший, свежий кефир сегодня, — произнес он громко.

В столовой поднялся шум. Те, кто уже позавтракал, вставали, двигая стульями, и шли к выходу, громко разговаривая, закуривали и бросали спички на пол. Домарошционер злобно озирался и всем, кто проходил мимо, говорил: «Как-то странно, господа, вы же видите, мы беседуем...»

Когда Тузик вернулся с бутылкой, Перец сказал ему:

— Неужели менеджер серьезно говорил, что не даст мне машину? Наверное, он просто шутил?

— Почему шутил? Он же вас, пан Перец, очень любит, ему без вас тошно, и отпускать вас отсюда ему просто-таки невыгодно... Ну, отпустит он вас, ну и что ему от этого? Какие уж тут шутки.

Перец закусил губу.

— Как же мне уехать? Мне здесь делать больше нечего. И виза кончается. И потом я просто хочу уже уехать.

— Вообще, — сказал Тузик, — если вы получите три строгача, вас отсюда выпрут в два счета. Специальный автобус дадут, шофера среди ночи поднимут, вещичек

собрать не успеете... Ребята у нас как делают? Первый строгач — и понижают его в должности. Второй строгач — отсылают в лес, грехи замаливать. А третий строгач — с приветом, до свидания. Если, скажем, я захочу уволиться, выпью я полбанки и дам вот этому по морде, — он показал на Домарощинера. — Сразу мне снимают наградные и переводят меня на дерьмовоз. Тогда я что? Выпиваю еще полбанки и даю ему по морде второй раз, понял? Тут меня снимают с дерьмовоза и отсылают на биостанцию ловить всяких там микробов. Но я на биостанцию не еду, а выпиваю еще полбанки и даю ему по морде в третий раз. Вот тогда уже все. Уволен за хулиганские действия и выслан в двадцать четыре часа.

Домарощинер погрозил Тузику пальцем.

— Дезинформируете, дезинформируете, Туз. В-первых, между действиями должно пройти не менее месяца, иначе все проступки будут рассматриваться как один и нарушителя просто поместят в карцер, не давая никакого хода его делу внутри самого Управления. Во-вторых, после второго проступка виновного отправляют в лес немедленно в сопровождении охранника, так что он будет лишен возможности произвести третий проступок по своему усмотрению. Вы его не слушайте, Перец, он в этих проблемах не разбирается.

Тузик отхлебнул кефиру, сморщился и крикнул.

— Это верно, — признался он. — Тут я, пожалуй, действительно... того. Вы уж извините, пан Перец.

— Да нет, что уж... — грустно сказал Перец. — Все равно я не могу ни с того ни с сего бить человека по физиономии.

— Так ведь не обязательно же по этой... по морде, — сказал Тузик. — Можно, например, и по этой... по заднице. Или просто костюм на нем порвать.

— Нет, я так не умею, — сказал Перец.

— Тогда плохо, — сказал Тузик. — Тогда вам беда, пан Перец. Тогда мы вот как сделаем. Вы завтра утром часикам к семи приходите в гараж, садитесь в мою машину и ждите. Я вас отвезу.

— Правда? — обрадовался Перец.

— Ну. Мне завтра на Материк ехать, железный лом везти. Вместе и поедем.

В углу кто-то вдруг страшно закричал: «Ты что наделал? Ты суп мой пролил!»

— Человек должен быть простым и ясным, — сказал Домарощинер. — Не понимаю я, Перец, почему это вы

хотите отсюда уехать. Никто не хочет уехать, а вы вот хотите.

— У меня всегда так, — сказал Перец. — Я всегда делаю наоборот. И потом почему это обязательно человек должен быть простым и ясным?

— Человек должен быть непьющим, — заявил Тузик, нюхая сустав указательного пальца. — Скажешь, нет?

— Я не пью, — сказал Домарошцинер. — И я не пью по очень простой и каждому ясной причине: у меня больна печень. Так что вы меня, Туз, не поймаете.

— Что меня в лесу удивляет, — сказал Тузик, — так это болота. Они горячие, понял? Я этого не выношу. Никак я привыкнуть не могу. Врюхаешься где-нибудь, снесет с гати, и вот сижу я в кабине и вылезти не могу. Как щи горячие. Пар идет, и пахнет щами, я даже хлебать пробовал, только невкусно, соли там не хватает, что ли... Не-ет, лес — это не для человека. И чего они там не видели? И гонят, и гонят технику, как в прорубь, она там тонет, а они еще выписывают, она тонет, а они еще...

...Зеленое пахучее изобилие. Изобилие красок, изобилие запахов. Изобилие жизни. И все чужое. Чем-то знакомое, кое в чем похожее, но по-настоящему чужое. Наверное, труднее всего примириться с тем, что оно и чужое и знакомое одновременно. С тем, что оно производное от нашего мира, плоть от плоти нашей, но порвавшее с нами и не желающее нас знать. Наверное, так мог бы думать питекантроп о нас, о своих потомках, — с горечью и со страхом...

— Когда выйдет приказ, — провозгласил Домарошцинер, — мы двинем туда не ваши паршивые бульдозеры и вездеходы, а кое-что настоящее, и за два месяца превратим там все в... э-э... в бетонированную площадку, сухую и ровную.

— Ты превратишь, — сказал Тузик. — Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности.

Густо загудел гудок. В окнах задребезжали стекла, и сейчас же над дверью грянул мощный звонок, замигали огни на стенах, и над стойкой вспыхнула крупная надпись: «Вставай, выходи!» Домарошцинер торопливо поднялся, перевел стрелку на ручных часах и, не говоря ни слова, бросился бежать.

— Ну, я пойду, — сказал Перец. — Работать пора.

— Пора, — согласился Тузик. — Самое время.

Он скинул стеганку, аккуратно скатал ее и, сдвинув стулья, улегся, подложив стеганку под голову.

— Значит, завтра в семь? — сказал Перец.
— Что? — спросил Тузик сонным голосом.
— Завтра в семь я приду.
— Куда это? — спросил Тузик, ворочаясь на стульях. — Разъезжаются, подлые, — пробормотал он. — Сколько раз я им говорил: поставьте диван...
— В гараж, — сказал Перец. — К вашей машине.
— А-а... Ну приходите, приходите, там посмотрим. Трудное это дело.

Он поджал ноги, сунул ладони под мышки и засопел. Руки у него были волосатые, а под волосами виднелась татуировка. Там было написано: «Что нас губит» и «Только вперед». Перец пошел к выходу.

Он переправился по дощечке через огромную лужу на заднем дворе, обогнул курган пустых консервных банок, пролез сквозь щель в дощатом заборе и через служебный подъезд вошел в здание Управления. В коридорах было холодно и темно, пахло табачным перегаром, пылью, лежалыми бумагами. Никого нигде не было, из-за обитых дерматином дверей ничего не было слышно. По узкой лестничке без перил, придерживаясь за обшарпанную стенку, Перец поднялся на второй этаж и подошел к двери, над которой вспыхивала и гасла надпись: «Помой руки перед работой». На двери красовалась большая черная буква «М». Перец толкнул дверь и испытал некоторое потрясение, обнаружив, что попал в свой кабинет. То есть, конечно, это был не его кабинет, это был кабинет Кима, начальника группы Научной охраны, но в этом кабинете Перцу поставили стол, и теперь этот стол стоял сбоку от двери у кафельной стены, и полстола занимал, как всегда, зачехленный «мерседес», а у большого отмытого окна стоял стол Кима, а сам Ким уже работал: сидел, согнувшись, и смотрел на логарифмическую линейку.

— Я хотел руки помыть... — сказал Перец растерянно.

— Помой, помой, — сказал Ким, мотнув головой. — Вот тебе умывальник. Теперь будет очень удобно. Теперь все к нам ходить будут.

Перец подошел к умывальнику и стал мыть руки. Он мыл руки холодной и горячей водой, двумя сортами мыла и специальной жиропоглощающей пастой, тер их мочалкой и несколькими щеточками различной степени жесткости. Затем он включил электросушилку и некоторое время держал розовые влажные руки в завывающем потоке теплого воздуха.

— В четыре утра всем объявили, что нас переведут на второй этаж, — сказал Ким. — А ты где был? У Алевтины?

— Нет, я был на обрыве, — сказал Перец, усаживаясь за свой стол.

Дверь распахнулась, в помещение стремительно вошел Проконсул, помахал приветственно портфелем и скрылся за кулисой. Было слышно, как скрипнула дверца кабинки и щелкнула задвижка. Перец снял чехол с «мерседеса», посидел неподвижно, а потом подошел к окну и распахнул его.

Лес отсюда не был виден, но лес был. Он был всегда, хотя увидеть его можно было только с обрыва. В любом другом месте Управления его всегда что-нибудь заслоняло. Его заслоняли кремовые здания механических мастерских и четырехэтажный гараж для личных автомобилей сотрудников. Его заслоняли скотные дворы подсобного хозяйства и белье, развешанное возле прачечной, где постоянно была сломана сушильная центрифуга. Его заслонял парк с клумбами и павильонами, с чертовым колесом и гипсовыми купальщицами, покрытыми карандашными надписями. Его заслоняли коттеджи с верандами, увитыми плющом, и с крестами телевизионных антенн. А отсюда, из окна второго этажа, лес не был виден из-за высокой кирпичной ограды, пока еще не достроенной, но уже очень высокой, которая возводилась вокруг плоского одноэтажного здания группы Инженерного проникновения. Лес можно было видеть только с обрыва, но и испражняться на лес можно было только с обрыва.

Но даже человек, который никогда в жизни не видел леса, ничего не слышал о лесе, не думал о нем, не боялся леса и не мечтал о лесе, даже такой человек мог легко догадаться о существовании его уже просто потому, что существовало Управление. Вот я очень давно думал о лесе, спорил о лесе, видел его в моих снах, но я даже не подозревал, что он существует в действительности. И я уверился в его существовании не тогда, когда впервые вышел на обрыв, а когда прочел надпись возле подъезда: «Управление по делам леса». Я стоял перед этой вывеской, с чемоданом в руке, пыльный и высохший после длинной дороги, читал и перечитывал ее и чувствовал слабость в коленях, потому что знал теперь, что лес существует, а значит, все, что я думал о нем до сих пор, — игра слабого воображения, бледная немощная ложь. Лес есть, и это огромное мрачноватое здание занимается его судьбой...

— Ким, — сказал Перец, — неужели я так и не попаду в лес? Ведь я завтра уезжаю.

— А ты действительно хочешь туда попасть? — спросил Ким рассеянно.

...Зеленые горячие болота, нервные пугливые деревья, русалки, отдыхающие на воде под луной от своей таинственной деятельности в глубинах, осторожные непонятные аборигены, пустые деревни...

— Не знаю, — сказал Перец.

— Тебе туда нельзя, Перчик, — сказал Ким. — Туда можно только людям, которые никогда о лесе не думали. Которым на лес всегда было наплевать. А ты слишком близко принимаешь его к сердцу. Лес для тебя опасен, потому что он тебя обманет.

— Наверное, — сказал Перец. — Но ведь я приехал сюда только для того, чтобы повидать его.

— Зачем тебе горькие истины? — сказал Ким. — Что ты с ними будешь делать? И что ты будешь делать в лесу? Плакать о мечте, которая превратилась в судьбу? Молиться, чтобы все было не так? Или, чего доброго, возьмешься переделывать то, что есть, в то, что должно быть?

— А зачем же я сюда приезжал?

— Чтобы убедиться. Неужели ты не понимаешь, как все это важно: убедиться. Другие приезжают для другого. Чтобы обнаружить в лесу кубометры дров. Или найти бактерию жизни. Или написать диссертацию. Или получить пропуск, но не для того, чтобы ходить в лес, а просто на всякий случай: когда-нибудь пригодится, да и не у всех есть. А предел поползновений — извлечь из леса роскошный парк, как скульптор извлекает статую из глыбы мрамора. Чтобы потом этот парк стричь. Из года в год. Не давать ему снова стать лесом.

— Уехать бы мне отсюда, — сказал Перец. — Нечего мне здесь делать. Кому-то надо уехать, либо мне, либо вам всем.

— Давай умножать, — сказал Ким, и Перец сел за свой стол, нашел наспех сделанную розетку и включил «мерседес».

— Семьсот девяносто три пятьсот двадцать два на двести шестьдесят шесть ноль одиннадцать...

«Мерседес» застучал и задергался. Перец подождал, пока он успокоится, и, запинаясь, прочитал ответ.

— Так. Погаси, — сказал Ким. — Теперь шестьсот девяносто восемь триста двенадцать подели мне на десять пятнадцать...

Ким диктовал цифры, а Перец набирал их, нажимал

на клавиши умножения и деления, складывал, вычитал, извлекал корни, и все шло как обычно.

— Двенадцать на десять, — сказал Ким. — Умножить.

— Один ноль ноль семь, — механически продиктовал Перец, а потом спохватился и сказал: — Слушай, он ведь врет. Должно быть сто двадцать.

— Знаю, знаю, — нетерпеливо сказал Ким. — Один ноль ноль семь, — повторил он. — А теперь извлеки мне корень из десять ноль семь...

— Сейчас, — сказал Перец.

Снова щелкнула задвижка за кулисой, и появился Проконсул, розовый, свежий и удовлетворенный. Он стал мыть руки, напевая при этом приятным голосом «Аве Мария». Потом он провозгласил:

— Какое это все-таки чудо — лес, господа мои! И как преступно мало мы говорим и пишем о нем! А между тем он достоин того, чтобы о нем писать. Он облагораживает, он будит высшие чувства. Он способствует прогрессу. Он сам подобен символу прогресса. А мы никак не можем пресечь распространения неквалифицированных слухов, побасенок, анекдотов. Пропаганда леса, по существу, не ведется. О лесе говорят и думают черт те что...

— Семьсот восемьдесят пять умножь на четыреста тридцать два, — сказал Ким.

Проконсул повысил голос. Голос у него был сильный и хорошо поставленный — «мерседеса» не стало слышно.

— «Живем как в лесу»... «Лесные люди»... «Из-за деревьев не видно леса»... «Кто в лес, кто по дрова»... Вот с чем мы должны бороться! Вот что мы должны искоренять. Скажем, вы, мосье Перец, почему вы не боретесь? Ведь вы могли бы сделать в клубе обстоятельный целенаправленный доклад о лесе, а вы его не делаете. Я давно за вами наблюдаю и все жду, и все напрасно. В чем дело?

— Так я ведь там никогда не был, — сказал Перец.

— Неважно. Я там тоже никогда не был, но я прочел лекцию, и, судя по отзывам, это была очень полезная лекция. Дело ведь не в том, был ты в лесу или не был, дело в том, чтобы содрать с фактов шелуху мистики и суеверий, обнажить субстанцию, сорвав с нее одеяние, напяленное обывателями и утилитаристами...

— Дважды восемь поделить на сорок девять минус семью семь, — сказал Ким.

«Мерседес» заработал. Проконсул снова повысил голос.

— Я делал это как философ по образованию, а вы

могли бы сделать это как лингвист по образованию. Я вам дам тезисы, а вы их разовьете в свете последних достижений лингвистики... или какая там у вас тема диссертации?

— У меня — «Особенности стиля и ритмики женской прозы позднего Хэйана» на материале «Макура-но соси», — сказал Перец. — Боюсь, что...

— Превосходно! Это именно то, что нужно. И подчеркните, что не болота и трясины, а великолепные грязелечебницы; не прыгающие деревья, а продукт высокоразвитой науки; не туземцы, не дикари, а древняя цивилизация людей гордых, свободных, с высокими помыслами, скромных и могущественных. И никаких русалок! Никакого лилового тумана, никаких туманных намеков — простите меня за неудачный каламбур... Это будет превосходно, мингерц Перец, это будет замечательно. И это очень хорошо, что вы знаете лес, что вы можете поделиться своими личными впечатлениями. Моя лекция была тоже хороша, однако, боюсь, несколько умозрительна. В качестве основного материала я использовал протоколы заседаний. А вы, как исследователь леса...

— Я не исследователь леса, — сказал Перец убедительно. — Меня в лес не пускают. Я не знаю леса.

Проконсул, рассеянно кивая, что-то быстро писал на манжете.

— Да, — говорил он. — Да, да. К сожалению, это горькая правда. К сожалению, это у нас еще встречается — формализм, бюрократизм, эвристический подход к личности... Об этом вы, между прочим, тоже можете сказать. Можете, можете, об этом все говорят. А я попытаюсь согласовать ваше выступление с дирекцией. Я чертовски рад, Перец, что вы наконец примете участие в нашей работе. Я уже давно и очень внимательно приглядываюсь к вам... Вот так, я вас записал на следующую неделю.

Перец выключил «мерседес».

— Меня не будет на следующей неделе. У меня кончилась виза, и я уезжаю. Завтра.

— Ну, это мы как-нибудь уладим. Я пойду к директору, он сам член клуба, он поймет. Считайте, что вы остались еще на неделю.

— Не надо, — сказал Перец. — Не надо!

— Надо! — сказал Проконсул, глядя ему в глаза. — Вы отлично знаете, Перец, надо! До свидания.

Он поднес два пальца к виску и удалился, помахивая портфелем.

— Паутина какая-то, — сказал Перец. — Что я им — муха? Менеджер не хочет, чтобы я уезжал, Алевтина не хочет, а теперь и этот тоже...

— Я тоже не хочу, чтобы ты уезжал, — сказал Ким.

— Но я не могу здесь больше!

— Семьсот восемьдесят семь умножь на четыреста тридцать два...

«Все равно я уеду, — подумал Перец, нажимая на клавиши. — Все равно я уеду. Вы не хотите себе, а я уеду. Не буду я играть с вами в пинг-понг, не буду играть в шахматы, не буду я с вами спать и пить чай с вареньем, не хочу я больше петь вам песен, считать вам на «мерседесе», разбирать ваши споры, а теперь еще читать вам лекции, которых вы все равно не поймете. И думать за вас я не буду, думайте сами, а я уеду. Уеду. Уеду. Все равно вы никогда не поймете, что думать — это не развлечение, а обязанность...»

Снаружи, за недостроенной стеной, тяжело бухала баба, стучали пневматические молотки, с грохотом сыпался кирпич, а на стене рядком сидели четверо рабочих, голых по пояс, в фуражках, и курили. Потом под самым окном заревел и затрещал мотоцикл.

— Из леса кто-то, — сказал Ким. — Скорее умножь мне шестнадцать на шестнадцать.

Дверь рванули, и в комнату вбежал человек. Он был в комбинезоне, отстегнутый капюшон болтался у него на груди на шнурке рации. От башмаков до пояса комбинезон щетинился бледно-розовыми стрелками молодых побегов, а правая нога была опутана оранжевой плетью лианы бесконечной длины, волочащейся по полу. Лиана еще подергивалась. И Перцу показалось, что это щупальце самого леса, что оно сейчас напряжется и потянет человека обратно — через коридоры Управления вниз по лестнице, по двору мимо стены, мимо столовой и мастерских и снова вниз по пыльной улице, через парк, мимо статуй и павильонов, к въезду на серпантин, к воротам, но не в ворота, а мимо, к обрыву, вниз...

Он был в мотоциклетных очках, лицо его было густо припорошено пылью, и Перец не сразу понял, что это Стоян Стоянов с биостанции. В руке у него был большой бумажный кулек. Он сделал несколько шагов по кафельному полу, по мозаике, изображающей женщину под душем, и остановился перед Кимом, спрятав бумажный кулек за спину и делая странные движения головой, словно у него чесалась шея.

— Ким, — сказал он, — это я.

Ким не отвечал. Слышно было, как его перо рвет и царапает бумагу.

— Кимушка, — заискивающе сказал Стоян, — я ведь тебя умоляю.

— Пошел вон, — сказал Ким. — Маньяк.

— В последний разочек, — сказал Стоян. — В самый распоследний.

Он снова сделал движение головой, и Перец увидел на его тощей подбритой шее, в самой ямочке под затылком, коротенький розоватый побег, тоненький, острый, уже завивающийся спиралью, дрожащий, как от жадности.

— Ты только передай и скажи, что от Стояна, и больше ничего. Если в кино станет звать, соври, что срочная вечерняя работа. Если будет чаем угощать, скажи, мол, только что пил. И от вина откажись, если предложит. А? Кимушка! В самый наираспоследнейший!

— Что ты ежишься? — спросил Ким со злостью. — А ну-ка повернись!

— Опять подхватил? — спросил Стоян, поворачиваясь. — Ну, это неважно. Ты только передай, а остальное все неважно.

Ким, перегнувшись через стол, что-то делал с его шеей, что-то уминал и массирует, растопырив локти, брезгливо скалясь и бормоча ругательства. Стоян терпеливо переминался с ноги на ногу, наклонив голову и выгнув шею.

— Здравствуй, Перчик, — говорил он. — Давно я тебя не видел. Как ты тут? А я вот опять привез, что ты будешь делать... В самый разнаипоследнейший. — Он развернул бумагу и показал Перцу букетик ядовитозеленых лесных цветов: — А пахнут-то как! Пахнут!

— Да не дергайся ты, — прикрикнул Ким. — Стой смирно! Маньяк, шляпа!

— Маньяк, — с восторгом соглашался Стоян. — Шляпа. Но! В самый разнаипоследнейший!

Розовые побеги на его комбинезоне уже увядали, сморщивались и осыпались на пол, на кирпичное лицо женщины под душем.

— Все, — сказал Ким. — Убирайся.

Он отошел от Стояна и бросил в мусорное ведро что-то полуживое, корчащееся, окровавленное.

— Убираюсь, — сказал Стоян. — Немедленно убираюсь. А то ведь, знаешь, у нас Рита опять начудила, я теперь с биостанции и уезжать как-то боюсь. Перчик, ты бы приехал к нам, поговорил бы с ними, что ли...

— Еще чего! — сказал Ким. — Нечего там Перецу делать.

— Как это нечего? — вскричал Стоян. — Квентин просто на глазах тает! Ты послушай только: неделю назад Рита сбежала — ну, что поделаешь... а этой ночью вернулась вся мокрая, белая, ледяная. Охранник было к ней сунулся с голыми руками — что-то она с ним такое сделала, до сих пор валяется без памяти. И весь опытный участок зарос травой.

— Ну? — сказал Ким.

— А Квентин все утро плакал...

— Это я все знаю, — перебил его Ким. — Я не понимаю, при чем здесь Перец.

— Ну как при чем? Ну что ты говоришь? Кто же еще, если не Перец? Не я ведь, верно? И не ты... не Домарошич-нера же звать, Клавдия-Октавиана!

— Хватит! — сказал Ким, хлопнув ладонью по столу. — Убирайся работать, и чтобы я тебя здесь в рабочее время не видел. Не зли меня.

— Все, — торопливо сказал Стоян. — Все. Ухожу. А ты передашь?

Он положил букетик на стол и выбежал вон, крикнув в дверь: «И клоака снова заработала...»

Ким взял веник и смел все осыпавшееся в угол.

— Безумный дурак, — сказал он. — И Рита эта... Теперь все пересчитывай заново. Провалиться им с этой любовью...

Под окном снова раздражающе затрещал мотоцикл, и снова все стихло, только бухала баба за стеной.

— Перец, — сказал Ким, — а зачем ты был утром на обрыве?

— Я надеялся повидать директора. Мне сказали, что он иногда делает над обрывом зарядку. Я хотел попросить его, чтобы он отправил меня, но он не пришел. Ты знаешь, Ким, по-моему, здесь все врут. Иногда мне кажется, что даже ты врешь.

— Директор, — задумчиво сказал Ким. — А ведь это, пожалуй, мысль. Ты молодец. Это смело...

— Все равно я завтра уеду, — сказал Перец. — Тузик меня отвезет, он обещал. Завтра меня здесь не будет, так и знай.

— Не ожидал, не ожидал, — продолжал Ким, не слушая. — Очень смело... А может, действительно послать тебя туда — разобраться?..

Глава вторая

Кандид проснулся и сразу подумал: послезавтра я уйду. И сейчас же в другом углу Нава зашевелилась на своей постели и спросила:

— Ты уже больше не спишь?

— Нет, — ответил он.

— Давай тогда поговорим, — предложила она. — А то мы со вчерашнего вечера не говорили. Давай?

— Давай.

— Ты мне сначала скажи, когда ты уходишь.

— Не знаю, — сказал он. — Скоро.

— Вот ты всегда говоришь: скоро. То скоро, то послезавтра; ты, может быть, думаешь, что это одно и то же, хотя нет, теперь ты говорить уже научился, а вначале все время путался, дом с деревней путал, траву с грибами, даже мертвяков с людьми и то путал, а то еще начинал бормотать, ни слова не понятно, никто тебя понять не мог...

Он открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку шли рабочие муравьи. Они двигались двумя ровными колоннами, слева направо нагруженные, справа налево порожняком. Месяц назад было наоборот: справа налево — с грибницей, слева направо — порожняком. И через месяц будет наоборот, если им не укажут делать что-нибудь другое. Вдоль колонн редкой цепью стояли крупные черные сигнальщики, стояли неподвижно, медленно поводя длинными антеннами, и ждали приказов. Месяц назад я тоже просыпался и думал, что послезавтра уйду, и никуда мы не ушли, и еще когда-то, задолго до этого, я просыпался и думал, что послезавтра мы наконец уходим, и мы, конечно, не ушли, но, если мы не уйдем послезавтра, я уйду один. Конечно, так я уже тоже думал когда-то, но теперь-то уж я обязательно уйду. Хорошо бы уйти прямо сейчас, ни с кем не разговаривая, никого не упрощивая, но так можно сделать только с ясной головой, не сейчас. А хорошо бы решить раз и навсегда: как только я проснусь с ясной головой, я тотчас же встаю, выхожу на улицу и иду в лес и никому не даю заговаривать со мной, это очень важно: никому не дать заговорить себя, занудить голову, особенно вот эти места над глазами, до звона в ушах, до тошноты, до мути в мозгу и в костях. А ведь Нава уже говорит...

— ...И получилось так, — говорила Нава, — что мертвяки вели нас ночью, а ночью они плохо видят,

совсем слепые, это тебе всякий скажет, вот хотя бы Горбун, хотя он не здешний, он из той деревни, что была по соседству с нашей, не с этой нашей, где мы сейчас с тобой, а с той, где я была без тебя, где я с мамой жила, так что ты Горбуна знать не можешь, в его деревне все заросло грибами, грибница напала, а это не всякому нравится, Горбун вот сразу ушел из деревни. Одержание произошло, говорит, и в деревне теперь делать людям нечего... Во-от. А луны тогда не было, и они, наверное, дорогу потеряли, сбились все в кучу, а мы в середине, и жарко стало, не продохнуть...

Кандид посмотрел на нее. Она лежала на спине, закинув руки за голову и положив ногу на ногу, и не шевелилась, только непрестанно двигались ее губы да время от времени поблескивали в полутьме глаза. Когда вошел старец, она не перестала говорить, а старец подсел к столу, придвинул к себе горшок, шумно, с хлопаньем, понюхал и принялся есть. Тогда Кандид поднялся и обтер ладонями с тела ночной пот. Старец чавкал и брызгал, не спуская глаз с корытца, закрытого от плесени крышкой. Кандид отобрал у него горшок и поставил рядом с Навой, чтобы она замолчала. Старец обсосал губы и сказал:

— Невкусно. К кому ни придешь теперь, везде невкусно. И тропинка эта заросла совсем, где я тогда ходил, а ходил я много — и на дрессировку, и просто выкупаться, я в те времена часто купался, там было озеро, а теперь стало болото, и ходить стало опасно, но кто-то все равно ходит, потому что иначе откуда там столько утопленников? И тростник. Я любого могу спросить: откуда там в тростнике тропинки? И никто не может этого знать, да и не следует. А что это у вас в корытце? Если, например, ягода моченая, то я бы ее поел, моченую ягоду я люблю, а если просто что-нибудь вчерашнее, огрызки какие-нибудь, то не надо, я их есть не буду, сами ешьте огрызки. — Он подождал, переводя взгляд с Кандида на Наву и обратно. Не дождавшись ответа, он продолжал: — А там, где тростник пророс, там уже не сеять. Раньше сеяли, потому что нужно было для Одержания, и все везли на Глиняную поляну, теперь тоже возят, но теперь там на поляне не оставляют, а привозят обратно. Я говорил, что нельзя, но они не понимают, что это такое: нельзя. Староста меня прямо при всех спросил: почему нельзя? Тут вот Кулак стоит, как ты, даже ближе, тут вот, скажем, Слухач, а тут вот, где Нава твоя, тут стоят братья Плешаки, все трое стоят и слушают, а он меня при

них при всех спрашивает. Я ему говорю, как же ты можешь, мы же, говорю, с тобой не вдвоем тут... Отец у него был умнейший человек, а может, он и не отец ему вовсе, некоторые говорили, что не отец, и вправду не похоже. Почему, говорит, при всех нельзя спросить: «Почему нельзя?»

Нава поднялась, передала горшок Кандиду и занялась уборкой. Кандид стал есть. Старец замолчал, некоторое время смотрел на него, жуя губами, а потом заметил:

— Не добродила у вас еда, есть такое нельзя.

— Почему нельзя? — спросил Кандид, чтобы позлить.

Старец хихикнул.

— Эх ты, Молчун, — сказал он. — Ты бы уж лучше, Молчун, молчал. Ты вот лучше мне расскажи, давно я уже у тебя спрашиваю: очень это болезненно, когда голову отрезают?

— А тебе-то какое дело? — крикнула Нава. — Что ты все допытываешься?

— Кричит, — сообщил старец. — Покрикивает на меня. Ни одного еще не родила, а покрикивает. Ты почему не рожает? Сколько с Молчуном живешь, а не рожает. Все рожают, а ты нет. Так поступать нельзя. А что такое «нельзя», ты знаешь? Это значит: нежелательно, не одобряется, а поскольку не одобряется, значит, поступать так нельзя. Что можно — это еще неизвестно, а уж что нельзя — то нельзя. Это всем надлежит понимать, а тебе тем более, потому что в чужой деревне живешь, дом тебе дали, Молчуна вот в мужья пристроили. У него, может быть, голова и чужая, пристроенная, но телом он здоровый, и рожать тебе отказываться нельзя. Вот и получается, что «нельзя» — это самое что ни на есть нежелательное...

Нава, злая и надутая, схватила со стола корытце и ушла в чулан. Старец поглядел ей вслед, посопел и продолжал:

— Как еще можно понимать «нельзя»? Можно и нужно понимать так, что «нельзя» — вредно...

Кандид доел, поставил со стуком порожний горшок перед старцем и вышел на улицу. Дом сильно зарос за ночь, и в густой поросли вокруг видна была только тропинка, протоптанная старцем, и место у порога, где старец сидел и ждал, ерзая, пока они проснутся. Улицу уже расчистили, зеленый ползун толщиной в руку, вылезший вчера из переплетения ветвей над деревней и пустивший корни перед соседским домом, был порублен, облит

бродилом, потемнел и уже закип. От него остро и аппетитно пахло, и соседовы ребяташки, обсев его, рвали бурую мякоть и набивали рты сочными брызжущими комками. Когда Кандид проходил, старший невнятно крикнул набитым ртом: «Молчак-мертвяк!» Но его не поддержали — были заняты. Больше на улице, оранжевой и красной от высокой травы, в которой тонули дома, сумрачной, покрытой неяркими зелеными пятнами от солнца, пробивающегося сквозь лесную кровлю, никого не было. С поля доносился нестройный хор скучных голосов: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. А может быть, и не эхо. Может быть, мертвяки.

Колченог, конечно, сидел дома и массировал ногу.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Вот тут я мягкой травки подстелил для гостей. Уходишь, говорят?

Опять, подумал Кандид, опять все сначала.

— Что, опять разболелась? — спросил он, усаживаясь.

— Нога-то? Да нет, просто приятно. Гладишь ее вот так, и хорошо. А когда уходишь?

— Да как мы с тобой договаривались. Если бы ты со мной пошел, то хоть послезавтра. А теперь придется искать другого человека, который знает лес. Ты ведь, я вижу, идти не хочешь.

Колченог осторожно вытянул ногу и сказал вразумляюще:

— Как от меня выйдешь, поворачивай налево и ступай до самого поля. По полю — мимо двух камней, сразу увидишь дорогу, она мало заросла, потому что там валуны. По этой дороге две деревни пройдешь, одна пустая, грибная, грибами она поросла, так там не живут, а в другой живут чудаки, через них два раза синяя трава проходила, с тех пор там болеют, и заговаривать с ними не надо, все равно они ничего не понимают, память у них как бы отшибло. А за той чудаковой деревней по правую руку и будет тебе твоя Глиняная поляна. И никаких тебе провожатых не надо, сам спокойно дойдешь и не вспотеешь.

— До Глиняной поляны мы дойдем, — согласился Кандид. — А вот дальше как?

— Куда дальше?

— Через болото, где раньше озера были. Помнишь, ты про каменную дорогу рассказывал?

— Это про какую же дорогу? До Глиняной поляны?

Так я же тебе втолковываю: поверни налево, иди до поля, до двух камней...

Кандид дослушал и сказал:

— До Глиняной поляны я дорогу теперь знаю. Мы дойдем. Но мне нужно дальше, ты же знаешь. Мне необходимо добраться до Города, а ты обещал показать дорогу.

Колченог сочувственно покачал головой.

— До Города!.. Вон ты куда нацелился. Помню, помню... Так до Города, Молчун, не дойти. До Глиняной поляны, например, это просто: мимо двух камней, через грибную деревню, через чудакову деревню, а там по правую руку и будет тебе Глиняная поляна. Иди, скажем, до Тростников. Тут уж поворачивай от меня направо, через редколесье, мимо Хлебной лужи, а там все время за солнцем. Куда солнце, туда и ты. Трое суток идти, но если тебе уж так надо — пойдем. Мы там горшки добывали раньше, пока здесь свои не рассадили. Тростники я знаю хорошо, ты бы так и говорил, что до Тростников. Тогда и до послезавтра ждать нечего, завтра утром и выйдем, и еды нам с собой брать не надо, раз там Хлебная лужа... Ты, Молчун, говоришь больно коротко: только начнешь к тебе прислушиваться, а ты уже и рот закрыл. А в Тростники пойдем. Завтра утром и пойдем...

Кандид дослушал и сказал:

— Понимаешь, Колченог, мне не надо в Тростники. В Тростники мне не надо. Не надо мне в Тростники. — Колченог внимательно слушал и кивал. — А надо мне в Город, — продолжал Кандид. — Мы с тобой уже давно об этом говорим. Я тебе вчера говорил, что мне надо в Город. Позавчера говорил, что мне надо в Город. Неделю назад говорил, что мне надо в Город. Ты сказал, что знаешь до Города дорогу. Не до Тростников, а до Города. Мне не надо в Тростники. («Только бы не сбиться, — подумал он. — Может быть, я все время сбиваюсь. Не Тростники, а Город. Город, а не Тростники».) Город, а не Тростники, — повторил он вслух. — Понимаешь? Расскажи мне про дорогу до Города. Не до Тростников, а до Города. А еще лучше — дойдем до Города вместе. Не до Тростников пойдем вместе, а до Города пойдем вместе.

Он замолчал. Колченог снова принялся оглаживать больное колено.

— Наверное, тебе, Молчун, когда голову отрезали, что-нибудь внутри повредили. Это как у меня нога. Сначала была нога ногой, самая обыкновенная, а потом шел я однажды ночью через Муравейники, нес муравьиною

матку, и эта нога попала у меня в дупло, и теперь кривая. Почему кривая — никто не знает, а ходит она плохо. Но до Муравейников дойду. И сам дойду, и тебя доведу. Только не пойму, зачем ты сказал, чтобы я пищу на дорогу готовил, до Муравейников тут рукой подать. — Он посмотрел на Кандида, смутился и открыл рот. — Так тебе же не в Муравейники, — сказал он. — Тебе же куда? Тебе же в Тростники. А я не могу в Тростники, не дойду. Видишь, нога кривая. Слушай, Молчун, а почему ты так не хочешь в Муравейники? Давай пойдем в Муравейники, а? Я ведь с тех пор так и не бывал там ни разу, может, их, Муравейников, уже и нету. Дупло то поищем, а?

«Сейчас он меня собьет», — подумал Кандид. Он наклонился набок и подкатил к себе горшок.

— Хороший какой у тебя горшок, — сказал он. — И не помню, где я в последний раз видел такие хорошие горшки... Так ты меня проводишь до Города? Ты говорил, что никто, кроме тебя, дорогу до Города не знает. Пойдем до Города, Колченог. Как ты думаешь, дойдем мы до Города?

— А как же! Дойдем! До Города? Конечно, дойдем. А горшки такие ты видел, я знаю где. У чудаков такие горшки. Они их, понимаешь, не выращивают, они их из глины делают, у них там близко Глиняная поляна, я тебе говорил: от меня сразу налево и мимо двух камней до грибной деревни. А в грибной деревне никто уже не живет, туда и ходить не стоит. Что мы, грибов не видели, что ли? Когда у меня нога здоровая была, я никогда в эту грибную деревню не ходил, знаю только, что от нее за двумя оврагами чудаки живут. Да. Можно было бы завтра и выйти... Да... Слушай, Молчун, а давай мы туда не пойдем. Не люблю я эти грибы. Понимаешь, у нас в лесу грибы — это одно, их есть можно, они вкусные. А в той деревне грибы зеленые какие-то, и запах от них дурной. Зачем тебе туда? Еще грибницу сюда занесешь. Пойдем мы лучше в Город. Гораздо приятнее. Только тогда завтра не выйти. Тогда еду надо запастись, расспросить надо про дорогу. Или ты дорогу знаешь? Если знаешь, тогда я не буду спрашивать, а то я что-то и не соображу, у кого бы это спросить. Может, у старосты спросить, как ты думаешь?

— А разве сам ты про дорогу в Город ничего не знаешь? — спросил Кандид. — Ты про эту дорогу много знаешь. Ты даже один раз почти до Города дошел, но испугался мертвяков, испугался, что один не отобьешься...

— Мертвяков я не боялся и не боюсь, — возразил Колченог. — Я тебе скажу, чего я боюсь. Как мы с тобой идти будем — вот я чего боюсь. Ты так все время и будешь молчать? Я ведь так не умею. И еще чего я боюсь... Ты не обижайся на меня, Молчун, ты мне скажи, а громко не хочешь говорить, так шепотом скажи или даже просто кивни, а если уж и кивать не хочешь, так вот правый глаз у тебя в тени, ты его и прикрой, никто не увидит, один я увижу. А вопрос у меня такой: может быть, ты все-таки немножечко мертвяк? Я ведь мертвяков не терплю, у меня от них дрожь начинается, и ничего я с собой не могу поделать...

— Нет, Колченог, я не мертвяк, — сказал Кандид. — Я их и сам не выношу. А если ты боишься, что я буду молчать, так ведь мы не вдвоем пойдем, я тебе уже говорил. С нами Кулак пойдет, и Хвост, и еще два мужика из Выселок.

— С Кулаком я не пойду, — решительно сказал Колченог. — Кулак у меня дочь мою за себя взял и не уберег. Угнали у него мою дочку. Мне не то жалко, что он взял, а то мне жалко, что не уберег. Шел он с нею в Выселки, подстерегли его воры и дочку отобрали, а он и отдал. Сколько я потом с твоей Навой ее искал, так и не нашел. Нет, Молчун, с ворами шутки плохи. Если бы мы с тобой в Город пошли, от воров бы покою не было. То ли дело в Тростники, туда можно без всяких колебаний идти. Завтра и выйдем.

— Послезавтра, — сказал Кандид. — Ты пойдешь, я пойду, Кулак, Хвост и еще двое из Выселок. Так до самого Города и дойдем.

— Вшестером дойдем, — уверенно сказал Колченог. — Один бы я не дошел, конечно, а вшестером дойдем. Вшестером мы до самых Чертовых гор дойдем, только я дороги туда не знаю. А может, пошли до Чертовых гор? Далеко очень, но вшестером дойдем. Или тебе не надо на Чертовы горы? Слушай, Молчун, давай до Города доберемся, а там уже и посмотрим. Пищи нужно только набрать побольше.

— Хорошо, — сказал Кандид, поднимаясь. — Значит, послезавтра выходим в Город. Завтра я схожу на Выселки, потом тебя повидаю и еще разок напомним.

— Заходи, — сказал Колченог. — Я бы и сам к тебе зашел, да вот нога у меня болит — сил нет. А ты заходи. Поговорим. Я знаю, многие с тобой говорить не любят, очень с тобой трудно говорить, Молчун, но я не такой. Я уже привык, и мне даже нравится. И сам приходи, и Наву

приведи, хорошая она у тебя, Нава твоя, детей вот только у нее нет, ну да еще будут, молодая она у тебя...

На улице Кандид снова обтер с себя ладонями пот. Продолжение следовало. Рядом кто-то хихикнул и закашлялся. Кандид обернулся. Из травы поднялся старец, погрозил узловатым пальцем и сказал:

— В Город, значит, нацелились. Интересно затеяли, да только до Города никто еще живым не доходил, да и нельзя. Хоть у тебя голова и приставленная, а это ты понимать должен...

Кандид свернул направо и пошел по улице. Старец, путаясь в траве, некоторое время плелся следом, бормотал: «Если нельзя, то всегда в каком-нибудь смысле нельзя, в том или ином... Например, нельзя без старосты или без собрания, а со старостой или с собранием, наоборот, можно, но опять же не в любом смысле...» Кандид шел быстро, насколько позволяла томная влажная жара, и старец понемногу отстал.

На деревенской площади Кандид увидел Слухача. Слухач, пошатываясь и заплетая кривые ноги, ходил кругами, расплескивая пригоршнями коричневый травобой из огромного горшка, подвешенного на животе. Трава позади него дымилась и жухла на глазах. Слухача надо было миновать, и Кандид попытался его миновать, но Слухач так ловко изменил траекторию, что столкнулся с Кандидом носом к носу.

— А-а, Молчун! — радостно закричал он, поспешно снимая с шеи ремень и ставя горшок на землю. — Куда идешь, Молчун? Домой, надо думать, идешь, к Наве, дело молодое, а не знаешь ты, Молчун, что Навы твоей дома нету, Нава твоя на поле, вот этими глазами видел, как Нава на поле пошла, хочешь теперь верь, хочешь не верь... Может, конечно, и не на поле, дело молодое, да только пошла твоя Нава, Молчун, по во-он тому переулку, а по тому переулку, кроме как на поле, никуда не выйдешь, да и куда ей, спрашивается, идти, твоей Наве? Тебя, Молчуна, может, разве искать...

Кандид снова попытался его обойти и снова каким-то образом оказался с ним носом к носу.

— Да и не ходи ты за ней на поле, Молчун, — продолжал Слухач убедительно. — Зачем тебе за нею ходить, когда я вот сейчас траву побью и всех сюда созову: землемер тут приходил и сказал, что ему староста велел, чтобы он мне сказал на площади траву побить, потому что скоро будет тут собрание, на площади. А как будет собрание, так все сюда с поля и заявятся, и Нава

твоя заявится, если она на поле пошла, а куда ей еще по тому переулку идти, хотя, подумавши-то, по тому переулку и не только на поле попасть можно. А можно ведь...

Он вдруг замолчал и судорожно вздохнул. Глаза его зажмурились, руки как бы сами собой поднялись ладонями вверх. Лицо расплылось в сладкой улыбке, потом оскалилось и обвисло. Кандид, уже шагнувший было в сторону, остановился послушать. Мутное лиловатое облачко сгустилось вокруг голой головы Слухача, губы его затряслись, и он заговорил быстро и отчетливо, чужим, каким-то дикторским голосом, с чужими интонациями, чужим, не деревенским стилем и словно бы даже на чужом языке, так что понятными казались только отдельные фразы:

— На дальних окраинах Южных земель в битву вступают всё новые... отодвигаются всё дальше и дальше на юг... победного передвижения... Большое Разрыхление почвы в Северных землях ненадолго прекращено из-за отдельных и редких... Новые приемы Заболачивания дают новые обширные места для покоя и нового передвижения на... Во всех поселениях... большие победы... труд и усилия... новые отряды подруг... завтра и навсегда Спокойствие и Слияние...

Подоспевший старец стоял у Кандида за плечом и разъяснял азартно:

— Во всех поселениях, слышал?.. Значит, и в нашем тоже... Большие победы! Все время ведь твержу: нельзя... Спокойствие и слияние — понимать же надо... И у нас, значит, тоже, раз во всех... И новые отряды подруг, понял?

Слухач замолчал и опустил на корточки. Лиловое облачко растаяло. Старец нетерпеливо постучал Слухача по лысому темени. Слухач заморгал, потер себе уши.

— О чем это я? — сказал он. — Передача, что ли, была? Как там Одержание? Исполняется или как?.. А на поле ты, Молчун, не ходи. Ты ведь, полагаю, за своей Навой идешь, а Нава твоя...

Кандид перешагнул через горшок с травобоем и поспешно пошел прочь. Старца вскоре не стало слышно — то ли он сцепился со Слухачом, то ли запыхался и зашел в какой-нибудь дом отдышаться и заодно перекусить.

Дом Кулака стоял на самой окраине. Замурзанная старуха, не то мать, не то тетка, сказала, недоброжелательно фыркая, что Кулака дома нету, Кулак в поле, а если бы был в доме, то искать его в поле было бы нечего, а раз он в поле, то чего ему, Молчуну, тут зря стоять.

В поле сеяли. Душный стоячий воздух был пропитан крепкой смесью запахов, разило потом, бродилом, гниющими злаками. Утренний урожай толстым слоем был навален вдоль борозды, зерно уже тронулось. Над горшками с закваской толклись и крутились тучи рабочих мух, и в самой гуще этого черного, отсвечивающего металлом круговорота стоял староста и, наклонив голову и прищурив один глаз, внимательно изучал каплю сыворотки на ногте большого пальца. Ноготь был специальный, плоский, тщательно отполированный, до блеска отмытый нужными составами. Мимо ног старосты по борозде в десяти шагах друг от друга гуськом ползли сеятели. Они больше не пели, но в глубине леса все еще гукало и ахало, и теперь было ясно, что это не эхо.

Кандид пошел вдоль цепи, наклоняясь и заглядывая в опущенные лица. Отыскав Кулака, он тронул его за плечо, и Кулак сразу же, ни о чем не спрашивая, вылез из борозды. Борода его была забита грязью.

— Чего, шерсть на носу, касаешься? — прохрипел он, глядя Кандиду в ноги. — Один вот тоже, шерсть на носу, касался, так его взяли за руки и за ноги и на дерево закинули, там он до сих пор висит, а когда снимут, так больше уже касаться не будет, шерсть на носу...

— Идешь? — коротко спросил Кандид.

— Еще бы не иду, шерсть на носу, когда закваски на семерых наготовил, в дом не войти, воняет, жить невозможно, как же теперь не идти, — старуха выносить не хочет, а сам я на это уже глядеть не могу. Да только куда идем? Колченог вчера говорил, что в Тростники, а я в Тростники не пойду, шерсть на носу, там и людей-то в Тростниках нет, не то что девок, там если человек захочет кого за ногу взять и на дерево закинуть, шерсть на носу, так некого, а мне без девки жить больше невозможно, меня староста со свету сживет... Вон стоит, шерсть на носу, глаз вылушил, а сам слепой, как пятка, шерсть на носу... Один вот так стоял, дали ему в глаз, больше не стоит, шерсть на носу, а в Тростники я не пойду, как хочешь...

— В Город, — сказал Кандид.

— В Город — другое дело, в Город я пойду, тем более, говорят, что никакого Города вообще и нету, а врет о нем этот старый пень — придет утром, половину горшка выест и начинает, шерсть на носу, плести: то нельзя, это нельзя... Я его спрашиваю: а кто ты такой, чтобы мне объяснять, что мне нельзя, а что можно, шерсть на носу? Не говорит, сам не знает, про Город какой-то бормочет...

— Выходим послезавтра, — сказал Кандид.

— А чего ждать? — возмутился Кулак. — Почему это послезавтра? У меня в доме ночевать невозможно, закваска смердит, пошли лучше сегодня вечером, а то вот так один ждал-ждал, а как ему дали по ушам, так он и ждать перестал, и до сих пор не ждет... Старуха же ругается, житья нет, шерсть на носу! Слушай, Молчун, давай старуху мою возьмем, может, ее воры отберут, я бы отдал, а?

— Послезавтра выходим, — терпеливо повторил Кандид. — И ты молодец, что закваски приготовил много. Из Выселок, знаешь...

Он не закончил, потому что на поле закричали.

— Мертвяки! Мертвяки! — заорал староста. — Женщины, домой! Домой бегите!

Кандид огляделся. Между деревьями на самом краю поля стояли мертвяки: двое синих совсем близко и один желтый поодаль. Головы их с круглыми дырами глаз и с черной трещиной на месте рта медленно поворачивались из стороны в сторону, огромные руки плетями висели вдоль тела. Земля под их ступнями уже курилась, белые струйки пара мешались с сизым дымком.

Мертвяки эти видали виды и поэтому держались крайне осторожно. У желтого весь правый бок был изъеден травобоем, а оба синих сплошь обросли лишаями ожогов от бродила. Местами шкура на них отмерла, полопалась и свисала лохмотьями. Пока они стояли и присматривались, женщины с визгом убежали в деревню, а мужики, угрожающе и многословно бормоча, сбились в толпу с горшками травобоя наготове.

Потом староста сказал: «Чего стоим, спрашивается? Пошли, чего стоять!» — и все неторопливо двинулись на мертвяков, рассыпаясь в цепь. «В глаза! — покрикивал староста. — Старайтесь в глаза им плеснуть! В глаза бы попасть хорошо, а иначе толку мало, если не в глаза...» В цепи пугали: «Гу-гу-гу! А ну, пошли отсюда! А-га-га-га!» — связываться никому не хотелось.

Кулак шел рядом с Кандидом, выдирая из бороды засохшую грязь, кричал громче других, а между криками рассуждал:

— Да не-ет, зря идем, шерсть на носу, не устоят они, сейчас побегут... Разве это мертвяки? Дранные какие-то, где им устоять... Гу-гу-гу-у! Вы!

Подойдя к мертвякам шагов на двадцать, люди остановились. Кулак бросил в желтого ком земли, тот с

необычайным проворством выбросил вперед широкую ладонь и отбил ком в сторону. Все снова загудели и затопали ногами, некоторые показывали мертвякам горшки и делали угрожающие движения. Травобоя было жалко, и никому не хотелось потом тащиться в деревню за новым бродилом, мертвяки были битые, осторожные — должно было обойтись и так.

И обошлось. Пар и дым из-под ног мертвяков пошел гуще, мертвяки попятились.

— Ну, всё, — сказали в цепи, — не устояли, сейчас вывернутся...

Мертвяки неуловимо изменились, словно повернулись внутри собственной шкуры. Не стало видно ни глаз, ни рта — они стояли спиной. Через секунду они уже уходили, мелькая между деревьями. Там, где они только что стояли, медленно оседало облако пара.

Люди, оживленно галдя, двинулись обратно к борозде. Выяснилось вдруг, что пора уже идти в деревню на собрание. Пошли на собрание.

— На площадь ступайте, на площадь... — повторял каждому староста. — На площади собрание будет, так что идти надо на площадь.

Кандид искал глазами Хвоста, но Хвоста в толпе что-то не видно было. Пропал куда-то Хвост. Кулак, трусивший рядом, говорил:

— А помнишь, Молчун, как ты на мертвяка прыгал? Как он, понимаешь, на него прыгнет, шерсть на носу, да как его за голову ухватит, обнял, будто свою Наву, шерсть на носу, да как заорет... Помнишь, Молчун, как ты заорал? Обжегся, значит, ты, потом весь в волдырях ходил, мокли они у тебя, болели... Зачем же ты на него прыгал, Молчун? Один вот так на мертвяка прыгал-прыгал, слупили с него кожу на пузе, больше теперь не прыгает, шерсть на носу, и детям прыгать заказет... Говорят, Молчун, ты на него прыгал, чтобы он тебя в Город унес, да ведь ты же не девка, чего он тебя понесет, да и Города, говорят, никакого нет, это все этот старый пень выдумывает слова разные — Город, Одержание... А кто его, это Одержание, видел? Слухач пьяных жуков наглотается, как пойдет плести, а старый пень тут как тут, слушает, а потом бродит везде, жрет чужое и повторяет...

— Я завтра с утра на Выселки иду, — сказал Кандид. — Вернусь только к вечеру, днем меня не будет. Ты повидай Колченога и напхни ему про послезавтра. Я напоминал и еще напоминать буду, но и ты тоже напхни, а то еще убредет куда-нибудь...

— Напомню, — пообещал Кулак. — Я ему так напомню, что последнюю ногу отломаю.

На площадь сошлась вся деревня, болтали, толкались, сыпали на пустую землю семена — выращивали подстилки, чтобы мягко было сидеть. Под ногами путались детишки, их возили за вихры и за уши, чтобы не путались. Староста, бранясь, отгонял колонну плохо обученных муравьев, потащивших было личинки рабочей мухи прямо через площадь, допрашивал окружающих, по чьему же это приказу муравьи здесь идут и что же это такое за безобразие. Подозревали Слухача и Кандида, но точно выяснить было уже невозможно.

Кандид отыскал Хвоста, хотел заговорить с ним, но не успел, потому что собрание было объявлено, и первым, как всегда, полез выступать старец. О чем он выступал, понять было невозможно, однако все сидели смирно, прислушивались и шикали на возившихся детишек, чтобы не возились. Некоторые, устроившиеся особенно удобно — подальше от горячих солнечных пятен, — дремали.

Старец долго распространялся о том, что такое «нельзя» и в каких оно встречается смыслах, призывал к поголовному Одержанию, грозился победами на Севере и на Юге, бранил деревню, а заодно и Выселки, что везде есть новые отряды подруг, а ни в деревне, ни на Выселках — нет, и ни Спокойствия нет, ни Слияния, и происходит это оттого, что люди забыли слово «нельзя» и вообразили себе, будто теперь все можно, а Молчун, например, так и вовсе хочет уйти в Город, хотя его никто туда не вызывал, деревня за это ответственности не несет, потому что он чужой, но если окажется вдруг, что он все-таки мертвяк, а такое мнение в деревне есть, то вот тогда неизвестно, что будет, тем более что у Навы, хотя она тоже чужая, от Молчуна детей нет, и терпеть этого нельзя, а староста терпит...

К середине выступления староста тоже задремал, разморившись, но, услышав свое имя, вздрогнул и сейчас же грозно гаркнул:

— Эй! Не спать!.. Спать дома будете, — сказал он, — на то дома и стоят, чтобы в них спать, а на площади никто не спит, на площади собрания собирают. На площади мы спать не позволяли, не позволяем и позволять никому не будем. — Он покосился на старца, старец довольно кивнул. — Вот это и есть наше общее «нельзя», — он пригладил волосы и сообщил: — На Выселках объявилась невеста. А у нас есть жених, известный вам

всем Болтун. Болтун, ты встань и покажись. А лучше нет, ты лучше посиди там, мы тебя все знаем... Отсюда вопрос: отпускать Болтуна на Выселки или, наоборот, невесту с Выселок взять к нам в деревню... Не-ет, ты, Болтун, посиди, мы без тебя решим... Кто там с ним рядом сидит, придержите его там хорошенько, пока собрание идет. А у кого есть мнение, тот пусть нам скажет.

Мнений оказалось два. Одни (больше соседи Болтуна) требовали, чтобы Болтуна поперли на Выселки — пусть-ка он там поживет, а мы тут. Другие же, люди спокойные и серьезные, живущие от Болтуна далеко, полагали, что нет, женщин стало мало, воруют женщин, и потому невесту надо брать к себе: Болтун, хоть он и Болтун, а детишки от него, надо полагать, все равно пойдут, это дело независимое. Спорили долго, горячо и сперва по существу. Потом Колченог неудачно выкрикнул, что время теперь военное, а все про это забывают. От Болтуна сразу отвлеклись. Слухач стал объяснять, что никакой войны нет и никогда не было, а есть и будет Большое Разрыхление Почвы. Да не Разрыхление, возразили в толпе, а Необходимое Заболачивание. Разрыхление давно кончилось, уж сколько лет как Заболачивание, а Слухачу невдомек, да и откуда ему знать, раз он Слухач. Поднялся старец и, выкатив глаза, хрипло завопил, что все это нельзя, что нет никакой войны, и нет никакого Разрыхления, и нет никакого такого Заболачивания, а есть, была и будет Поголовная Борьба на Севере и на Юге. Как же нет войны, шерсть на носу, отвечали ему, когда за чудаковой деревней полное озеро утопленников? Собрание взорвалось. Мало ли что утопленники! Где вода, там и утопленники, за чудаковой деревней всё не как у людей, и чудакова деревня нам не указ, они с глины едят, под глиной живут, жену-то вора отдал, а теперь на утопленников ссылаешься? Да никакие это не утопленники, и не Борьба это, и не война, а Спокойствие это и Слияние в целях Одержания! А почему же тогда Молчун в город идет? Молчун в Город идет — значит, Город есть, а раз есть, то какая же может быть война — ясно, что Слияние!.. А мало ли куда идет Молчун? Один вот тоже шел, дали ему хорошенько по ноздрям, больше никуда не идет... Молчун потому и идет в Город, что Города нет, знаем мы Молчуна, Молчун дурак-дурак, а умный, его, Молчуна, на кривой не объедешь, а раз Города нет, то какое же может быть Слияние? Нет никакого Слияния, одно время, правда, было, но уже давно нет... Так и Одержания же уже нет!.. Это кто там кричит,

что нет Одержания? Ты в каком это смысле кричишь? Ты это что?.. Болтуна! Болтуна держите!.. Эх, не удержали Болтуна! Что же вы Болтуна не удержали?..

Кандид, зная, что теперь это надолго, попытался начать разговор с Хвостом, но Хвосту было не до разговоров, Хвост кричал, надсаживаясь:

— Одержание?! А мертвяки почему?! Про мертвяков молчите? Потому что знать не знаете, что о них и думать, вот и кричите про всякое Одержание!..

Покричали про мертвяков, потом про грибные деревни, потом устали и начали затихать, утирая лица, обесиленно отмахиваясь друг от друга, и скоро обнаружилось, что уже все молчат, а спорят только старец и Болтун. Тогда все опомнились. Болтуна посадили, навалились, напихали ему в рот листьев. Старец еще некоторое время говорил, но потерял голос и не был слышен. Тогда поднялся взъерошенный представитель от Выселок и, прижимая руки к груди, искательно озираясь, стал сорванным голосом просить, чтобы Болтуна к ним на Выселки не отдавали, не надо им Болтуна, сто лет без Болтуна жили и еще сто лет проживут, а чтобы взяли невесту к себе, и тогда за приданым Выселки не постоят, сами увидите... Начинать спор снова ни у кого уже не было сил — обещали подумать и решить потом, тем более что не горит.

Народ стал расходиться на обед. Хвост взял Кандида за руку и оттащил в сторонку под дерево.

— Так когда же идем? — спросил он. — Мне в деревне вот как надоело, я в лес хочу, тут я от скуки больной скоро сделаюсь... Не пойдешь — так и скажи, я один пойду, Кулака или Колченога подговорю и с ними вместе уйду...

— Послезавтра уходим, — сказал Кандид. — Пищу ты приготовил?

— Я пищу приготовил и уже съел, у меня терпенья не хватает на нее смотреть, как она зря лежит и никто ее, кроме старика, не ест, у меня от него просто все болит, я этому старику когда-нибудь шею накостыляю, если скоро не уйду... Как ты думаешь, Молчун, кто такой этот старик, почему он у всех все ест и где он живет? Я человек бывалый, я в десяти деревнях бывал, у чудаков бывал, даже к заморенным заходил, ночевал у них и от страха чуть не околел, а такого старика нигде не видел, он у нас какой-то редкостный старик, наверное, мы его поэтому и держим и не бьем, но у меня больше никакого терпения не хватает смотреть, как он по моим горшкам днем и

ночью шарит — и на месте ест, и с собой уносит, а ведь его еще мой отец ругал, пока его мертвяки не забили... И как в него все это влазит? Ведь кожа да кости, там у него внутри и места нет, а два горшка вылизет и с собой два унесет, а горшки никогда обратно не возвращает... Знаешь, Молчун, может, это у нас не один старик такой, может, их у нас двое или даже трое? Двое спят, а один работает. Нажрется, второго разбудит, а сам отдохнуть укладывается...

Хвост проводил Кандида до дома, но обедать у него отказался — из деликатности. Поговорив еще минут пять о том, как на озере в Тростниках приманивают рыбу шевелением пальцев, согласившись зайти завтра к Колченогу и напомнить ему про поход в Город, рассказав, что Слухач никакой на самом деле не Слухач, а просто очень уж болезненный человек, и что мертвяки ловят женщин в пищу, поскольку у мужиков мясо жесткое, а зубов мертвяки не имеют, пообещав приготовить к послезавтраму новые запасы, а старика беспощадно гнать, он наконец удалился.

Кандид с трудом перевел дыхание и, прежде чем войти, немножечко постоял в дверях, мотая головой. Ты, Молчун, только не забудь, что тебе завтра на Выселки идти, с самого утра идти, не забудь: не в Тростники, не на Глиняную поляну, а на Выселки... И зачем это тебе, Молчун, на Выселки идти, шел бы ты лучше в Тростники, рыбы там много... занятно... На Выселки, не забудь, Молчун, на Выселки, не забудь, Кандид... завтра с утра на Выселки... парней уговаривать, а то ведь вчетвером до Города и не дойти... Он не заметил, что вошел в дом.

Навы еще не было, а за столом сидел старец и ждал кого-нибудь, чтобы подали обедать. Он сердито покосился на Кандида и сказал:

— Медленно ты, Молчун, ходишь, я тут в двух домах побывал — везде уже обедают, а у вас пусто... Потому у вас, наверное, и детей нет, что медленно вы ходите и дома вас никогда не бывает, когда обедать пора...

Кандид подошел к нему вплотную и некоторое время постоял, соображая. Старец говорит:

— Сколько же времени будешь ты до Города идти, если тебя и к обеду не дождаться? До Города, говорят, очень далеко, я теперь все про тебя знаю, знаю, что вы в Город собрались, одного только не знаю, как это ты до Города доберешься, если ты до горшка с едой целый день добираться и добраться не можешь... Придется мне с вами идти, я уж вас доведу, мне в Город давно надо, да

дороги я туда не знаю, а в Город мне надо для того, чтобы свой долг исполнить и все обо всем кому следует рассказать...

Кандид взял его под мышки и рывком поднял от стола. От удивления старец замолчал. Кандид вынес его из дома на вытянутых руках, поставил на дорогу, а ладони свои вытер травой. Старец опомнился.

— Только вот еды вы на меня не забудьте, — сказал он вслед Кандиду. — Еды вы мне возьмите хорошей и побольше, потому что я иду свой долг исполнять, а вы для своего удовольствия и через «нельзя»...

Кандид вернулся в дом, сел за стол и опустил голову на стиснутые кулаки. И все-таки послезавтра я уйду, подумал он. Вот бы что мне не забыть: послезавтра. Послезавтра, подумал он. Послезавтра, послезавтра.

Глава третья

Перец проснулся оттого, что холодные пальцы тронули его за голое плечо. Он открыл глаза и увидел, что над ним стоит человек в исподнем. Света в комнате не было, но человек стоял в лунной полосе, и было видно его белое лицо с вытаращенными глазами.

— Вам чего? — шепотом спросил Перец.

— Очистить надо, — тоже шепотом сказал человек.

Да это же комендант, с облегчением подумал Перец.

— Почему очистить? — спросил он громко и приподнялся на локте. — Что очистить?

— Гостиница переполнена. Вам придется очистить место.

Перец растерянно оглядел комнату. В комнате все было по-прежнему, остальные три койки были по-прежнему свободны.

— А вы не озирайтесь, — сказал комендант. — Нам виднее. И все равно белье надо на вашей койке менять и отдавать в стирку. Сами-то вы стирать не будете, не так воспитаны...

Перец понял: коменданту было очень страшно, и он хамил, чтобы придать себе смелости. Он был сейчас в том состоянии, когда тронь человека — и он завопит, заверещит, задергается, высадит раму и станет звать на помощь.

— Давай-давай, — сказал комендант и в каком-то жутком нетерпении потянул из-под Перца подушку. — Белье, говорят...

— Да что же это, — проговорил Перец, — обязательно сейчас? Ночью?

— Срочно.

— Господи, — сказал Перец, — вы не в своем уме. Ну хорошо... Забирайте белье, я и так обойдусь, мне всего эта ночь осталась.

Он слез с койки на холодный пол и стал сдирать с подушки наволочку. Комендант, словно бы оцепенев, следил за ним выпученными глазами. Губы его шевелились.

— Ремонт, — сказал он наконец. — Ремонт пора делать, обои все ободрались, потолок потрескался, полы перестилать надо... — Голос его окреп. — Так что место вы все равно очищайте. Сейчас мы здесь начнем делать ремонт.

— Ремонт?

— Ремонт. Обои-то какие стали, видите? Сейчас сюда рабочие придут.

— Прямо сейчас?

— Прямо сейчас. Ждать больше невыносимо. Потолок весь растрескался. Того и гляди...

Переца бросило в дрожь. Он оставил наволочку и взял в руки штаны.

— Который час? — спросил он.

— Первый час уже, — сказал комендант, снова переходя на шепот и почему-то озираясь.

— Куда же я пойду? — сказал Перец, остановившись с одной ногой в штанине. — Ну, вы меня устройте где-нибудь. В другом номере...

— Переполнено. А где не переполнено, там ремонт.

— Ну в дежурке.

— Переполнено.

Перец с тоской уставился на луну.

— Ну хоть в кладовой, — сказал он. — В кладовой, в бельевой, в изоляторе. Мне всего шесть часов осталось спать. Или, может быть, вы меня у себя как-нибудь поместите...

Комендант вдруг заметался по комнате. Он бегал между койками, босой, белый, страшный, как привидение. Потом он остановился и сказал стонущим голосом:

— Да что же это, а? Ведь я тоже цивилизованный человек, два института окончил, не туземец какой-нибудь... Я же все понимаю! Но невозможно, поймите! Никак невозможно! — Он подскочил к Перцу и прошептал ему на ухо: — У вас виза истекла! Двадцать семь минут уже как истекла, а вы все еще здесь. Нельзя вам

быть здесь. Очень я вас прошу... — Он грохнулся на колени и вытащил из-под кровати ботинки и носки Переца. — Я без пяти двенадцать проснулся весь в поту, — бормотал он. — Ну, думаю, все. Вот и конец мой пришел. Как был, так и побежал. Ничего не помню. Облака какие-то на улицах, гвозди цепляют за ноги... А у меня жена родить должна! Одевайтесь, одевайтесь, пожалуйста...

Перец торопливо оделся. Он плохо соображал. Комендант все бегал между койками, шлепая по лунным квадратам, выглядывал в коридор, высовывался в окна и шептал: «Боже мой, что же это...»

— Можно, я хоть чемодан у вас оставлю? — спросил Перец.

Комендант лязгнул зубами.

— Ни в коем случае! Вы же меня погубите... Ну надо же быть таким бессердечным! Боже мой, боже мой...

Перец собрал книги, с трудом закрыл чемодан, взял на руку плащ и спросил:

— Куда же мне теперь?

Комендант не ответил. Он ждал, приплясывая от нетерпения. Перец поднял чемодан и по темной тихой лестнице спустился на улицу. Он остановился на крыльце и, стараясь унять дрожь, некоторое время слушал, как комендант втолковывал сонному дежурному: «...будет назад проситься. Не пускать! У него... (неясный зловещий шепот) Понял? Ты отвечаешь...» Перец сел на чемодан и положил плащ на колени.

— Нет уж, извините, — сказал комендант у него за спиной. — С крыльца попрошу сойти. Территорию гостиницы попрошу все-таки полностью очистить.

Пришлось сойти и поставить чемодан на мостовую. Комендант потоптался немного, бормоча: «Очень попрошу... Жена... Без никаких эксцессов... Последствия... Нельзя...» — и ушел, белея исподним, крадясь вдоль забора. Перец поглядел на темные окна коттеджей, на темные окна Управления, на темные окна гостиницы. Нигде не было света, даже уличные фонари не горели. Была только луна — круглая, блестящая и какая-то злобная.

И вдруг он обнаружил, что он один. У него никого не было... Вокруг спят люди, и все они любят меня, я это знаю, я много раз это видел. И все-таки я один, словно они вдруг умерли или стали моими врагами... И комендант — добрый уродливый человек, страдающий базедовой болезнью, неудачник, прилепившийся ко мне с первого дня... Мы играли с ним на пианино в четыре руки и спорили, и я был единственным, с кем он осмеливался

спорить и рядом с кем он чувствовал себя полноценным человеком, а не отцом семерых детей. И Ким. Он вернулся из канцелярии и принес огромную папку с доносами. Девяносто два доноса на меня, все написаны одним почерком и подписаны разными фамилиями. Что я ворую казенный сургуч на почте, и что я привез в чемодане малолетнюю любовницу и прячу ее в подвале пекарни, и что я еще много чего... И Ким читал эти доносы и одни бросал в корзину, а другие откладывал в сторону, бормоча: «А это надо обмозговать...» И это было неожиданно и ужасно, бессмысленно и отвратительно... Как он робко взглядывал на меня и сразу отводил глаза...

Перец поднялся, взял чемодан и побрел куда глаза глядят. Глаза никуда не глядели. Да и не на что было глядеть на этих пустых темных улицах. Он спотыкался, он чихал от пыли и, кажется, несколько раз упал. Чемодан был невероятно тяжелый и какой-то неуправляемый. Он грузно терся о ногу, потом тяжело отплывал в сторону и, вернувшись из темноты, с размаху ударял по колену. В темной аллее парка, где совсем не было света и только зыбкие, как комендант, статуи смутно белели во мраке, чемодан вдруг вцепился в штанину какой-то отставшей пряжкой, и Перец в отчаянии бросил его. Пришел час отчаяния. Плача и ничего не видя из-за слез, Перец продрался через колючие сухие и пыльные живые изгороди, скатился по ступенькам, упал, больно ударившись спиной, и, совсем уже без сил, задыхаясь от обиды и от жалости, опустился на колени у края обрыва.

Но лес оставался безразличным. Он был так безразличен, что даже не был виден. Под обрывом была тьма, и только на самом горизонте что-то широкое и слоистое, серое и бесформенное вяло светилось в сиянии луны.

— Проснись, — попросил Перец. — Погляди на меня хотя бы сейчас, когда мы одни, не беспокойся, они все спят. Неужели тебе никто из нас не нужен? Или ты, может быть, не понимаешь, что это такое — нужен? Это когда нельзя обойтись без. Это когда все время думаешь о. Это когда всю жизнь стремишься к. Я не знаю, какой ты. Этого не знают даже те, кто совершенно уверен в том, что знают. Ты такой, какой есть, но могу же я надеяться, что ты такой, каким я всю жизнь хотел тебя видеть: добрый и умный, снисходительный и помнящий, внимательный и, может быть, даже благодарный. Мы растеряли все это, у нас не хватает на это ни сил, ни времени, мы только строим памятники — все больше, все выше, все дешевле, а помнить — помнить мы уже не можем. Но ты-

то ведь другой, потому-то я и пришел к тебе издалека, не веря в то, что ты существуешь на самом деле. Так неужели я тебе не нужен? Нет, я буду говорить правду. Боюсь, что ты мне тоже не нужен. Мы увидели друг друга, но ближе мы не стали, а должно было случиться совсем не так. Может быть, это они стоят между нами? Их много, я один, но я — один из них, ты, наверное, не различаешь меня в толпе, а может быть, меня и различать не стоит. Может быть, я сам придумал те человеческие качества, которые должны нравиться тебе, но не тебе, какой ты есть, а тебе, каким я тебя придумал...

Из-за горизонта вдруг медленно всплыли яркие белые комочки света, повисли, распухая, и сразу же справа под утесом, под нависшими скалами суматошно забегали лучи прожекторов, заметались по небу, застревая в слоях тумана. Световые комочки над горизонтом все распухали, растягивались, обратились в белесые облачка и погасли. Через минуту погасли и прожектора.

— Они боятся, — сказал Перец. — Я тоже боюсь. Но я боюсь не только тебя, я еще боюсь и за тебя. Ты ведь их еще не знаешь. Впрочем, я их тоже знаю очень плохо. Я знаю только, что они способны на любые крайности, на самую крайнюю степень тупости и мудрости, жестокости и жалости, ярости и выдержки. У них нет только одного: понимания. Они всегда подменяли понимание какими-нибудь суррогатами — верой, неверием, равнодушием, пренебрежением. Как-то всегда получалось, что это проще всего. Проще поверить, чем понять. Проще разочароваться, чем понять. Проще плюнуть, чем понять. Между прочим, я завтра уезжаю, но это еще ничего не значит. Здесь я не могу помочь тебе, здесь все слишком прочно, слишком устоялось. Я здесь слишком уж заметно лишний, чужой. Но точку приложения сил я еще найду, не беспокойся. Правда, они могут необратимо загадить тебя, но на это тоже надо время и немало: им ведь еще нужно найти самый эффективный, экономичный и главное простой способ. Мы еще поборемся, было бы за что бороться... До свидания.

Перец поднялся с колен и побрел назад, через кусты, в парк, на аллею. Он попытался найти чемодан и не нашел. Тогда он вернулся на главную улицу, пустую и освещенную только луной. Был уже второй час ночи, когда он остановился перед приветливо раскрытой дверью библиотеки Управления. Окна были завешены тяжелыми шторами, а внутри она была освещена ярко, как танцевальный павильон. Паркет разохся и отчаянно скрипел,

и вокруг были книги. Стеллажи ломились от книг, книги горами лежали на столах и по углам, и, кроме Переца и книг, в библиотеке не было ни души.

Перец опустил в большое старое кресло, вытянул ноги и, откинувшись, покойно положил руки на подлокотники. Ну, что стоите, сказал он книгам. Бездельники! Разве для этого вас писали? Доложите, доложите-ка мне, как идет сев, сколько посеяно? Сколько посеяно: разумного? доброго? вечного? И какие виды на урожай? А главное — каковы всходы? Молчите... Вот ты, как тебя... Да-да, ты, двухтомник! Сколько человек тебя прочитало? А сколько поняло? Я очень люблю тебя, старина, ты добрый и честный товарищ. Ты никогда не орал, не хвастался, не бил себя в грудь. Добрый и честный. И те, кто тебя читают, тоже становятся добрыми и честными. Хотя бы на время. Хотя бы сами с собой... Но ты знаешь, есть такое мнение, что для того чтобы шагать вперед, доброта и честность не так уж обязательны. Для этого нужны ноги. И башмаки. Можно даже немытые ноги и нечищенные башмаки. Прогресс может оказаться совершенно безразличным к понятиям доброты и честности, как он был безразличен к этим понятиям до сих пор. Управлению, например, для его правильного функционирования ни честность, ни доброта не нужны. Приятно, желательно, но отнюдь не обязательно. Как латынь для банщика. Как бицепсы для бухгалтера. Как уважение к женщине для Домарощинера... Но все зависит от того, как понимать прогресс. Можно понимать его так, что появляются эти знаменитые «зато»: алкоголик, зато отличный специалист; распутник, зато отличный проповедник; вор ведь, выжига, но зато какой администратор! Убийца, зато как дисциплинирован и предан... А можно понимать прогресс как превращение всех людей в добрых и честных. И тогда мы доживем когда-нибудь до того времени, когда будут говорить: специалист он, конечно, знающий, но грязный тип, гнать его надо...

Слушайте, книги, а вы знаете, что вас больше, чем людей? Если бы все люди исчезли, вы могли бы населять землю и были бы точно такими же, как люди. Среди вас есть добрые и честные, мудрые, многознающие, а также легкомысленные пустышки, скептики, сумасшедшие, убийцы, растлители, дети, унылые проповедники, самодовольные дураки и полуохрипшие крикуны с воспаленными глазами. И вы бы не знали, зачем вы. В самом деле, зачем вы? Многие из вас дают знания, но зачем это знание лесу? Оно не имеет к лесу никакого отношения.

Это как если бы будущего строителя солнечных городов старательно учили бы фортификации, и тогда, как бы он потом ни тшился построить стадион или санаторий, у него все выходило бы какой-нибудь угрюмый редут с флешами, эскарпами и контрэскарпами. То, что вы дали людям, которые пришли в лес, это не знание, это предрассудки...

Другие из вас вселяют неверие и упадок духа. И не потому, что они мрачны, или жестоки, или предлагают оставить надежду, а потому, что лгут. Иногда лгут лучезарно, с бодрыми песнями и лихим посвистом, иногда плаксиво, стеноя и оправдываясь, но — лгут. Почему-то такие книги никогда не сжигают и никогда не изымают из библиотек; не было еще в истории человечества случая, чтобы ложь предавали огню. Разве что случайно, не разобравшись или поверив. В лесу они тоже не нужны. Они нигде не нужны. Наверное, именно поэтому их так много... то есть не поэтому, а потому что их любят... Тьмы горьких истин нам дороже... Что? Кто это тут разговаривает? Ах, это я разговариваю... Так вот я и говорю, что есть еще книги... Что?..

— Тише, пусть спит...

— Чем спать, лучше бы выпил.

— Да не скрипи ты так... Ой, да это же Перец!

— А что нам Перец, ты знай не падай...

— Неухоженный какой-то, жалкий...

— Я не жалкий, — пробормотал Перец и проснулся.

Перед стеллажом, напротив, была библиотечная лесенка. На верхней ее ступени стояла Алевтина из фотолаборатории, а внизу шофер Тузик держал лесенку татуированными руками и смотрел вверх.

— И всегда-то он какой-то неприкаянный, — сказала Алевтина, глядя на Переца. — И не ужинал, наверное. Надо бы его разбудить, пусть хоть водки выпьет... Что, интересно, такие люди видят во сне?

— А вот что я вижу наяву!.. — сказал Тузик, глядя вверх.

— Что-нибудь новое? — спросила Алевтина. — Никогда раньше не видел?

— Да нет, — сказал Тузик. — Нельзя сказать, чтобы особенно новое, но это как в кино бывает — двадцать раз смотришь и все с удовольствием.

На третьей снизу ступеньке лестницы лежали ломти здорового шницеля, на четвертой ступеньке были разложены огурцы и очищенные апельсины, а на пятой

стояла полупустая бутылка и пластмассовый стаканчик для карандашей.

— Ты смотреть смотри, а лесенку держи хорошенько, — сказала Алевтина и принялась доставать с верхних полок стеллажа толстые журналы и выцветшие папки. Она сдувала с них пыль, морщилась, листала страницы, некоторые папки откладывала в сторону, а прочие ставила на прежнее место. Шофер Тузик громко сопел.

— А за позапрошлый год тебе нужно? — спросила Алевтина.

— Мне сейчас одно нужно, — загадочно сказал Тузик. — Вот я сейчас Переца разбуду.

— Не отходи от лестницы, — сказала Алевтина.

— Я не сплю, — сказал Перец. — Я уже давно на вас смотрю.

— Оттуда ничего не видно, — сказал Тузик. — Вы сюда идите, пан Перец, тут все есть: и женщины, и вино, и фрукты...

Перец поднялся, припадая на отсиженную ногу, подошел к лестнице и налил себе из бутылки.

— Что вы видели во сне, Перчик? — спросила Алевтина сверху.

Перец механически взглянул вверх и сейчас же опустил глаза.

— Что я видел... Какую-то чепуху... Разговаривал с книгами.

Он выпил и взял дольку апельсина.

— Подержите-ка минуточку, пан Перец, — сказал Тузик. — Я себе тоже налью.

— Так тебе за позапрошлый год нужно? — спросила Алевтина.

— А как же? — сказал Тузик. Он плеснул себе в стаканчик и стал выбирать огурец. — И за позапрошлый, и за позапозапрошлый... Мне всегда нужно. У меня это всегда было, я без этого жить не могу. Да без этого никто жить не может. Одному больше надо, другому — меньше... Я всегда говорю: чего вы меня учите, такой уж я человек... — Тузик выпил с большим удовольствием и с хрустом закусил огурец. — А так жить невозможно, как я здесь живу. Я вот еще немного потерплю-потерплю, а потом угоню машину в лес и русалку себе поймаю...

Перец держал лестницу и пытался думать о завтрашнем дне, а Тузик, присев на нижнюю ступеньку, принялся рассказывать, как в молодости они с компанией приятелей поймали на окраине парочку, ухажера побили и прогнали, а дамочку попытались использовать. Было

холодно, сыро, по крайней молодости ни у кого ничего не получалось, дамочка плакала, боялась, и приятели один за другим от нее отстали, и только он, Тузик, долго тащился за нею по грязным задворкам, хватал, ругался, и все ему казалось, что вот-вот получится, но никак не получалось, пока он не довел ее до самого ее дома, и там, в темной парадной, прижал к железным перилам и получил, наконец, свое. В Тузиковом изложении случай казался чрезвычайно захватывающим и веселым.

— Так что русалочки от меня не уйдут, — сказал Тузик. — Я своего не упускаю и сейчас не упущу. У меня что на витрине, то и в магазине — без обмана.

У него было смуглое красивое лицо, густые брови, живые глаза и полный рот отличных зубов. Он был очень похож на итальянца. Только вот от ног у него пахло.

— Господи, что делают, что делают, — сказала Алевтина. — Все папки перепутали. На, держи пока эти.

Она наклонилась и передала Тузику кипу папок и журналов. Тузик принял кипу, перебрал несколько страниц, почитал про себя, шевеля губами, пересчитал папки и сказал:

— Еще две штуки нужно.

Перец все держал лестницу и смотрел на свои сжатые кулаки. Завтра в это время меня уже здесь не будет, думал он. Я буду сидеть рядом с Тузиком в кабине, будет жарко, металл еще только начнет остывать. Тузик включит фары, развалится поудобнее, высунув левый локоть в окно, и примется рассуждать о мировой политике. Больше я ему ни о чем не дам рассуждать. Пусть он останавливается возле каждой закуской, пусть берет каких угодно попутчиков, пусть даже сделает крюк, чтобы перевезти кому-нибудь молотилку из ремонта. Но рассуждать я ему дам только о мировой политике. Или буду расспрашивать про разные автомобили. Про нормы расхода горючего, про аварии, про убийства взяточников-инспекторов. Он хороший рассказчик, и никогда не поймаешь, врет он или говорит правду...

Тузик выпил еще порцию, причмокнул, поглядел на Алевтинины ноги и стал рассказывать дальше, ерзая, выразительно жестикулируя и заливаясь жизнерадостным смехом. Скрупулезно придерживаясь хронологии, он рассказывал историю своей половой жизни, как она протекала из года в год, из месяца в месяц. Повариха из концентрационного лагеря, где он сидел за кражу бумаги в голодное время (повариха приговаривала: «Ну, не подкачай, Тузик, ну, смотри!...»), дочка политического заклю-

ченного из того же лагеря (ей было все равно — кто, она была уверена, что ее все равно сожгут), жена одного моряка из портового города, пытавшаяся таким образом отомстить своему кобелю мужу за непрерывные измены. Одна богатая вдова, от которой Тузику потом пришлось убежать ночью в одних кальсонах, потому что она хотела бедного Тузика взять за себя и заставить торговать наркотиками и стыдными медицинскими препаратами. Женщины, которых он возил, когда работал шофером такси: они платили ему по монете с гостя, а в конце ночи — натурой («...я ей говорю: что же это ты, а обо мне кто подумает — ты вот уже с четырьмя, а я еще ни с одной...»). Потом жена, пятнадцатилетняя девочка, которую он взял за себя по специальному разрешению властей — она родила ему двойню и в конце концов ушла от него, когда он попытался расплачиваться ею с приятелями за приятелевых любовниц. Женщины... девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...

— Так что никакой я не развратник, — заключил он. — Просто я темпераментный мужчина, а не какой-нибудь слабосильный импотент...

Он допил спиртное, забрал папки и, не простившись, ушел, скрипя паркетом и насвистывая, странно сутулясь, похожий неожиданно не то на паука, не то на первобытного человека. Перец беспомощно смотрел ему вслед, когда Алевтина сказала:

— Дайте мне руку, Перчик.

Она присела на верхней ступеньке, опустила руки ему на плечи и, тихонько взвизгнув, прыгнула вниз. Он поймал ее под мышки и опустил на пол, и некоторое время они стояли близко друг к другу, лицом к лицу. Она держала руки у него на плечах, а он держал ее под мышками.

— Меня из гостиницы выгнали, — сказал он.

— Я знаю, — сказала она. — Пойдемте ко мне, хотите?

Она была добрая и теплая и смотрела ему в глаза спокойно, хотя и без особой уверенности. Глядя на нее, можно было представить себе много добрых, теплых и сладких картин, и Перец жадно проглядел все эти картины одну за другой и попытался представить самого себя рядом с нею, но вдруг почувствовал, что это не получается: вместо себя он видел Тузика, красивого, наглого, точного в движениях и пахнущего ногами.

— Да нет, спасибо, — сказал он и отнял от нее руки. — Я уж как-нибудь так.

Она сейчас же повернулась и принялась собирать остатки еды на газетный лист.

— А зачем же — так? — сказала она. — Я вам могу на диване постелить. До утра поспите, а утром найдем вам комнату. Нельзя же каждую ночь сидеть в библиотеке.

— Спасибо, — сказал Перец. — Только завтра я уезжаю.

Она изумленно оглянулась на него.

— Уезжаете? В лес?

— Нет, домой.

— Домой... — Она медленно заворачивала еду в газету. — Но ведь вы же все время хотели попасть в лес, я сама слышала.

— Да видите ли, я хотел... Но меня туда не пускают. Не знаю даже почему. А в Управлении мне делать нечего. Вот я и договорился... Тузик меня завтра отвезет. Сейчас уже три часа. Пойду в гараж, заберусь в Тузиков грузовик и подожду там до утра. Так что вы не беспокойтесь...

— Значит, будем прощаться... А то, может, пойдете все-таки?

— Спасибо, но я лучше в машине... Prospать боюсь. Тузик ведь ждать не станет.

Они вышли на улицу и рука об руку пошли к гаражу.

— Значит, вам не понравилось, что Тузик рассказывал? — спросила она.

— Нет, — сказал Перец. — Совсем не понравилось. Не люблю, когда об этом рассказывают. Зачем? Стыдно как-то... и за него стыдно, и за вас стыдно, и за себя... За всех. Слишком бессмысленно все это. Как от большой скуки.

— Чаще всего это и бывает от большой скуки, — сказала Алевтина. — А за меня вы не стыдитесь, я к этому равнодушна. Мне это совершенно безразлично... Ну вот, вам сюда. Поцелуйте меня на прощание.

Перец поцеловал ее, ощущая какое-то смутное сожаление.

— Спасибо, — сказала она, повернулась и быстро пошла в другую сторону, Перец зачем-то помахал ей вслед рукой.

Потом он вошел в гараж, освещенный синими лампочками, перешагнул через храпевшего на вытащенном автомобильном сиденье охранника, нашел Тузиков грузовик и забрался в кабину. Здесь пахло резиной, бензином, пылью. На ветровом стекле растопырившись покачивался Микки-Маус. Хорошо, подумал Перец, уютно.

Надо было сразу сюда идти. Вокруг стояли молчаливые машины, темные, пустые. Громко храпел охранник. Машины спали, охранник спал, и спало все Управление. И Алевтина раздевалась перед зеркалом в своей комнате рядом с расстеленной кроватью, большой двуспальной, мягкой, жаркой... Нет, об этом не надо. Потому что днем мешают болтовня, стук «мерседеса», весь деловой бессмысленный хаос, а сейчас нет ни искоренения, ни проникновения, ни охраны, ни прочих зловещих глупостей, а есть сонный мир над обрывом, призрачный, как все сонные миры, невидимый, и неслышный, и нисколько не более реальный, чем лес. Лес сейчас даже более реален: лес ведь никогда не спит. А может быть, он спит и всех нас видит во сне. Мы — сон леса. Атавистический сон. Грубые призраки его охладевшей сексуальности...

Перец лег скорчившись и подсунул под голову скомканный плащ. Микки-Маус тихонько покачивался на ниточке. При виде этой игрушки девушки всегда вскрикивали: «Ах какой хорошенький!», а шофер Тузик им отвечал: «Что на витрине, то и в магазине». Рычаг передач упирался Перцу в бок, и Перец не знал, как его убрать. И можно ли его убрать. Может быть, если его убрать, машина поедет. Сначала медленно, потом все быстрее, прямо на спящего охранника, а Перец будет метаться по кабине и нажимать на все, что попадется под руки и под ноги, а охранник все ближе, уже виден его раскрытый храпящий рот. Потом машина подпрыгивает, круто сворачивает, врывается в стену гаража, и в проломе показывается синее небо...

Перец проснулся и увидел, что уже утро. В распахнутых дверях гаража курили механики, и была видна площадь перед гаражом, желтая от солнца. Было семь часов. Перец сел, потер лицо и посмотрелся в зеркальце заднего вида. Побриться бы надо, подумал он, но не вылез из машины. Тузика еще не было, и надо было ждать его здесь, на месте, потому что все шоферы забывчивы и всегда уезжают без него. Есть два правила общения с шоферами: во-первых, никогда не вылезай из машины, если можешь терпеть и ждать; и во-вторых, никогда не спорь с шофером, который тебя везет. В крайнем случае притворись спящим...

Механики в воротах бросили окурки, тщательно растерли их носками ботинок и вошли в гараж. Одного Перец не знал, а второй был, оказывается, вовсе не механик, а менеджер. Они прошли рядом, причем менеджер задержался возле кабины и, положив руку на крыло,

почему-то заглянул под грузовик. Потом Перец услышал, как он распоряжается: «Ну пошевеливайся, давай домкрат». — «А он где?» — спросил незнакомый механик. «...! — спокойно сказал менеджер. — Под сиденьем посмотри». — «Откуда же мне знать, — раздраженно сказал механик. — Я же вас предупреждал, что я официант...» Некоторое время было тихо, потом водительская дверца кабины открылась и появилось хмурое расстроенное лицо механика-официанта. Он посмотрел на Переца, оглядел кабину, зачем-то подергал руль, а потом запустил обе руки под сиденье и начал там греметь.

— Это, что ли, домкрат? — спросил он негромко.

— Н-нет, — сказал Перец. — Это, по-моему, разводной ключ.

Механик поднес разводной ключ к глазам, осмотрел его, поджав губы, положил на подножку и снова запустил руки под сиденье.

— Это? — спросил он.

— Нет, — сказал Перец. — Это я могу вам совершенно точно сказать. Это арифмометр. Домкраты не такие.

Механик-официант, сморщив низкий лоб, разглядывал арифмометр.

— А какие? — спросил он.

— Н-ну... Такая железная палка... Они разные бывают. У них такая подвижная ручка...

— А вот тут есть ручка. Как у кассы.

— Нет, это совсем другая ручка.

— А если эту повертеть, что будет?

Перец совсем затруднился. Механик подождал, со вздохом положил арифмометр на подножку и снова полез под сиденье.

— Может, вот это? — сказал он.

— Пожалуй. Очень похоже. Только там должна быть еще такая железная спица. Толстая.

Механик нашел и спицу. Он покачал ее на ладони, сказал: «Ладно, отнесу ему это для начала» — и ушел, оставив дверцу открытой. Перец закурил. Где-то сзади звякало железо и бранились. Потом грузовик начал покрываться и вздрагивать.

Тузика все не было, но Перец не беспокоился. Он представлял себе, как они покатают по главной улице Управления, и никто не будет на них смотреть. Потом они свернут на проселок, потащат за собой кучу желтой пыли, а солнце будет подниматься все выше, оно будет справа от них и скоро начнет припекать, а они свернут с проселка на шоссе, и оно будет длинное, ровное, блестя-

щее и скучное, и у горизонта будут струиться миражи, похожие на большие сверкающие лужи...

Мимо кабины снова прошел механик, катя перед собой тяжелое колесо. Колесо разогналось на бетонном полу, и видно было, что механик хочет его остановить и прислонить к стене, но колесо только слегка свернуло и грузно выкатилось во двор, а механик неловко побежал за ним, все больше отставая. Потом они скрылись из глаз, и во дворе механик громко и отчаянно закричал. Послышался топот многих ног, и мимо ворот с криками: «Лови его! Заходи справа!» — пробежали еще люди.

Перец заметил, что машина стоит не так ровно, как раньше, и выглянул из кабины. Менеджер возился возле заднего колеса.

— Здравствуйте, — сказал Перец. — Что это вы...

— А, Перец, дорогой! — радостно вскричал менеджер, не прекращая работы. — Да вы сидите, сидите, не вылезайте! Вы нам не мешаете. Заело, дрянь проклятая... Одно вот хорошо снялось, а второе заело...

— Как заело? Испортилось что-нибудь?

— Не думаю, — сказал менеджер, выпрямляясь и вытирая лоб тыльной стороной ладони, в которой он держал ключ. — Просто приржавело, наверное, немножко. Ну я его сейчас, быстро... А потом мы с вами в шахматишки расставим. Как вы полагаете?

— В шахматишки? — сказал Перец. — А где Тузик?

— Тузик-то? То есть Туз? Туз у нас теперь старший лаборант. Направлен он в лес. Туз у нас больше не работает. А зачем он вам?

— Да так... — тихо сказал Перец. — Просто я предполагал... — Он открыл дверцу и спрыгнул на цементный пол.

— Да вы зря беспокоитесь, — сказал менеджер. — Сидели бы там, вы же не мешаете.

— Да что же сидеть, — сказал Перец. — Ведь эта машина не поедет?

— Нет, не поедет. Без колес она не может, а колеса надо снять... Надо же, как заело! А, чтоб тебя... Ладно, механики снимут. Пойдемте-ка мы лучше расставим.

Он взял Переца под руку и отвел его в свой кабинет. Там они сели за стол, менеджер отодвинул в сторону кучу бумаг, поставил шахматы и выключил телефон.

— С часами будем играть? — спросил он.

— Да я как-то даже не знаю, — сказал Перец.

В кабинете было сумеречно и холодно, сизый табачный дым плавал между шкафами, как студенистые водо-

росли, а менеджер — бородавчатый, раздутый, пестрящий разноцветными пятнами, — словно гигантский осьминог, двумя волосатыми щупальцами вскрыл лакированную раковину шахматной доски и принялся хлопотливо извлекать из нее деревянные внутренности. Круглые глаза его тускло поблескивали, и правый, искусственный, был все время направлен в потолок, а левый, живой, как пыльная ртуть, свободно катался в орбите, устремляясь то на Переца, то на дверь, то на доску.

— С часами, — решил наконец менеджер. Он вынул из шкафа часы, завел их и, нажав кнопку, сделал первый ход.

Солнце поднималось. На дворе кричали: «Заходи справа!» В восемь часов менеджер в трудном положении глубоко задумался и вдруг потребовал завтрак на двоих. Из гаража с рокотом выкатывались автомобили. Менеджер проиграл одну партию и предложил другую. Они плотно позавтракали: выпили по две бутылки кефиру и съели по черствому шницелю. Менеджер проиграл вторую партию, с преданностью и восхищением поглядел на Переца живым глазом и предложил третью. Он разыгрывал все время один и тот же ферзевый гамбит, не отклоняясь ни на ход от выбранного раз и навсегда проигрышного варианта. Он словно отработывал поражение. Перец переставлял фигуры совершенно автоматически, ощущая себя тренировочной машиной: ни в нем, ни в мире не было ничего, кроме шахматной доски, кнопки часов и жестко заданной программы действий.

Без пяти девять репродуктор внутреннего вещания хрюкнул и объявил бесполом голосом: «Всем работникам Управления находиться у телефонов. Ожидается обращение Директора к сотрудникам». Менеджер стал очень серьезным, включил телефон, снял трубку и приложил ее к уху. Теперь в потолок были направлены оба его глаза. «Мне можно идти?» — спросил Перец. Менеджер страшно нахмурился, прижал палец к губам, а потом замахал на Переца рукой. В телефонной трубке раздалось гнусавое кваканье. Перец на цыпочках вышел.

В гараже было много народу. Лица у всех были строгие, значительные, даже торжественные. Никто не работал, все прижимали к ушам телефонные трубки. Только на ярко освещенном дворе одинокий официант-механик, потный, красный, растерзанный, хрипло дыша, гонялся за колесом. Происходило что-то очень важное. Нельзя же так, подумал Перец, нельзя, я все время в стороне, я никогда ничего не знаю: может быть, в этом

вся беда; может быть, на самом деле все правильно — но я не знаю, что к чему, и поэтому все время оказываюсь лишним.

Он заскочил в будку ближайшего телефона-автомата, сорвал трубку, жадно прислушался, но в трубке были только гудки. Тогда он почувствовал внезапный страх, зудящее опасение, что он опять куда-то опаздывает, что опять где-то что-то всем раздадут, а он, как всегда, останется без. Прыгая через канавы и ямы, он пересек строительную площадку, шархнул от застывшего ему дорогу охранника с пистолетом в одной руке и с телефонной трубкой в другой и по приставной лестнице вскарабкался на недостроенную стену. Во всех окнах он успел увидеть сосредоточенно застывших людей с телефонными трубками, затем над ухом у него пронзительно взвизгнуло, и почти сразу он услышал за спиной револьверный выстрел, спрыгнул вниз, в кучу мусора, и бросился к служебному входу. Дверь была заперта. Он несколько раз рванул ручку, ручка сломалась. Он отшвырнул ее в сторону и секунду соображал, что делать дальше. Рядом с дверью было раскрытое узкое окно, и он влез в него, весь перепачкавшись в пыли и сорвав ногти на пальцах.

В комнате, куда он попал, было два стола. За одним сидел с телефонной трубкой Домарощинер. Лицо у него было каменное, глаза закрыты. Он прижимал трубку к уху плечом и что-то быстро записывал карандашом в большом блокноте. Второй стол был пуст, и на нем стоял телефон. Перец схватил трубку и стал слушать.

Шорох. Потрескивания. Незнакомый писклявый голос: «...Управление может реально распоряжаться только ничтожным кусочком территории в океане леса, омывающего континент. Смысла жизни не существует и смысла поступков тоже. Мы можем чрезвычайно много, но мы до сих пор так и не поняли, что из того, что мы можем, нам действительно нужно. Он даже не противостоит, он попросту не замечает. Если поступок принес вам удовольствие — хорошо, если не принес — значит, он был бессмысленным...» Снова шорох и потрескивания. «...противостоим миллионами лошадиных сил, десятками вездеходов, дирижаблей и вертолетов, медицинской наукой и лучшей в мире теорией снабжения. У Управления обнаруживаются по крайней мере два крупных недостатка. В настоящее время акции подобного рода могут иметь далеко идущие шифровки на имя Герострата, чтобы он оставался нашим любимейшим другом. Оно совершенно не способно созидать, не разрушая авторитета и

неблагодарности...» Гудки, свист, звуки, похожие на надрывный кашель. «...Оно очень любит так называемые простые решения, библиотеки, внутреннюю связь, географические и другие карты. Пути, которые оно почитает кратчайшими, чтобы думать о смысле жизни сразу за всех людей, а люди этого не любят. Сотрудники сидят, спустив ноги в пропасть, каждый на своем месте, толкаются, острят и швыряют камешки, и каждый старается швырнуть потяжелее, в то время как расход кефира не помогает ни взрастить, ни искоренить, ни в должной мере законспирировать лес. Я боюсь, что мы не поняли даже, что мы, собственно, хотим, а нервы, в конце концов, тоже надлежит тренировать, как тренируют способность к восприятию, и разум не краснеет и не мучается угрызениями совести, потому что вопрос из научного, из правильно поставленного, становится моральным. Он лживый, он скользкий, он непостоянный и притворяется. Но кто-то же должен раздражать и не рассказывать легенды, а тщательно готовиться к пробному выходу. Завтра я приму вас опять и посмотрю, как вы подготовились. Двадцать два ноль-ноль — радиологическая тревога и землетрясение, восемнадцать ноль-ноль — совещание свободного от дежурства персонала у меня, как это говорится, на ковре, двадцать четыре ноль-ноль — общая эвакуация...»

В трубке послышался звук как от льющейся воды. Потом все стихло, и Перец заметил, что Домарошцинер смотрит на него строгими обвиняющими глазами.

— Что он говорит? — спросил Перец шепотом. — Я ничего не понимаю.

— И не странно, — сказал Домарошцинер ледяным тоном. — Вы взяли не свою трубку. — Он опустил глаза, записал что-то в блокноте и продолжал: — Это, между прочим, абсолютно недопустимое нарушение правил. Я настаиваю, чтобы вы положили трубку и ушли. Иначе я вызову официальных лиц.

— Хорошо, — сказал Перец. — Я уйду. Но где моя трубка? Это — не моя. А где тогда моя?

Домарошцинер не ответил. Глаза его вновь закрылись, и он снова прижал трубку к уху. До Переца донеслось кваканье.

— Я спрашиваю, где моя трубка? — крикнул Перец. Теперь он больше ничего не слышал. Был шорох, было потрескивание, а потом раздались частые гудки отбоя. Тогда он бросил трубку и выбежал в коридор. Он распахивал двери кабинетов и всюду видел знакомых и незна-

комых сотрудников. Одни сидели и стояли, застывши в полной неподвижности, похожие на восковые фигуры со стеклянными глазами; другие расхаживали из угла в угол, переступая через телефонный провод, тянувшийся за ними; третьи лихорадочно писали в толстых тетрадах, на клочках бумаги, на полях газет. И каждый плотно прижимал к уху трубку, словно боясь пропустить хотя бы слово. Свободных телефонов не было. Перец попытался отобрать у одного из застывших в трансе сотрудников, молодого парня в рабочем комбинезоне, но тот сейчас же ожил, завизжал и принялся лягаться, и тогда остальные зашикали, замахали руками, а кто-то истерически крикнул: «Безобразие! Вызовите стражу!»

— Где моя трубка? — кричал Перец. — Я такой же человек, как и вы, я имею право знать! Дайте мне послушать! Дайте мне мою трубку!

Его выталкивали и запирали за ним двери. Он добрался до самого последнего этажа, где у входа на чердак, рядом с механическим отделением никогда не работающего лифта, сидели за столиком два дежурных механика и играли в крестики-нолики. Перец, задыхаясь, прислонился к стене. Механики поглядели на него, рассеянно ему улыбнулись и снова склонились над бумагой.

— У вас тоже нет своей трубки? — спросил Перец.

— Есть, — сказал один из механиков. — Как не быть? До этого мы еще не дошли.

— А что же вы не слушаете?

— А ничего не слышно, чего слушать-то.

— Почему не слышно?

— А мы провода перерезали.

Перец скомканным платком обтер лицо и шею, подождал, пока один механик выиграл у другого, и спустился вниз. В коридорах стало шумно. Двери распахивались, сотрудники выходили покурить. Жужжали оживленные, возбужденные, взволнованные голоса. «Я же вам достоверно говорю: эскимо изобрели эскимосы. Что? Но, в конце концов, я просто читал в одной книге... А вы сами не слышите созвучия? Эс-ки-мос. Эс-ки-мо. Что?..» — «Я смотрел в каталоге Ивера: сто пятьдесят тысяч франков, и это в пятьдесят шестом году. Представляете, сколько она стоит сегодня?» — «Странные сигареты какие-то. Говорят, теперь табак в сигареты не кладут вовсе, а берут специальную бумагу, крошат ее и пропитывают никотином...» — «От томатов тоже бывает рак. От томатов, от трубки, от яиц, от шелковых перчаток...» — «Как вы спали? Представьте, я всю ночь не мог

заснуть: непрерывно грохает эта баба. Слышите? И вот так всю ночь... Здравствуйте, Перец! А говорят, вы уехали... Молодец, что остались...» — «...нашли наконец вора, помните, вещи всё пропадали? Так это оказался дискобол из парка — знаете статую у фонтана? У него еще на ноге написано неприлично...» — «Перчик, будь другом, дай пять монет до полочки, до завтра то есть...» — «А он за нею не ухаживал. Она сама на него бросалась. Прямо при муже. Вот вы не верите, а я своими глазами видел...»

Перец спустился в свой кабинет, поздоровался с Кимом и умылся. Ким не работал. Он сидел, спокойно положив руки на стол, и смотрел на кафельную стену. Перец снял чехол с «мерседеса», воткнул вилку и выжидательно оглянулся на Кима.

— Нельзя сегодня работать, — сказал Ким. — Какой-то болван ходит и все чинит. Сижу и не знаю, что теперь делать.

Тут Перец заметил на своем столе записку. «Перцу. Доводим до сведения, что ваш телефон находится в кабинете 771». Подпись неразборчива. Перец вздохнул.

— Нечего тебе вздыхать, — сказал Ким. — Надо на работу вовремя приходить.

— Я же не знал, — сказал Перец. — Я уехать сегодня намеревался.

— Сам виноват, — сухо сказал Ким.

— Все равно я немножко послушал. И ты знаешь, Ким, я ничего не понял. Почему это так?

— Немножко послушал! Ты дурак. Ты идиот. Ты упустил такой случай, что мне даже говорить с тобой не хочется. Придется теперь знакомить тебя с директором. Просто из жалости.

— Познакомь, — сказал Перец. — Ты знаешь, — продолжал он, — иногда мне казалось, будто я что-то улавливаю, какие-то обрывки мыслей, по-моему, очень интересных, но вот сейчас я пытаюсь вспомнить — и ничего...

— А чей это был телефон?

— Я не знаю. Это там, где Домарощинер сидит.

— А-а... Правильно, она сейчас рождает. Не везет Домарощинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать. ...Да, Перчик, тебе женская трубка попалась. Так что я даже не знаю, чем тебе помочь... Подряд вообще никто не слушает, женщины, наверное, тоже. Ведь директор обращается ко всем сразу, но одновременно и к каждому в отдельности. Понимаешь?

— Боюсь, что...

— Я, например, рекомендую слушать так. Разверни речь директора в одну строку, избегая знаков препинания, и выбирай слова случайным образом, мысленно бросая кости домино. Тогда, если половинки костей совпадают, слово принимается и выписывается на отдельном листе. Если не совпадает — слово временно отвергается, но остается в строке. Там есть еще некоторые тонкости, связанные с частотой гласных и согласных, но это уже эффект второго порядка. Понимаешь?

— Нет, — сказал Перец. — То есть да. Жалко, я не знал этого метода. И что же он сказал сегодня?

— Это не единственный метод. Есть еще, например, метод спирали с переменным ходом. Этот метод довольно груб, но если речь идет только о хозяйственно-экономических проблемах, то он очень удобен, потому что прост. Есть метод Стивенсон-заде, но он требует электронных приспособлений... Так что, пожалуй, лучше всего метод домино, а в частных случаях, когда словарь специализирован и ограничен, — метод спирали.

— Спасибо, — сказал Перец. — А о чем сегодня директор говорил?

— Что значит — о чем?

— Как?.. Ну... о чем? Ну что он... сказал?

— Кому?

— Кому? Ну тебе, например.

— К сожалению, я не могу тебе об этом рассказывать. Это закрытый материал, а ты все-таки, Перчик, внештатный сотрудник. Так что не сердись.

— Нет, я не сержусь, — сказал Перец. — Я только хотел бы узнать... Он говорил что-то о лесе, о свободе воли... Я давеча камешки бросал в обрыв, ну просто так, без всякой цели, так он и об этом что-то говорил.

— Ты мне этого не рассказывай, — сказал Ким нервно. — Это меня не касается. Да и тебя тоже, раз это была не твоя трубка.

— Ну подожди, о лесе он что-нибудь говорил?

Ким пожал плечами.

— Ну, естественно. Он никогда ни о чем другом и не говорит. И давай прекратим этот разговор. Расскажи лучше, как ты уезжал.

Перец рассказал.

— Зря ты его все время обыгрываешь, — сказал Ким задумчиво.

— Я ничего не могу сделать. Я ведь довольно силь-

ный шахматист, а он просто любитель... И потом, он играет как-то странно...

— Это неважно. Я бы на твоём месте как следует подумал. Вообще ты мне что-то не нравишься последнее время... Доносы на тебя пишут... Знаешь что, завтра я тебе устрою свидание с директором. Пойди к нему и решительно объяснись. Я думаю, он тебя отпустит. Ты только подчеркни, что ты лингвист, филолог, что попал сюда случайно, упомяни, как бы между прочим, что очень хотел попасть в лес, а теперь раздумал, потому что считаешь себя некомпетентным.

— Хорошо.

Они помолчали. Перец представил себя лицом к лицу с директором и ужаснулся. Метод домино, подумал он. Стивенсон-заде...

— И главное, не стесняйся плакать, — сказал Ким. — Он это любит.

Перец вскочил и взволнованно прошёлся по комнате.

— Господи, — сказал он. — Хоть бы знать, как он выглядит. Какой он.

— Какой? Невысокого роста, рыжеватый...

— Домарощинер говорил, что он настоящий великан.

— Домарощинер дурак. Хвастун и враль. Директор — рыжеватый человек, полный, на правой щеке небольшой шрам. Когда ходит, слегка косолапит, как моряк. Собственно, он и есть бывший моряк.

— А Тузик говорит, что он сухопарый и носит длинные волосы, потому что у него нет одного уха.

— Это какой ещё Тузик?

— Шофер, я же тебе рассказывал.

Ким желчно засмеялся.

— Откуда шофер Тузик может все это знать? Слушай, Перчик, нельзя же быть таким доверчивым.

— Тузик говорит, что был у него шофером и несколько раз его видел.

— Ну и что? Врет, вероятно. Я был у него секретарем, а не видел его ни разу.

— Кого?

— Директора. Я долго был у него секретарем, пока не защитил диссертации.

— И ни разу его не видел?

— Ну естественно! Ты воображаешь, что это так просто?

— Подожди, откуда же ты знаешь, что он рыжеватый и так далее?

Ким покачал головой.

— Перчик, — сказал он ласково. — Душенька. Никто никогда не видел атома водорода, но все знают, что у него есть одна электронная оболочка определенных характеристик и ядро, состоящее в простейшем случае из одного протона.

— Это верно, — сказал Перец вяло. Он чувствовал, что устал. — Значит, я его завтра увижу.

— Нет уж, ты спроси меня что-нибудь полегче, — сказал Ким. — Я устрою тебе встречу, это я тебе гарантирую. А уж что ты там увидишь и кого — этого я не знаю. И что ты там услышишь, я тоже не знаю. Ты ведь меня не спрашиваешь, отпустит тебя директор или нет, и правильно делаешь, что не спрашиваешь. Я ведь не могу этого знать, верно?

— Но это все-таки разные вещи, — сказал Перец.

— Одинаковые, Перчик, — сказал Ким. — Уверю тебя, одинаковые.

— Я, наверное, кажусь очень бестолковым, — печально сказал Перец.

— Есть немножко.

— Просто я сегодня плохо спал.

— Нет, ты просто непрактичен. А почему ты, собственно, плохо спал?

Перец рассказал. И испугался. Добродушное лицо Кима вдруг налилось кровью, волосы взъерошились. Он зарычал, схватил телефонную трубку, бешено набрал номер и рывкнул:

— Комендант? Что это значит, комендант? Как вы смели выселить Переца? Ма-ал-чать! Я вас не спрашиваю, что там у него кончилось, я вас спрашиваю, как вы смели выселить Переца! Что? Ма-ал-чать! Вы не смеете! Что? Болтовня, вздор! Ма-ал-чать! Я вас растопчу! Вместе с вашим Клавдий-Октавианом! Вы у меня сортиры чистить будете, вы у меня в лес поедете в двадцать четыре часа, в шестьдесят минут! Что? Так... Так... Что? Так... Правильно. Это другой разговор. И белье самое лучшее... Это уж ваше дело. Хоть на улице... Что? Хорошо. Ладно. Ладно. Благодарю вас. Извините за беспокойство... Ну естественно... Большое спасибо. До свидания.

Он положил трубку.

— Все в порядке, — сказал он. — Прекрасный все-таки человек. Иди отдыхай. Будешь жить у него в квартире, а он с семьей переселится в твой бывший номер, иначе он, к сожалению, не может... И не спорь, умоляю тебя, не спорь, это совершенно не наше с тобой дело. Он сам так

решил. Иди-иди, это приказ. Я тебе еще позвоню насчет директора...

Перец пошатываясь вышел на улицу, постоял немного, шурясь от солнца, и отправился в парк искать свой чемодан. Он не сразу нашел его, потому что чемодан крепко держал в мускулистой гипсовой руке прифонтанный вор-дискбол с неприличной надписью на левом бедре. Собственно, надпись не была такой уж неприличной. Там было химическим карандашом написано: «Девочки, бойтесь сифилиса».

Глава четвертая

Кандид вышел затемно, чтобы вернуться к обеду. До Выселок было километров десять, дорога была знакомая, хорошо утоптанная, вся в голых проплешинах от пролитого травобоя. Считалось, что ходить по ней безопасно. Справа и слева лежали теплые бездонные болота, из ржавой пахучей воды торчали сгнившие черные ветки, округлыми блестящими куполами поднимались липкие шляпки гигантских болотных поганок, иногда возле самой дороги попадались покинутые раздавленные дома водяных пауков. Что делается на болотах, с дороги увидеть было трудно: из плотного переплетения древесных крон над головой свешивались и уходили в топь торопливыми корнями мириады толстых зеленых колонн, канатов, зыбких, как паутина, нитей — жадная наглая зелень стояла стеной, похожей на туман, скрывала всё, кроме запахов и звуков. Время от времени в желто-зеленом сумраке что-то обрывалось и с протяжным шумом падало, раздавался густой жирный всплеск, болото вздыхало, урчало, чавкало, и снова наступала тишина, а минуту спустя сквозь зеленую завесу на дорогу выбиралась утробная вонь потревоженной бездны. Говорили, что по этим бездонным местам человек пройти не может, но зато мертвяки ходят везде, на то они и мертвяки — не принимает их болото. На всякий случай Кандид выломал себе дубину, не потому что боялся мертвяков, мертвяки мужчине, как правило, не опасны, но о лесной и болотной жизни ходили всякие слухи, и некоторые из них при всей своей нелепости могли оказаться верными.

Он отошел от деревни шагов на пятьсот, когда его нагнала Нава. Он остановился.

— Ты почему без меня ушел? — спросила Нава немного запыхавшимся голосом. — Я же тебе говорила,

что я с тобой уйду, я одна в этой деревне не останусь, нечего мне одной там делать, там меня никто и не любит, а ты мой муж, ты должен меня взять с собой, это еще ничего не значит, что у нас нет детей, все равно ты мой муж, а я твоя жена, а дети у нас с тобой еще появятся... Просто, я честно тебе скажу, я пока еще не хочу детей, непонятно мне, зачем они и что мы с ними будем делать... Мало ли что там староста говорит или этот твой старец, у нас в деревне совсем не так было: кто хочет, у того дети, а кто не хочет, у того их и нет...

— А ну вернись домой, — сказал Кандид. — Откуда это ты взяла, что я уйду? Я же на Выселки, я же к обеду буду дома...

— Вот и хорошо, вот я с тобой и пойду, а к обеду мы вместе вернемся, обед у меня со вчерашнего дня готов, я его так спрятала, что его даже этот твой старик не найдет...

Кандид пошел дальше. Спорить было бесполезно, пусть идет. Он даже повеселел, ему захотелось с кем-нибудь сцепиться, помахать дубиной, сорвать на ком-нибудь тоску, и злость, и бессилие, накопленное за сколько-то там лет. На ворах. Или на мертвяках — какая разница? Пусть девчонка идет. Тоже мне, жена, детей она не хочет. Он размахнулся как следует, ахнул дубиной по сырой коряге у обочины и чуть не свалился: коряга распалась в труху, и дубина проскочила сквозь нее, как сквозь тень. Несколько юрких серых животных выскочили и, булькнув, скрылись в темной воде.

Нава скакала рядом, то забегая вперед, то отставая. Время от времени она брала Кандида за руку обеими руками и повисала на нем, очень довольная. Она говорила об обеде, который так ловко спрятала от старца, о том, что обед могли бы съесть дикие муравьи, если бы она не сделала так, что муравьям до него в жизни не добраться, о том, что разбудила ее какая-то вредная муха и что, когда она вчера засыпала, он, Молчун, уже храпел, а во сне бормотал непонятные слова, и откуда это ты такие слова знаешь, Молчун, просто удивительно, никто у нас в деревне таких слов не знает, один ты знаешь, и всегда знал, даже когда совсем больной был, и то знал...

Кандид слушал и не слушал, привычный нудный гул отдавался у него в мозгу, он шагал и тупо многословно думал о том, почему он ни о чем не может думать: может, это от бесконечных прививок, которыми только и занимаются в деревне, когда не занимаются болтовней, а может, еще от чего-нибудь... Может быть, это сказывает-

ся весь дремотный, даже не первобытный, а попросту растительный образ жизни, который он ведет с тех незапамятных времен, когда вертолет на полной скорости влетел в невидимую преграду, перекосясь, поломал винты и камнем рухнул в болото... Вот тогда меня, наверное, и выбросило из кабины, подумал он. Выбросило меня тогда из кабины, в тысячный раз подумал он. Ударило обо что-то головой, так я больше и не оправился... а если бы не выбросило, то я бы утонул в болоте вместе с машиной, так что это еще хорошо, что меня выбросило... Его вдруг осенило, что все это — умозаключения, и он обрадовался; ему казалось, что он давно потерял способность к умозаключениям и может твердить только одно: послезавтра, послезавтра...

Он глянул на Наву. Девчонка висела у него на левой руке, смотрела снизу вверх и азартно рассказывала:

— Тут все они сбились в кучу, и стало страшно жарко, ты знаешь ведь, какие они горячие, а луны в ту ночь совсем не было. Тогда мама стала меня подталкивать тихонько, и я проползла на четвереньках у всех под ногами, и мамы уж больше мне видеть не привелось...

— Нава, — сказал Кандид, — опять ты мне эту историю рассказываешь. Ты мне ее уже двести раз рассказывала.

— Ну так и что же? — сказала Нава, удивившись. — Ты какой-то странный, Молчун. Что же мне тебе еще рассказывать? Я больше ничего не помню и не знаю. Не стану же я тебе рассказывать, как мы с тобой на прошлой неделе рыли погреб, ты же это и сам все видел. Вот если бы я рыла погреб с кем-нибудь другим, с Колченогом, например, или с Болтуном... — Она вдруг оживилась: — А знаешь, Молчун, это даже интересно. Расскажи ты мне, как мы с тобою рыли погреб, мне еще никто об этом не рассказывал, потому что никто не видел...

Кандид опять отвлекся. Медленно покачиваясь, проплывали по сторонам желто-зеленые заросли, кто-то сопел и вздыхал в воде, с тонким воем пронесся рой мягких белесых жуков, из которых делают хмельные настойки, дорога под ногами то становилась мягкой от высокой травы, то жесткой от щебня и крошеного камня. Желтые, серые, зеленые пятна — взгляду не за что было зацепиться, и нечего было запоминать. Потом тропа круто свернула влево, Кандид прошел еще несколько шагов и, вздрогнув, остановился. Нава замолчала на полуслове.

У дороги, головой в болоте, лежал большой мертвяк. Руки и ноги его были растопырены и неприятно выверну-

ты, и он был совершенно неподвижен. Он лежал на смятой, пожелтевшей от жары траве, бледный, широкий, и даже издали было видно, как страшно его били. Он был как студень. Кандид осторожно обошел его стороной. Ему стало тревожно. Бой произошел совсем недавно: примятые пожелтевшие травинки на глазах распрямлялись. Кандид внимательно оглядел дорогу. Следов было много, но он в них ничего не понимал, а дорога впереди, совсем близко, делала новый поворот, и что было за поворотом, угадать он не мог. Нава все оглядывалась на мертвяка.

— Это не наши, — сказала она очень тихо. — Наши так не умеют. Кулак все грозитя, но он тоже не умеет, только руками размахивает... И на Выселках так не умеют... Молчун, давай вернемся, а? Вдруг это уроды? Говорят, они тут ходят. Давай вернемся... И чего ты меня на Выселки повел? Что я, Выселок не видала, что ли?

Кандид разозлился. Да что же это такое? Сто раз он ходил по этой дороге и не встречал ничего, что стоило бы запомнить или обдумать. А вот теперь, когда завтра нужно уходить — даже не послезавтра, а завтра, наконец-то! — эта единственная безопасная дорога становится опасной... В Город-то можно пройти только через Выселки. Если в Город вообще можно пройти, если Город вообще существует, то дорога к нему ведет через Выселки...

Он вернулся к мертвяку. Он представил себе, как Колченог, Кулак и Хвост, непрерывно болтая, хвастаясь и грозясь, топчутся возле этого мертвяка, а потом, не переставая грозиться и хвастать, поворачивают от греха назад, в деревню. Он нагнулся и взял мертвяка за ноги. Ноги были еще горячие, но уже не обжигали. Он рывком толкнул грузное тело в болото. Трясина чавкнула, засипела и подалась. Мертвяк исчез, по темной воде побежала и погасла рябь.

— Нава, — сказал Кандид, — иди в деревню.

— Как же я пойду в деревню, — рассудительно сказала Нава, — если ты туда не пойдешь? Вот если бы ты тоже пошел в деревню...

— Перестань болтать, — сказал Кандид. — Сейчас же беги в деревню и жди меня. И ни с кем там не разговаривай.

— А ты?

— Я мужчина, — сказал Кандид, — мне никто ничего не сделает.

— Еще как сделают, — возразила Нава. — Я тебе

говорю: вдруг это уроды? Им ведь все равно, мужчина, женщина, мертвяк, они тебя самого уродом сделают, будешь тут ходить, страшный, а ночью будешь к дереву прирастать... Как же я пойду одна, когда они, может быть, там, сзади?

— Никаких уродов на свете нет, — не очень уверенно сказал Кандид. — Вранье это все...

Он посмотрел назад. Там тоже был поворот, и что было за этим поворотом, угадать он тоже не мог. Нава что-то говорила ему, много, быстро и шепотом, отчего становилось особенно неприятно. Он взял дубину поудобнее.

— Хорошо. Иди со мной. Только держись рядом и, если я буду что-нибудь приказывать, сразу же выполняй. И молчи, закрой рот и молчи до самых Выселок. Пошли.

Молчать она, конечно, не умела. Она действительно держалась рядом, не забегала больше вперед и не отставала, но все время бормотала что-то себе под нос: сначала что-то про уродов, потом про погреб, потом про Колченога, как она с ним тут ходила и он ей сделал дудку... Они миновали опасный поворот, затем миновали еще один опасный поворот, и Кандид уже немного успокоился, когда из высокой травы, прямо из болота, им навстречу молча вышли и остановились люди.

Ну вот, устало подумал Кандид. Как мне не везет. Мне же все время не везет. Он покосился на Наву. Нава трясла головой, лицо ее сморщилось.

— Ты меня им не отдавай, Молчун, — бормотала она, — я не хочу с ними. Я хочу с тобой, не отдавай меня.

Он посмотрел на людей. Их было семеро — все мужчины, все заросшие до глаз и все с громадными суковатыми дубинами. Это были не здешние люди, и одеты они были не по-здешнему, совсем в другие растения. Это были воры.

— Ну так что же вы встали? — глубоким раскатистым голосом сказал вожак. — Подходите, мы дурного не делаем... Если бы вы были мертвяки, тогда, конечно, разговор был бы другой, да никакого разговора вовсе бы и не было, приняли бы мы вас на сучки да на палочки, вот и весь был бы у нас с вами разговор... Куда направляетесь? На Выселки, я понимаю? Это можно, это пожалуйста. Ты, папаша, ты себе иди. А дочку, конечно, нам оставь. Да не жалея, ей с нами лучше будет...

— Нет, — сказала Нава, — я к ним не хочу. Ты, Молчун, так и знай, я к ним не хочу, это же воры...

Воры засмеялись без всякой злобы, привычно.

— А может быть, нас обоих пропустите? — спросил Кандид.

— Нет, — сказал вожак, — обоих нельзя. Тут же кругом сейчас мертвяки, пропадет твоя дочка, подругой славной станет или еще какой-нибудь дрянью, а это нам ни к чему, да и тебе, папаша, ни к чему, сам подумай, если ты человек, а не мертвяк, а на мертвяка ты вроде не похож, хотя, конечно, и человек ты на вид странный...

— Она же еще девчонка, — сказал Кандид, — зачем вам ее обижать?

Вожак удивился:

— Почему же обязательно обижать? Не век же она девчонкой будет, придет время — станет женщиной, не славной там какой-нибудь подругой, а женщиной...

— Это он всё врет, — сказала Нава, — ты ему, Молчун, не верь, ты что-нибудь делай скорее, раз сюда меня привел, а то они меня сейчас заберут, как Колченогову дочку забрали, с тех пор ее так никто и не видел, не хочу я к ним, я лучше этой славной подругой стану... Смотри, какие они дикие да тощие, у них и есть-то, наверное, нечего...

Кандид беспомощно огляделся, а потом в голову ему пришла мысль, показавшаяся ему очень удачной.

— Слушайте, люди, — сказал он просительно, — возьмите нас обоих.

Воры не спеша приблизились. Вожак внимательно оглядел Кандида с головы до ног.

— Нет, — сказал он. — Зачем ты нам такой нужен? Вы, деревенские, никуда не годитесь, отчаянности в вас нет, и живете вы непонятно зачем, вас приходи и голыми руками бери. Не нужен ты нам, папаша, говоришь ты как-то не так, как все, неизвестно, что ты за человек, иди ты себе на Выселки, а дочку нам оставь.

Кандид глубоко вздохнул, взял дубину обеими руками и сказал Наве негромко:

— Ну, Нава, беги! Беги, не оглядывайся, я их задержу.

Глупо, подумал он. Надо же, до чего глупо. Он вспомнил мертвяка, лежащего головой в темной воде, похожего на студень, и поднял дубину над головой.

— Эй-эй! — закричал вожак.

Все семеро, толкаясь и оскальзываясь, гурьбой кинулись вперед. Несколько секунд Кандид еще слышал дробный стук Навиных пяток, а потом ему стало не до этого. Ему было страшно и стыдно, но очень скоро страх прошел, потому что неожиданно выяснилось, что единст-

венным стоящим бойцом из воров был вожак. Отбивая его удары, Кандид видел, как остальные, угрожающе и бессмысленно мотая дубинами, задевают друг друга, шагаются от собственных богатырских размахов и часто останавливаются, чтобы поплевать на ладони. Один вдруг отчаянно завопил: «Тону!» — и с шумом обрушился в болото, двое сразу бросили дубины и принялись его тащить, но вожак наседал, крикая и притопывая, пока Кандид случайно не угодил ему по коленной чашечке. Вожак уронил дубину, зашипел и присел на корточки. Кандид отскочил.

Двое воров тащили тонущего из болота. Тот увяз основательно, лицо его посинело. Вожак сидел на корточках и озабоченно осматривал ушиб. Остальные трое воров, подняв дубины, толпились у него за спиной и тоже рассматривали ушиб через его голову.

— Дурак ты, папаша, — сказал вожак укоризненно. — Разве же так можно, долбня ты деревенская. И откуда ты только такой взялся... Выгоды своей ты не понимаешь, дерево ты стоеросовое, твердое...

Больше Кандид ждать не стал. Он повернулся и со всех ног пустился бежать за Навой. Воры кричали ему вслед сердито и насмешливо, вожак гукал и взреывал: «А держи его! Держи!» Они за ним не гнались, и Кандиду это не понравилось. Он испытывал разочарование и досаду и на бегу пытался сообразить, как же эти неуклюжие, неповоротливые и незлые люди могут наводить ужас на деревни, да еще каким-то образом уничтожать мертвяков — бойцов ловких и беспощадных.

Скоро он увидел Наву: девчонка скакала шагах в тридцати впереди, твердо ударяя в землю босыми пятками. Он увидел, как она скрылась за поворотом и вдруг снова выскочила — уже ему навстречу — замерла на мгновение и пустилась вбок, прямо через болото, прыгая с коряги на корягу, только брызги летели. У Кандида замерло сердце.

— Стой! — заорал он, задыхаясь. — С ума сошла! Стой!

Нава тотчас же остановилась и, ухватившись за свисающую лиану, повернулась к нему. А он увидел, как из-за поворота ему навстречу вышли еще трое воров и тоже остановились, глядя то на него, то на Наву.

— Молчун! — пронзительно закричала Нава. — Ты их бей и сюда беги! Ты здесь не утонешь, не бойся! Бей их, бей! Палкой бей! Гу-гу-гу! О-го-го их!

— Ты вот что, — сказал один из воров заботливо. —

Ты там держись, ты там не кричи, а держись, а то свалишься, тащи тебя потом...

Сзади тяжело затопали и тоже закричали: «Гу-гу-гу!» Трое впереди ждали. Тогда Кандид, ухватив дубину за концы и выставив ее перед собою поперек груди, с разбегу налетел на них, повалил всех троих и упал сам. Он сильно ушибся об кого-то, но сейчас же вскочил. Перед глазами у него все плыло. Кто-то снова испуганно вопил: «Тону!» Кто-то сунулся бородатым лицом, и Кандид ударил его дубиной, не глядя. Дубина переломилась. Кандид бросил обломок и прыгнул в болото.

Коряга ушла из-под ног, он едва не сорвался, но сейчас же перескочил на следующую и пошел грузно прыгать с коряги на корягу, разбрасывая вонючую черную грязь. Нава победно верещала и свистела ему навстречу. Позади гудели сердитые голоса: «Что же вы, руки дырявые, корявые?» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Упустили мы девчонку, пропадет девчонка теперь...» — «Да обезумел же человек, дерется!» — «Одежду на мне порвал, надо же, какая одежда была, цены ей не было, одежде моей, а он порвал, и даже это не он мне порвал, а ты мне ее порвал...» — «Хватит вам разговоры разговаривать, в самом деле: догонять нужно, а не разговоры разговаривать... Видите, они бегут, а вы разговоры разговариваете!» — «А сам что, скажи, пожалуйста?» — «Ногу он мне подбил, видите? Коленку мне повредил, и как он мне ее повредил, не понимаю, только это я размахнулся...» — «А Семиглазый где? Ребята, а Семиглазый-то тонет!» — «Тонет! И верно, тонет... Семиглазый тонет, а они разговоры разговаривают!»

Кандид остановился возле Навы, тоже ухватился за лианы и, тяжело дыша, слушал и смотрел, как странные люди, сгрудившись на дороге, размахивая руками, тащат из болота за ногу и за голову своего Семиглазого. Слышалось бульканье и храп. Впрочем, двое воров, ощупывая трясину дубинками, уже шли к Кандиду по колено в черной жиже. Коряги они обходили. И опять всё наврали, подумал Кандид. Болото вброд можно перейти, а говорили, будто другого пути, кроме дороги, нет. Ворами пугали, тоже мне, нашли кем пугать...

Нава потянула его за руку.

— Пошли, Молчун, — сказала она. — Чего ты стоишь? Пошли скорей... Или, может, ты еще хочешь драться? Тогда погоди, я тебе палку подходящую найду, ты тогда вот этих двух побей, а другие, наверное, испугаются. Хотя если они не испугаются, то они тебя, я думаю,

одолеют, потому что ты ведь один, а их... раз... два, три... четыре...

— А куда идти? — спросил Кандид. — На Выселки мы попадем?

— Попадем, наверное, — сказала Нава. — Я не знаю, почему нам на Выселки не попасть...

— Тогда иди вперед, — сказал Кандид. Он уже немного отдышался. — Показывай, куда идти.

Нава легко запрыгала в лес, в чашу, в зеленое марево зарослей.

— Я вообще-то не знаю, куда нам идти и как, — говорила она на бегу. — Но я тут уже один раз была, а может быть, даже не один, а больше. Мы тут с Колченогом ходили, когда тебя еще не было... Или нет, был уже, только ты тогда еще без памяти ходил, ничего не соображал, говорить не мог, смотрел на всех как рыба, потом тебя мне отдали, я тебя и выходила, да только ты не помнишь, наверное, ничего...

Кандид прыгал за нею, стараясь держать правильное дыхание и ступать след в след. Время от времени он оглядывался.

— А с Колченогом мы сюда ходили, — продолжала Нава, — когда у Кулака воры жену увели, Колченогову дочку. Он тогда все время меня с собой брал, обменять хотел, что ли, а может быть, хотел взять себе вместо дочки, вот и ходил со мной в лес, потому что очень без дочки убивался...

Лианы липли к рукам, хлестали по лицу, омертвевшие клубки их цеплялись за одежду и путались в ногах. Сверху сыпался мусор и насекомые, иногда какие-то тяжелые бесформенные массы оседали, проваливались вниз в путанице зелени и раскачивались над самой головой. То справа, то слева сквозь завесу лиан просвечивали клейкие лиловые гроздья — не то грибы, не то плоды, не то гнезда какой-то мерзости.

— Колченог говорил, что тут где-то одна деревня есть... — Нава говорила на бегу легко, как будто и не бежала вовсе, а валялась на своей постели: сразу было видно, что она не здешняя, здешние бегать не умели. — Не наша деревня и не Выселки, какая-то другая, название мне Колченог говорил, да я забыла, все-таки это давно было, тебя еще не было... или нет, ты уже был, только ничего не соображал, и еще тебя мне не отдавали... А ты, когда бежишь, ты ртом дыши, ты зря носом дышишь, и разговаривать еще хорошо при этом, а то так ты скоро запыхаешься, тут еще долго бежать, мы еще мимо ос не

пробегали, вот где нам быстро бежать придется, хотя, может быть, с тех пор осы оттуда ушли... Это той самой деревни осы были, а в той деревне, Колченог говорит, вроде бы людей уже давно нет, там уже Одержание, говорит, произошло, так что людей совсем не осталось... Нет, Молчун, это я вру, это он про другую деревню говорил...

Кандид перешел на второе дыхание, бежать стало легче. Теперь они были в самой гуще, в самых зарослях. Так глубоко Кандид забирался только один раз, когда попытался оседлать мертвяка, чтобы добраться на нем до его хозяев; мертвяк понес галопом, он был раскаленный, как кипящий чайник, и Кандид в конце концов потерял сознание от боли и сорвался с него в грязь. Он долго потом мучился ожогами на ладонях и на груди...

Становилось все темнее. Неба уже не было видно совсем, духота усиливалась. Зато становилось все меньше открытой воды, появились могучие заросли красного и белого моха. Мох был мягкий, прохладный и сильно пружинил, ступать по нему было приятно.

— Давай... отдохнем... — просипел Кандид.

— Нет, что ты, Молчун, — сказала Нава. — Здесь нам отдыхать нельзя. От этого моха надо поскорее подалее, это мох опасный. Колченог говорил, что это и не мох вовсе, это животное такое лежит, вроде паука, ты на нем заснешь и больше уже никогда не проснешься, вот какой это мох, пусть на нем вору отдыхают, только они, наверное, знают, что нельзя, а то было бы хорошо...

Она посмотрела на Кандида и все-таки перешла на шаг. Кандид дотащился до ближайшего дерева, привалился к нему спиной, затылком, всей тяжестью и закрыл глаза. Ему очень хотелось сесть, упасть, но он боялся. Он твердил про себя: ведь наверняка же врут, и про мох врут. Но все-таки он боялся. Сердце билось как бешеное, ног словно бы и не было вовсе, а легкие лопались и болезненно растекались в груди при каждом вдохе, и весь мир был скользкий и соленый от пота.

— А если они нас догонят? — услышал он словно сквозь вату голос Навы. — Что мы будем делать, Молчун, когда они нас догонят? Что-то ты совсем никуда не годным стал, ты ведь, наверное, драться больше не сможешь, а?

Он хотел сказать: смогу, но только пошевелил губами. Воров он больше не боялся. Он вообще больше ничего не боялся. Он боялся только пошевелиться и боялся лечь в мох. Все-таки это был лес, это-то он

помнил хорошо, этого он не забывал никогда, даже когда забывал все остальное.

— Вот у тебя даже и палки теперь нет, — говорила Нава. — Поискать, что ли, тебе палку, Молчун? Поискать?

— Нет, — пробормотал он. — Не надо... Тяжелая...

Он открыл глаза и прислушался. Воры были близко; слышно было, как они пыхтят и топают в зарослях, и в этом топоте не чувствовалось никакой бойкости — ворам тоже было тяжело.

— Пошли дальше, — сказал Кандид.

Они миновали полосу белого опасного моха, потом полосу красного опасного моха, снова началось мокрое болото с неподвижной густой водой, по которой пластались исполинские бледные цветы с неприятным мясным запахом, а из каждого цветка выглядывало серое крапчатое животное и провожало их глазами на стебельках.

— Ты, Молчун, шлепай посильнее, — деловито говорила Нава, — а то присосется кто-нибудь, потом ни за что не оторвешь; ты не думай, что раз тебе прививку сделали, так теперь уж и не присосется, еще как присосется. Потом оно, конечно, сдохнет, но тебе-то от этого не легче...

Болото вдруг кончилось, и местность стала круто повышаться. Появилась высокая полосатая трава с острыми режущими краями. Кандид оглянулся и увидел воров. Почему-то они остановились. Почему-то они стояли по колено в болоте, опираясь на дубины, и смотрели им вслед. Выдохлись, подумал Кандид, тоже выдохлись. Один из воров поднял руку, сделал приглашающий жест и крикнул:

— Давайте спускайтесь, чего же вы?

Кандид отвернулся и пошел за Навой. После трясины идти по твердой земле казалось совсем легко, даже в гору. Воры что-то кричали — в два, а потом в три голоса. Кандид оглянулся в последний раз. Воры по-прежнему стояли в болоте, в грязи, полной пиявок, даже не вышли на сухое место. Увидев, что он оглянулся, они отчаянно замахали руками и наперебой закричали снова; понять было трудно.

— Назад! — кричали, кажется. — Назад-ад!.. Не тронем!.. Пропадете, дураки-и-и!..

Не так просто, подумал со злорадством Кандид. Самы вы дураки, так я вам и поверил. Хватит с меня — верить... Нава уже скрылась за деревьями, и он поспешил за нею.

— Назад идите-е-е!.. Отпусти-и-им!.. — ревел вожак.

Не очень-то они выдохлись, если так орут, мельком подумал Кандид и сразу стал думать, что теперь надо отойти подальше, а потом сесть отдохнуть и поискать на себе пиявок и клещей.

Глава пятая

Перец явился в приемную директора точно в десять утра. В приемной уже была очередь, человек двадцать. Переца поставили четвертым. Он сел в кресло между Беатрисой Вах, сотрудницей группы Помощи местному населению, и сумрачным сотрудником группы Инженерного проникновения. Сумрачного сотрудника, судя по опознавательному жетону на груди и по надписи на белой картонной маске, следовало называть Брандскугелем. Приемная была окрашена в бледно-розовый цвет, на одной стене висела табличка «Не курить, не сорить, не шуметь», на другой — большая картина, изображающая подвиг лесопроходца Селивана: Селиван с поднятыми руками на глазах у потрясенных товарищей превращался в прыгающее дерево. Розовые шторы на окнах были глухо задернуты, под потолком сияла гигантская люстра. Кроме входной двери, на которой было написано «Выход», в приемной имелась еще одна дверь, огромная, обитая желтой кожей, с надписью «Выхода нет». Эта надпись была выполнена светящимися красками и смотрелась как угрюмое предупреждение. Под надписью стоял стол секретарши с четырьмя разноцветными телефонами и электрической пишущей машинкой. Секретарша, полная пожилая женщина в пенсне, надменно изучала «Учебник атомной физики». Посетители переговаривались сдержанными голосами. Многие явно нервничали и судорожно перелистывали старые иллюстрированные журналы. Все это чрезвычайно напоминало очередь к зубному врачу, и Перец снова ощутил неприятный холодок, дрожь в челюстях и желание немедленно уйти куда-нибудь.

— Они даже не ленивы, — сказала Беатриса Вах, чуть повернув красивую голову в сторону Переца. — Однако они не выносят систематической работы. Как вы, например, объясните ту необыкновенную легкость, с которой они покидают обжитые места?

— Это вы мне? — робко спросил Перец. Он понятия не имел, как объяснить необыкновенную легкость.

— Нет. Я — моншеру Брандскугелю.

Моншер Брандскугель поправил отклеивающийся левый ус и задушенным голосом промямлил:

— Я не знаю.

— Вот и мы тоже не знаем, — сказала Беатриса горько. — Стоит нашим отрядам появиться вблизи от деревни, как они бросают дома, все имущество и уходят. Создается впечатление, что они в нас совершенно не заинтересованы. Им ничего от нас не нужно. Как вы полагаете, это так и есть?

Некоторое время моншер Брандскугель молчал, словно раздумывая, и глядел на Беатрису странными крестообразными бойницами своей маски, а потом произнес с прежней интонацией:

— Я не знаю.

— Очень неудачно, — продолжала Беатриса, — что наша группа комплектуется исключительно из женщин. Я понимаю, в этом есть глубокий смысл, но зачастую так не хватает мужской твердости, жесткости, я бы сказала — целенаправленности. К сожалению, женщины склонны разбрасываться, вы, наверное, замечали это.

— Я не знаю, — сказал Брандскугель, и усы у него вдруг отвалились и мягко спланировали на пол. Он подобрал их, внимательно осмотрел, приподняв край маски, и, деловито на них поплевав, посадил на место.

На столе секретарши мелодично звякнул колокольчик. Она отложила учебник, проглядела список, элегантно придерживая пенсне, и объявила:

— Профессор Какаду, вас просят.

Профессор Какаду уронил иллюстрированный журнал, вскочил, опять сел, огляделся, бледнея на глазах, потом, закусив губу, с совершенно искаженным лицом оттолкнулся от кресла и исчез за дверью с надписью «Выхода нет». Несколько секунд в приемной стояла болезненная тишина. Потом снова загудели голоса и зашелетели страницы.

— Мы никак не можем найти, — сказала Беатриса, — чем их заинтересовать, увлечь. Мы строили им удобные сухие жилища на сваях. Они забивают их торфом и заселяют какими-то насекомыми. Мы пытались предложить им вкусную пищу вместо той кислой мерзости, которую они поедают. Бесполезно. Мы пытались одеть их по-человечески. Один умер, двое заболели. Но мы продолжаем свои опыты. Вчера мы разбросали по лесу грузовик зеркал и золоченых пуговиц... Кино им не интересно, музыка тоже. Бессмертные творения вызывают у них что-то вроде хихиканья... Нет, начинать нужно с

детей. Я, например, предлагаю отлавливать их детей и организовывать специальные школы. К сожалению, это сопряжено с техническими трудностями: человеческими руками их не возьмешь, здесь понадобятся специальные машины... Впрочем, вы знаете это не хуже меня.

— Я не знаю, — сказал тоскливо моншер Брандскульгель.

Снова звякнул колокольчик, и секретарша сказала:

— Беатриса, теперь вы. Прошу вас.

Беатриса засуетилась. Она бросилась было к двери, но остановилась, растерянно оглядываясь. Вернулась, заглянула под кресло, шепча: «Где же она? Где?» — огромными глазами обвела приемную, дернула себя за волосы, громко закричала: «Где же она?!» — а потом вдруг схватила Переца за пиджак и вывалила из кресла на пол. Под Перецом оказалась коричневая папка, и Беатриса схватила ее и несколько секунд стояла с закрытыми глазами и безмерно счастливым лицом, прижимая папку к груди, а затем медленно направилась к двери, обитой желтой кожей, и скрылась за нею. При мертвом молчании Перец поднялся и, стараясь ни на кого не смотреть, почистил брюки. Впрочем, на него никто не обращал внимания: все смотрели на желтую дверь.

Что же я ему скажу, подумал Перец. Скажу, что я филолог и не могу быть полезен Управлению, отпустите меня, я уеду и больше никогда не вернусь, честное слово. А зачем же вы приехали сюда? Я всегда очень интересовался лесом, но ведь в лес меня не пускают. И вообще, я попал сюда совершенно случайно, ведь я филолог. Филологам, литераторам, философам нечего делать в Управлении. Так что правильно меня не пускают, я это сознаю, я с этим согласен... Не могу я быть ни в Управлении, откуда испражняются на лес, ни в лесу, где отлавливают детей машинами. Мне бы отсюда уехать и заняться чем-нибудь попроще. Я знаю, меня здесь любят, но меня любят, как ребенок любит свои игрушки. Я здесь для забавы, я здесь не могу никого научить тому, что я знаю... Нет, этого, конечно, говорить нельзя. Надо пустить слезу, а где я ее, эту слезу, найду? Но я у него всё разнесу, пусть только попробует меня не пустить. Всё разнесу и уйду пешком. Перец представил себе, как идет по пыльной дороге под палящим солнцем километр за километром, а чемодан ведет себя все более и более самостоятельно. И с каждым шагом он все дальше и дальше удаляется от леса, от своей мечты, от своей тревоги, которая давно уже стала смыслом его жизни...

Что-то долго никого не вызывают, подумал он. Наверное, директор очень заинтересовался проектом отлова детей. И почему это из кабинета никто не выходит? Вероятно, есть другой выход.

— Извините, пожалуйста, — сказал он, обращаясь к моншеру Брандскугелю. — Который час?

Моншер Брандскугель посмотрел на свои ручные часы, подумал и сказал:

— Я не знаю.

Тогда Перец нагнулся к его уху и прошептал:

— Я никому не скажу. Ни-ко-му.

Моншер Брандскугель колебался. Он нерешительно потрогал пальцами пластиковый жетон со своим именем, украдкой огляделся, нервно зевнул, снова оглянулся и, надвинув плотнее маску, ответил шепотом:

— Я не знаю.

Затем он встал и поспешно удалился в другой угол приемной.

Секретарша сказала:

— Перец, ваша очередь.

— Как моя? — удивился Перец. — Я же четвертый.

— Внештатный сотрудник Перец, — повысив голос, сказала секретарша. — Ваша очередь.

— Рассуждает... — проворчал кто-то.

— Вот таких нам надо гнать... — громко сказали слева. — Раскаленной метлой!

Перец поднялся. Ноги у него были как ватные. Он бессмысленно пошаркал себя ладонями по бокам. Секретарша пристально глядела на него.

— Чует кошка, — сказали в приемной.

— Сколько веревочке не виться...

— И вот такого мы терпели!

— Извините, но это вы терпели. Я его в первый раз вижу.

— А я, между прочим, тоже не в двадцатый.

— Ти-ше! — сказала секретарша, возвысив голос. — Соблюдайте тишину! И не сорите на пол — вот вы, там... да-да, я вам говорю. Итак, сотрудник Перец, вы будете проходить? Или вызвать охрану?

— Да, — сказал Перец. — Да, я иду.

Последним, кого он видел в приемной, был моншер Брандскугель, загородившийся в углу креслом, оскаленный, присевший, с рукой в заднем кармане брюк. А потом он увидел директора.

Директор оказался стройным, ладным человеком лет тридцати пяти, в превосходно сидящем дорогом

костюме. Он стоял у распахнутого окна и сыпал хлебные крошки голубям, толпившимся на подоконнике. Кабинет был абсолютно пуст, не было ни одного стула, не было даже стола, и только на стене против окна висела уменьшенная копия «Подвига лесопроходца Селивана».

— Внештатный сотрудник Управления Перец? — чистым звонким голосом произнес директор, поворачивая к Перцу свежее лицо спортсмена.

— Д-да... Я... — промямлил Перц.

— Очень, очень приятно. Наконец-то мы с вами познакомимся. Здравствуйте. Моя фамилия Ахти. Много о вас наслышан. Будем знакомы.

Перц, наклонившись от робости, пожал протянутую руку. Рука была сухая и крепкая.

— А я вот, видите, голубей кормлю. Любопытная птица. Огромные в ней чувствуются потенциалы. А как вы, мосье Перц, относитесь к голубям?

Перц замаялся, потому что терпеть не мог голубей. Но лицо директора излучало такое радушие, такой живой интерес, такое нетерпеливое ожидание ответа, что Перц совладал с собой и соврал:

— Очень люблю, мосье Ахти.

— Вы их любите в жареном виде? Или в тушеном? Я, например, люблю в пироге. Пирог с голубями и стакан хорошего полусухого вина — что может быть лучше? Как вы думаете?

И снова на лице мосье Ахти появилось выражение живейшего интереса и нетерпеливого ожидания.

— Изумительно, — сказал Перц. Он решил махнуть на все рукой и со всем соглашаться.

— А «Голубка» Пикассо! — сказал мосье Ахти. — Я сразу же вспоминаю: «Ни съесть, ни выпить, ни поцеловать, мгновения бегут неудержимо...» Как точно выражена эта идея нашей неспособности уловить и материализовать прекрасное!

— Превосходные стихи, — тупо сказал Перц.

— Когда я впервые увидел «Голубку», я, как и многие, вероятно, подумал, что рисунок неверен или, во всяком случае, неестествен. Но потом по роду службы мне пришлось приглядеться к голубям, и я вдруг осознал, что Пикассо, этот чудодей, схватил то мгновение, когда голубь складывает крылья перед приземлением. Его лапки уже касаются земли, но сам он еще в воздухе, в полете. Мгновение превращения движения в неподвижность, полета в покой.

— У Пикассо есть странные картины, которых я не понимаю, — сказал Перец, проявляя независимость суждений.

— О, вы просто недостаточно долго смотрели на них. Чтобы понимать настоящую живопись, недостаточно два или три раза в год пройти по музею. На картины нужно смотреть часами. Как можно чаще. И только на оригиналы. Никаких репродукций. Никаких копий... Вот взгляните на эту картину. По вашему лицу я вижу, что вы о ней думаете. И вы правы: это дурная копия. Но вот если бы вам довелось ознакомиться с оригиналом, вы бы поняли идею художника.

— В чем же она заключается?

— Я попытаюсь вам объяснить, — с готовностью предложил директор. — Что вы видите на этой картине? Формально — полчеловека-полудерево. Картина статична. Не виден, не улавливается переход от одной сущности к другой. В картине отсутствует главное — направление времени. А вот если бы вы имели возможность изучить оригинал, вы поняли бы, что художнику удалось вложить в изображение глубочайший символический смысл, что он запечатлел не только человеко-дерево и даже не превращение человека в дерево, а именно и только превращение дерева в человека. Художник воспользовался идеей старой легенды для того, чтобы изобразить возникновение новой личности. Новое из старого. Живое из мертвого. Разумное из косной материи. Копия абсолютно статична, и все, изображенное на ней, существует вне потока времени. Оригинал же содержит время — движение! Вектор! Стрелу времени, как сказал бы Эддингтон...

— А где же оригинал? — спросил Перец вежливо.

Директор улыбнулся.

— Оригинал, разумеется, уничтожен как предмет искусства, не допускающий двоякого толкования. Первая и вторая копии тоже из некоторой предосторожности уничтожены...

Мосье Ахти вернулся к окну и локтем спихнул голубей с подоконника.

— Так. О голубях мы поговорили, — произнес он новым, каким-то казенным голосом. — Ваше имя?

— Что?

— Имя. Ваше имя.

— Пе... Перец.

— Год рождения?

— Тридцатый...

— Точнее!
— Тысяча девятьсот тридцатый. Пятое марта.
— Что вы здесь делаете?
— Внештатный сотрудник. Прикомандирован к группе Научной охраны.

— Я вас спрашиваю: что вы здесь делаете? — сказал директор, обращая к Перецу слепые глаза.

— Я... Не знаю. Я хочу уехать отсюда.

— Ваше мнение о лесе. Кратко.

— Лес — это... Я всегда... Я его... боюсь. И люблю.

— Ваше мнение об Управлении?

— Тут много хороших людей, но...

— Достаточно.

Директор подошел к Перецу, обнял его за плечи и, заглядывая в глаза, сказал:

— Слушай, друг! Брось! Возьмем на троих? Секретаршу позовем, видел бабу? Это же не баба, это же тридцать четыре удовольствия! «Откроем, ребята, заветную квартиру!..» — пропел он спертым голосом. — А? Откроем? Брось, не люблю. Понял? Ты как насчет этого?

От него вдруг запахло спиртом и чесночной колбасой, глаза съехались к переносице.

— Инженера позовем, Брандскугеля, моншера моего, — продолжал он, прижимая Переца к груди. — Он такие истории излагает — никакой закуски не надо... Пошли?

— Собственно, можно, — сказал Перец. — Но я ведь...

— Ну чего там — ты?

— Я, мосье Ахти...

— Брось! Какой я тебе мосье? Камрад — понял? Генацвале!

— Я, камрад Ахти, пришел попросить вас...

— Пр-р-роси! Ничего не пожалею! Деньги надо — на деньги! Не нравится тебе кто — скажи, рассмотрим! Ну?

— Н-нет, я просто хочу уехать. Я никак не могу уехать, я попал сюда случайно, камрад Ахти, и мне здесь больше нечего делать. Разрешите мне уехать. Мне никто не хочет помочь, и я прошу вас как директора...

Ахти отпустил Переца, поправил галстук и сухо улыбнулся.

— Вы ошибаетесь, Перец, — сказал он. — Я не директор. Я референт директора по кадрам. Извините, я несколько задержал вас. Прошу в эту дверь. Директор вас примет.

Он распахнул перед Перецом низенькую дверцу в

глубине своего голого кабинета и сделал приглашающий жест рукой. Перец кашлянул, сдержанно кивнул ему и, нагнувшись, пролез в следующее помещение. При этом ему показалось, что его слегка ударили по задней части. Впрочем, вероятно, только показалось или, может быть, мосье Ахти несколько поторопился закрыть дверь.

Комната, в которую он попал, была точной копией приемной, и даже секретарша здесь была точной копией первой секретарши, но читала она книгу под названием «Сублимация гениальности». В креслах совершенно так же сидели бледные посетители с журналами и газетами. Был тут и профессор Какаду, тяжело страдающий от нервной почесушки, и Беатриса Вах с коричневой папкой на коленях. Правда, все прочие посетители были незнакомы, а под копией картины «Подвиг лесопроходца Селивана» равномерно вспыхивала и гасла строгая надпись: «Тихо!» Поэтому здесь никто не разговаривал. Перец осторожно опустился на краешек кресла. Беатриса Вах улыбнулась ему — несколько настороженно, но, в общем, приветливо.

Через минуту нервного молчания звякнул колокольчик, и секретарша, отложив книгу, сказала:

— Преподобный Лука, вас просят.

На преподобного Луку было страшно смотреть, и Перец отвернулся. Ничего, подумал он, закрывая глаза. Выдержу. Он вспомнил, как дождливым осенним вечером в квартиру принесли Эсфирь, которую зарезал в подъезде дома пьяный хулиган, и соседей, повисших на нем, и стеклянные крошки во рту — он разгрыз стакан, когда ему принесли воды... Да, подумал он, самое тяжелое позади...

Его внимание привлекли быстрые скребущие звуки. Он открыл глаза и огляделся. Через кресло от него профессор Какаду яростно чесался обеими руками под мышками. Как обезьяна.

— Как вы думаете, нужно отделять мальчиков от девочек? — дрожащим шепотом спросила Беатриса.

— Я не знаю, — желчно ответил Перец.

— Комплексное воспитание имеет, конечно, свои преимущества, — продолжала бормотать Беатриса, — но это же особый случай... Господи! — сказала она вдруг плаксиво. — Неужели он меня прогонит? Куда я тогда пойду? Меня уже отовсюду прогоняли, у меня не осталось ни одной пары приличных туфель. Все чулки поехали, пудра какая-то комками...

Секретарша отложила «Сублимацию гениальности» и строго сказала:

— Не отвлекайтесь.

Беатриса Вах испуганно замерла. Тут низенькая дверь распахнулась, и в приемную просунулся наголо обритый человек.

— Перец здесь есть такой? — зычно осведомился он.

— Есть, — сказал Перец, вскакивая.

— На выход с вещами! Машина отходит через десять минут, живо!

— Куда машина? Почему?

— Вы Перец?

— Да...

— Вы уехать хотели или нет?

— Я хотел, но...

— Ну, как хотите, — сердито рявкнул бритый человек. — Мое дело сказать.

Он скрылся, и дверца захлопнулась. Перец кинулся следом.

— Назад! — закричала секретарша, и несколько рук схватили его за одежду. Перец отчаянно рванулся, пиджак его затрещал.

— Там же машина! — простонал он.

— Вы с ума сошли! — сказала раздраженная секретарша. — Куда вы ломитесь? Вот же дверь, написано «Выход», а вы куда?

Твердые руки направили Перца к надписи «Выход». За дверью оказался обширный многоугольный зал, в который выходило множество дверей, и Перец заметался, раскрывая их одну за другой.

Яркое солнце, стерильно-белые стены, люди в белых халатах. Голая спина, замазанная йодом. Запах аптеки. Не то.

Тьма, треск кинопроектора. На экране кого-то тянут за уши в разные стороны. Белые пятна недовольно повернутых лиц. Голос: «Дверь! Дверь закройте!» Опять не то...

Перец, скользя по паркету, пересек зал.

Запах кондитерской. Небольшая очередь с сумками. За стеклянным барьером блестят бутылки с кефиром, цветут торты и пирожные.

— Господа! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— А вам откуда выход? — спросил дебелый продавец в поварском колпаке.

— Отсюда...

— А вот дверь, в которой вы стоите.

— Не слушайте его, — сказал продавцу хилый старик из очереди. — Это здесь есть один такой остряк, только

очередь задерживает... Работайте, не обращайтесь внимания.

— Да я не острою, — сказал Перец. — У меня машина сейчас уйдет...

— Да, это не тот, — сказал справедливый старик. — Тот всегда спрашивает, где уборная. Где у вас, вы говорите, машина, сударь?

— На улице...

— На какой улице? — спросил продавец. — Улиц много.

— Мне все равно на какую, мне лишь бы выйти наружу!

— Нет, — сказал пронизательный старик. — Это все тот же. Он просто программу переменял. Не обращайтесь на него внимания...

Перец в отчаянии огляделся, выскочил обратно в зал и ткнулся в соседнюю дверь. Дверь была заперта. Недовольный голос осведомился:

— Кто там?

— Мне нужно выйти! — крикнул Перец. — Где здесь выход?

— Подождите, сейчас.

За дверью раздавался какой-то шум, плеск воды, стук задвигаемых ящичков. Голос спросил:

— Что вам нужно?

— Выйти! Выйти мне нужно!

— Сейчас.

Скрипнул ключ, и дверь отворилась. В комнате было темно.

— Проходите, — сказал голос.

Пахло проявителем. Перец, выставив вперед руки, сделал несколько неуверенных шагов.

— Ничего не вижу, — сказал он.

— Сейчас привыкнете, — пообещал голос. — Ну, идите же, что вы встали?

Перца взяли за рукав и повели.

— Распишитесь вот здесь, — сказал голос.

В пальцах Перца оказался карандаш. Теперь он видел в темноте смутно белеющий лист бумаги.

— Расписались?

— Нет. А в чем расписываться?

— Да вы не бойтесь, это не смертный приговор. Распишитесь, что вы ничего не видели.

Перец наугад расписался. Его снова цепко взяли за рукав, провели между какими-то портьерами, потом голос спросил:

— Много вас здесь накопилось?

— Четверо, — раздалось как бы из-за двери.

— Очередь построена? Имейте в виду, сейчас я открою дверь и выпущу человека. Проходите по одному, не толкайтесь, и без шуток. Ясно?

— Ясно. Не в первый раз.

— Одежду никто не забыл?

— Не забыли, не забыли. Выпускайте.

Снова раздался скрип ключа. Перец чуть не ослеп от яркого света, и тут его вытолкнули. Еще не раскрывая глаз, он скатился по каким-то ступеням и только тогда понял, что находится во внутреннем дворе Управления. Недовольные голоса закричали:

— Ну что же вы, Перец? Скорее! Сколько можно ждать?

Посередине двора стоял грузовик, набитый сотрудниками группы Научной охраны. Из кабины выглядывал Ким и сердито махал рукой. Перец подбежал к машине, вскарабкался на борт, его рванули, подхватили и свалили на дно кузова. Грузовик сейчас же взревел, дернулся, кто-то наступил Перцу на руку, кто-то с размаху сел на него, все загорланили, засмеялись, и они поехали.

— Перчик, вот твой чемодан, — сказал кто-то.

— Перец, это правда, что вы уезжаете?

— Пан Перец, сигарету не угодно?

Перец закурил, уселся на чемодан и поднял воротник пиджака. Ему подали плащ, и он, благодарно улыбнувшись, завернулся в него. Грузовик мчался все быстрее, и, хотя день был жаркий, встречный ветер казался весьма пронзительным. Перец курил, укрывая сигарету в кулаке, и озирался. «Еду, — думал он. — Еду. В последний раз вижу тебя, стена. В последний раз вижу вас, коттеджи. Прощай, свалка, где-то здесь я оставил галоши. Прощай, лужа, прощайте, шахматы, прощай, кефир. Как славно, как легко! Никогда в жизни больше не буду пить кефира. Никогда в жизни больше не сяду за шахматы...»

Сотрудники, сбившись к кабине, держась друг за друга и прячась друг за друга от ветра, разговаривали на отвлеченные темы.

— Это подсчитано, и я сам считал. Если так пойдет дальше, то через сто лет на каждый квадратный метр территории будет приходиться десять сотрудников, а общая масса будет такая, что утес обвалится. Транспортных средств для доставки продовольствия и воды понадобится столько, что придется создавать автоконвейер между Управлением и Материком, машины будут идти

со скоростью сорок километров в час и с интервалом в один метр, а разгружаться будут на ходу... Нет, я совершенно уверен, что дирекция уже сейчас думает о регулировании притока новых сотрудников. Ну посудите сами: комендант гостиницы — так же нельзя, семеро и вот-вот восьмой. И все здоровы. Домарошнинер считает, что с этим надо что-то делать. Нет, не обязательно стерилизация, как он предлагает...

— Кто бы говорил, но не Домарошнинер.

— Поэтому я и говорю, что не обязательно стерилизация...

— Говорят, что годовые отпуска будут увеличены до шести месяцев.

Они миновали парк, и Перец вдруг понял, что грузовик едет не в ту сторону. Сейчас они выедут за ворота и поедут по серпантину, вниз, под утес.

— Слушайте, куда мы едем? — спросил он встревоженно.

— Как — куда? Жалованье получать.

— А разве не на Материк?

— Зачем же на Материк? Кассир приехал на биостанцию.

— Так вы едете на биостанцию? В лес?

— Ну да. Мы же Научная охрана и деньги получаем на биостанции.

— А как же я? — растерянно спросил Перец.

— И ты получишь. Тебе премия полагается... Кстати, все оформлены?

Сотрудники зашевелились, извлекая из карманов и внимательно осматривая разноформатные и разноцветные бумаги с печатями.

— Перец, а вы заполнили анкету?

— Какую анкету?

— То есть, позвольте, что значит — какую? Форму номер восемьдесят четыре.

— Я ничего не заполнял, — сказал Перец.

— Милостивые государи! Да что же это? У Переца бумаг нет!

— Ну, это неважно. У него, вероятно, пропуск...

— Нет у меня пропуска, — сказал Перец. — Ничего нет. Только чемодан и вот плащ... Я ведь не в лес собирался, я уехать хотел...

— А медосмотр? А прививки?

Перец помотал головой. Грузовик уже катил по серпантину, и Перец отрешенно смотрел на лес, на плоские пористые пласты его у самого горизонта, на его застыв-

шее грозное кипение, на липкую паутину тумана в тени утеса.

— Такие вещи даром не проходят, — сказал кто-то.

— Ну, в конце концов, на дороге объектов нет...

— А Домарошцинер?

— Ну что ж Домарошцинер, раз объектов нет?

— Этого, положим, ты не знаешь. И никто не знает.

А вот в прошлом году Кандид вылетел без документов, отчаянный парень, и где теперь Кандид?

— Во-первых, не в прошлом году, а гораздо раньше.

А во-вторых, он просто погиб. На своем посту.

— Да? А ты приказ видел?

— Это верно, не было приказа.

— То есть даже спорить не о чем. Как посадили его в бункер при пропускном пункте, так он там до сих пор и сидит. Анкеты заполняет...

— Как же это ты, Перчик, анкеты не заполнил? Может быть, у тебя не все чисто?

— Минуточку, господа! Это вопрос серьезный. Я предлагаю на всякий случай проверить сотрудника Переца, так сказать, в демократическом порядке. Кто у нас будет секретарь?

— Домарошцинера секретарем!

— Очень хорошее предложение. Почетным секретарем мы избираем нашего многоуважаемого Домарошцинера. По лицам вижу, что единогласно. А кто у нас будет товарищ секретарь?

— Домарошцинера секретарем!

— Вандербильда товарищем секретаря!

— Вандербильда?.. Ну что ж... Есть предложение избрать товарищем секретаря Вандербильда. Еще предложения есть? Кто за? Против? Воздержался? Гм... Двое воздержались. Вы почему воздержались?

— Я?

— Да-да, именно вы.

— Смысла не вижу. Зачем из человека душу вынимать? Ему и так плохо.

— Понятно. А вы?

— Не твое собачье дело.

— Как угодно... Товарищ секретаря, запишите: двое воздержались. Начнем. Кто первый? Нет желающих? Тогда позвольте мне. Сотрудник Перец, ответьте на следующий вопрос. Какие расстояния вы преодолели в промежутке между двадцатью пятью и тридцатью годами: а — на ногах, бэ — наземным транспортом, цэ — воз-

душным транспортом? Не торопитесь, подумайте. Вот вам бумага и карандаш.

Перец послушно взял бумагу и карандаш и принялся вспоминать. Грузовик трясло. Сначала все смотрели на него, а потом смотреть надоело, и кто-то забубнил:

— Перенаселения я не боюсь. А вот видели вы, сколько техники стоит? На пустыре за мастерскими — видели? А что это за техника, знаете? Правильно, она в ящиках, заколочена. И времени нет ни у кого ее раскрыть и посмотреть. А знаете, что я там позапрошлым вечером видел? Остановился я закурить, и вдруг раздается какой-то треск. Оборачиваюсь и вижу: стенка одного ящика, огромного, с хороший дом, выдавливается и распаивается как ворота. И из ящика выползает механизм. Описывать я его вам не буду, сами знаете почему. Но зрелище... Постоял он несколько секунд, выбросил из себя вверх длинную трубу с такой вертушкой на конце, как бы огляделся, и снова в ящик заполз и крышкой закрылся. Я себя плохо тогда чувствовал и просто не поверил своим глазам. А сегодня утром думаю: «Дай все-таки посмотрю». Пришел — и мороз у меня по коже. Ящик в полном порядке, ни одной щели, но стенка эта изнутри гвоздями приколочена! А наружу торчат острия, блестящие, в палец длиной. И вот теперь я думаю: зачем она вылезала? И одна ли она такая? Может быть, они все каждую ночь вот этак... осматриваются. И пока там перенаселение, пока что, а они устроят нам когда-нибудь Варфоломеевскую ночь, и полетят наши косточки с обрыва. А может быть, и не косточки даже, а костяная крупа... Что? Нет уж, спасибо, дорогой, инженерникам сам сообщай, если хочешь. Ведь я эту машину видел, а откуда мне теперь знать, можно ее было видеть или нельзя? На ящиках грифа нет...

— Итак, Перец, вы готовы?

— Нет, — сказал Перец. — Ничего не могу вспомнить. Это же давно было.

— Странно. Вот я, например, отлично помню. Шесть тысяч семьсот один километр по железной дороге, семнадцать тысяч сто пятьдесят три километра по воздуху (из них три тысячи двести пятнадцать километров по личным надобностям) и пятнадцать тысяч семь километров — пешком. А ведь я старше вас. Странно, странно, Перец... Ну-ну, хорошо. Попробуем следующий пункт. Какие игрушки вы более предпочитали в дошкольном возрасте?

— Заводные танки, — сказал Перец и вытер со лба пот. — И броневики.

— Ага! Помните! А ведь это был дошкольный возраст, времена, так сказать, гораздо более отдаленные. Хотя и менее ответственные, правда, Перец? Так. Значит, танки и броневики... Следующий пункт. В каком возрасте вы почувствовали влечение к женщине, в скобках — к мужчине? Выражение в скобках обращено, как правило, к женщинам. Можете отвечать.

— Давно, — сказал Перец. — Это было очень давно.

— Точнее!

— А вы? — сказал Перец. — Скажите сначала вы, а потом я.

Председательствующий пожал плечами.

— Мне скрывать нечего. Впервые это случилось со мной в возрасте девяти лет, когда меня мыли вместе с двоюродной сестрой... А теперь прошу вас.

— Не могу, — сказал Перец. — Не желаю я отвечать на такие вопросы.

— Дурак, — прошептали у него над ухом. — Соври что-нибудь с серьезным видом, и все. Что ты мучаешься? Кто там тебя будет проверять?

— Ладно, — покорно сказал Перец. — В возрасте десяти лет. Когда меня купали вместе с собакой Муркой.

— Прекрасно! — воскликнул председательствующий. — А теперь перечислите болезни ног, которыми вы страдали.

— Ревматизм.

— Еще?

— Перемежающаяся хромота, — сказал Перец.

— Очень хорошо. Еще?

— Насморк, — сказал Перец.

— Это не болезнь ног.

— Не знаю. Это у вас, может быть, не болезнь ног. А у меня — именно ног. Промочил ноги — и насморк.

— Н-ну, предположим. А еще?

— Неужели мало?

— Это как вам угодно. Но предупреждаю: чем больше, тем лучше.

— Спонтанная гангрена, — сказал Перец. — С последующей ампутацией. Это была последняя болезнь моих ног.

— Теперь, пожалуй, достаточно. Последний вопрос. Ваше мировоззрение, кратко.

— Материалист, — сказал Перец.

— Какой именно материалист?

— Эмоциональный.

— У меня вопросов больше нет. Как у вас, господа?

Вопросов больше не было. Сотрудники частью дремали, частью беседовали, повернувшись к председательствующему спиной. Грузовик шел теперь медленно. Становилось жарко, тянуло влагой и запахом леса, неприятным и острым запахом, который в обычные дни не достигал Управления. Грузовик катился с выключенным мотором, и слышно было, как издалека, из очень далекого далека доносится слабое урчание грома.

— Поражаюсь я, на вас глядя, — говорил товарищ секретаря, тоже повернувшись спиной к председательствующему. — Нездоровый пессимизм какой-то. Человек по своей натуре оптимист, это во-первых. А во-вторых — и в главных, — неужели вы полагаете, что директор меньше вас думает обо всех этих вещах? Смешно даже. В последнем своем выступлении, обращаясь ко мне, директор развернул величественные перспективы. У меня просто дух захватило от восторга, я не стыжусь сознаться. Я всегда был оптимистом, но эта картина... Если хотите знать, все будет снесено, все эти склады, коттеджи... Вырастут ослепительной красоты здания из прозрачных и полупрозрачных материалов, стадионы, бассейны, воздушные парки, хрустальные распивочные и закусочные! Лестницы в небо! Стройные гибкие женщины со смуглой упругой кожей! Библиотеки! Мышцы! Лаборатории! Пронизанные солнцем и светом! Свободное расписание! Автомобили, глайдеры, дирижабли... Диспуты, обучение во сне, стереокино... Сотрудники после служебных часов будут сидеть в библиотеках, размышлять, сочинять мелодии, играть на гитарах и других музыкальных инструментах, вырезать по дереву, читать друг другу стихи!..

— А ты что будешь делать?

— Я буду вырезать по дереву.

— А еще что?

— Еще я буду писать стихи. Меня научат писать стихи, у меня хороший почерк.

— А я что буду делать?

— Что захочешь! — великодушно сказал товарищ секретаря. — Вырезать по дереву, писать стихи... Что захочешь.

— Не хочу я вырезать по дереву. Я математик.

— И пожалуйста! И занимайся себе математикой на здоровье!

— Математикой я и сейчас занимаюсь на здоровье.

— Сейчас ты получаешь за это жалованье. Глупо. Будешь прыгать с вышки.

— Зачем?

— Ну как — зачем? Интересно ведь...

— Не интересно.

— Ты что же хочешь сказать? Что ты ничем, кроме математики, не интересуешься?

— Да вообще-то ничем, пожалуй... День проработаешь — до того обалдеешь, что больше ничем уже не интересуешься.

— Ты просто ограниченный человек. Ничего, тебя разовьют. Найдут у тебя какие-нибудь способности, будешь сочинять музыку, вырезать что-нибудь такое...

— Сочинять музыку — не проблема. Вот где найти слушателей...

— Ну, я тебя послушаю с удовольствием... Перец вот...

— Это тебе только кажется. Не будешь ты меня слушать. И стихи ты сочинять не будешь. Повыпиливаешь по дереву, а потом к бабам пойдешь. Или напьешься. Я же тебя знаю. И всех я здесь знаю. Будете слоняться от хрустальной распивочной до алмазной закуской. Особенно если будет свободное расписание. Я даже подумать боюсь, что же это будет, если дать вам здесь свободное расписание.

— Каждый человек в чем-нибудь да гений, — возразил товарищ секретаря. — Надо только найти в нем это гениальное. Мы даже не подозреваем, а я, может быть, гений кулинарии, а ты, скажем, гений фармацевтики, а занимаемся мы не тем и раскрываем себя мало. Директор сказал, что в будущем этим будут заниматься специалисты, они будут отыскивать наши скрытые потенции...

— Ну, знаешь, потенции — это дело тонкое. Я-то, вообще, с тобой не спорю, может быть, действительно в каждом сидит гений, да только что делать, если данная гениальность может найти себе применение либо только в далеком прошлом, либо в далеком будущем, а в настоящем — даже гениальностью не считается, прояви ты ее или нет. Хорошо, конечно, если ты окажешься гением кулинарии. А вот как выяснится, что ты гениальный извозчик, а Перец — гениальный обтесыватель каменных наконечников, а я — гениальный уловитель какого-нибудь икс-поля, о котором никто ничего не знает и узнает только через десять лет... Вот тогда-то, как сказал поэт, и повернется к нам черное лицо досуга...

— Ребята, — сказал кто-то, — а пожрать-то мы с собой ничего не взяли. Пока приедем, пока деньги выдадут...

— Стоян накормит.

— Стоян тебя накормит, как же. У них там пайковая система.

— Надо же, ведь давала жена бутерброды!..

— Ничего, потершим, вон уже шлагбаум...

Перец вытянул шею. Впереди желто-зеленой стеной стоял лес, и дорога уходила в него, как нитка уходит в пестрый ковер. Грузовик проехал мимо фанерного плаката: «ВНИМАНИЕ! СНИЗИТЬ СКОРОСТЬ! ПРИГОТОВИТЬ ДОКУМЕНТЫ!» Уже был виден полосатый опущенный шлагбаум, грибок возле него, а правее — колючая проволока, белые шишки изоляторов, решетчатые башни с прожекторами. Грузовик остановился. Все стали смотреть на охранника, который, перекрестив ноги, стоя дремал под грибком с карабином под мышкой. На губе у него висела потухшая сигарета, а площадка под грибком была усыпана окурками. Рядом со шлагбаумом торчал шест с прибитыми к нему предупреждающими надписями: «ВНИМАНИЕ! ЛЕС!», «ПРЕДЪЯВЛЯЙ ПРОПУСК В РАЗВЕРНУТОМ ВИДЕ!», «НЕ ЗАНЕСИ ЗАРАЗУ!» Шофер деликатно погудел. Охранник открыл глаза, мутно посмотрел перед собою, потом отделился от грибка и пошел вокруг автомобиля.

— Много что-то вас, — сказал он сыплю. — За деньгами?

— Точно так, — заискивающе сказал бывший председательствующий.

— Хорошее дело, доброе, — сказал охранник. Он обошел грузовик, стал на подножку и заглянул в кузов. — Ох, сколько же вас, — сказал он с упреком. — А руки? Руки как, чистые?

— Чистые! — хором сказали сотрудники. Некоторые выставили ладони.

— У всех чистые?

— У всех!

— Ладненько, — сказал охранник и по пояс засунулся в кабину. Из кабины донеслось: — Кто старший? Вы будете старший? Сколько везешь? Ага... Не врешь? Фамилия как? Ким? Ну, смотрите, Ким, я твою фамилию запишу... Здорово, Вольдемар! Все ездешь?.. А я вот все охраняю. Покажи удостоверение... Ну-ну, ты не лайся, давай показывай... В порядке удостоверение, а то бы я тебя... Что же это ты на удостоверении телефоны пишешь? Постой... Это какая же Шарлотка? А-а, помню. Дай-ка я тоже перепишу... Ну, спасибо. Езжайте. Можно ехать.

Он соскочил с подножки, подымая сапогами пыль, подошел к шлагбауму и навалился на противовес. Шлагбаум медленно поднялся, развешанные на нем кальсоны съехали в пыль. Грузовик тронулся.

В кузове загомонили, но Перец ничего не слышал. Он въезжал в лес. Лес приближался, надвигался, громоздился все выше и выше, как океанская волна, и вдруг поглотил его. Не стало больше солнца и неба, пространства и времени, лес занял их место. Было только мелькание сумрачных красок, влажный густой воздух, диковинные запахи, как чад, и терпкий привкус во рту. Только слуха не касался лес: звуки леса заглушались ревом двигателя и болтовней сотрудников. Вот и лес, повторял Перец, вот я и в лесу, бессмысленно повторял он. Не сверху, а внутри, не наблюдатель, а участник. Вот я и в лесу. Что-то прохладное и влажное коснулось его лица, пощекотало, отделилось и медленно опустилось к нему на колени. Он посмотрел: тонкое длинное волокно какого-то растения, а может быть, животное, а может быть, просто прикосновение леса, дружеское приветствие или подозрительное ощупывание; он не стал трогать этого волокна.

А грузовик мчался по дороге славного наступления, желтое, зеленое, коричневое покорно уносилось назад, а вдоль обочин тянулись неубранные и забытые колонны ветеранов наступавшей армии, вздыбленные черные бульдозеры с яростно задранными ржавыми щитами, зарывшиеся по кабину в землю трактора, за которыми змеились распластанные гусеницы, грузовики без колес и без стекол — все мертвое, заброшенное навсегда, но по-прежнему бесстрашно глядящее вперед, в глубину леса развороченными радиаторами и разбитыми фарами. А вокруг шевелился лес, трепетал и корчился, менял окраску, переливаясь и вспыхивая, обманывая зрение, наплывающая и отступая, издевался, пугал и глумился лес, и он весь был необычен, и его нельзя было описать, и от него мутило.

Глава шестая

Перец, отворив дверцу вездехода, смотрел в заросли. Он не знал, что он должен увидеть. Что-то похожее на тошнотворный кисель. Что-то необычайное, что нельзя описать. Но самым необычайным, самым невообразимым, самым невозможным в этих зарослях были люди, и поэтому Перец видел только их. Они шли к вездеходу,

тонкие и ловкие, уверенные и изящные, они шли легко, не оступаясь, мгновенно и точно выбирая место, куда ступить, и они делали вид, что не замечают леса, что в лесу они как дома, что лес уже принадлежит им, они даже, наверное, не делали вид, они действительно думали так, а лес висел над ними, беззвучно смеясь и указывая мириадами глумливых пальцев, ловко притворяясь и знакомым, и покорным, и простым — совсем своим. Пока. До поры до времени...

— Ох и хороша же эта баба — Рита, — сказал бывший шофер Тузик Перецу. Он стоял рядом с вездеходом, широко раздвинув кривоватые ноги, придерживая ляжками хрюкающий и дрожащий мотоцикл. — Обязательно я бы добрался до нее, да только вот этот Квентин... Внимательный мужчина.

Квентин и Рита подошли совсем близко, и Стоян вылез им навстречу из-за руля.

— Ну, как она у вас тут? — спросил Стоян.

— Дышит, — сказал Квентин, внимательно разглядывая Переца. — Что, деньги привезли?

— Это Перец, — сказал Стоян. — Я вам рассказывал.

Рита и Квентин улыбнулись Перецу. Не было времени рассматривать их, и Перец только мельком подумал, что никогда раньше не видел такой странной женщины, как Рита, и такого глубоко несчастного мужчину, как Квентин.

— Здравствуйте, Перец, — сказал Квентин, продолжая жалко улыбаться. — Приехали посмотреть? Никогда раньше не видели?

— Я и сейчас не вижу, — сказал Перец. Несомненно, эта несчастность и эта странность были неуловимо, но очень жестко связаны между собой.

Рита, повернувшись к ним спиной, закурила.

— Да вы не туда смотрите, — сказал Квентин. — Прямо смотрите, прямо! Неужели не видите?

И тогда Перец увидел и сразу забыл о людях. Это появилось, как скрытое изображение на фотобумаге, как фигурка на детской загадочной картинке «Куда спрятался зайчик?» — и, однажды разглядев это, больше невозможно было потерять из виду. Оно было совсем рядом, оно начиналось в десятке шагов от колес вездехода и от тропинки. Перец судорожно глотнул.

Живой столб поднимался к кронам деревьев, сноп тончайших прозрачных нитей, липких, блестящих, извиляющихся и напряженных, сноп, пронизывающий плотную листву и уходящий еще выше, в облака. И он зарю-

ждался в клоаке, в жирной клокочущей клоаке, заполненной протоплазмой, живой, активной, пухнувшей пузырями примитивной плоти, хлопотливо организующей и тут же разлагающей себя, изливающей продукты разложения на плоские берега, плюющей клейкой пеной... И сразу же, словно включились невидимые звукофильтры, из хрюканья мотоцикла выделился голос клоаки: клокотанье, плеск, всхлипывание, бульканье, протяжные болотные стоны; и надвинулась тяжелая стена запахов: сырого сочащегося мяса, сукровицы, свежей желчи, сыворотки, горячего клейстера — и только тогда Перец заметил, что у Риты и Квентина на груди висят кислородные маски, и увидел, как Стоян, брезгливо кривясь, поднимает к лицу намордник респиратора, но сам он не стал надевать респиратор, он словно надеялся, что хотя бы запахи расскажут ему то, чего не рассказали ни глаза, ни уши...

— Воняет тут у вас, — говорил Тузик с отвращением. — Как в покойницкой...

А Квентин говорил Стояну:

— Ты бы попросил Кима, пусть похлопочет насчет пайков. У нас все-таки вредный цех. Нам полагается молоко, шоколад...

А Рита задумчиво курила, выпуская дым из тонких подвижных ноздрей...

Вокруг клоаки, заботливо склоняясь над нею, трепетали деревья, их ветви были повернуты в одну сторону и никли к бурлящей массе, и по ветвям струились и падали в клоаку толстые мохнатые лианы, и клоака принимала их в себя, и протоплазма обгладывала их и превращала в себя, как она могла растворить и сделать своею плотью все, что окружало ее...

— Перчик, — сказал Стоян. — Не выпучивайся так, глаза выскочат.

Перец улыбнулся, но он знал, что улыбка у него получилась фальшивая.

— А зачем ты мотоцикл взял? — спросил Квентин.

— На случай, если застрянем. Они ползут по тропинке, я одним колесом встану на тропинку, а другим — по траве, а мотоцикл будет идти сзади. Если завязнем, Тузик смотается на мотоцикле и вызовет тягач.

— Обязательно завязнете, — сказал Квентин.

— Конечно, завязнем, — сказал Тузик. — Глупая это у вас затея, я вам сразу сказал.

— Ты помалкивай, — сказал ему Стоян. — Твое дело маленькое... Скоро выход? — спросил он у Квентина.

Квентин посмотрел на часы.

— Так... — сказал он. — Она щенится сейчас каждые восемьдесят семь минут. Значит, осталось... осталось... да ничего не осталось, вон она, уже начала.

Клоака щенилась. На ее плоские берега нетерпеливыми судорожными толчками один за другим стали извергаться обрубки белесого, зыбко вздрагивающего теста, они беспомощно и слепо катились по земле, потом замирали, сплющивались, вытягивали осторожные ложноножки и вдруг начинали двигаться осмысленно — еще суетливо, еще тычась, но уже в одном направлении, разбредаясь и сталкиваясь, но все в одном направлении, по одному радиусу от матки, в заросли, прочь, одной текучей белесой колонной, как исполинские мешковатые слизнеподобные муравьи...

— Тут же кругом трясина, — говорил Тузик. — Так врвухаемся, что никакой тягач не вытащит — все тросы лопнут.

— А может, с нами поедешь? — сказал Стоян Квентину.

— Рита устала.

— Ну, Рита пусть домой идет, а мы съездим...

Квентин колебался.

— Ты как, Риточка? — спросил он.

— Да, я пойду домой, — сказала Рита.

— Вот и хорошо, — сказал Квентин. — А мы съездим, посмотрим, ладно? Скоро, наверное, вернемся. Ведь мы ненадолго, Стоян?

Рита бросила окурочек и, не прощаясь, пошла по тропинке к биостанции. Квентин потоптался в нерешительности и потом сказал Перецу тихонько:

— Разрешите мне... пробраться...

Он пролез на заднее сиденье, и в этот момент мотоцикл ужасно взревел, вырвался из-под Тузика и, высоко подпрыгивая, бросился прямо в клоаку. «Стой! — закричал Тузик, приседая. — Куда?» Все замерли. Мотоцикл налетел на кочку, дико заверещал, встал на дыбы и упал в клоаку. Все подались вперед. Перецу показалось, что протоплазма прогнулась под мотоциклом, словно смягчая удар, легко и беззвучно пропустила его в себя и сомкнулась над ним. Мотоцикл заглох.

— Сволочь неуклюжая, — сказал Стоян Тузику. — Что же ты сделал?

Клоака стала пастью, сосущей, пробующей, наслаждающейся. Она катала в себе мотоцикл, как человек катает языком от щеки к щеке большой леденец. Мотоцикл крутило в пенящейся массе, он исчезал, появлялся

вновь, беспомощно ворочая рогами руля, и с каждым появлением его становилось все меньше, металлическая обшивка истончалась, делалась прозрачной, как тонкая бумага, и уже смутно мелькали сквозь нее внутренности двигателя, а потом обшивка расползлась, шины исчезли, мотоцикл нырнул в последний раз и больше не появлялся.

— Сглодала, — сказал Тузик с идиотским восторгом.

— Сволочь неуклюжая, — повторил Стоян. — Ты у меня за это заплатишь. Ты у меня за это всю жизнь платить будешь.

— Ну и ладно, — сказал Тузик. — Ну и заплачу. А что я сделал-то? Ну, газ повернул не в ту сторону, — сказал он Перецу. — Вот он и вырвался. Понимаете, пан Перец, я хотел газ сделать поменьше, чтобы не так тарахтело, ну и не в ту сторону повернул. Не я первый, не я последний. Да и мотоцикл старый был... Так я пойду, — сказал он Стояну. — Что мне теперь здесь делать? Я домой пойду.

— Ты куда это смотришь? — сказал вдруг Квентин с таким выражением, что Перец невольно отстранился.

— А чего? — сказал Тузик. — Куда хочу, туда и смотрю.

Он смотрел назад, на тропинку, туда, где под плотным изжелта-зеленым навесом ветвей мелькала, удаляясь, оранжевая накидка Риты.

— А ну-ка пустите меня, — сказал Квентин Перецу. — Я с ним сейчас поговорю.

— Ты куда, ты куда? — забормотал Стоян. — Квентин, ты опомнись...

— Нет, чего там — опомнись, я же давно вижу, чего он добивается!

— Слушай, не будь ребенком... Ну, прекрати! Ну, опомнись!..

— Пусти, говорят тебе, пусти руку!..

Они шумно возились рядом с Перцем, толкая его с двух сторон. Стоян крепко держал Квентина за рукав и за полу куртки, а Квентин, ставший вдруг красным и потным, не сводя глаз с Тузика, одной рукой отпихивал Стояна, а другой рукой изо всей силы сгибал Переца пополам, стараясь через него перешагнуть. Он двигался рывками и с каждым рывком все больше вылезал из куртки. Перец улучил момент и вывалился из вездехода. Тузик все смотрел вслед Рите, рот у него был полуоткрыт, глаза масляные, ласковые.

— И чего это она в брюках ходит, — сказал он

Перецу. — Манера теперь у них появилась — в брюках ходить...

— Не защищай его! — заорал в машине Квентин. — Никакой он не половой неврастеник, а просто мерзавец! Пусти, а то я и тебе дам!

— Вот раньше были такие юбки, — сказал Тузик мечтательно. — Кусок материи обернет вокруг себя и застегнет булавкой. А я, значит, возьму и расстегну...

Если бы это было в парке... Если бы это было в гостинице, или в библиотеке, или в актовом зале... Это и бывало — и в парке, и в библиотеке, и даже в актовом зале во время доклада Кима «Что необходимо знать каждому работнику Управления о методах математической статистики». А теперь лес видел все это и слышал все это — похотливое сальце, облившее Тузиковы глаза, багровую физиономию Квентина, мотающуюся в дверях вездехода, какую-то тупую, бычью, и мучительное бормотание Стояна что-то о работе, об ответственности, о глупости, и треск отлетающих пуговиц о ветровое стекло... И неизвестно, что думал обо всем этом, ужасался ли, насмехался ли или брезгливо морщился.

— ...! — сказал Тузик с наслаждением.

И Перец ударил его. Ударил, кажется, по скуле, с хрустом, и вывихнул себе палец. Все сейчас же замолчали. Тузик взялся за скулу и с большим удивлением посмотрел на Переца.

— Нельзя так, — сказал Перец твердо. — Нельзя это здесь. Нельзя.

— Так я не возражаю, — сказал Тузик, пожимая плечами. — Я ведь только к тому, что мне здесь больше делать нечего, мотоцикла-то нет, сами видите... Что ж мне теперь здесь делать?

Квентин громко осведомился:

— По морде?

— Ну да, — с досадой сказал Тузик. — По скуле попал, по самой косточке... Хорошо, что не в глаз.

— Нет, в самом деле, по морде?

— Да, — сказал Перец твердо. — Потому что здесь так нельзя.

— Тогда поехали, — сказал Квентин, откидываясь на сиденье.

— Туз, — сказал Стоян, — полезай в машину. Если завязнем, будешь помогать вытаскивать.

— У меня брюки новые, — возразил Тузик. — Давайте я лучше за баранку сяду.

Ему не ответили, и он полез на заднее сиденье и сел

рядом с подвинувшимся Квентином. Перец сел рядом со Стояном, и они поехали.

Щенки ушли уже довольно далеко, но Стоян, двигаясь с большой аккуратностью правыми колесами по тропинке, а левыми — по пышному мху, догнал их и медленно пополз следом, осторожно регулируя скорость сцеплением. «Сцепление сожжете», — сказал Тузик, а потом обратился к Квентину и принялся ему объяснять, что он вообще-то ничего плохого в виду не имел, что мотоцикла у него все равно уже не было, а мужчина — это мужчина, и если у него все нормально, то он мужчиной и останется, лес там вокруг или еще что-нибудь, это безразлично... «Тебе по морде уже дали?» — спрашивал Квентин. «Нет, ты мне скажи, только не соври, дали тебе уже по морде или нет?» — спрашивал он время от времени, прерывая Тузика. «Нет, — отвечал Тузик, — нет, ты подожди, ты меня выслушай сначала...»

Перец гладил свой опухающий палец и смотрел на щенков. На детей леса. А может быть, на слуг леса. А может быть, на экскременты леса... Они медленно и неумолимо двигались колонной один за другим, словно текли по земле, переливаясь через стволы сгнивших деревьев, через рытвины, по лужам стоячей воды, в высокой траве, сквозь кустарники. Тропинка исчезала, ныряла в пахучую грязь, скрывалась под наслоениями твердых серых грибов, с хрустом ломающихся под колесами, и снова появлялась, и щенки держались ее и оставались белыми, чистыми, гладкими, ни одна соринка не прилипла к ним, ни одна колючка не ранила их, и их не пачкала черная липкая грязь. Они лились с тупой бездумной уверенностью, как будто по давно знакомой, привычной дороге. Их было сорок три. Я рвался сюда, и вот я попал сюда, и я, наконец, вижу лес изнутри, и я ничего не вижу. Я мог бы придумать все это, оставаясь в гостинице в своем голом номере с тремя необитаемыми койками, поздним вечером, когда не спится, когда все тихо и вдруг в полночь начинает бухать баба, забивающая сваи на строительной площадке. Наверное, все, что есть здесь, в лесу, я мог бы придумать: и русалок, и бродячие деревья, и этих щенков, как они вдруг превращаются в лесопроходца Селивана, — все самое нелепое, самое святое. И все, что есть в Управлении, я могу придумать и представить себе, я мог бы оставаться у себя дома и придумать всё это, лежа на диване рядом с радиоприемником, слушающая симфонды и голоса, говорящие на незнакомых языках. Но это ничего не значит. Увидеть и не понять

это все равно что придумать. Я живу, вижу и не понимаю, я живу в мире, который кто-то придумал, не затруднившись объяснить его мне, а может быть, и себе. Тоска по пониманию, вдруг подумал Перец. Вот чем я болен — тоской по пониманию.

Он высунулся в окно и приложил ноющий палец к холодному борту. Щенки не обращали на вездеход никакого внимания. Наверное, они даже не подозревали, что он существует. От них резко и неприятно пахло, оболочка их теперь казалась прозрачной, под нею волнами двигались словно бы тени.

«Давайте поймаем одного, — предложил Квентин. — Это ведь совсем просто, закутаем в мою куртку и отвезем в лабораторию». — «Не стоит», — сказал Стоян. «А почему? — сказал Квентин. — Все равно когда-нибудь придется ловить». — «Страшно как-то, — сказал Стоян. — Во-первых, не дай бог, он сдохнет, придется писать докладную Домарошину...» — «Мы их варили, — сообщил вдруг Тузик. — Мне не понравилось, а ребята говорили, что ничего. На кролика похоже, а я кролика в рот не беру; по мне, что кошка, что кролик — один черт. Брезгую...» — «Я заметил одну вещь, — сказал Квентин. — Число щенков — всегда простое число: тринадцать, сорок три, сорок семь...» — «Ерунда, — возразил Стоян. — Я встречал в лесу группы по шесть, по двенадцать...» — «Так это в лесу, — сказал Квентин, — они же потом расходятся в разные стороны группами. А щенится клоака всегда простым числом, можешь проверить по журналу, у меня все выводки записаны...» — «А еще однажды, — сказал Тузик, — мы с ребятами местную девчонку поймали, вот смеху-то было!...» — «Ну, что ж, пиши статью», — сказал Стоян. «Уже написал, — сказал Квентин. — Это у меня будет пятнадцатая...» — «А у меня семнадцать, — сказал Стоян, — и одна в печати. А кого ты в соавторы взял?» — «Еще не знаю, — сказал Квентин. — Ким рекомендует менеджера, говорит, что сейчас транспорт — это главное, а Рита советует коменданта...» — «Только не коменданта», — сказал Стоян. «Почему?» — спросил Квентин. «Не бери коменданта, — повторил Стоян. — Я тебе говорить ничего не буду, но имей в виду». — «Комендант кефир тормозной жидкостью разбавлял, — сказал Тузик. — Это еще когда он был заведующим парикмахерской. Так мы с ребятами ему в квартиру пригоршню клопов подбросили». — «Говорят, готовится приказ, — сказал Стоян. — У кого меньше пятнадцати статей, все пройдут обработ-

ку...» — «Да ну, — сказал Квентин, — дрянь дело, знаю я эти спецобработки, от них волосы перестают расти и изю эти целый год пахнет...»

«Домой, — думал Перец. — Надо скорее ехать домой. Теперь мне уже здесь совсем нечего делать». Потом он увидел, как строй щенков нарушился. Перец сосчитал: тридцать два щенка пошли прямо, а одиннадцать, построившись в такую же колонну, свернули налево и вниз, где между деревьями вдруг открылось озеро — неподвижная темная вода, совсем недалеко от вездехода. Перец увидел низкое туманное небо и смутные очертания скалы Управления на горизонте. Одиннадцать щенков уверенно направлялись к воде. Стоян заглушил двигатель, все вылезли и смотрели, как щенки переливаются через кривую корягу на самом берегу и один за другим тяжело плюхаются в озеро. По темной воде пошли маслянистые круги.

— Тонут, — сказал Квентин с удивлением. — Топятся.

Стоян достал карту и расстелил ее на капоте.

— Так и есть, — сказал он. — Не отмечено у нас это озеро. Деревня отмечена здесь, а не озеро... Вот написано: «Дерев. Абориг. Семнадцать дробь одиннадцать».

— Так это всегда так, — сказал Тузик. — Кто же в этом лесу по карте ездит? Во-первых, карты все вральные, а во-вторых, и не нужны они тут. Тут ведь сегодня, скажем, дорога, а завтра река, сегодня болото, а завтра колючую проволоку нацепят и вышку поставят. Или вдруг обнаружится склад.

— Неохота мне что-то дальше ехать, — сказал Стоян, потягиваясь. — Может, хватит на сегодня?

— Конечно, хватит, — сказал Квентин. — Перцу еще жалованье получить надо. Пошли в машину.

— Бинокль бы, — сказал вдруг Тузик, жадно всматриваясь из-под ладони в озеро. — Баба там, по-моему, купается.

Квентин остановился.

— Где?

— Голая, — сказал Тузик. — Ей-богу, голая. Совсем без ничего.

Квентин вдруг побелел и опрометью бросился в машину.

— Да где ты видишь? — спросил Стоян.

— А вон, на том берегу...

— Ничего там нет, — сказал Квентин хрипло. Он стоял на подножке и обшаривал в бинокль противополо-

жный берег. Руки его тряслись. — Брехун проклятый... Опять по морде захотел... Нет там ничего! — повторил он, передавая бинокль Стояну.

— Ну как это нет, — сказал Тузик. — Я вам не очкарик какой-нибудь, у меня глаз-ватерпас...

— Подожди, подожди, не рви, — сказал ему Стоян. — Что за привычка — рвать из рук...

— Ничего там нет, — бормотал Квентин. — Вранье все это. Мало ли кто что болтает...

— Это я знаю — что, — сказал Тузик. — Это русалка. Точно вам говорю.

Перец встрепенулся.

— Дайте мне бинокль, — сказал он быстро.

— Ничего не видеть, — сказал Стоян, протягивая ему бинокль.

— Нашли кому верить, — бормотал Квентин, постепенно успокаиваясь.

— Ей-богу, была, — сказал Тузик. — Должно быть, нырнула. Сейчас вынырнет.

Перец настроил бинокль по глазам. Он ничего не ожидал увидеть: это было бы слишком просто. И он ничего не увидел. Озерная гладь, далекий, заросший лесом берег да силуэт скалы над зубчатой кромкой деревьев.

— А какая она была? — спросил он.

Тузик стал подробно, показывая руками, описывать, какая она была. Он рассказывал очень аппетитно, с большим азартом, но это было совсем не то, что хотел Перец.

— Да, конечно... — сказал он. — Да... Да.

Может быть, она вышла встречать щенков, думал он, трясясь на заднем сиденье рядом с помрачневшим Квентином, глядя, как мерно двигаются Тузиковы уши. Тузик что-то жевал. Она вышла из лесной чащи, белая, холодная, уверенная, и ступила в воду, в знакомую воду, вошла в озеро, как я вхожу в библиотеку, погрузилась в зыбкие зеленые сумерки, и поплыла навстречу щенкам, и сейчас уже встретила их на середине озера, на дне, и повела их куда-то, зачем-то, для кого-то, и завяжется еще один узел событий в лесу, и, может быть, за много миль отсюда произойдет или начнет происходить еще что-то: закипят между деревьями клубы лилового тумана, который совсем не туман, или заработает на мирной поляне еще одна клоака, или пестрые аборигены, которые только что тихо сидели и смотрели учебные фильмы и терпеливо слушали объяснения осипшей от усердия Беатрисы Вах, вдруг встанут и уйдут в лес, чтобы больше никогда не вернуть-

ся... И все будет полно глубокого смысла, как полно смысла каждое движение сложного механизма, и все будет странно и, следовательно, бессмысленно для нас, во всяком случае для тех из нас, кто еще никак не может привыкнуть к бессмыслице и принять ее за норму. И он ощутил значительность каждого события, каждого явления вокруг: и то, что щенков в выводке не могло быть сорок два или сорок пять, и то, что ствол вот этого дерева порос именно красным мохом, и то, что над тропинкой не видно неба из-за нависших ветвей.

Вездеход трясло. Стоян ехал очень медленно, и Перец еще издали через ветровое стекло увидел впереди покосившийся столб с доской, на которой было что-то написано. Надпись была размыта дождями и выцвела, это была очень старая надпись на очень старой грязно-серой доске, прибитой к столбу двумя огромными ржавыми гвоздями: «Здесь два года назад трагически утонул рядовой лесопроходец Густав. Здесь ему будет поставлен памятник». Вездеход, переваливаясь с боку на бок, миновал столб.

Что же это ты, Густав, подумал Перец. Как это тебя угораздило тут утонуть. Здоровый ты, наверное, был парень, Густав, была у тебя обритая голова, квадратная волосатая челюсть, золотой зуб, а татуировкой ты был покрыт с ног до головы, и руки у тебя свисали ниже колен, а на правой руке не хватало пальца, откушенного в пьяной драке. И лесопроходцем тебя послало, конечно, не сердце твое, просто так уж сложились твои обстоятельства, что отсиживал ты на утесе, где сейчас Управление, положенный тебе срок, и бежать тебе было некуда, кроме как в лес. И статей ты в лесу не писал, и даже о них не думал, а думал ты о других статьях, что были написаны до тебя и против тебя. И строил ты здесь стратегическую дорогу, клал бетонные плиты и далеко по сторонам вырубал лес, чтобы могли при необходимости приземляться на эту дорогу восьмимоторные бомбовозы. Да разве лес это вытерпит? Вот и утопил он тебя на сухом месте. Но зато через десять лет тебе поставят памятник и, может быть, назовут твоим именем какое-нибудь кафе. Кафе будет называться «У Густава», и шофер Тузик будет там пить кефир и гладить растрепанных девчонок из местной капеллы...

У Тузика, кажется, две судимости, и почему-то совсем не за то, за что следовало бы. Первый раз он попал в колонию за кражу почтовых наборов соответствующего предприятия, а второй раз — за нарушение паспортного режима. А вот Стоян — чист. Он не пьет ни кефира,

ничего. Он нежно и чисто любит Алевтину, которую никто никогда не любил нежно и чисто. Когда выйдет из печати его двадцатая статья, он предложит Алевтине руку и сердце и будет отвергнут, несмотря на свои статьи, несмотря на свои широкие плечи и красивый римский нос, потому что Алевтина не терпит чистоплюев, подозревая в них (не без оснований) до непонятности утонченных развратников. Стоян живет в лесу, куда, не в пример Густаву, приехал добровольно, и никогда ни на что не жалуется, хотя лес для него — это всего лишь громадная свалка нетронутых материалов для статей, гарантирующих его от обработки... Можно без конца удивляться, что находятся люди, способные привыкнуть к лесу, а таких людей подавляющее большинство. Сначала лес влечет их, как место романтическое, или как место доходное, или как место, где многое позволено, или как место, где можно укрыться. Потом он немного пугает их, а потом они вдруг открывают для себя, что «здесь такой же бардак, как в любом другом месте», и это примиряет их с необыкновенностью леса, но никто из них не намерен доживать здесь до старости... Вот Квентин, по слухам, живет здесь только потому, что боится оставить без присмотра Риту, а Рита ни за что не хочет уезжать отсюда и никогда никому не говорит — почему... Вот я и до Риты дошел... Рита может уйти в лес и не возвращаться неделями. Рита купается в лесных озерах. Рита нарушает все распорядки, и никто не смеет делать ей замечания. Рита не пишет статей, Рита вообще ничего не пишет, даже писем. Очень хорошо известно, что Квентин по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим... На биостанции все известно... Боже мой, по вечерам они зажигают свет в клубе, они включают радиолу, они пьют кефир, они пьют безумно много кефира и ночью, при луне, бросают бутылки в озера — кто дальше. Они танцуют, они играют в фанты и в бутылочку, в карты и в бильярд, они меняются женщинами, а днем в своих лабораториях они переливают лес из пробирки в пробирку, рассматривают лес под микроскопом, считают лес на арифмометрах, а лес стоит вокруг, висит над ними, прорастает сквозь их спальни, в душные предгрозовые часы приходит к их окнам толпами бродячих деревьев и тоже, возможно, не может понять, что они такое, и зачем они здесь, и зачем они вообще...

Хорошо, что я отсюда уезжаю, подумал он. Я здесь побыл, я ничего не понял, я ничего не нашел из того, что

хотел найти, но теперь я знаю, что никогда ничего не пойму и что никогда ничего не найду, что всему свое время. Между мной и лесом нет ничего общего, лес не ближе мне, чем Управление. Но я, во всяком случае, не буду здесь срамиться. Я уеду, буду работать и буду ждать. И буду надеяться, что наступит время...

На дворе биостанции было пусто. Не было грузовика, и не было очереди у окошечка кассы. Только на крыльце, загораживая дорогу, стоял чемодан Переца, а на перилах веранды висел его серый плащ. Перец выбрался из вездехода и растерянно огляделся. Тузик под руку с Квентином уже шел к столовой, откуда доносился звон посуды и несло чадом. Стоял сказал: «Пошли ужинать, Перчик» — и погнал машину в гараж. Перец вдруг с ужасом понял, что все это означает: завывающая радиола, бессмысленная болтовня, кефир, и еще, может быть, по стаканчику? И так каждый вечер, много-много вечеров...

Стукнуло окошечко кассы, высунулся сердитый кассир и закричал:

— Что же вы, Перец? Долго мне вас ждать? Идите же сюда, распишитесь.

Перец на негнущихся ногах приблизился к окошечку.

— Вот здесь, сумму прописью, — сказал кассир. — Да не здесь, а здесь. Что это у вас руки трясутся? Получайте...

Он стал отсчитывать бумажки.

— А где же остальные? — спросил Перец.

— Не торопитесь... Остальные здесь, в конверте.

— Нет, я имею в виду....

— Это никого не касается, что вы имеете в виду. Я из-за вас не могу менять установленный порядок. Вот ваше жалованье. Получили?

— Я хотел узнать...

— Я вас спрашиваю, вы получили жалованье? Да или нет?

— Да.

— Слава богу. А теперь получите премию. Получили премию?

— Да.

— Все. Разрешите пожать вашу руку, я тороплюсь. Мне нужно быть в Управлении до семи.

— Я хотел только спросить, — торопливо сказал Перец, — где все остальные люди... Ким, грузовик.... Ведь меня обещали отвезти... на Материк...

— На Материк не могу, я должен быть в Управлении. Позвольте, я закрою окошко.

— Я не займу много места, — сказал Перец.

— Это неважно. Вы взрослый человек, вы должны понимать. Я — кассир. При мне ведомости. А если с ними что-нибудь случится? Уберите локоть.

Перец убрал локоть, и окошечко захлопнулось. Сквозь мутное захватанное стекло Перец смотрел, как кассир собирает ведомости, комкает их как попало, втискивает в портфель, потом в кассе открылась дверь, вошли два огромных охранника, связали кассиру руки, накинули на шею петлю, и один повел кассира на веревке, другой взял портфель, осмотрел комнату и вдруг заметил Переца. Некоторое время они глядели друг на друга сквозь мутное стекло, затем охранник очень медленно и осторожно, словно боясь кого-то спугнуть, поставил портфель на стул и все так же медленно и осторожно, не сводя глаз с Переца, потянулся к прислоненной к стене винтовке. Перец ждал, холодея и не веря, а охранник схватил винтовку, попятился и вышел, затворив за собой дверь. Свет погас.

Тогда Перец отпрянул от окошечка, на цыпочках пробежал к своему чемодану, схватил его и кинулся прочь, куда-нибудь подальше от этого места. Он укрылся за гаражом и видел, как охранник вышел на крыльцо, держа винтовку наперевес, поглядел налево, направо, под ноги, взял с перил плащ Переца, взвесил его на руке, обшарил карманы и, еще раз оглядевшись, ушел в дом. Перец сел на чемодан.

Было прохладно, смеркалось. Перец сидел, бессмысленно глядя на освещенные окна, замазанные до половины мелом. За окнами двигались тени, бесшумно крутилась решетчатая лопасть локатора на крыше. Брякала посуда, в лесу кричали ночные животные. Потом где-то вспыхнул прожектор, повел голубым лучом, и в этот луч из-за угла дома вкатился самосвал, громыхнул, подпрыгнув на колдобине, и, провожаемый лучом, поехал к воротам. В ковше самосвала сидел охранник с винтовкой. Он закуривал, закрывшись от ветра, и видна была толстая ворсистая веревка, обмотанная вокруг его левого запястья и уходящая в приоткрытое окно кабины.

Самосвал ушел, и прожектор погас. Через двор, шаркая огромными башмаками, мрачной тенью прошел второй охранник с винтовкой под мышкой. Время от времени он нагибался и ощупывал землю, видимо, искал следы. Перец прижался взмокшей спиной к стене и, замерев, проводил его глазами.

В лесу кричали страшно и протяжно. Где-то хлопали двери. Вспыхнул свет на втором этаже, кто-то громко

сказал: «Ну и духота у тебя здесь». Что-то упало в траву, округлое и блестящее, и подкатилось к ногам Переца. Перец снова замер, но потом понял, что это бутылка из-под кефира. Пешком, думал Перец, надо пешком. Двадцать километров через лес. Плохо, что через лес. Теперь лес увидит жалкого, дрожащего человека, потного от страха и от усталости, погибающего под чемоданом и почему-то не бросающего этот чемодан. Я буду тащиться, а лес будет гукать и орать на меня с двух сторон...

Во дворе снова появился охранник. Он был не один, рядом с ним шел еще кто-то, тяжело дыша и отфыркиваясь, огромный, на четвереньках. Они остановились посреди двора, и Перец услышал, как охранник бормочет: «На вот, на... Да ты не жри, дура, ты нюхай... Это же тебе не колбаса, это плащ, его нюхать надо... Ну? Шерше, говорят тебе...» Тот, что был на четвереньках, скулил и взвизгивал. «Э! — сказал охранник с досадой. — Тебе только блох искать... Пшла!» Они растворились в темноте. Застучали каблуки на крыльце, хлопнула дверь. Потом что-то холодное и мокрое ткнулось Перцу в щеку. Он вздрогнул и чуть не упал. Это был огромный волкодав. Он едва слышно взвизгнул, тяжело вздохнул и положил тяжелую голову Перцу на колени. Перец погладил его за ухом. Волкодав зевнул и завозился было, устраиваясь, но тут на втором этаже грянула радиолоа. Волкодав молча шархнулся и ускакал прочь.

Радиолоа неистовствовала, на много километров вокруг не осталось ничего, кроме радиолоы. И тогда, словно в приключенческом фильме, вдруг бесшумно озарились голубым светом и распахнулись ворота, и во двор, как огромный корабль, вплыл гигантский грузовик, весь расцвеченный созвездиями сигнальных огней, остановился и притушил фары, которые медленно погасли, словно испустило дух лесное чудовище. Из кабины высунулся шофер Вольдемар и стал, широко разевая рот, что-то кричать, и кричал долго, надсаживаясь, свирепея на глазах, а потом плюнул, нырнул обратно в кабину, снова высунулся и написал на дверце мелом вверх ногами: «Перец!!!» Тогда Перец понял, что машина пришла за ним, подхватил чемодан и побежал через двор, боясь оглянуться, боясь услышать за спиной выстрелы. Он с трудом вскарабкался по двум лестницам в кабину, просторную, как комната, и, пока он пристраивал чемодан, пока он усаживался и искал сигарету, Вольдемар все что-то говорил, багровея, надсаживаясь, жестикулируя и толкая Переца ладонью в плечо, но только когда радиолоа

вдруг замолчала, Перец, наконец, услышал его голос: ничего особенного Вольдемар не говорил, он просто ругался черными словами.

Грузовик еще не успел выехать за ворота, как Перец заснул, словно к его лицу прижали маску с эфиром.

Глава седьмая

Деревня была очень странная. Когда они вышли из леса и увидели ее внизу, в котловине, их поразила тишина. Тишина была такая, что они даже не обрадовались. Деревня была треугольная, и большая поляна, на которой она стояла, тоже была треугольная — обширная глиняная проплешина без единого куста, без единой травинки, словно выжженная, а потом вытоптанная, совсем темная, отгороженная от неба сросшимися кронами могучих деревьев.

— Не нравится мне эта деревня, — заявила Нава. — Здесь, наверное, еды не допросишься. Какая здесь может быть еда, если у них и поля даже нет, одна голая глина. Наверное, это охотники, они всяких животных ловят и едят, тошнит даже, как подумаешь...

— А может быть, это мы в чудакову деревню попали? — спросил Кандид. — Может быть, это Глиняная поляна?

— Какая же это чудакова деревня? Чудакова деревня — деревня как деревня, как наша деревня, только в ней чудаки живут... А здесь смотри какая тишь, и людей не видно, и ребятишек, хотя ребятишки, может быть, уже спать легли... И почему это тут людей не видно, Молчун? Давай мы в эту деревню не пойдем, очень она мне не нравится...

Солнце садилось, и деревня внизу погружалась в сумерки. Она казалась очень пустой, но не запущенной, не заброшенной и не покинутой, а именно пустой, ненастоящей, словно это была не деревня, а декорация. Да, подумал Кандид, наверное, нам не стоит туда идти, только ноги вот болят и очень хочется под крышу. И поесть чего-нибудь. И ночь наступает... Надо же, целый день блуждали по лесу, даже Нава устала, висит на руке и не отпускает.

— Ладно, — сказал он нерешительно. — Давай не пойдем.

— Не пойдем, не пойдем, — сказала Нава. — А когда мне есть хочется? Сколько же можно не есть? Я с утра

ничего не ела... И воры твои эти... От них знаешь какой аппетит? Нет, мы давай с тобой туда спустимся, поедим, а если нам там не понравится, тогда сразу уйдем. Ночь сегодня теплая будет, без дождя... Пойдем, что ты стоишь?

Сразу же на окраине их окликнули. Рядом с первым домиком, прямо на серой земле, сидел серый, почти совсем не одетый человек. Его было плохо видно в сумерках, он почти сливался с землей, и Кандид различил только его силуэт на фоне белесой стены.

— Вы куда? — спросил человек слабым голосом.

— Нам нужно переночевать, — сказал Кандид. — А утром нам нужно на Выселки. Мы дорогу потеряли. Убегали от воров и дорогу потеряли.

— Это вы, значит, сами пришли? — сказал человек вяло. — Это вы молодцы, хорошо сделали... Вы заходите, заходите, а то работы много, а людей что-то совсем мало осталось... — Он еле выговаривал слова, словно засыпал. — А работать нужно... очень нужно работать... очень...

— Ты нас не покормишь? — спросил Кандид.

— У нас сейчас... — Человек произнес несколько слов, которые показались Кандиду знакомыми, хотя он знал, что никогда раньше их не слышал. — Это хорошо, что мальчик пришел, потому что мальчик... — И он опять заговорил непонятно, странно.

Нава потянула Кандида, но Кандид с досадой выдернул руку.

— Я тебя не понимаю, — сказал он человеку, стараясь хоть рассмотреть его получше. — Ты мне скажи, еда у тебя найдется?

— Вот если бы трое... — сказал человек.

Нава потащила Кандида прочь изо всех сил, и они отошли в сторону.

— Больной он, что ли? — сказал Кандид сердито. — Ты поняла, что он там бормочет?

— Что ты с ним разговариваешь? — шепотом сказала Нава. — У него же нет лица! Как с ним можно говорить, когда у него нет лица?

— Почему нет лица? — удивился Кандид и оглянулся. Человека видно не было: то ли он ушел, то ли растворился в сумерках.

— А так, — сказала Нава. — Глаза есть, рот есть, а лица нету... — Она вдруг прижалась к нему. — Он как мертвяк, — сказала она. — Только он не мертвяк, от него пахнет, но весь он — как мертвяк... Пойдем в какой-нибудь другой дом, только еды мы здесь не достанем, ты не надейся.

Она подтащила его к следующему дому, и они заглянули внутрь. Все в этом доме было непривычно, не было постелей, не было запахов жилья, внутри было пусто, темно, неприятно. Нава понюхала воздух.

— Здесь вообще никогда не было еды, — сказала она с отвращением. — В какую-то ты меня глупую деревню привел, Молчун. Что мы здесь будем делать? Я таких деревень никогда в жизни не видела. И дети тут не кричат, и на улице никого нет.

Они пошли дальше. Под ногами была прохладная тонкая пыль, они не слышали даже собственных шагов, и в лесу не ухало и не булькало, как обычно по вечерам.

— Странно он как-то говорил, — сказал Кандид. — Я вот сейчас вспоминаю, и словно я слышал уже когда-то такую речь... А когда, где — не помню...

— И я тоже не помню, — сказала Нава, помолчав. — А ведь верно, Молчун, я тоже слыхала такие слова, может быть, во сне, а может быть, и в нашей деревне, не в той, где мы сейчас с тобой живем, а в другой, где я родилась, только тогда это должно быть очень давно, потому что я была еще очень маленькая, с тех пор все позабыла, а сейчас как будто бы и вспомнила, но никак не могу вспомнить по-настоящему.

В следующем доме они увидели человека, который лежал прямо на полу у порога и спал. Кандид нагнулся над ним, потряс его за плечо, но человек не проснулся. Кожа у него была влажная и холодная, как у амфибии, он был жирный, мягкий, и мускулов у него почти не осталось, а губы его в полутьме казались черными и масляно блестящими.

— Спит, — сказал Кандид, поворачиваясь к Наве.

— Как же спит, — сказала Нава, — когда он смотрит?

Кандид снова нагнулся над человеком, и ему показалось, что тот действительно смотрит, чуть-чуть приоткрыв веки. Но только показалось.

— Да нет, спит он, — сказал Кандид. — Пойдем.

Против обыкновения Нава промолчала.

Они дошли до середины деревни, заглядывая в каждый дом, и в каждом доме они видели спящих. Все спящие были жирные, потные мужчины, не было ни одной женщины, ни одного ребенка. Нава совсем замолчала, и Кандиду тоже было не по себе. У спящих раскати-сто бурчало в животах, они не просыпались, но почти каждый раз, когда Кандид оглядывался на них, выходя на улицу, ему казалось, что они провожают его короткими осторожными взглядами. Совсем стемнело, в просве-

ты между ветвями проглядывало пепельное от луны небо, и Кандид снова подумал, что все это жутко похоже на декорации в хорошем театре. Но он чувствовал, что устал до последней степени, до полного безразличия. Ему хотелось сейчас только одного: прилечь где-нибудь под крышей (чтобы не свалилась на сонного сверху какая-нибудь ночная гадость), пусть прямо на жестком утоптанном полу, но лучше все-таки в пустом доме, а не с этими подозрительными спящими. Нава совсем повисла на руке.

— Ты не бойся, — сказал Кандид. — Бояться здесь совершенно нечего.

— Что ты говоришь? — спросила она сонно.

— Я говорю: не бойся, они же тут все полумертвые, я их одной рукой раскидаю.

— Никого я не боюсь, — сказала Нава сердито. — Я устала и хочу спать, раз уж ты есть не даешь. А ты все ходишь и ходишь, из дома в дом, из дома в дом, надоело даже, ведь во всех домах все одинаково, все люди уже лежат, отдыхают, и только мы с тобой бродим...

Тогда Кандид решился и зашел в первый же попавшийся дом. Там было абсолютно темно. Кандид прислушался, пытаясь понять, есть здесь кто-нибудь или нет, но услышал только сопение Навы, уткнувшейся лбом ему в бок. Он ощупью нашел стенку, пошарил руками, сухо ли на полу, и лег, положив голову Навы себе на живот. Нава уже спала. Не пожалеть бы, подумал он, нехорошо здесь... ну, всего одну ночь... и дорогу спросить... днем-то они не спят... в крайнем случае — на болото, вору ушли... а если и не ушли... как там ребята на Выселках?.. Неужели опять послезавтра?.. Нет уж, завтра... завтра...

Он проснулся от света и подумал, что это луна. В доме было темно, лиловатый свет падал в окно и в дверь. Ему стало интересно, как это свет луны может падать сразу и в окно, и в дверь напротив, но потом он догадался, что он в лесу, и настоящей луны здесь быть не может, и тут же забыл об этом, потому что в полосе света, падающего из окна, появился силуэт человека. Человек стоял здесь, в доме, спиной к Кандиду, и глядел в окно, и по силуэту видно было, что он стоит, заложив руки за спину и наклонив голову, как никогда не стоят лесные жители — им просто незачем так стоять — и как любил стоять у окна лаборатории во время дождей и туманов, когда нельзя было работать, Карл Этингоф, и он отчетливо понял, что это и есть Карл Этингоф, который когда-то отлучился с биостанции в лес, да так больше и не

вернулся и был отдан в приказ как без вести пропавший. Он задохнулся от волнения и крикнул: «Карл!» Карл медленно повернулся, лиловый свет прошел по его лицу, и Кандид увидел, что это не Карл, а какой-то незнакомый местный человек, он неслышно подошел к Кандиду и нагнулся над ним, не размыкая рук за спиной, и лицо его стало видно совершенно отчетливо, изможденное безбородое лицо, решительно ничем не напоминающее лицо Карла. Он не произнес ни слова и, кажется, даже не увидел Кандида, выпрямился и пошел к двери, по-прежнему сутулясь, и, когда он перешагивал через порог, Кандид понял, что это все-таки Карл, вскочил и выбежал за ним следом.

За дверью он остановился и оглядел улицу, стараясь унять болезненную нервную дрожь, охватившую вдруг его. Было очень светло, потому что над деревней висело лиловое светящееся небо, все дома выглядели совсем уже плоскими и совсем ненастоящими, а наискосок, на другой стороне улицы, возвышалось длинное диковинное строение, каких в лесу не бывает, и возле него двигались люди. Человек, похожий на Карла, шел один к этому строению, приблизился к толпе и смешался с нею, исчез в ней, как будто его никогда и не было. Кандид тоже хотел подойти к строению, но почувствовал, что ноги у него ватные и он совсем не может идти. Он удивился, как это он еще может стоять на таких ногах; боясь упасть, он хотел ухватиться за что-нибудь, но ухватиться было не за что, его окружала пустота. «Карл, — бормотал он, шатаясь, — Карл, вернись!» Он повторил эти слова несколько раз, а потом в отчаянии громко выкрикнул их, но никто его не услышал, потому что в то же мгновение раздался гораздо более громкий крик, жалкий и дикий, откровенный плач боли, так что зазвенело в ушах, так что слезы навернулись на глаза, и почему-то он сразу понял, что кричат именно в этом длинном строении, может быть потому, что больше кричать было негде. «Где Нава? — закричал он. — Девочка моя, где ты?» Он понял, что сейчас потеряет ее, что настала эта минута, что сейчас потеряет все близкое ему, все, что привязывает его к жизни, и он останется один. Он повернулся, чтобы броситься обратно в дом, и увидел Наву, которая, откинув голову, медленно падала навзничь, и он подхватил ее и поднял, не понимая, что с ней происходит. Голова ее была откинута, и ее открытое горло было перед его глазами, то место, где у всех людей ямочка между ключицами, а у Навы было две таких ямочки, и он больше никогда их не увидит. Ведь

плач не прекратился, и он понимал, что ему нужно туда, где кричат. Он-то знал, что это настоящий подвиг, ведь он сам отнесет ее туда, но он знал также, что для них это никакой не подвиг, а совершенно естественная, нормальная процедура, потому что они не понимали, что это значит — держать на руках дочь, теплую и единственную, и самому нести ее туда, где плачут.

Крик оборвался. Кандид увидел, что стоит уже перед самым строением среди этих людей, перед квадратной черной дверью, и он попытался понять, что он здесь делает с Навой на руках, но не успел, потому что из черной квадратной двери вышли две женщины и с ними Карл, все трое нахмуренные и недовольные, и остановились, разговаривая. Он видел, как шевелятся их губы, и догадывался, что они спорят, что они раздражены, но он не понимал слов, только раз он уловил полужанное слово «хиазма». Потом одна из женщин, не прекращая разговора, повернулась к толпе и сделала жест, словно приглашая всех войти в строение. Кандид сказал: «Сейчас, сейчас...» — и еще крепче прижал к себе Наву. Снова раздался громкий плач, все вокруг зашевелились, жирные люди стали обнимать друг друга, прижиматься друг к другу, гладить и ласкать друг друга, глаза их были сухи и губы плотно сжаты, но это они плакали и кричали, прощаясь, потому что, оказывается, это были мужчины и женщины, и мужчины прощались с женщинами навсегда. Никто не решался пойти первым, и тогда первым пошел Кандид, потому что он был мужественный человек, потому что он знал, что такое «надо», потому что он знал, что все равно ничто не поможет. Но Карл взглянул на него и едва заметно мотнул головой в сторону, и ему стало невыносимо жутко, потому что это был все-таки не Карл, но он понял и попятился, толкая спиной мягкое и скользкое. И когда Карл снова мотнул головой, он повернулся, скинул Наву на плечо и по пустой освещенной улице, как во сне, побежал на мягких подгибающихся ногах, не слыша за собой топота преследователей.

Он опомнился, ударившись о дерево. Нава вскрикнула, и он опустил ее на землю. Под ногами была трава.

Отсюда была видна вся деревня. Над деревней лиловым светящимся конусом стоял туман, и дома казались размытыми, и размытыми казались фигурки людей.

— Что-то я ничего не помню, — проговорила Нава. — Почему это мы здесь? Мы ведь уже спать легли. Или это мне все снится?

Кандид поднял ее и понес дальше, дальше, дальше.

продираясь сквозь кусты, путаясь в траве, пока вокруг не стало совсем темно. Тогда он прошел еще немного, снова опустил Наву на землю и сел рядом. Вокруг была высокая теплая трава, сырости совсем не чувствовалось, никогда еще в лесу Кандиду не попадалось такое сухое благодатное место. Голова у него болела, и все время клонило в сон, не хотелось ни о чем думать, было только чувство огромного облегчения оттого, что он собирался сделать что-то ужасное и не сделал.

— Молчун, — сказала Нава сонным голосом, — ты знаешь, Молчун, я все-таки вспомнила, где я слышала такую речь. Это ты так сам говорил, Молчун, когда еще был без памяти. Слушай, Молчун, а может, ты из этой деревни родом? Может, ты просто забыл? Ты ведь очень больной был тогда, Молчун, совсем без памяти...

— Спи, — сказал Кандид. Ему не хотелось думать. Ни о чем не хотелось думать. «Хиазма», вспомнил он. И сразу заснул. Не совсем сразу. Он еще вспомнил, что это не Карл пропал без вести; без вести пропал Валентин, и отдавали в приказ Валентина, а Карл погиб в лесу, и тело его, найденное случайно, положили в свинцовый гроб и отправили на Материк. Но он подумал, что это ему снится.

Когда он открыл глаза, Нава еще спала. Она лежала на животе в углублении между двумя корнями, уткнувшись лицом в сгиб руки, а правую откинув в сторону, и Кандид увидел в ее грязном полураскрытом кулаке тонкий блестящий предмет. Сначала он не понял, что это такое, и только вдруг вспомнил странный полусон этой ночи, и свой страх, и свое облегчение оттого, что не произошло чего-то ужасного. А потом до него дошло, что это за предмет, и даже название его неожиданно всплыло в памяти. Это был скальпель. Он подождал немного, проверяя соответствие формы предмета звучанию этого слова, сознавая вторым планом, что проверять здесь нечего, что все правильно, но совершенно невозможно, потому что скальпель своей формой и своим названием чудовищно не соответствовал этому миру. Он разбудил Наву.

Нава проснулась, села и сейчас же заговорила:

— Какое сухое место, никогда в жизни не думала, что бывают такие сухие места, и как здесь только трава растет, а, Молчун?.. — Она замолчала и поднесла к глазам кулак со скальпелем. Секунду она глядела на скальпель, потом взвизгнула, судорожно отбросила его и вскочила на ноги. Скальпель вонзился в траву и

встал торчком. Они смотрели на него, и обоим было страшно. — Что это такое, Молчун? — сказала наконец Нава шепотом. — Какая страшная вещь... Или это, может быть, не вещь? Это, может быть, растение? Смотри, здесь все такое сухое — может быть, оно здесь выросло?

— А почему — страшная? — спросил Кандид.

— Еще бы не страшная, — сказала Нава. — Ты возьми его в руки... Ты попробуй, попробуй, возьми, тогда и будешь знать, почему страшная... Я сама не знаю, почему страшная...

Кандид взял скальпель. Скальпель был еще теплым, а острый кончик его охлаждал, и, осторожно ведя по скальпелю пальцем, можно было найти то место, где он перестает быть теплым и становится холодным.

— Где ты его взяла? — спросил Кандид.

— Да нигде я его не брала, — сказала Нава. — Он, наверное, сам залез ко мне в руку, пока я спала. Видишь, какой он холодный? Он, наверное, захотел согреться и залез ко мне в руку. Я никогда не видела таких... такого... я даже не знаю, как это называть. Наверное, это все-таки не растение, наверное, это такая тварь, может быть, у него и ножки есть, только он их спрятал, и он такой твердый и злобный... А может быть, мы еще спим с тобой, Молчун? — Она вдруг загнулась и посмотрела на Кандида. — А мы в деревне сегодня ночью были? Ведь были же, там еще человек был без лица, и он все думал, что я — мальчик... А мы искали, где поспать... Да, а потом я проснулась, тебя не было, и я стала шарить рукой... Вот где он залез мне в кулак! — сказала она. — Только вот что удивительно, Молчун, я совсем тогда его не боялась, даже наоборот... Он мне даже был для чего-то нужен...

— Все это был сон, — решительно сказал Кандид. У него мурашки бежали по затылку. Он вспомнил все, что было ночью. И Карла. И как он незаметно мотнул головой: беги, пока цел. И то, что живой Карл был хирургом.

— Что это ты замолчал, Молчун? — с беспокойством спросила Нава, заглядывая ему в лицо. — Куда это ты смотришь?

Кандид отстранил ее.

— Это был сон, — строго повторил он. — Забудь. Поищи лучше какой-нибудь еды, а эту штуку я закопаю.

— А для чего он был мне нужен, ты не знаешь? — спросила Нава. — Что-то я должна была сделать... — Она помотала головой. — Я не люблю таких снов, Молчун, — сказала она. — Ничего не вспомнить. Ты его

поглубже закопай, а то он выберется и снова заползет в деревню и кого-нибудь там напугает... Хорошо бы сверху камень на него положить потяжелее... Ну, ты закапывай, а я пойду искать еду. — Она потянула носом воздух. — Где-то тут поблизости есть ягоды. Удивительно, откуда в таком сухом месте ягоды?

Она легко и бесшумно побежала по траве и скоро пропала за деревьями, а Кандид остался сидеть, держа на ладони скальпель. Он не стал его закапывать. Он обмотал лезвие пучком травы и сунул скальпель за пазуху. Теперь он вспомнил все и тем не менее ничего не мог понять. Это был какой-то странный и страшный сон, из которого по чьему-то недосмотру вывалился скальпель. Жалко, подумал он, сегодня голова у меня на редкость ясная, и все-таки я ничего не могу понять. Значит, никогда не смогу.

Нава быстро вернулась и выгребла из-за пазухи целую грудку ягод и несколько крупных грибов.

— Там есть тропа, Молчун, — сказала она. — Давай мы с тобой лучше не будем возвращаться в ту деревню, зачем она нам, ну ее... а пойдем мы с тобой по тропе, обязательно куда-нибудь да придем. Спросим там дорогу до Выселок, и все будет хорошо. Просто удивительно, как мне сейчас хочется попасть на эти Выселки, никогда раньше так не хотелось. А в эту лукавую деревню давай мы не будем возвращаться, мне там сразу не понравилось, правильно, что мы оттуда ушли, а то бы обязательно какая-нибудь беда случилась. Если хочешь знать, нам туда и приходиться не надо было, тебе же воры кричали, что не ходи, пропадешь, да ты ведь никогда никого не слушаешься. Вот мы из-за тебя чуть в беду и не попали... Что же ты не ешь? Грибы сытные, ягоды вкусные, ты их разотри на ладони, сделай крошечку, что ты как маленький сегодня? Я теперь вспоминаю, мама мне всегда говорила, что самые хорошие грибы растут там, где сухо, но я тогда не понимала, что это такое — сухо, мама говорила, что раньше много где было сухо, как на хорошей дороге, поэтому она понимала, а я вот не понимала...

Кандид попробовал гриб и съел его. Грибы действительно были хороши, и ягоды были хороши, и он почувствовал себя бодрее. Но он еще не знал, как теперь поступить. В деревню возвращаться ему тоже не хотелось. Он попытался представить себе местность, как объяснял и рисовал ему прутиком на земле Колченог, и вспомнил, что Колченог говорил о дороге в Город, которая должна проходить в этих самых местах. «Очень

хорошая дорога, — говорил Колченог с сожалением, — самая прямая дорога до Города, только не добраться нам до нее через трясины-то, вот беда...» Врал. Врал хромой. И по трясине ходил, и в Городе, наверное, был, но почему-то врал. А может, Навина тропа и есть та прямая дорога? Надо рискнуть. Но сначала нужно все-таки вернуться. В эту деревню нужно все-таки вернуться...

— Придется все-таки вернуться, Нава, — сказал он, когда они поели.

— Куда вернуться? В ту лукавую деревню вернуться? — Нава расстроилась. — Ну зачем ты мне это говоришь, Молчун? Чего мы в той деревне еще не видели? Вот за что я тебя не люблю, Молчун, так это что с тобой никогда не договоришься по-человечески... И ведь решили уже, что возвращаться в ту деревню больше не станем, и тропу я тебе нашла, а теперь ты опять заводишь разговор, чтобы вернуться...

— Придется вернуться, — повторил он. — Мне самому не хочется, Нава, но сходить туда надо. Вдруг нам объяснят там, как отсюда побыстрее попасть в Город?..

— Почему — в Город? Я не хочу в Город, я хочу на Выселки!

— Пойдем уж прямо в Город, — сказал Кандид. — Не могу я больше.

— Ну хорошо, — сказала Нава. — Хорошо, пойдем в Город, это даже лучше, чего мы не видели на этих Выселках? Пойдем в Город, я согласна, я с тобой везде согласна, только давай не возвращаться в ту деревню... Ты как хочешь, Молчун, а я бы в ту деревню никогда бы не возвращалась...

— Я бы тоже, — сказал он. — Но придется. Ты не сердись, Нава, ведь мне самому не хочется...

— А раз не хочется, так зачем ходить?

Он не хотел, да и не мог ей объяснить — зачем. Он поднялся и, не оглядываясь, пошел в ту сторону, где должна была быть деревня, — по теплой сухой траве, мимо теплых сухих стволов, жмурясь от теплого солнца, которого непривычно много было здесь, навстречу пережитому ужасу, от которого больно напрягались все мускулы, навстречу тихой и странной надежде, которая пробивалась сквозь ужас, как травинка сквозь трещину в асфальте.

Нава догнала его и пошла рядом. Она была сердита и некоторое время даже молчала, но в конце концов не выдержала.

— Только ты не думай, — заявила она, — я с этими людьми разговаривать не буду, ты теперь с ними сам разговаривай, сам туда идешь, сам и разговаривай. А я не люблю иметь дело с человеком, если у него даже лица нет, я этого не люблю. От такого человека хорошего не жди, если он мальчика от девочки отличить не может... У меня вот с утра голова болит, и я теперь знаю почему...

Они вышли на деревню неожиданно. Видимо, Кандид взял слишком в сторону, и деревня открылась между деревьями справа от них. Все здесь изменилось, но Кандид не сразу понял, в чем дело. Потом понял: деревня тонула.

Треугольная поляна была залита черной водой, и вода прибывала на глазах, наполняя глиняную впадину, затопляя дома, бесшумно крутясь на улицах. Кандид беспомощно стоял и смотрел, как исчезают под водой окна, как оседают и разваливаются размокшие стены, проваливаются крыши, и никто не выбегал из домов, никто не пытался добраться до берега, ни один человек не показывался на поверхности воды, — может быть, людей там и не было, может быть, они ушли этой ночью, но он чувствовал, что это не так просто. Это не деревня, подумалось ему, это макет; он стоял, всеми забытый и запылившийся, а потом кому-то стало любопытно, что будет, если залить это водой. Вдруг станет интересно?.. И залили. Но интересно не стало...

Плавню прогнувшись, бесшумно канула в воду крыша плоского строения. Над черной водой словно пронесся легкий вздох, по ровной поверхности побежали волны, и все кончилось. Перед Кандидом было обычное треугольное озеро, пока еще довольно мелкое и безжизненное. Потом оно станет глубоким, как пропасть, и в нем заведутся рыбы, которых мы будем ловить, препарировать и класть в формалин.

— Я знаю, как это называется, — сказала Нава. У нее был такой спокойный голос, что Кандид поглядел на нее. Она и в самом деле была совершенно спокойна и даже, кажется, довольна. — Это называется Одержание, — сказала она. — Вот почему у них не было лица, а я сразу и не поняла. Наверное, они хотели жить в озере. Мне рассказывали, что те, кто жили в домах, могут остаться и жить в озере, теперь тут всегда будет озеро, а кто не хочет, тот уходит. Я бы вот, например, ушла, хотя это, может быть, даже лучше — жить в озере. Но этого никто не знает... Может быть, искупаемся? — предложила она.

— Нет, — сказал Кандид. — Я не хочу здесь купаться. Пойдем на твою тропу. Идем.

Мне бы только выбраться отсюда, думал он, а то я как та машинка в лабиринте... Мы все стояли вокруг и смеялись, как она деловито тычется, ищет, принохивается... а потом в маленький бассейн на ее дороге наливали воду, и она трогательно терялась, но только на мгновение, и снова начинала деловито шевелить антеннами, жужжать и принохиваться, и она не знала, что мы на нее смотрим, а нам было, в общем, наплевать на то, что она не знает, хотя именно это, наверное, страшнее всего. Если это вообще страшно, подумал он. Необходимость не может быть ни страшной, ни доброй. Необходимость необходима, а все остальное о ней придумываем мы и машинки в лабиринтах, если они могут придумывать. Просто, когда мы ошибаемся, необходимость берет нас за горло, и мы начинаем плакать и жаловаться, какая она жестокая да страшная, а она просто такая, какая она есть, — это мы глупы или слепы. Я даже могу философствовать сегодня, подумал он. Наверное, это от сухости. Надо же, философствовать даже могу...

— Вот она, твоя тропа, — сердито сказала Нава. — Иди, пожалуйста.

Сердится, подумал он. Выкупаться не дал, молчу все время, вокруг сухо, неприятно... Ничего, пусть посердится. Пока сердится — молчит, и на том спасибо. Кто ходит по этим тропам? Неужели по ним ходят так часто, что они не зарастают? Странная какая-то тропа, словно она не протоптана, выкопана...

Тропа вначале шла по удобным сухим местам, но через некоторое время она круто спустилась со склона холма и стала топкой полоской черной грязи. Чистый лес кончился, опять потянулись болота, заросли моха, сделалось сыро и душно. Нава немедленно ожила. Здесь она чувствовала себя гораздо лучше. Она уже непрерывно говорила, и скоро в голове Кандида возник и установился привычный звенящий шум, и он двигался словно в полусне, забыв обо всякой философии, почти забыв даже о том, куда он идет, отдавшись случайным бессвязным мыслям, и скорее даже не мыслям, а представлениям.

...Ковыляет по главной улице Колченог и говорит всем встречным (а если встречных нет, то просто так), что вот ушел, значит, Молчун и Наву с собой забрал, в Город, наверное, ушел, а Города никакого и нет. А может, и не в Город, может, в Тростники ушел, в Тростниках хорошо рыбу подманивать, сунул пальцы в воду — и вот она, рыба. Да только, если подумать, зачем ему

рыба, не ест Молчун рыбу, дурак, хотя, может, решил для Навы рыбки наловить, Нава рыбу ест, вот он ее и будет кормить рыбой... Но вот зачем он тогда все время про Город спрашивал? Не-ет, не в Тростники он пошел, и нужно ожидать, что не скоро вернется...

А навстречу ему по главной улице идет Кулак и говорит всем встречным, что вот Молчун все ходил, уговаривал, пойдем, говорил, в Город, Кулак, послезавтра пойдем, целый год звал послезавтра в Город идти, а когда я еды наготовил невпроворот, что старуха ругается, тогда он без меня и без еды ушел... Один вот тоже, шерсть на носу, уходил-уходил без еды, дали ему в лоб как следует, так больше не уходит, и с едой не уходит, и без еды боится, дома сидит, так ему дали...

А Хвост стоит рядом с завтракающим у него дома старцем и говорит ему: опять ты ешь, и опять ты чужое ешь. Ты не думай, говорит, мне не жалко, я только удивляюсь, как это в одного такого тощего старика столько горшков самой сытной еды помещается. Ты ешь, говорит, но ты мне скажи, может быть, ты все-таки не один у нас в деревне. Может быть, вас все-таки трое или хотя бы двое? Ведь на тебя смотреть жутко, как ты ешь-ешь, наешься, а потом объясняешь, что нельзя...

Нава шла рядом, держась обеими руками за его руку, и с азартом рассказывала:

— И еще жил в этой нашей деревне один мужчина, которого звали Обида-Мученик, ты его не можешь помнить, ты тогда как раз без памяти был. А этот Обида-Мученик всегда на все обижался и спрашивал: почему? Почему днем светло, а ночью темно? Почему жуки хмельные бывают, а муравьи нет? Почему мертвяки женщинами интересуются, а мужчины им не нужны? У него мертвяки двух жен украли, одну за другой. Первую еще до меня украли, а вторую уже при мне, так он все ходил и спрашивал: почему, спрашивал, они его не украли, а украли жену... Нарочно целыми днями и ночами по лесу ходил, чтобы его тоже угнали и он бы своих жен нашел, хотя бы одну, но его, конечно, так и не угнали, потому что мертвякам мужчины ни к чему, им женщины нужны, так уж у них заведено, и из-за какого-то Обиды-Мученика они порядков своих менять не подумали... Еще он все время спрашивал, почему нужно на поле работать, когда в лесу и без того еды вдоволь — поливай бродилом и ешь. Староста ему говорит: не хочешь — не работай, никто тебя за руку не тянет... а тот знай все твердит: почему да почему... Или к Кулаку пристал. Почему,

говорит, Верхняя деревня грибами заросла, а наша никак не зарастает? Кулак ему сначала спокойно объясняет: у верхних Одержанье произошло, а у нас еще нет, и весь вопрос. А тот спрашивает: а почему же у нас Одержанье не происходит так долго? Да что тебе это Одержанье, спрашивает Кулак, что ты без него — соскучился? Не отстаёт Обида-Мученик. Измотал он Кулака, закричал Кулак громко, на всю деревню, кулаками замахал и побежал к старосте жаловаться; староста тоже рассердился, собрал деревню, и погнались они за Обидой-Мучеником, чтобы его наказать, да так и не поймали... И к старику он тоже приставал много раз. Старик сначала к нему есть перестал ходить, потом стал от него прятаться и наконец не выдержал и говорит: отстань ты, говорит, от меня, у меня из-за тебя пища в рот не лезет, откуда я знаю — почему? Город знает почему, и все. Пошел Обида-Мученик в Город и больше уже не возвращался...

Медленно проплывали справа и слева желто-зеленые пятна, глухо фукали дурманы-грибы, разбрасывая веером рыжие фонтаны спор, с воем налетела заблудившаяся лесная оса, старалась ударить в глаз, и пришлось сотню шагов бежать, чтобы отвязаться; шумно и хлопотливо, цепляясь за лианы, мастерили свои постройки разноцветные подводные пауки; деревья-прыгуны приседали и корчились, готовясь к прыжку, но, почувствовав людей, замирали, притворяясь обыкновенными деревьями, — и не на чем было остановить взгляд, нечего было запоминать. И не над чем было думать, потому что думать о Карле, о прошлой ночи и затонувшей деревне означало бредить.

— Обида-Мученик был добрый человек, это они с Колченогом нашли тебя за Тростниками. Пошли в Муравейники, да как-то их занесло в Тростники, и нашли они там тебя и притащили; вернее, тащил тебя Обида-Мученик, а Колченог только сзади шел да подбирал все, что из тебя вываливалось... Много он чего подобрал, а потом, рассказывал, страшно ему стало, он все и выбросил. Такое, рассказывал, у нас никогда не росло и расти не может. А потом Обида-Мученик одежду твою с тебя снял, очень на тебе была странная одежда, никто не мог понять, где такое растет и как... Так он эту одежду разрезал и рассадил, думал — вырастет. Но ничего у него не выросло, не взощло даже, опять он стал ходить по деревне и спрашивать: почему если любую одежду взять, разрезать и рассадить, то она вырастет, а твоя, Молчун, даже и не взощла... Он и к тебе много приставал, жить

тебе не давал, но ты тогда без памяти был и только бормотал что-то вроде как тот, без лица, и рукой заслонялся. Так он от тебя и отстал ни с чем. Потом еще многие мужики за Тростники ходили — и Кулак, и Хвост, и сам староста даже ходил, надеялись еще одного такого найти. Нет, не нашли... Тогда меня к тебе приставили. Выхаживай, говорят, как можешь, выходишь — будет тебе муж, а что он чужой — так ты тоже вроде чужая. Я ведь тоже чужая, Молчун. Как было дело: захватили нас с матерью мертвяки, а ночь была без луны...

Местность опять стала повышаться, но сырости не убавилось, хотя лес стал чище. Уже не видно было коряг, гнилых сучьев, завалов гниющих лиан. Пропала зелень, все вокруг сделалось желтым и оранжевым. Деревья стали стройнее, и болото стало какое-то необычное — ровное, без моха и без грязевых куч. Исчезла паутина зарослей, направо и налево стало видно далеко. И трава на обочинах стала мягче и сочнее, травинка к травинке, словно кто-то специально подбирал и высаживал.

Нава остановилась на полуслове, потянула носом воздух и деловито сказала, оглядываясь:

— Куда бы здесь спрятаться? Спрятаться-то, кажется, и некуда...

— Кто-нибудь идет? — спросил Кандид.

— Кого-то много, и я не знаю, кто это... Это не мертвяки, но лучше бы все-таки спрятаться. Можно, конечно, не прятаться, все равно они уже близко, да и спрятаться здесь негде. Давай на обочину станем и посмотрим... — Она еще раз потянула носом. — Скверный какой-то запах, не то чтобы опасный, а лучше бы его не было... А ты, Молчун, неужели ничего не чувствуешь? Ведь так разит, будто от перепрелого бродила — стоит горшок у тебя перед носом, а в нем перепрелое бродило с плесенью... Вот они! Э, маленькие, не страшно, ты их сейчас прогонишь... Гу-гу-гу!

— Помолчи, — сказал Кандид, всматриваясь.

Сначала ему показалось, что навстречу ползут по тропинке белые черепахи. Потом он понял, что таких животных видеть ему не приходилось. Они были похожи на огромных непрозрачных амеб или на очень молодых древесных слизней, только у слизней не было ложноножек и слизи были все-таки побольше. Их было много, они ползли гуськом друг за дружкой, довольно быстро, ловко выбрасывая вперед ложноножки и переливаясь в них.

Скоро они оказались совсем близко — белые, блестя-

шие, и Кандид тоже почувствовал резкий незнакомый запах и отступил с тропы на обочину, потянув за собой Наву. Слизни-амебы один за другим проползали мимо них, не обращая на них никакого внимания. Их оказалось всего двенадцать, и последнего, двенадцатого, Нава, не удержавшись, пнула пяткой. Слизень проворно поджал зад и задвигался скачками. Нава пришла в восторг и кинулась было догнать и пнуть еще разок, но Кандид поймал ее за одежду.

— Так они же такие потешные! — сказала Нава. — И так ползут, будто люди идут по тропинке... И куда это они, интересно, идут? Наверное, Молчун, они в ту лукавую деревню идут, они, наверное, оттуда, а теперь возвращаются и не знают, что в деревне уже Одержание произошло. Покрутятся возле воды и обратно пойдут. Куда же они, бедные, пойдут? Может, другую деревню искать?.. Эй! — закричала она. — Не ходите! Нет уже вашей деревни, одно озеро там!

— Помолчи, — сказал Кандид. — Пойдем. Не понимают они твоего языка, не кричи зря.

Они пошли дальше. После слизней тропинка казалась немножко скользкой. Встретились и разошлись, подумал Кандид. Встретились и разминулись. И я уступил дорогу. Я, а не они. Это обстоятельство вдруг показалось ему очень важным. Они маленькие и беззащитные, а я большой и сильный, но я сошел с тропинки и пропустил их, и теперь думаю о них, а они прошли и теперь уже, наверное, не помнят обо мне. Потому что в лесу они дома, и мало ли что встречается в лесу. Как в доме бывают тараканы, клопы, мокрицы, или залетит безмозглая бабочка. Или муха будет биться в стекло. А ведь это неправда, что мухи бьются в стекло. Мухи-то воображают, что они летят, когда бьются в стекло. А я воображаю, что я иду. Только потому, что передвигаю ногами... Наверное, смотреть на меня со стороны смешно и... как это сказать... жалостно... жалко... Как будет правильно...

— Скоро будет озеро, — сказала Нава. — Пойдем скорее, я хочу пить и есть. Может быть, ты рыбы для меня приманишь...

Они пошли быстрее. Начались заросли тростника. Ну, хорошо, думал Кандид, на муху я похож. А на человека я похож? Он вспомнил Карла и вспомнил, что Карл не был похож на Карла. Очень может быть, что я совсем не тот человек, который сколько-то там лет назад разбился на вертолете. Только тогда непонятно, зачем мне биться в стекло. Ведь Карл, наверное, когда с ним случилось э т о,

уже не бился о стекло. А странно будет, когда я выйду к биостанции, и они меня увидят. Хорошо, что я об этом подумал. Об этом мне нужно много и основательно думать. Хорошо, что времени еще много и что я еще не скоро выйду к биостанции...

Тропа раздвоилась. Одна, по-видимому, шла к озеру, а другая круто свернула куда-то в сторону.

— Не пойдем туда, — сказала Нава, — это вверх, а я пить хочу.

Тропа становилась все уже, потом превратилась в рытвину и окончательно заглохла в зарослях. Нава остановилась.

— Знаешь, Молчун, — сказала она, — а может, мы не пойдем к этому озеру? Мне это озеро что-то не нравится, что-то там не так. По-моему, это даже не озеро, чего-то там еще много, кроме воды...

— Но вода там есть? — спросил Кандид. — Ты же пить хотела. Да и я тоже не прочь...

— Вода есть, — неохотно сказала Нава, — но теплая. Плохая вода, нечистая... Знаешь что, Молчун, ты здесь постой, а то больно шумно ты ходишь, ничего из-за тебя не слышать, так ты шумишь, ты постой и подожди меня, а я тебя позову, крикну прыгуном. Знаешь, как прыгун кричит? Вот я прыгуном и крикну. А ты здесь постой или лучше посиди...

Она нырнула в тростники и исчезла. И тогда Кандид обратил внимание на глухую ватную тишину, царившую здесь.

Не было ни звона насекомых, ни вздохов и сопения болота, ни криков лесного зверья, сырой горячий воздух был неподвижен. Это не была сухая тишина лукавой деревни, там было тихо, как ночью за кулисами театра. А здесь было тихо, как под водой. Кандид осторожно присел на корточки, вырвал несколько травинок, растер между пальцами и неожиданно увидел, что земля здесь должна быть съедобна.

Он выдрал пучок травы с землей и стал есть. Дерн хорошо утолял голод и жажду, он был прохладен и солоноват на вкус. Сыр, подумал Кандид. Да, сыр... Что такое сыр? Сыр швейцарский, сыр плавленый. Сыр со слезой. Странно...

Потом из тростника бесшумно вынырнула Нава. Она присела и тоже стала есть, быстро и аккуратно. Глаза у нее были круглые.

— Это хорошо, что мы здесь поели, — сказала она наконец. — Хочешь посмотреть, что это за озеро? А то я

хочу посмотреть еще раз, но мне одной страшно. Это то самое озеро, про которое Колченог всегда рассказывает, только я думала, что он выдумывает или ему привиделось, а это, оказывается, правда, хотя мне, может быть, тоже привиделось...

— Пойдем посмотрим, — сказал Кандид.

Озеро оказалось шагах в пятидесяти. Кандид и Нава спустились по топкому дну и раздвинули тростники. Над водой толстым слоем лежал белый туман. Вода была теплой, даже горячая, но чистая и прозрачная. Пахло едой. Туман медленно колыхался в правильном ритме, и через минуту Кандид почувствовал, что у него кружится голова. В тумане кто-то был. Люди. Много людей. Все они были голые и совершенно неподвижно лежали на воде. Туман ритмично поднимался и опускался, то открывая, то снова застилая изжелта-белые тела, запрокинутые лица, — люди не плавали, люди лежали на воде, как на пляже. Кандида передернуло. «Уйдем отсюда», — прошептал он и потянул Наву за руку. Они выбрались на берег и вернулись на тропу.

— Никакие это не утопленники, — сказала Нава. — Колченог ничего не разобрал, просто они здесь купались, а тут ударил горячий источник, и все они сварились... Очень это страшно, Молчун, — сказала она, помолчав. — Мне даже говорить об этом не хочется... А как их там много, целая деревня...

Они дошли до того места, где тропа раздваивалась, и остановились.

— Теперь вверх? — спросила Нава.

— Да, — сказал Кандид. — Теперь вверх.

Они свернули направо и стали подниматься по склону.

— И все они женщины, — сказала Нава. — Ты заметил?

— Да, — сказал Кандид.

— Вот это самое страшное, вот это я никак не могу понять. А может быть... — Нава посмотрела на Кандида. — А может быть, их мертвяки туда загоняют? Наверное, их мертвяки туда загоняют — наловят по всем деревням, пригонят к этому озеру и варят... Слушай, Молчун, зачем мы только из деревни ушли? Сидели бы в деревне, ничего бы этого никогда не видели. Думали бы, что это Колченог выдумывает, жили бы спокойно, так нет, тебе вот понадобилось в Город идти... Ну зачем тебе понадобилось в Город идти?

— Не знаю, — сказал Кандид.

Глава восьмая

Они лежали в кустах на самой опушке и сквозь листву глядели на вершину холма. Холм был пологий и голый, а на вершине его шапкой лежало облако лилового тумана. Над холмом было открытое небо, дул порывистый ветер и гнал серые тучи, моросил дождь. Лиловый туман стоял неподвижно, словно никакого ветра не было. Было довольно прохладно, даже свежо, они промокли, ежились от озноба и стучали зубами, но уйти они уже не могли: в двадцати шагах, прямые, как статуи, стояли с широко раскрытыми черными ртами три мертвяка и тоже смотрели на вершину холма пустыми глазами. Эти мертвяки подошли пять минут назад. Нава почуяла их и рванулась было бежать, но Кандид зажал ей рот ладонью и вдавил ее в траву. Теперь она немного успокоилась, только дрожала крупной дрожью, но уже не от страха, а от холода, и снова смотрела не на мертвяков, а на холм.

На холме и вокруг холма происходило что-то странное, какие-то грандиозные приливы и отливы. Из леса с густым басовым гудением вдруг вырывались исполинские стаи мух, устремлялись к вершине холма и скрывались в тумане. Склоны оживали колоннами муравьев и пауков, из кустарников выливались сотни слизней-амеб, гигантские рой пчел и ос, тучи многоцветных жуков уверенно проносились под дождем. Поднимался шум, как от бури. Это волна поднималась к вершине, всасывалась в лиловое облако, исчезала, и тогда вдруг наступала тишина. Холм снова становился мертвым и голым, а потом проходило какое-то время, снова поднимался шум и гул, и все это вновь извергалось из тумана и устремлялось в лес. Только слизи оставались на вершине, но зато вместо них по склонам ссыпались самые невероятные и неожиданные животные: катились волосатики, ковыляли на ломких ногах неуклюжие ручеи и еще какие-то неизвестные, никогда не виданные, пестрые, многоглазые, голые, блестящие не то звери, не то насекомые... И снова наступала тишина, и снова все повторялось сначала, и опять, и опять, в пугающем напористом ритме, с какой-то неубывающей энергией, так что казалось, будто это было всегда и всегда будет в том же ритме и с той же энергией... Один раз из тумана со страшным ревом вылез молодой гипсоцет, несколько раз выбегали мертвяки и сразу кидались в лес, оставляя за собой белесые полосы остывающего пара. А лиловое неподвижное облако глотало и выплевывало, глотало и выплевывало неустанно и регулярно, как машина.

Колченог говорил, что Город стоит на холме. Может быть, это и есть Город, может быть, это они и называют Городом? Да, наверное, это Город. Только в чем его смысл? Зачем он? И эта странная деятельность... Я ждал чего-нибудь в этом роде... Ерунда, ничего такого я не ждал. Я думал только о хозяевах, а где они здесь — хозяева? Кандид посмотрел на мертвяков. Те стояли в прежних позах, и рты их были все так же раскрыты. Может быть, я ошибаюсь, подумал Кандид. Может быть, они и есть хозяева. Наверное, я все время ошибаюсь. Я совсем разучился думать здесь. Если у меня иногда и появляются мысли, то сразу оказывается, что я совершенно неспособен их связать... Из тумана не вышел еще ни один слизень. Вопрос: почему из тумана не вышел еще ни один слизень?.. Нет, не то. Надо по порядку. Я же ищу источник разумной деятельности... Неверно, опять неверно. Меня совсем не интересует разумная деятельность. Я просто ищу кого-нибудь, чтобы мне помогли вернуться домой. Чтобы мне помогли преодолеть тысячу километров леса. Чтобы мне хотя бы сказали, в какую сторону идти... У мертвяков должны быть хозяева, я ищу этих хозяев, я ищу источник разумной деятельности. Он немножечко приободрился: получилось вполне связно. Начнем с самого начала. Все продумаем — спокойно и неторопливо. Сейчас не надо торопиться, сейчас самое время все продумать спокойно и неторопливо. Начнем с самого начала. У мертвяков должны быть хозяева, потому что мертвяки — это не люди, потому что мертвяки — это не животные. Следовательно, мертвяки сделаны. Если они не люди... А почему, собственно, они не люди? Он потер лоб. Я же уже решал этот вопрос. Давно, еще в деревне. Я его даже два раза решал, потому что в первый раз я забыл решение, а сейчас я забыл доказательства...

Он затряс головой изо всех сил, и Нава тихонько зашипела на него. Он затих и некоторое время полежал неподвижно, уткнувшись лицом в мокрую траву.

...Почему они не животные — я уже тоже доказал когда-то... Высокая температура... Да нет, ерунда... Он вдруг с ужасом ощутил, что забыл даже, как выглядят мертвяки. Он помнил только их раскаленное тело и резкую боль в ладонях. Он повернул голову и посмотрел на мертвяков. Да. Думать мне нельзя, думать мне противопоказано, и именно сейчас, когда я должен думать интенсивнее, чем когда-либо. «Пора поесть; ты мне это уже рассказывала, Нава; послезавтра мы уходим», — вот и все, что мне можно. Но я же ушел! И я здесь! Теперь я

пойду в Город. Что бы это ни было — Город. У меня весь мозг зарос лесом. Я ничего не понимаю... Вспомнил. Я шел в Город, чтобы мне объяснили про все: про Одержание, про мертвяков, Великое Разрыхление Почвы, озера с утопленниками... Оказывается, все это обман, все опять переврали, никому нельзя верить... Я надеялся, что в Городе мне объяснят, как добраться до своих, ведь старец все время говорил: Город знает все. И не может же быть, чтобы он не знал о нашей биостанции, об Управлении. Даже Колченог все время болтает о Чертовых Скалах и о летающих деревнях... Но разве может лиловое облако что-нибудь объяснить? Это было бы страшно, если бы хозяином оказалось лиловое облако. А почему «было бы»? Уже сейчас страшно! Это же напрашивается, Молчун: лиловый туман здесь везде хозяин, разве я не помню? Да и не туман это вовсе... Так вот в чем дело, вот почему людей загнали, как зверей, в чащи, в болота, утопили в озерах: они были слишком слабы, они не поняли, а если и поняли, то ничего не могли сделать, чтобы помешать... Когда я еще не был загнан, когда я еще был дома, кто-то доказывал очень убедительно, что контакт между гуманоидами и негуманоидами невозможен. Да, он невозможен. Конечно же, он невозможен. И теперь никто мне не скажет, как добраться до дома. Мой контакт с людьми тоже невозможен, и я могу это доказать. Я еще могу увидеть Чертовы Скалы, говорят, их можно увидеть иногда, если забраться на подходящее дерево и если это будет подходящий сезон; только нужно сначала найти подходящее дерево, нормальное человеческое дерево. Которое не прыгает. И не отталкивает. И не старается уколоть в глаз. И все равно нет такого дерева, с которого я мог бы увидеть биостанцию... Биостанцию? Би-о-стан-ци-ю. Он забыл, что такое биостанция.

Лес снова загудел, зажужжал, затрещал, зафыркал, снова к лиловому куполу рванулись полчища мух и муравьев. Одна туча прошла над их головами, и кусты засыпало дохлыми и слабыми, неподвижными и едва шевелящимися, помятыми в тесноте роя. Кандид ощутил неприятное жжение в руке и поглядел. Локоть его, упертый в рыхлую землю, ошлели нежные нити грибницы. Кандид равнодушно растер их ладонью. А Чертовы Скалы — это мираж, подумал он, ничего этого нет. Раз они рассказывают про Чертовы Скалы — значит, все это вранье, значит, ничего этого нет, и теперь я уже не знаю, зачем я, собственно, сюда пришел...

Сбоку раздался знакомый устрашающий храп. Кан-

дид повернул голову. Сразу из-за семи деревьев на холм тупо глядел матерый гиппоцет. Один из мертвяков вдруг ожил, вывернулся и сделал несколько шагов навстречу гиппоцету. Снова раздался храп, треснули деревья, и гиппоцет удалился. Мертвяков даже гиппоцеты боятся, подумал Кандид. Кто же их не боится? Где бы их найти, которые не боятся?.. Мухи ревут. Глупо, нелепо. Мухи — ревут. Осы ревут...

— Мама!.. — прошептала вдруг Нава. — Мама идет...

Она стояла на четвереньках и глядела через плечо. Лицо ее выражало огромное изумление и недоверие. И Кандид увидел, что из леса вышли три женщины и, не замечая мертвяков, направились к подножию холма.

— Мама! — завизжала Нава не своим голосом, перепрыгнула через Кандида и понеслась им наперерез. Тогда Кандид тоже вскочил, и ему показалось, что мертвяки совсем рядом, что он чувствует жар от их тел.

Трое, подумал он. Трое... Хватило бы и одного. Он смотрел на мертвяков. Тут мне и конец, подумал он. Глупо. Зачем они сюда приперлись, эти тетки? Ненавижу баб, из-за них всегда что-нибудь не так.

Мертвяки закрыли рты, головы их медленно поворачивались вслед за бегущей Навой. Потом они разом шагнули вперед, и Кандид заставил себя выскочить из кустов им навстречу.

— Назад! — закричал он женщинам, не оборачиваясь. — Уходите! Мертвяки!

Мертвяки были огромные, плечистые, новенькие, без единой царапины, без единой заусеницы. Невероятно длинные руки их касались травы. Не спуская с них глаз, Кандид остановился у них на дороге. Мертвяки смотрели поверх его головы и с уверенной неторопливостью надвигались на него, а он пятился, отступал, все оттягивая неизбежное начало и неизбежный конец, борясь с нервной тошнотой и никак не решаясь остановиться. Нава за его спиной кричала: «Мама! Это я. Да мама же!» Глупые бабы, почему они не бегут? Обмерли от страха? Остановись, говорил он себе, остановись же! Сколько можно пятиться? Он не мог остановиться. Там же Нава, думал он. И эти три дуры... Толстые сонные равнодушные дуры... И Нава... А какое мне до них дело, думал он. Колченог бы уже давно удрал на своей ноге, а Кулак и подавно... А я должен остановиться. Несправедливо. Но я должен остановиться! А ну, остановись!.. Он не мог остановиться, и презирал себя за это, и хвалил себя за это, и ненавидел себя за это, и продолжал пятиться.

Остановились мертвяки. Сразу, как по команде. Тот, что шел впереди, так и застыл с поднятой ногой, а потом медленно, словно в нерешительности, опустил ее в траву. Рты их снова вяло раскрылись, и головы повернулись к вершине холма. Кандид, все еще пятась, оглянулся. Нава, дрыгая ногами, висела на шее у одной из женщин, та, кажется, улыбалась и пошлепывала ее по спине. Другие две женщины спокойно стояли рядом и смотрели на них. Не на мертвяков, не на холм. И даже не на Кандида — чужого заросшего мужика, может быть, вора. А мертвяки стояли неподвижно, как древние примитивные изваяния, словно ноги их вросли в землю, словно во всем лесу не осталось ни одной женщины, которую нужно было хватать и тащить куда-то, куда приказано; и из-под ног их, как дым жертвенного огня, поднимались столбы пара...

Тогда Кандид повернулся и пошел к женщинам. Даже не пошел, а потащился, не уверенный ни в чем, не веря больше ни глазам, ни слуху, ни мыслям. Под черепом ворочался болезненный клубок, и все тело ныло после предсмертного напряжения.

— Бегите, — сказал он еще издали. — Бегите, пока не поздно, что же вы стоите? — Он уже знал, что говорит бессмыслицу, но это была инерция долга, и он продолжал бормотать: — Мертвяки здесь, бегите, я задержу...

Они не обратили на него внимания. Не то чтобы они не слышали или не видели его — молоденькая девушка, совсем юная, может быть, всего на два года старше Навы, совсем еще тонконогая, оглядела его и улыбнулась очень приветливо, — но он ничего не значил для них, словно был большим приبلудным псом, какие бегают повсюду без определенной цели и готовы часами торчать возле людей, ожидая неизвестно чего.

— Почему вы не бежите? — тихо сказал Кандид. Он уже не ждал ответа, и ему не ответили.

— Ай-ай-ай, — говорила беременная женщина, смеясь и качая головой. — И кто бы мог подумать? Могла бы ты подумать? — спросила она девушку. — И я бы нет. Милая моя, — сказала она Навиной матери, — и что же? Он здорово пыхтел? Или просто ерзал и обливался потом?

— Неправда, — сказала девушка. — Он был прекрасен, верно? Он был свеж, как заря, и благоухал...

— Как лилия, — подхватила беременная женщина. — От его запаха голова шла кругом, от его лап бежали мурашки... А ты успела сказать «ах»?

Девушка прыснула. Мать Навы неохотно улыбалась. Они были плотные, здоровые, непривычно чистые, словно вымытые, они и были вымытые — их короткие волосы были мокры, и желтая мешковатая одежда липла к мокрому телу. Мать Навы была ниже всех ростом и, по-видимому, старше всех. Нава обнимала ее за талию и прижималась лицом к ее груди.

— Где уж вам, — сказала мать Навы с деланным пренебрежением. — Что вы можете знать об этом? Вы, необразованные...

— Ничего, — сразу сказала беременная женщина. — Откуда нам это знать? Поэтому мы тебя и спрашиваем... Скажи, пожалуйста, а каков был корень любви?

— Был ли он горек? — сказала девушка и снова прыснула.

— Вот-вот, — сказала беременная женщина. — Плод довольно сладок, хотя и плохо вымыт...

— Ничего, мы его отмоем, — сказала мать Навы. — Ты не знаешь, Паучий бассейн очистили? Или придется нести ее в долину?

— Корень был горек, — сказала беременная женщина девушке. — Ей неприятно о нем вспоминать. Вот странно, а говорят, это незабываемо! Слушай, милая, ведь он тебе снится?

— Не остроумно, — сказала мать Навы. — И тошнотворно...

— Разве мы острым? — удивилась беременная женщина. — Мы просто интересуемся.

— Ты так увлекательно рассказываешь, — сказала девушка, блестя зубами. — Расскажи еще что-нибудь...

Кандид жадно слушал, пытаясь открыть какой-то скрытый смысл в этом разговоре, и ничего не понимал. Он видел только, что эти двое издеваются над Навиной матерью, что Навина мать задета, и что она пытается скрыть это или перевести разговор на другую тему, и что это ей никак не удастся. А Нава подняла голову и внимательно смотрела на говорящих, переводя взгляд с одной на другую.

— Можно подумать, что ты сама родилась в озере, — сказала мать Навы беременной женщине теперь уже с откровенным раздражением.

— О нет, — сказала та. — Но я не успела получить такого широкого образования, и моя дочь, — она похлопала себя ладонью по животу, — родится в озере. Вот и вся разница.

— Ты что к маме привязалась, толстая ты старуха? — сказала вдруг Нава. — Сама на себя посмотри, на что

похожа, а потом привязывайся! А то я скажу мужу, он как тебя огреет палкой по толстой заднице, чтобы не привязывалась...

Женщины, все трое, расхохотались.

— Молчун! — завопила Нава. — Чего они надо мной смеются?

Все еще смеясь, женщины посмотрели на Кандида. Мать Навы — с удивлением, беременная женщина — равнодушно, а девушка — непонятно как, но, кажется, с интересом.

— Что еще за Молчун? — сказала мать Навы.

— Это мой муж, — сказала Нава. — Смотрите, какой он хороший. Он меня от воров спас...

— Какой еще муж? — неприязненно произнесла беременная женщина. — Не выдумывай, девочка.

— Сама не выдумывай, — сказала Нава сейчас же. — Чего ты вмешиваешься? Какое тебе дело? Твой, что ли, муж? Я с тобой вообще, если хочешь знать, не разговариваю. Я с мамой разговариваю. А то лезет, как старик, без спросу, без разрешения...

— Ты что, — сказала беременная женщина Кандиду, — ты что, действительно муж?

Нава затихла. Мать крепко обхватила ее руками и прижала к себе. Она смотрела на Кандида с отвращением и ужасом.

Только девушка продолжала улыбаться, и улыбка ее была так приятна и ласкова, что Кандид обратился именно к ней.

— Да нет, конечно, — сказал он. — Какая она мне жена. Она мне дочь... — Он хотел рассказать, что Нава выходила его, что он ее очень любит и что он очень рад, что все так хорошо и удачно получилось, хотя он ничего не понимает.

Но девушка вдруг прыснула и залилась смехом, махая руками.

— Я так и знала, — простонала она. — Это не ее муж... это вон ее муж! — Она указала на мать Навы. — Это... ее... муж! Ох, не могу!

На лице беременной женщины появилось веселое изумление, и она стала демонстративно внимательно оглядывать Кандида с головы до ног.

— Ай-яй-яй-яй... — начала она прежним тоном, но мать Навы нервно сказала:

— Перестаньте! Надоело наконец! Уходи отсюда, — сказала она Кандиду. — Иди, иди, чего ждешь? В лес иди!..

— Кто бы мог подумать, — тихонько пропела беременная женщина, — что корень любви может оказаться столь горек... столь грязен... волосат... — Она перехватила яростный взгляд Навиной матери и махнула на нее рукой. — Все, все, — сказала она. — Не сердись, милая моя. Шутка есть шутка. Мы просто очень довольны, что ты нашла дочку. Это же невероятная удача...

— Мы будем работать или нет? — сказала Навина мать. — Или мы будем тут заниматься болтовней?

— Я иду, не сердись, — сказала девушка. — Сейчас как раз начнется исход.

Она кивнула, и снова улыбнулась Кандиду, и легко побежала вверх по склону. Кандид смотрел, как она бежит — точно, профессионально, не по-женски. Она добежала до вершины и, не останавливаясь, нырнула в лиловый туман.

— Паучий бассейн еще не очистили, — сказала беременная женщина озабоченно. — Вечно у нас неразбериха со строителями... Как же нам быть?

— Ничего, — сказала мать Навы. — Пройдемся до долины.

— Я понимаю, но все-таки это очень глупо — мучиться, нести почти взрослого человека до самой долины, когда у нас есть свой бассейн.

Она резко пожала плечами и вдруг поморщилась.

— Ты бы села, — сказала мать Навы, поискала глазами и, протянув руку к мертвякам, щелкнула пальцами.

Один из мертвяков тотчас сорвался с места, подбежал, скользя ногами по траве от торопливости, упал на колени и вдруг весь как-то странно расплылся, изогнулся, расплющился.

Кандид заморгал: мертвяка больше не было, было удобное на вид, уютное кресло. Беременная женщина, облегченно кряхтя, опустила на мягкое сиденье и откинула голову на мягкую спинку.

— Скоро уже, — промурлыкала она, с удовольствием вытягивая ноги. — Скорее бы...

Мать Навы присела перед дочерью на корточки и стала глядеть ей в глаза.

— Выросла, — сказала она. — Одичала. Рада?

— Ну еще бы, — сказала Нава неуверенно. — Ведь ты же моя мама. Я тебя каждую ночь во сне видела... А это Молчун, мама... — И Нава принялась говорить.

Кандид озирался, стискивая челюсти. Все это не было бредом, как он сначала надеялся. Это было что-то очень обычное, очень естественное, просто незнакомое ему еще,

но мало ли незнакомого в лесу? К этому надо было привыкнуть, как он привык к шуму в голове, к съедобной земле, к мертвякам и ко всему прочему. Хозяева, подумал он. Это хозяева. Они ничего не боятся. Они командуют мертвяками. Значит, они хозяева. Значит, это они посылают мертвяков за женщинами. Значит, это они... Он посмотрел на мокрые волосы женщин. Значит... И мать Навы, которую угнали мертвяки...

— Где вы купаетесь? — спросил он. — Зачем? Кто вы такие? Чего вы хотите?

— Что? — сказала беременная женщина. — Послушай, милая моя, он что-то спрашивает.

Мать сказала Наве:

— Погоди минуточку, я ничего из-за тебя не слышу... Что ты говоришь? — спросила она беременную женщину.

— Этот козлик, — сказала та. — Он чего-то хочет.

Мать Навы посмотрела на Кандида.

— Что он может хотеть? — сказала она. — Есть, наверное, хочет. Они ведь всегда хотят есть и едят ужасно много, совершенно непонятно, зачем им столько еды, они ведь ничего не делают...

— Козлик, — сказала беременная женщина. — Бедный козлик хочет травки. Бе-е-е-е! ...А ты знаешь, — обратилась она к Навиной матери, — это ведь человек с Белых Скал. Они теперь, между прочим, попадают все чаще. Как они оттуда спускаются?

— Труднее понять, как они туда поднимаются. Как они спускаются, я видела. Они падают. Некоторые убиваются, а некоторые остаются в живых...

— Мама, — сказала Нава, — что ты на него так нехорошо смотришь? Это же Молчун! Ты скажи ему что-нибудь ласковое, а то он обидится. Странно, что он до сих пор не обиделся, я бы на его месте давно обиделась...

Холм снова заревел, черные тучи насекомых закрыли небо. Кандид ничего не слышал, он видел только, как шевелятся губы Навиной матери, которая что-то внушала Наве, и как шевелятся губы беременной женщины, которая обращается к нему, и выражение лица у нее было такое, как будто она и в самом деле разговаривала с домашним козлом, забравшимся в огород. Затем рев стих.

— ...только очень уж грязненький, — говорила беременная женщина. — И как же тебе не стыдно, а? — Она отвернулась и стала смотреть на холм.

Из лиловой тучи на четвереньках выползли мертвяки. Они двигались неуверенно, неумело и то и дело

валились, тычась головами в землю. Между ними ходила девушка, наклоняясь, трогала их, подталкивала, и они один за другим поднимались на ноги, выпрямлялись и, сначала спотыкаясь, а потом, шагая все тверже и тверже, уходили в лес. Хозяева, твердил Кандид про себя. Хозяева. Не верю. А что делать? Он посмотрел на Наву, Нава спала. Ее мать сидела на траве, а она свернулась рядом калачиком и спала, держа ее за руку.

— Какие-то они все слабые, — сказала беременная женщина. — Пора опять все чистить. Смотри, как они спотыкаются... С такими работниками Одержание не закончишь.

Мать Навы ответила ей что-то, и они начали разговор, которого Кандид не понимал. Он разбирал только отдельные слова, как в бреду Слухача. Поэтому он просто стоял и смотрел, как девушка спускается с холма, волоча за лапу неуклюжего рукоеда. Зачем я стою здесь, думал он, что-то мне нужно было от них, они ведь хозяева... Он не мог вспомнить.

— Стою и все, — сказал он со злостью вслух. — Не гонят больше — вот и стою. Как мертвяк.

Беременная женщина мельком глянула на него и отвернулась.

Подошла девушка и сказала что-то, указывая на рукоеда, и обе женщины стали внимательно разглядывать чудовище, причем беременная даже привстала с кресла. Огромный рукоед, ужас деревенских детей, жалобно пищал, слабо вырывался и бессильно открывал и закрывал страшные роговые челюсти. Мать Навы взяла его за нижнюю челюсть и сильным уверенным движением вывернула ее. Рукоед вскрикнул и замер, затянув глаза пергаментной пленкой. Беременная женщина говорила: «...очевидно, не хватает... запомни, девочка... слабые челюсти, глаза открываются не полностью... переносить наверняка не может и поэтому бесполезен, а может быть, даже и вреден, как и всякая ошибка... надо чистить, переменить место, а здесь все почистить...» — «...холм... сухость и пыль... — говорила девушка, — ...лес останавливается... этого я еще не знаю... а вы мне рассказывали совсем по-другому...» — «...а ты попробуй сама, — говорила Навина мать, — ...это сразу заметно... попробуй, попробуй!»

Девушка оттащила рукоеда в сторону, отступила на шаг и стала смотреть на него. Она словно прицеливалась. Лицо ее стало серьезным и даже каким-то неприятным. Рукоед покачивался на неуклюжих лапах, уныло шевелил

оставшейся челюстью и слабо скрипел. «Вот видишь», — сказала беременная женщина. Девушка подошла к рукоеду вплотную и слегка присела перед ним, уперев ладони в колени. Рукоед затрясся и вдруг упал, распластав лапы, словно на него уронили двухпудовую гирю. Женщины рассмеялись. Мать Навы сказала:

— Да перестань ты, почему ты нам не веришь?

Девушка не ответила. Она стояла над рукоедом и смотрела, как тот медленно и осторожно подбирает под себя лапы и пытается подняться. Лицо ее заострилось. Она рывком подняла рукоеда, поставила его на лапы и сделала движение, будто хотела обхватить его. Между ее ладоней через туловище рукоеда протекла струя лилового тумана. Рукоед заверещал, скорчился, выгнулся, засучил лапами. Он пытался убежать, ускользнуть, спастись, он метался, а девушка шла за ним, нависала над ним, и он упал, неестественно сплетая лапы, и стал сворачиваться в узел. Женщины молчали. Рукоед превратился в пестрый, сочащийся слизью клубок, и тогда девушка отошла от него и сказала, глядя в сторону:

— Дрянь какая...

— Чистить надо, чистить, — сказала беременная женщина, поднимаясь. — Займись, откладывать не стоит. Ты все поняла?

Девушка кивнула.

— Тогда мы пойдем, а ты сразу же начинай.

Девушка повернулась и пошла на холм к лиловому облаку. Возле пестрого клубка она задержалась, поймала дергающуюся лапу и пошла дальше, волоча клубок за собой.

— Славная подруга, — сказала беременная женщина. — Молодец.

— Управлять она будет, — сказала мать Навы, тоже поднимаясь. — Характер у нее есть. Ну что же, надо идти...

Кандид едва слышал их. Он все никак не мог отвести глаз от черной лужи, оставшейся на том месте, где скрутили рукоеда. Она к нему даже не прикасалась, она его пальцем не трогала, она просто стояла над ним и делала что хотела... Такая милая, такая нежная, ласковая... Даже пальцем не притронулась... К этому тоже надо привыкнуть? Да, подумал он. Надо. Он стал смотреть, как мать Навы и беременная женщина осторожно ставят Наву на ноги, берут за руки и ведут в лес, вниз к озеру. Так и не заметив его, так и не сказав ему ничего. Он снова посмотрел на лужу. Он почувствовал себя маленьким, жалким

и беспомощным, но все-таки решился и стал спускаться вслед за ними, догнал их и, обливаясь потом от страха, пошел в двух шагах позади. Что-то горячее надвинулось на него со спины. Он оглянулся и прыгнул в сторону. По пятам шел огромный мертвяк — тяжелый, жаркий, бесшумный, немой. Ну-ну-ну, подумал Кандид, это же только робот, слуга. А я молодец, подумал он вдруг, ведь я это сам понял. Я забыл, как я до этого дошел, но это неважно, важно, что я понял, сообразил. Все сопоставил и сообразил — сам... У меня мозг, понятно, сказал он про себя, глядя в спины женщин. Нечего вам особенно... Я тоже кое-что могу.

Женщины говорили о каком-то человеке, который взялся не за свое дело и поэтому стал посмешищем. Их что-то забавляло, они смеялись. Они шли по лесу и смеялись. Словно шли по деревенской улице на посиделки. А вокруг был лес, а под ногами была даже не тропа, а густая светлая трава; в такой траве всегда бывают неприметные мелкие цветы, которые разбрасывают споры, проникающие под кожу и прорастающие в теле. А они хихикали, и болтали, и сплетничали, а Нава шла между ними и спала, но они сделали так, что она шла довольно уверенно и почти не спотыкалась... Беременная женщина мельком оглянувшись, увидела Кандида и рассеянно сказала:

— Ты еще здесь? В лес иди, в лес... Зачем за нами идешь?

Да, подумал Кандид. Зачем? Какое мне до них дело? А ведь какое-то дело есть, что-то у них надо узнать... Нет, не то... Нава! — вдруг вспомнил он. Он понял, что Наву он потерял. С этим ничего не поделаешь. Нава уходит со своей матерью, все правильно, она уходит с хозяевами. А я? Я остаюсь. А зачем я все-таки иду за ними? Провожая Наву? Она же спит, они усыпили ее. Его охватила тоска. Прощай, Нава, подумал он.

Они вышли к развилке тропы, женщины свернули налево, к озеру. К озеру с утопленницами. Они и есть утопленницы... Опять все переврали, все перепутали... Они прошли мимо того места, где Кандид ждал Наву и ел землю. Это было очень давно, подумал Кандид, почти так же давно, как биостанция... Био-станция... Он едва плелся; если бы за ним по пятам не шел мертвяк, он бы, наверное, уже отстал. Потом женщины остановились и посмотрели на него. Кругом были тростники, земля под ногами была теплая и топкая. Нава стояла с закрытыми глазами, чуть заметно покачиваясь, а женщины задумчиво смотрели на него. Тогда он вспомнил.

— Как мне пройти на биостанцию? — спросил он.

На их лицах изобразилось изумление, и он сообразил, что говорит на родном языке. Он и сам удивился: он уже не помнил, когда в последний раз говорил на этом языке.

— Как мне пройти к Белым Скалам? — спросил он.

Беременная женщина сказала, усмехаясь:

— Вот он, оказывается, чего хочет, этот козлик... —

Она говорила не с ним, она говорила с матерью Навы. — Забавно, они ничего не понимают. Ни один из них ничего не понимает. Представляешь, как они бредут к Белым Скалам и вдруг попадают в полосу боев!

— Они гниют там заживо, — сказала мать Навы задумчиво, — они идут и гниют на ходу, и даже не замечают, что не идут, а топчутся на месте... А в общем-то, пусть идет, для Разрыхления это только полезно. Сгниет — полезно. Растворится — тоже полезно... А может быть, он защищен? Ты защищен? — спросила она Кандида.

— Я не понимаю, — сказал Кандид упавшим голосом.

— Милая моя, что ты его спрашиваешь? Откуда ему быть защищенным?

— В этом мире все возможно, — сказала мать Навы. — Я слышала о таких вещах.

— Это болтовня, — сказала беременная женщина. Она снова внимательно оглядела Кандида. — А ты знаешь, — сказала она, — пожалуй, от него было бы больше пользы здесь... Помнишь, что вчера говорили Воспитательницы?

— А-а, — сказала мать Навы. — Пожалуй... Пусть... Пусть останется.

— Да, да, оставайся, — сказала вдруг Нава. Она уже не спала, и она тоже чувствовала, что происходит что-то неладное. — Ты оставайся, Молчун, ты не ходи никуда, зачем тебе теперь уходить? Ты ведь хотел в Город, а это озеро и есть Город, ведь правда, мама?.. Или, может быть, ты на маму обижаешься? Так ты не обижайся, она вообще добрая, только сегодня почему-то злая... Наверное, это от жары...

Мать поймала ее за руку. Кандид увидел, как вокруг головы матери быстро сгустилось знакомое лиловое облачко. Глаза ее на мгновение остекленели и закрылись, потом она сказала:

— Пойдем, Нава, нас уже ждут.

— А Молчун?

— Он останется здесь... В Городе ему совершенно нечего делать.

— Но я хочу, чтобы он был со мной! Как ты не понимаешь, мама, он же мой муж, мне дали его в мужа, и он уже давно мой муж...

Обе женщины поморщились.

— Пойдем, пойдем, — сказала мать Навы. — Ты пока ничего еще не понимаешь... Он никому не нужен, он лишний, они все лишние, они — ошибка... Да пойми же! Ну хорошо, потом придешь к нему... если захочешь.

Нава сопротивлялась — наверное, она чувствовала то же, что чувствовал Кандид, — что они расстанутся навсегда. Мать тащила ее за руку в тростники, а она все оглядывалась и кричала:

— Ты не уходи, Молчун! Я скоро вернусь, ты не вздумай без меня уходить, это будет нехорошо, просто нечестно! Пусть ты не мой муж, раз уж это им почему-то не нравится, но я все равно твоя жена, я тебя выходила, и теперь ты меня жди! Слышишь? Жди!..

Он смотрел ей вслед, слабо махал рукой, кивал, соглашаясь, и все старался улыбнуться. Прощай, Нава, думал он. Прощай. Они скрылись из виду, и остались только тростники, но голос Навы был еще слышен, а потом Нава замолчала, раздался всплеск, и все стихло. Он проглотил комок, застрявший в горле, и спросил беременную женщину:

— Что вы с нею сделаете?

Она все еще внимательно разглядывала его.

— Что мы с нею сделаем? — задумчиво сказала она. — Это не твоя забота, козлик, что мы с нею сделаем. Во всяком случае, муж ей больше не понадобится. И отец тоже... Но вот что нам делать с тобой? Ты ведь с Белых Скал, и не отпускать же тебя просто так...

— А что вам нужно? — спросил Кандид.

— Что нам нужно... Мужья нам, во всяком случае, не нужны. — Она перехватила взгляд Кандида и презрительно засмеялась. — Не нужны, не нужны, успокойся... Попытайся хоть раз в жизни не быть козлом. Попытайся представить себе мир без козлов... — Она говорила, не думая; вернее, она думала о чем-то другом. — На что же ты еще годеи?... Скажи мне, козлик, что ты умеешь?

Что-то было за всеми ее словами, за ее тоном, за ее пренебрежением и равнодушной властностью, что-то важное, что-то неприятное и страшное, но определить это было трудно, и Кандид только почему-то вспомнил черные квадратные двери и Карла с двумя женщинами — такими же равнодушными и властными.

— Ты меня слушаешь? — спросила беременная женщина. — Что ты умеешь делать?

— Я ничего не умею, — вяло сказал Кандид.

— Может быть, ты умеешь управлять?

— Умел когда-то, — сказал Кандид. Пошла ты к черту, подумал он, что ты ко мне привязалась? Я тебя спрашиваю, как пройти к Белым Скалам, а ты ко мне привязываешься... Он вдруг понял, что боится ее, иначе он бы давно ушел. Она была здесь хозяином, а он был жалким грязным глупым козликком.

— Умел когда-то, — повторила она. — Прикажи этому дереву лечь!

Кандид посмотрел на дерево. Это было большое толстое дерево с пышной кроной и волосатым стволом. Он пожал плечами.

— Хорошо, — сказала она, — Тогда убей это дерево... Тоже не можешь? Ты вообще можешь живое делать мертвым?

— Убивать?

— Не обязательно убивать. Убивать и рукоед может. Сделать живое мертвым. Заставить живое стать мертвым. Можешь?

— Я не понимаю, — сказал Кандид.

— Не понимаешь... Что же вы там делаете на этих Белых Скалах, если ты даже этого не понимаешь? Мертвое живым ты тоже не умеешь делать?

— Не умею.

— Что же ты умеешь? Что ты делал на Белых Скалах, пока не упал? Просто жрал и поганил женщин?

— Я изучал лес, — сказал Кандид.

Она строго посмотрела на него:

— Не смей мне лгать. Один человек не может изучать лес, это все равно что изучать солнце. Если ты не хочешь говорить правду, ты так и скажи.

— Я действительно изучал лес, — сказал Кандид. — Я изучал... — Он замялся. — Я изучал самые маленькие существа в лесу. Те, которые не видны глазом.

— Ты опять лжешь, — терпеливо сказала женщина. — Невозможно изучать то, что не видно глазом.

— Возможно, — сказал Кандид. — Нужны только... — Он опять замялся. Микроскоп... Линзы... Приборы... Это не передать. Это не перевести. — Если взять каплю воды, — сказал он, — то, имея нужные вещи, можно увидеть в ней тысячи тысяч мелких животных...

— Для этого не нужно никаких вещей, — сказала женщина. — Я вижу, вы там впали в распутство с ваши-

ми мертвыми вещами на ваших Белых Скалах. Вы вырождаетсяесь. Я уже давно заметила, что вы потеряли умение видеть то, что видит в лесу любой человек, даже грязный мужчина... Постой, ты говоришь о мелких или о мельчайших? Может, ты говоришь о строителях?

— Может быть, — сказал Кандид. — Я не понимаю тебя. Я говорю о мелких животных, от которых болеют, но которые могут и лечить тоже, которые помогают делать пищу, которых очень много и которые есть везде... Я искал, как они устроены у вас здесь в лесу, и какие они бывают, и что они могут...

— А на Белых Скалах они другие, — саркастически сказала женщина. — Впрочем, я поняла, чем ты занимаешься. Над строителями ты никакой власти, конечно, не имеешь. Любой деревенский дурак может больше, чем ты... Куда же мне тебя девать? Ведь ты сам пришел сюда...

— Я пойду, — сказал Кандид устало. — Я пойду, прощай.

— Нет, погоди... Стой, тебе говорят! — крикнула она, и Кандид ощутил раскаленные клещи, сжавшие сзади его локти. Он рванулся, но это было бессмысленно. Женщина размышляла вслух: — В конце концов, он пришел сам. Такие случаи бывают. Если его отпустить, он уйдет в свою деревню и станет совершенно бесполезным... Ловить их бессмысленно. Но если они приходят сами... Знаешь, что я с тобой сделаю? — сказала она. — Отдамка я тебя Воспитательницам для ночных работ. В конце концов, были же удачные случаи... К Воспитательницам, к Воспитательницам! — Она махнула рукой и неторопливо, вперевалку ушла в тростники.

И тогда Кандид почувствовал, что его поворачивают на тропинку. Локти у него онемели, ему казалось, что они обуглились. Он рванулся изо всех сил, и тиски сжались крепче. Он не понял, что с ним будет, и куда его должны отвести, и кто такие Воспитательницы, и что это за ночные работы, но он вспомнил самые страшные из своих впечатлений: призрак Карла посреди плачущей толпы и рукоеда, свертывающегося в пестрый узел. Он изловчился и ударил мертвяка ногой, ударил назад, вслепую, отчаянно, зная, что второй раз этот прием уже не пройдет. Нога его погрузилась в мягкое и горячее, мертвяк всхрипнул и ослабил хватку. Кандид упал лицом в траву, вскочил, повернулся и закричал — мертвяк уже снова шел на него, широко расставив неимоверно длинные руки. Не было ничего под рукой, ни травобоя, ни

бродила, ни палки, ни камня. Топкая теплая земля разъезжалась под ногами. Потом он вспомнил и сунул руку за пазуху, и, когда мертвяк навис над ним, он ударил его скальпелем куда-то между глазами, зажмурился и, навалившись всем телом, протянул лезвие сверху вниз до самой земли и снова упал.

Он лежал, прижимаясь щекой к траве, и глядел на мертвяка, а тот стоял, шатаясь, медленно распахиваясь, как чемодан, по всей длине оранжевого туловища, а потом оступился и рухнул навзничь, заливая все вокруг густо-белой жидкостью, дернулся несколько раз и замер. Тогда Кандид поднялся и побрел прочь. По тропинке. Подальше отсюда. Он смутно помнил, что хотел кого-то здесь ждать, что-то хотел узнать, что-то собирался сделать. Но теперь все это было неважно. Важно было уйти подальше, хотя он сознавал, что никуда уйти не удастся. Ни ему, ни многим, многим, многим другим.

Глава девятая

Перец проснулся от неудобства, от тоски, от невыносимой, как ему показалось сначала, нагрузки на сознание и все прочие органы чувств. Ему было неудобно до боли, и он невольно застонал, медленно приходя в себя.

Нагрузка на сознание оказалась отчаянием и досадой, потому что машина не ехала на Материк, она снова не ехала на Материк и вообще никуда не ехала. Она стояла с выключенным двигателем, мертвая и ледяная, с распахнутыми дверцами. Ветровое стекло было покрыто дрожащими каплями, которые сливались и текли холодными струйками. Ночь за стеклом озарялась ослепительными вспышками прожекторов и фар, и ничего не было видно, кроме этих непрерывных вспышек, от которых ломило глаза. И ничего не было слышно, и Перец даже подумал сначала, что оглох, и только затем сообразил, что на уши равномерно давит густой многоголосый рев сирен. Он заметался по кабине, больно ушибаясь о рычаги и выступы и о проклятый чемодан, попытался протереть стекло, высунулся в одну дверцу, высунулся в другую: он никак не мог понять, где он находится, что это за место и что все это означает. Война, подумал он, боже мой, это война!.. Прожектора со злобным наслаждением били его по глазам, и он ничего не видел, кроме какого-то большого незнакомого здания, в котором равномерно вспыхива-

ли и гасли все окна разом на всех этажах. И еще он видел огромное количество широких лиловых пятен.

Чудовищный голос вдруг произнес спокойно, будто в полной тишине: «Внимание, внимание. Всем сотрудникам стоять на местах по положению номер шестьсот семьдесят пять дробь Пегас омикрон триста два директива восемьсот тринадцать, на торжественную встречу падишаха без специальной свиты, размер обуви пятьдесят пять. Повторяю. Внимание, внимание. Все сотрудники...» Проектора перестали метаться, и Перец различил наконец знакомую арку с надписью «Добро пожаловать», и главную улицу Управления, и темные коттеджи вдоль нее, и каких-то людей в ночном белье с керосиновыми лампами, стоящих около коттеджей, а затем увидел совсем недалеко цепь бегущих людей в черных развевающихся плащах. Эти люди бежали, занимая всю ширину улицы, растянув что-то странное, светлое, и, приглядевшись, Перец понял, что они тащат не то бредень, не то волейбольную сетку, и сейчас же сорванный голос завизжал у него над ухом: «Почему машина? Ты почему здесь стоишь?» И, отшатнувшись, он увидел рядом с собой инженера в белой картонной маске с надписью на лбу чернильным карандашом «Либидович», и этот инженер полез грязными сапогами прямо по нему, пихая его локтем в лицо, храпя и воняя потом, повалился на место водителя, пошарил ключ зажигания, не нашел, истерически взвизгнул и выкатился из кабины на противоположную сторону. На улице зажглись все фонари, стало светло как днем, а люди в белье все стояли с керосиновыми лампами у дверей коттеджей, и у каждого в руке был сачок для бабочек, и они мерно размахивали этими сачками, словно отгоняя что-то невидимое от своих дверей. По улице навстречу и мимо прокатились одна за другой четыре мрачных черных машины, похожих на автобусы без окон, и на крышах у них вращались какие-то решетчатые лопасти, а потом из переулка вывернул вслед за ними старинный броневик. Ржавая башня его вращалась с пронзительным визгом, а тонкий ствол пулемета ходил вверх и вниз. Бронеавтомобиль с трудом протиснулся мимо грузовика, люк на его башне открылся, и высунувшийся человек в бязевой ночной рубашке с болтающимися тесемками недовольно прокричал Перцу: «Что ж ты, голубчик? Проезжать надо, а ты стоишь!» Тогда Перец опустил голову на руки и закрыл глаза.

Я никогда не уеду отсюда, тупо подумал он. Я никому здесь не нужен, я абсолютно бесполезен, но они меня

отсюда не выпустят, хотя бы для этого пришлось начать войну или устроить наводнение...

— Бумаги ваши попрошу, — сказал тягучий стариковский голос, и Переца похлопали по плечу.

— Что? — сказал Перец.

— Документики. Приготовили?

Это был старик в клеенчатом плаще, с берданкой, висящей поперек груди на облезлой металлической цепочке.

— Какие бумаги? Какие документы? Зачем?

— А, господин Перец! — сказал старик. — Что же это вы положение не выполняете? Все бумаги уже должны быть у вас в руке в развернутом виде, как в музее.

Перец дал ему свое удостоверение. Старик, положив локти на берданку, внимательно изучил печати, сверил фотографию с лицом Переца и сказал:

— Что-то вы будто похудели, герр Перец. С лица словно бы спали. Работаете много... — Он вернул удостоверение.

— Что происходит? — спросил Перец.

— Что полагается, то и происходит, — сказал старик, внезапно посуровев. — Происходит положение за номером шестьсот семьдесят пять дробь Пегас. То есть побег.

— Какой побег? Откуда?

— Какой полагается по положению, такой и побег, — сказал старик, начиная спускаться по лестнице. — Того и гляди рванут, так что вы уши берегите, сидите лучше с открытым ртом.

— Хорошо, — сказал Перец. — Спасибо.

— Ты чего здесь, старый хрыч, ползаешь? — раздался внизу злобный голос шофера Вольдемара. — Я тебе покажу — документики! Во, понюхай! Понял? Ну и каись отсюда, если понял...

Мимо с топотом и криками проволокли на руках бетономешалку. Шофер Вольдемар, взъерошенный, ощеренный, вскарабкался в кабину. Бормоча черные слова, он завел двигатель и с грохотом захлопнул дверь. Грузовик рванул с места и помчался по улице мимо людей в белье, размахивающих сачками. В гараж, подумал Перец. Ах, все равно. Но к чемодану я больше не прикоснусь. Не желаю я его больше таскать, провались он пропадом. Он с ненавистью ткнул чемодан пяткой. Машина круто свернула с главной улицы, врезалась в баррикаду из пустых бочек и телег, разнесла ее и помчалась дальше. Некоторое время на радиаторе мотался расщепленный передок извозчичьей пролетки, потом сорвался и хруст-

нул под колесами. Грузовик несся теперь по тесным бсковым улочкам. Вольдемар, насупленный, с потухшим окурком на губе, сгибаясь и разгибаясь всем телом, обеими руками крутил огромный руль. Нет, не в гараж, подумал Перец. И не в мастерские. И не на Материк. В переулках было темно и пусто. Только один раз в лучах фар промелькнули чьи-то картонные лица с надписями, растопыренные руки, и все исчезло.

— Черт меня дернул, — сказал Вольдемар. — Хотел же прямо на Материк ехать, а тут вижу — вы спите, дай, думаю, заверну в гараж, в шахматки сгоняю партию... Только я это нашел Ахилла-слесаря, сбегали за кефиром, приняли, расставили... Я предлагаю ферзевый гамбит, он принимает, все, как надо... Я — «е-четыре», он — «це-шесть»... Я ему говорю: ну, молись. И тут как началось... У вас сигаретки нет, пан Перец?

Перец дал ему сигарету.

— А что за побег? — спросил он. — И куда мы едем?

— Побег самый обыкновенный, — сказал Вольдемар, закуривая. — Каждый год у нас такие побег. У инженеров машинка сбежала. И теперь приказ — всем ловить. Вон ловят...

Поселок кончился. По пустырю, озаренному луной, бродили люди. Они словно играли в жмурки — шли на полусогнутых ногах, широко расставив руки. Глаза у всех были завязаны. Один с размаху налетел на столб и, вероятно, болезненно вскрикнул, потому что остальные разом остановились и стали осторожно ворочать головами.

— Каждый год такая петрушка, — говорил Вольдемар. — У них там и фотоэлементы, и разная акустика, и кибернетика, охранников-дармоедов понаставили на каждом углу — и все-таки обязательно каждый год у них какая-нибудь машинка да сбежит. И тогда тебе говорят: бросай все, иди ее ищи. А кому охота ее искать? Кому охота с ней связываться, я спрашиваю? Ведь если ты ее хоть краем глаза увидишь — все. Или тебя в инженеры упекут, или загонят куда-нибудь в лес, на дальнюю базу, грибы спиртовать, чтобы, упаси бог, не разгласил. Вот народ и ловит, кто как умеет. Кто себе глаза завяжет, чтобы не увидеть, кто как... А кто поумней, тот просто бегаёт и кричит, что есть мочи. У одного документы потребует, у другого обыск сделает, а то просто залезет на крышу и вопит. Вроде и при деле, а риска никакого...

— А мы что, тоже сейчас ловим? — спросил Перец.

— А как же, ловим. Народ ловит, и мы как все. Шесть

часов ловить будем по часам. Есть приказ: если в течение шести часов бежавший механизм не обнаружен, его дистанционно взрывают. Чтобы все было шито-крыто. А то еще попадет в посторонние руки. Видали, какой кавардак в Управлении? Так это еще райская тишь, вы посмотрите, что там через шесть часов начнется. Ведь никто не знает, куда эта машинка заползла. Может, она у тебя в кармане. А заряд ей придается мощный, чтобы уж наверняка... Вот в прошлом году оказалась эта машинка в бане, а в баню множество народу понабилось — спастись. Баня, думают, место сырое, незаметное... Ну и я там был. Баня же, думаю... Так меня в окно вынесло, плавно так, будто на волне. Моргнуть не успел, сижу в сугробе, а надо мной балки горящие проплывают...

Теперь вокруг была равнина, чахлая травка, мутный свет луны, разбитая белая дорога. Слева, там, где осталось Управление, опять суматошно мотались огни.

— Я только не понимаю, — сказал Перец. — Как же мы будем ее ловить. Мы ведь даже не знаем, что она такое... Маленькая она или большая, темная или светлая...

— А это вы скоро увидите, — пообещал Вольдемар. — Это я вам минут через пять покажу. Как умные люди ловят. Черт, где же это место... Потерял. Влево, наверное, взял. Ага, влево... Вон склад техники, а нам, значит, надо правее...

Машина свернула с дороги и закачалась на кочках. Склад остался слева — ряды огромных светлых контейнеров, будто мертвый город на равнине.

...Наверное, она не выдержала. Они трясли ее на вибростенде, они вдумчиво мучили ее, копались у нее во внутренностях, жгли тонкие нервы паяльниками, она задыхалась от запаха канифоли, ее заставляли делать глупости, ее создали, чтобы она делала глупости, ее совершенствовали, чтобы она делала все более глупые глупости, а вечером оставляли ее, истерзанную, обессиленную, в сухой жаркой комнатухе. И наконец она решилась уйти, хотя знала все — и бессмысленность побега, и свою обреченность. И она ушла, неся в себе самоубийственный заряд, и сейчас стоит где-нибудь в тени, мягко переступая коленчатыми ногами, и смотрит, и слушает, и ждет... И теперь ей, наверное, уже стало совершенно ясно все то, о чем она раньше только догадывалась: что никакой свободы нет, заперты перед тобой двери или открыты, что все глупость и хаос, и есть только одно одиночество...

— А!.. — сказал Вольдемар с удовлетворением. — Вот она, милая. Вот она, родимая...

Перец открыл глаза, но успел увидеть впереди только обширную черную лужу, даже не лужу, а просто болото, и услышал, как заревел двигатель, а потом волна грязи вздыбилась и упала на ветровое стекло. Двигатель вновь дико взвыл и заглох. Стало очень тихо.

— Вот это по-нашему, — сказал Вольдемар. — Все шесть колес буксуют. Как мыло в тазу. Ясно? — Он сунул окурок в пепельницу и приоткрыл свою дверь. — Тут еще кто-то есть, — сообщил он и заорал: — Эй, друг! Как дела?

— Порядок! — донеслось снаружи.

— Поймал?

— Насморк поймал! — донеслось снаружи. — Унд пять головастиков.

Вольдемар крепко захлопнул дверцу, зажег в кабине свет, посмотрел на Переца, подмигнул ему, вытащил из-под сиденья мандолину и, склонив голову к правому плечу, принялся щипать струны.

— Вы устраивайтесь, устраивайтесь, — гостеприимно сказал он. — Пока утро наступит, пока тягач доползет...

— Спасибо, — покорно сказал Перец.

— Я вам не мешаю? — вежливо спросил Вольдемар.

— Нет-нет, — сказал Перец, — пожалуйста...

Вольдемар откинул голову, закатил глаза и запел печальным голосом:

Тоске моей не вижу я предела,
Один брожу безумно и устало,
Скажи, зачем ко мне ты охладела,
Зачем любовь так грубо растоптала?

Грязь медленно стекала с ветрового стекла, и стало видно сияющее под луной болото и странной формы автомобиль, торчащий посередине этого болота. Перец включил стеклоочиститель и через некоторое время с изумлением обнаружил, что в трясине, увязнув до башни, стоит давешний броневик.

Теперь с другим ты радуешься жизни,
А я один, безумный и усталый.

Вольдемар изо всех сил ударил по струнам, сфальшивил и откашлялся.

— Эй, друг! — донеслось снаружи. — Закуски нет?

— А что? — закричал Вольдемар.

— Имеется кефир!

— Я не один!

— Валите все! На всех хватит! Запаслись — знали, на что идем!

Шофер Вольдемар повернулся к Перецу.

— А что? — восхищенно сказал он. — Пошли? Кефиру выпьем, может быть, в теннис сыграем... а?

— Я не играю в теннис, — сказал Перец.

Вольдемар крикнул:

— Сейчас идем! Только лодку надуем!

Он быстро, как обезьяна, выкарабкался из кабины и завозился в кузове, лязгая там железом, роняя что-то и весело посвистывая. Потом раздался плеск, царапанье ногами по борту, и голос Вольдемара откуда-то снизу позвал: «Готово, господин Перец! Сигайте сюда, только мандолину захватите!» Внизу, на блестящей поверхности жидкой грязи, лежала надувная лодка, в ней, как гондольер, широко раздвинув ноги, с большой саперной лопатой в руке стоял Вольдемар и, радостно улыбаясь, глядел вверх на Переца.

...В старом ржавом бронев автомобиле времен Вердена было жарко до тошноты, воняло горячим маслом и бензиновым перегаром, горела тусклая лампочка над железным командирским столиком, изрезанным неприличными надписями, под ногами хлопала грязь, ноги стыли, мятый жестяной шкаф для боеприпасов был набит бутылками с кефиром, все были в ночном белье и чесали пятерней волосатые груди, все были пьяны, и зудела мандолина, и башенный стрелок в бязевой рубашке, которому не хватало места внизу, ронял сверху табачный пепел и иногда падал сам спиной вниз, и каждый раз говорил: «Пардон, обознался...» — и его с гоготом подсаживали обратно...

— Нет, — сказал Перец, — спасибо, Вольдемар, я здесь останусь. Мне кое-что постирать надо... да и зарядки я еще не делал.

— А, — сказал Вольдемар с уважением, — тогда другое дело. Тогда я поплыву, а вы, как со стиркой обернетесь, сразу крикните, мы за вами приедем... Мандолину бы мне только.

Он уплыл с мандолиной, а Перец остался сидеть и смотрел, как он сначала пытался загребать лопатой, но от этого лодка только крутилась на месте, и тогда он стал отталкиваться лопатой, как шестом, и дело пошло на лад. Луна обливала его мертвым светом, и он был похож на последнего человека после последнего Великого Потопа, который плавает между верхушками самых высоких зданий, очень одинокий, ищущий спасения от одиночества и еще полный надежд. Он подплыл к броневнику, загремел кулаками по броне, из люка высунулись, весело заржали и втянули его внутрь вниз головой. И Перец остался один.

Он был один, как единственный пассажир ночного поезда, ковыляющего своими тремя облупленными вагончиками по отмирающей железнодорожной ветке, в вагоне все скрипит и шатается, в намертво перекошенные разбитые окна дует и несет паровозной гарью, подпрыгивают на полу окурки и скомканные бумажки, и качается на крючке забытая кем-то соломенная шляпа, а когда поезд подойдет к конечной станции, единственный пассажир выйдет на гнилую платформу, и его никто не встретит, он точно знает, что его никто не встретит, и он побредет домой, и дома зажарит себе на плитке яичницу из двух яиц с третьеводнишной позеленевшей колбасой...

Броневику вдруг затрясся, застучал и озарился судорожными вспышками. Сотни светящихся разноцветных нитей протянулись от него через равнину, и в сиянии луны и в блеске вспышек стало видно, как от броневика по гладкому зеркалу болота пошли широкие круги. Из башни высунулся некто в белом и, надрываясь, провозгласил: «Милостивые государи! Дамы, господа! Салют наций! С совершеннейшим почтением, ваше сиятельство, честь имею оставаться, многоуважаемая княгиня Дикобелла, вашим покорнейшим слугой, техник-смотритель, подпись неразборчива!..» Броневику снова затрясся, засверкал вспышками и снова затих.

«Напушу я на вас неотвязные лозы, — подумал Перец, — и род ваш проклятый джунгли сметут, кровли обрушатся, балки падут, и карелою, горькой карелой дома зарастут».

...Лес надвигался, взбирался по серпантину, карабкался по отвесной скале, впереди шли волны лилового тумана, из них выползали, опутывая и сжимая, мириады зеленых щупалец, а на улицах разверзались клоаки, и дома проваливались в бездонные озера, и прыгающие деревья вставляли на бетонных взлетных площадках перед битком набитыми самолетами, где люди лежали штабелями вперемежку с бутылками кефира, с серыми грифованными папками и с тяжелыми сейфами, и земля под утесом расступилась и всосала его. Это было бы так закономерно, так естественно, что никто не был бы удивлен, все были бы только испуганы и приняли бы уничтожение как возмездие, которого каждый в страхе ждал уже давно. А шофер Тузик, как паук, бегал бы между шатающимися коттеджами и искал бы Риту, чтобы напоследок получить все-таки свое, но так и не успел бы...

Из броневика взвились три ракеты, военный голос проревел: «Танки справа, укрытие слева! Экипаж, в укры-

тие!» — и кто-то сейчас же подхватил косноязычно: «Бабы слева, койки справа! Эк-кипаж, по к-койкам!» И раздались ржание и топот, совершенно уже нечеловеческие, словно табун племенных жеребцов бился и лягался в этой железной коробке в поисках выхода на простор, к кобылам. Перец распахнул дверь и выглянул наружу. Под ногами была топь, глубокая топь, потому что чудовищные колеса грузовика уходили в жирную жижу выше ступиц. Правда, до берега было близко.

Перец перелез в кузов и долго шел к заднему борту, с грохотом и звоном ступая по дну этого необъятного стального корыта в густой лунной тени, потом вскарабкался на борт и по одной из бесчисленных лесенок спустился до самой воды. Некоторое время он, набираясь решимости, висел над ледяной жижей, а затем, когда в бронев автомобиле снова ударили из пулемета, зажмурился и прыгнул. Жижа стала расступаться под ним и расступалась долго-долго, и не было этому конца, и, когда он почувствовал под ногами твердь, грязь затопила его по грудь. Он налег на грязь всем телом, он толкал ее коленями и отталкивался ладонями, и сначала он только бился на месте, а потом приспособился и пошел, и, к своему удивлению, очень быстро оказался на сухом месте.

Хорошо бы где-нибудь отыскать людей, подумал он. Для начала просто людей — чистых, выбритых, внимательных, гостеприимных. Не надо полета высоких мыслей, не надо сверкающих талантов, не надо потрясающих целей и самоотрицания. Пусть они просто всплеснут руками, увидев меня, и кто-нибудь побежит наполнять ванну, и кто-нибудь побежит доставать чистое белье и ставить чайник, только чтобы никто не спрашивал документов и не требовал автобиографии в трех экземплярах с приложением двадцати дублированных отпечатков пальцев, и чтобы никто-никто не бросался к телефону сообщить куда следует значительным шепотом, что-де появился неизвестный, весь в грязи, называет себя Перцем, но только вряд ли он Перец, потому что Перец убыл на Материк, и приказ об этом уже отдан и завтра будет вывешен... Не нужно еще, чтобы они были принципиальными сторонниками или противниками чего-нибудь. Не нужно, чтобы они были принципиальными противниками пьянства, лишь бы сами не были пьяницами. Не нужно, чтобы они были принципиальными сторонниками правды-матки, лишь бы не врали и не говорили гадостей ни в глаза, ни за глаза. И чтобы они не требовали от человека полного соответствия каким-

нибудь идеалам, а принимали и понимали бы его таким, какой он есть... Боже мой, подумал Перец, неужели я хочу так много?

Он вышел на дорогу и долго брел на огни Управления. Там неустанно вспыхивали прожектора, метались тени, поднимался разноцветный дым. Перец шел, в его ботинках ворчала и хлюпала вода, подсохшая одежда стояла коробом и шуршала, как картон, время от времени со штанов отваливались пласты грязи и шлепались на дорогу, и каждый раз Перцу казалось, что он выронил бумажник с документами, и он в панике хватался за карман, а когда он уже подходил к складу техники, его вдруг обожгла жуткая мысль, что документы подмокли и все печати и подписи на них расплылись и стали неразборчивы и непоправимо подозрительны. Он остановился, ледяными руками раскрыл бумажник и вытащил все удостоверения, все пропуска, все свидетельства, все справки и стал их рассматривать под луной. И оказалось, что ничего страшного не произошло, что вода испортила только одну пространную справку на гербовой бумаге, удостоверяющую, что предъявитель сего прошел курс прививок и допущен к работе на счетно-вычислительных машинах. Тогда он снова уложил документы в бумажник, проложив их аккуратно ассигнациями, и пошел было дальше, но тут представил себе, как выходит на главную улицу, и люди в картонных масках и косо приклеенных бородах хватают его за руки, завязывают ему глаза, дают ему что-то понюхать, и приказывают: «Ищи! Ищи!» — и говорят: «Запомнили запах, сотрудник Перец?» — и науськивают: «Шерше, дура, шерше!» И, представив себе все это, он, не останавливаясь, свернул с дороги и побежал, пригибаясь, к складу техники, нырнул в тень огромных светлых ящиков, запутался ногами в мягком и с разбегу упал на кучу тряпок и пакли.

Здесь оказалось тепло и сухо. Шершавые стенки ящиков были горячими на ощупь, и это сначала обрадовало, а потом уже удивило его. В ящиках было тихо, но он вспомнил рассказ о машинах, самостоятельно выползающих из контейнеров, и понял, что в ящиках идет своя жизнь, но не испугался, а даже, наоборот, почувствовал себя в безопасности. Он сел поудобнее, снял сырые ботинки, стянул мокрые носки и вытер ноги паклей. Здесь было так тепло, так хорошо, так уютно, что он подумал: «Странно, неужели я здесь один? Неужели никто не сообразил, что гораздо лучше сидеть здесь, нежели ползать по пустырям с завязанными глазами или торчать в

смердящем болоте?» Он прислонился спиной к горячей фанере, и упер босые ноги в горячую фанеру напротив, и почувствовал, что ему хочется мурлыкать. Над головой у него была узкая щель, и он видел полоску белесого от луны неба и на ней несколько неярких звездочек. Откуда-то доносился гул, треск, рев моторов, но это его нисколько не касалось.

«Хорошо бы здесь остаться навсегда, — подумал он. — Раз уж мне не уйти на Материк, останусь здесь навсегда. Подумаешь, машины! Все мы машины. Только мы — испорченные машины или плохо отлаженные...»

...Есть такое мнение, господа, что человек никогда не договорится с машиной. И не будем, граждане, спорить. Директор тоже так считает. Да и Клавдий-Октавиан Домарощинер этого же мнения придерживается. Ведь что есть машина? Неодухотворенный механизм, лишенный всей полноты чувств и не могущий быть умнее человека. Опять же и структура небелковая, опять же и жизнь нельзя свести к физическим и химическим процессам, а значит, и разум... Тут на трибуну взобрался интеллектуал-лирик с тремя подбородками и галстуком-бабочкой, рванул себя безжалостно за крахмальную манишку и рыдающе провозгласил: «Я не могу... Я не хочу этого... Розовое дитя, играющее погремушкой... плакучие ивы, склоняющиеся к пруду... девочки в беленьких фартучках... Они читают стихи... они плачут... плачут!.. Над прекрасной строкой поэта... Я не желаю, чтобы электронное железо погасило эти глаза... эти губы... эти юные перси... Нет, не станет машина умнее человека! Потому что я... потому что мы... Мы не хотим этого! И этого не будет никогда! Никогда!!! Никогда!!!» К нему потянулись со стаканами воды, а в четырехстах километрах над его снежными кудрями беззвучно, мертво, зорко прошел, нестерпимо блестя, автоматический спутник-истребитель, начиненный ядерной взрывчаткой...

Я тоже этого не хочу, подумал Перец, но нельзя же быть таким глупым дураком. Можно, конечно, объявить кампанию по предотвращению зимы, шаманить, нажравшись мухомора, бить в бубны, выкрикивать заклинания, но лучше все-таки шить шубы и покупать валенки... Впрочем, этот седовласый опекатель робких персей покричит-покричит с трибуны, а потом утащит у любовницы масленку из футляра со швейной машинкой, подкрадется к какой-нибудь электронной громадине и станет мазать ей шестеренки, искательно заглядывая в циферблаты и почтительно хихикая, когда его долбанет током.

Боже, спаси нас от седовласых глупых дураков. И не забудь при этом, боже, спасти нас от умных дураков в картонных масках...

— Я думаю, это у тебя сны, — произнес где-то наверху добродушный бас. — Я по себе знаю, от снов иногда бывает очень неприятный осадок. Иногда даже наступает словно бы паралич. Невозможно двигаться, невозможно работать. А потом все проходит. Надо бы тебе поработать. Почему бы тебе не поработать? И все осадки растворяются в удовольствии.

— Ах, да не могу я работать, — возразил капризный тонкий голос. — Мне все надоело. Всегда одно и то же: железо, пластмасса, бетон, люди. Я сыта этим по горло. Для меня в этом не осталось никакого удовольствия. Мир так прекрасен и так разнообразен, а я сижу на одном месте и умираю от скуки.

— Взяла бы да переменяла место, — проскрипел издали какой-то сварливый старик.

— Легко сказать — переменить место! Вот я сейчас не на месте, и все равно мне тоскливо. А как трудно было уйти!

— Ну, хорошо, — сказал рассудительный бас. — А что тебе хочется? Это даже как-то непостижимо. Чего может хотеться, если не хочется работать?

— Ах, как вы не понимаете? Я хочу жить полной жизнью. Я хочу увидеть новые места, получить новые впечатления, ведь здесь все одно и то же...

— Отставить! — рявкнул оловянный голос. — Болтовня! Одно и то же — это хорошо. Постоянный прицел. Ясно? Повторите!

— Ах, да ну вас с вашими командами...

Разговаривали, несомненно, машины. Перец не видел их и никак не мог их себе представить, но ему чудилось, будто он притаился под прилавком игрушечного магазина и слушает, как беседуют игрушки, знакомые с детства, только огромные и поэтому страшные. Этот истерический тонкий голосок принадлежал, конечно, пятиметровой кукле Жанне. На ней было пестрое платье из тюля, и у нее было толстое розовое неподвижное лицо с закаченными глазами, толстые нелепо растопыренные руки и ноги со склеенными пальцами. А басом говорил медведь, исполинский Винни Пух, едва уместающийся в контейнере, незлобивый, лохматый, набитый опилками, коричневый, со стеклянными глазами-пуговками. И остальные были игрушками, но Перец еще не мог понять — какими.

— Я полагаю, что следует все-таки тебе порабо-

тать, — проворчал Винни Пух. — Ты, милочка, имей в виду, что здесь есть существа, которым повезло гораздо меньше, чем тебе. Например, наш садовник. Ему очень хочется работать. Но он сидит здесь и думает днем и ночью, потому что не окончательно еще разработал план действий. И никто не слышал от него никаких жалоб. Однообразная работа — это тоже работа. Однообразное удовольствие — это тоже удовольствие. Это еще не причина для разговоров о смерти и тому подобном.

— Ах, вас не поймешь, — сказала кукла Жанна. — То у вас сны всему причиной, то я не знаю что. А у меня предчувствия. Я места себе не нахожу. Я знаю, что будет страшный взрыв, и я вся разлечусь на мельчайшие брызги и превращусь в пар. Я знаю, я видела...

— Отставить! — грянул оловянный голос. — Не терплю! Что вы знаете о взрывах? Вы можете бежать к горизонту с любой скоростью и под любым углом. И тот, кому надо, достанет вас с любого расстояния, и это будет настоящий взрыв, а не какой-нибудь интеллигентский пар. Но разве тот, кому это надо, я? Никто этого не скажет, а если бы и хотел сказать, то не успел бы. Я знаю, что я говорю. Ясно? Повторите.

Во всем этом было много тупой самоуверенности. Это был наверняка огромный заводной танк. С такой же точно тупой самоуверенностью он перебирал резиновыми гусеницами, карабкаясь через подставленный ботинок.

— Я не знаю, что вы имеете в виду, — сказала кукла Жанна. — Но если я и прибежала сюда, к вам, к единственно близким мне существам, то это, по-моему, еще не означает, что я намерена ради чьего бы то ни было удовольствия бегать к горизонту под какими-то углами. И вообще прошу обратить внимание, что я не с вами разговариваю... А если речь идет о работе, то я не больная, я существо нормальное, и мне удовольствия нужны, как и всем вам. Но это не настоящая работа, какое-то фальшивое удовольствие. Я все жду моего, настоящего, а его нет, нет и нет. И я не знаю, в чем дело, а когда начинаю думать, то додумываюсь до одних глупостей... — она всхлипнула.

— Н-ну... — пробасил Винни Пух. — В общем-то, да... Конечно... Только... Гм...

— Все правильно! — заметил новый голос, очень звонкий и веселый. — Девочка права. Настоящей работы нет...

— Настоящая работа, настоящая работа! — ядовито проскрипел старик. — Вокруг целые рудники настоящей

работы. Эльдорадо! Копи царя Соломона! Вон они ходят вокруг меня со своими больными внутренностями, со своими саркомами, с восхитительными свищами, с аппетитнейшими аденоидами и аппендиксами, с обыкновенным, но таким увлекательным кариесом, наконец! Давайте говорить откровенно. Они мешают, они не дают работать. Я не знаю, в чем тут дело, может быть, они издают какой-нибудь особый запах или излучают неизвестное поле, но, когда они находятся рядом со мной, у меня начинается шизофрения. Я раздваиваюсь. Одна половина меня жаждет наслаждения, тянется схватить и сделать необходимое, сладостное, желанное, а другая впадает в прострацию и забивает все вечными вопросами: а стоит ли, а зачем, морально ли это... Вот вы, я про вас говорю, вы что, работаете?

— Я? — сказал Винни Пух. — Конечно... А как же?.. Странно даже от вас слышать, не ожидал... Я кончаю проектирование вертолета, и потом... Ведь я рассказывал, что создал превосходный тягач, это было такое наслаждение... По-моему, у вас нет оснований сомневаться, работаю ли я.

— Да не сомневаюсь я, не сомневаюсь, — проскрипел старик. (Гнусный такой, типичный старикашка, не то гоблин, не то астролог, в черной плюшевой мантии с золотыми блестками.) — Вы мне только скажите, где этот тягач?

— Н-ну... Не понимаю даже... Откуда я знаю? И какое мне дело? Сейчас меня интересует вертолет...

— Об этом и речь! — сказал Астролог. — Вам ни до чего нет дела. Вы всем довольны. Вам никто не мешает. Вам даже помогают! Вот вы разродились тягачом, захлебываясь от удовольствия, и люди сейчас же убрали его от вас, чтобы вы не отвлекались на мелочи, а наслаждались бы по большому счету. А вот вы спросите его, помогают ему люди или нет...

— Мне? — взревел Танк. — Дерьмо! Отставить! Когда кое-кто выходит на полигон и решает немного размяться, продлить удовольствие, поиграть, взять цель в азимутальную или, скажем, вертикальную вилку, они поднимают шум и гам, они поднимают крик, от которого становится противно, и любой впадает в расстройство. Но разве я сказал, что этот любой — я? Нет! Этого вы от меня не дождетесь. Ясно? Повторите.

— И я, и я тоже! — затрещала кукла Жанна. — Сколько раз я уже думала, зачем они существуют? Ведь все в мире имеет смысл, правда? А они, по-моему, не

имеют. Наверное, их нет, это просто галлюцинации. Когда пытаешься проанализировать их, взять пробу из нижней части, из верхней части, из середины, то обязательно натыкаешься на стену, или пробегаешь мимо, или вдруг засыпаешь...

— Они несомненно существуют, глупая вы истеричка! — прокрипел Астролог. — У них есть и верхняя часть, и нижняя, и средняя, и все эти части заполнены болезнями. Я не знаю ничего более восхитительного, никакое другое существо не несет в себе столько объектов наслаждения, как люди. Что вы понимаете в смысле их существования?

— Да бросьте вы усложнять! — сказал звонкий веселый голос. — Они просто красивы. Истинное удовольствие смотреть на них. Не всегда, конечно, но вот представьте себе сад. Пусть это будет сколь угодно прекрасный сад, но без людей он не будет совершенен, не будет закончен. Хотя бы вид людей должен обязательно оживлять его. Пусть это будут маленькие люди с голыми конечностями, которые никогда не ходят, а только бегают и бросают камни... или средние люди, рвущие цветы... все равно. Пусть даже лохматые люди, которые бегают на четырех конечностях. Сад без них — не сад...

— Кое-кого тоска берет слушать эту бессмыслицу, — заявил Танк. — Вздор! Сады ухудшают видимость, а что касается людей, то кое-кому они мешали непрерывно, и что-нибудь хорошее о них сказать просто нельзя. Во всяком случае, стоит кому-нибудь дать ха-ароший залп по сооружению, в котором почему-либо находятся люди, как пропадает всякое желание работать, тянет поспать, и любой, кто это сделал, засыпает. Натурально, я говорю это не о себе, но если бы кто-нибудь и сказал это обо мне, разве стали бы вы возражать?

— Что-то вы в последнее время много говорите о людях, — сказал Винни Пух. — С чего бы ни начался разговор, вы обязательно сворачиваете на людей.

— А почему, собственно, и нет? — сейчас же взъелся Астролог. — Вам-то что до этого? Вы оппортунист! А если нам хочется говорить, то мы и будем говорить. Не испрашивая у вас разрешения.

— Пожалуйста, пожалуйста, — грустно сказал Винни Пух. — Просто раньше мы говорили главным образом о живых существах, о наслаждении, о замыслах, а теперь я отмечаю, что люди начинают занимать все большее место в наших разговорах, а значит, и в мыслях.

Наступило молчание. Перец, стараясь двигаться бес-

шумно, переменял позу — лег на бок и поджал колени к животу. Винни Пух не прав. Пусть они говорят о людях, пусть они как можно больше говорят о людях. Они, по-видимому, очень плохо знают людей, и поэтому очень интересно, что же они скажут. Устами младенцев глаголет истина. Когда люди сами говорят о себе, они либо бахвалятся, либо каются. Надоело...

— Вы все достаточно глупы в своих суждениях, — сказал Астролог. — Вот, например, садовник. Я надеюсь, вы понимаете, что я достаточно объективен, чтобы сопереживать удовольствиям моих товарищей. Вы любите сажать сады и разбивать парки. Прекрасно. Сопереживаю. Но, скажите на милость, при чем здесь люди? При чем здесь люди, которые поднимают ножку возле деревьев, или те, которые делают это иным способом? Я ощущаю здесь некое нездоровое эстетство. Это как если бы, оперируя гланды, я для полноты удовольствия требовал, чтобы оперируемый был при этом замотан в цветную тряпку...

— Просто вы суховаты по натуре, — заметил Садовник, но Астролог не слушал его.

— Или вот вы, — продолжал он, — вы постоянно размахиваете своими бомбами и ракетами, вы рассчитываете упреждения и балуетесь с целеуловителями. Не все ли вам равно, есть ли в сооружении люди или нет? Казалось бы, наоборот, вы могли бы подумать о своих товарищах, обо мне, например. Сшивать раны! — произнес он мечтательно. — Вы представить себе не можете, что это такое — сшивать хорошую рваную рану на животе...

— Опять о людях, опять о людях, — сокрушенно сказал Винни Пух. — Седьмой вечер мы говорим только о людях. Мне странно говорить об этом, но, по-видимому, между вами и людьми возникла некая, пока неопределенная, но достаточно прочная связь. Природа этой связи для меня совершенно неясна, если не считать вас, доктор, для кого люди являются необходимым источником удовольствия... Вообще все это мне кажется нелепым, и, по-моему, настала пора...

— Отставить! — прорычал Танк. — Пора еще не настала.

— Ч-что? — спросил Винни Пух растерянно.

— Пора еще не настала, говорю я, — повторил Танк. — Некоторые, конечно, неспособны знать, настала пора или нет, некоторые — я не называю их — не знают даже о том, что такая пора должна настать, но кое-кто

знает совершенно точно, что неизбежно наступит время, когда по людям, находящимся внутри сооружений, стрелять будет не только можно, но и нужно! А кто не стреляет — тот враг! Преступник! Уничтожить! Ясно? Повторите!

— Я догадываюсь о чем-то подобном, — неожиданно мягким голосом произнес Астролог. — Рваные раны... Газовая гангрена... Радиоактивный ожог третьей степени...

— Все они призраки, — вздохнула кукла Жанна. — Какая тоска! Какая печаль!..

— Раз уж вы никак не можете кончить говорить о людях, — сказал Винни Пух, — то давайте попытаемся выяснить природу этой связи. Попытаемся рассуждать логически...

— Одно из двух, — сказал новый голос, размеренный и скучный. — Если упомянутая связь существует, то доминантными являются либо они, либо мы.

— Глупо, — сказал Астролог. — При чем здесь «либо»? Конечно, мы.

— А что такое «доминантный»? — спросила кукла Жанна несчастным голосом.

— «Доминантный» в данном контексте означает преобладающий, — пояснил скучный голос. — Что же касается самой постановки вопроса, то она является не глупой, а единственно верной, если мы собираемся рассуждать логически.

Наступила пауза. Все, видимо, ждали продолжения. Наконец Винни Пух не выдержал и спросил: «Ну?»

— Я не уяснил себе, собираетесь ли вы рассуждать логически? — сказал скучный голос.

— Да, да, собираемся, — загомонили машины.

— В таком случае, принимая существование связи как аксиому, либо они для вас, либо вы для них. Если они для вас и они мешают вам действовать в соответствии с законами вашей природы, они должны быть устранены, как устраняется любая помеха. Если вы для них, но вас не удовлетворяет такое положение вещей, они также должны быть устранены, как устраняется всякий источник неудовлетворительного положения вещей. Это все, что я могу сказать по существу вашей беседы.

Никто больше не произнес ни слова, в контейнерах послышались возня, скрип, щелканье, словно огромные игрушки устраивались спать, утомившись разговором, и еще чувствовалась повисшая в воздухе всеобщая неловкость, как в компании людей, которые долго болтали

языками, не щадя ради красного словца ни матери, ни отца, и вдруг почувствовали, что зашли в болтовне слишком далеко. «Влажность что-то поднимается», — прокричал вполголоса Астролог. «Я уже давно заметила, — пропищала кукла Жанна. — Так приятно: новые цифры...» — «И что это у меня питание баракхлит, — проворчал Винни Пух. — Садовник, у вас нет запасного аккумулятора на двадцать два вольта?» — «Ничего у меня нет», — отозвался Садовник. Потом послышался треск, будто отдирали фанеру, механический свист, и Перец вдруг увидел в узкой щели над собой что-то блестящее, движущееся, ему показалось, что кто-то заглядывает к нему в тень между ящиками, он облился холодным потом от ужаса, поднялся, вышел на цыпочках в лунный свет и, сорвавшись, побежал к дороге. Он бежал изо всех сил, и ему все казалось, что десятки странных, нелепых глаз провожают его и видят, какой он маленький, жалкий, незащитный на открытой всем ветрам равнине, и смеются, что тень его гораздо больше его самого и что он от страха забыл надеть ботинки и теперь боится вернуться за ними.

Он миновал мост через сухой овраг, и уже видел перед собой окраинные домики Управления, и уже почувствовал, что задыхается и что босым пальцам нестерпимо больно, и хотел остановиться, когда сквозь шум собственного дыхания услышал позади дробный топот множества ног. И тогда, вновь потеряв голову от страха, он помчался из последних сил, не чувствуя под собой земли, не чувствуя своего тела, отшлепывая липкую тягучую слюну, ничего больше не соображая. Луна мчалась рядом с ним над равниной, а топот приближался и приближался, и он подумал: все, конец, и топот настиг его, и кто-то огромный, белый, жаркий, как распаленная лошадь, появился рядом, заслонив луну, вырвался вперед и стал медленно удаляться, в неистовом ритме выбрасывая длинные голые ноги, и Перец увидел, что это человек в футболке с номером «14» и в белых спортивных трусах с темной полосой, и Перецу стало еще страшнее. Множественный топот за его спиной не прекращался, слышались стоны и болезненное вскрикивание. Бегут, подумал он истерически. Все бегут! Началось! И они бегут, только поздно, поздно, поздно!..

Он смутно видел по сторонам коттеджи главной улицы, и чьи-то замершие лица, а он все старался не отстать от длинноногого человека номер четырнадцать, потому что не знал, куда надо бежать и где спасение, а может

быть, где-нибудь уже раздадут оружие, а я не знаю где, и опять окажусь в стороне, но я не хочу, не могу быть сейчас в стороне, потому что они там, в ящиках, может быть, по-своему и правы, но они тоже мои враги...

Он влетел в толпу, и толпа расступилась перед ним, и перед его глазами мелькнул квадратный флажок в шахматную клетку, и раздались одобрительные возгласы, и кто-то знакомый побежал рядом, приговаривая: «Не останавливайтесь, не останавливайтесь...» Тогда он остановился, и его тотчас обступили и накинули на плечи атласный халат. Раскатистый радиоголос произнес: «Вторым пришел Перец из отдела Научной охраны со временем семь минут двенадцать и три десятых секунды... Внимание, приближается третий!»

Знакомый человек, оказавшийся Проконсулом, говорил: «Вы просто молодец, Перец, я никак не мог ожидать. Когда вас объявили на старте, я хохотал, а теперь вижу, что вас необходимо включить в основную группу. Сейчас идите отдыхайте, а завтра к двенадцати извольте на стадион. Надо будет преодолеть штурмовую полосу. Я вас пушу за слесарные мастерские... Не спорьте, с Кимом я договорюсь». Перец огляделся. Вокруг было много знакомых людей и неизвестных в картонных масках. Неподалеку подбрасывали в воздух и ловили длинноногого мужчину, который прибежал первым. Он взлетал под самую луну, прямой, как бревно, прижимая к груди большой металлический кубок. Поперек улицы висел плакат с надписью «Финиш», а под плакатом стоял, глядя на секундомер, Клавдий-Октавиан Домарошцинер в строгом черном пальто и с повязкой «Гл. судья» на рукаве. «...И если бы вы бежали в спортивной форме, — бубнил Проконсул, — можно было бы засчитать вам это время официально». Перец отодвинул его локтем и на подгибающихся ногах побрел сквозь толпу.

— ...Чем потеть от страха, сидя дома, — говорили в толпе, — лучше заняться спортом.

— То же самое я только что говорил Домарошцинеру. Но дело здесь не в страхе, вы заблуждаетесь. Следовало упорядочить беготню поисковых групп. Поскольку все и так бегают, пусть хоть бегают с пользой...

— А чья это затея? Домарошцинера! Этот своего не упустит. Талант!..

— Напрасно все-таки бегают в кальсонах. Одно дело — выполнять в кальсонах свой долг, это почетно. Но соревноваться в кальсонах — это, по-моему, типичный организационный просчет. Я буду об этом писать...

Перец выбрался из толпы и, шатаясь, побрел по пустой улице. Его тошнило, болела грудь, и он представлял себе, как те, в ящиках, вытянув металлические шеи, с изумлением глядят на дорогу, на толпу в кальсонах и с завязанными глазами, и тщетно силятся понять, какая существует связь между ними и деятельностью этой толпы, и понять, конечно, не могут, и то, что служит у них источниками терпения, уже готово иссякнуть...

В коттедже Кима было темно, плакал грудной ребенок.

Дверь гостиницы оказалась забита досками, и окна тоже были темными, а внутри кто-то ходил с потайным фонарем, и Перец заметил в окнах второго этажа чьи-то бледные лица, осторожно выглядывающие наружу.

Из дверей библиотеки торчал бесконечно длинный ствол пушки с толстым дульным тормозом, а на противоположной стороне улицы догорал сарай, и по пожарищу бродили озаряемые багровым пламенем люди в картонных масках и с миноискателями.

Перец направился в парк. Но в темном переулке к нему подошла женщина, взяла его за руку и, не говоря ни слова, куда-то повела. Перец не сопротивлялся, ему было все равно. Она была вся в черном, рука ее была теплая и мягкая, и белое лицо светилось в темноте. Алевтина, подумал Перец. Вот она и дождалась своего часа, думал он с откровенным бесстыдством. А что тут такого? Ведь ждала же. Непонятно почему, непонятно, на что я ей сдался, но ждала именно меня...

Они вошли в дом, Алевтина зажгла свет и сказала:

— Я тебя здесь давно жду.

— Я знаю, — сказал он.

— А почему же ты шел мимо?

В самом деле, почему? — подумал он. Наверное, потому, что мне было все равно.

— Мне было все равно, — сказал он.

— Ладно, это неважно, — сказала она. — Присядь, я сейчас все приготовлю.

Он присел на край стула, положив руки на колени, и смотрел, как она сматывает с шеи черную шаль и вешает ее на гвоздь — белая, полная, теплая. Потом она ушла в глубь дома, и там загудела газовая колонка и заплескалась вода. Он почувствовал сильную боль в ступнях, задрал ногу и посмотрел на босую подошву. Подушечки пальцев были сбиты в кровь, и кровь смешалась с пылью и засохла черными корочками. Он представил себе, как опускает ноги в горячую воду и как сначала это очень

больно, а потом боль проходит и наступает успокоение. Буду сегодня спать в ванне, подумал он. А она пусть приходит и добавляет горячей воды.

— Иди сюда, — позвала Алевтина.

Он с трудом поднялся, ему показалось, что у него сразу болезненно закрипели все кости, и, прихрамывая, пошел по рыжему ковру к двери в коридор, а в коридоре — по черно-белому ковру в тупичок, где дверь в ванную была уже распахнута, и деловито гудело синее пламя в газовой колонке, и блестел кафель, и Алевтина, нагнувшись над ванной, высыпала в воду какие-то порошки. Пока он раздевался, сдирая с себя задубевшее от грязи белье, она взбила воду, и над водой поднялось одеяло пены, выше краев поднялась белоснежная пена, и он погрузился в эту пену, закрыв глаза от наслаждения и боли в ногах, а Алевтина присела на край ванны и, ласково улыбаясь, глядела на него, такая добрая, такая приветливая, и не было сказано ни одного слова о документах...

Она мыла ему голову, а он отплеывался, и отфыркивался, и думал, какие у нее сильные умелые руки, совсем как у мамы, и готовит она, наверное, так же вкусно, как мама, а потом она спросила: «Спину тебе потереть?» Он похлопал себя по уху, чтобы выбить воду и мыло, и сказал: «Ну, конечно, еще бы!..» Она продрала ему спину жесткой мочалкой и включила душ.

— Подожди, — сказал он. — Я хочу еще полежать просто так. Сейчас я эту воду выпущу, наберу чистую и полежу просто так, а ты посиди здесь. Пожалуйста.

Она выключила душ, вышла ненадолго и вернулась с табуреткой.

— Хорошо! — сказал он. — Знаешь, мне никогда еще не было здесь так хорошо.

— Ну вот, — улыбнулась она. — А ты все не хотел.

— Откуда же мне было знать?

— А зачем тебе все обязательно знать заранее? Мог бы просто попробовать. Что ты терял? Ты женат?

— Не знаю, — сказал он. — Теперь, кажется, нет.

— Я так и думала. Ты, наверное, ее очень любил. Какая она была?

— Какая она была... Она ничего не боялась. И она была добрая. Мы с нею вместе бредили про лес.

— Про какой лес?

— Как — про какой? Лес один.

— Наш, что ли?

— Он не наш. Он сам по себе. Впрочем, может быть,

он действительно наш. Только трудно себе представить это.

— Я никогда не была в лесу, — сказала Алевтина. — Там, говорят, страшно.

— Непонятное всегда страшно. Хорошо бы научиться не бояться непонятного, тогда все было бы просто.

— А по-моему, просто не надо выдумывать, — сказала она. — Если поменьше выдумывать, тогда на свете не будет ничего непонятного. А ты, Перчик, все время выдумываешь.

— А лес? — напомнил он.

— А что — лес? Я там не была, но попади я туда, не думаю, чтобы очень растерялась. Где лес — там тропинки, где тропинки — там люди, а с людьми всегда договориться можно.

— А если не люди?

— А если не люди, так там делать нечего. Надо держаться людей, с людьми не пропадешь.

— Нет, — сказал Перец. — Это все не так просто. Я вот с людьми прямо-таки пропадаю. Я с людьми ничего не понимаю.

— Господи, да чего ты, например, не понимаешь?

— А ничего не понимаю. Я, между прочим, поэтому и о лесе мечтать начал. Но теперь я вижу, что в лесу не легче.

Она покачала головой.

— Какой же ты еще ребенок, — сказала она. — Как же ты еще никак не можешь понять, что ничего нет на свете, кроме любви, еды и гордости. Конечно, все запутано в клубок, но только за какую ниточку ни потяни, обязательно придешь или к любви, или к власти, или к еде...

— Нет, — сказал Перец. — Так я не хочу.

— Милый, — сказала она тихонько. — А кто же тебя станет спрашивать, хочешь ты или нет... Разве что я тебя спрошу: и чего ты, Перчик, мечешься, какого рожна тебе надо?

— Мне, кажется, сейчас уже ничего не надо, — сказал Перец. — Удрать бы отсюда подальше и заделаться архивариусом... или реставратором. Вот и все мои желания.

Она снова покачала головой.

— Вряд ли. Что-то у тебя слишком сложно получается. Тебе что-нибудь попроще надо.

Он не стал спорить, и она поднялась.

— Вот тебе полотенце, — сказала она. — Вот здесь я белье положила. Вылезай, будем чай пить. Чаю напьешься с малиновым вареньем и ляжешь спать.

Перец уже выпустил всю воду и, стоя в ванне, вытирался огромным мохнатым полотенцем, когда звякнули стекла и донесся глухой отдаленный удар. И тогда он вспомнил склад техники и глупую истерическую куклу Жанну и крикнул:

— Что это? Где?

— Это машинку взорвали, — отозвалась Алевтина. — Не бойся.

— Где? Где взорвали? На складе?

Некоторое время Алевтина молчала, видимо, смотрела в окно.

— Нет, — сказала она наконец. — Почему на складе? В парке... Вон дым идет... А забегали-то все, а забегали...

Глава десятая

Леса видно не было. Вместо леса под скалой и до самого горизонта лежали плотные облака. Это было похоже на заснеженное поле: торосы, снежные барханы, полыньи и трещины, таящие бездонную глубину, — и если прыгнуть со скалы вниз, то не земля, не теплые болота, не распростертые ветви остановят тебя, а твердый, искрящийся на утреннем солнце лед, припорошенный сухим снегом, и ты останешься лежать под солнцем на льду, плоский, неподвижный, черный. И еще, если подумать, это было похоже на старое, хорошо выстиранное белое покрывало, брошенное на верхушки деревьев...

Перец поискал вокруг себя, нашел камешек, покидал его с ладони на ладонь и подумал, какое это все-таки хорошее местечко над обрывом: и камешки здесь есть, и Управления здесь не чувствуется, вокруг дикие колючие кусты, немятая выгоревшая трава, и даже какая-то пташка позволяет себе чирикать, только не надо смотреть направо, где нахально сверкает на солнце свежей краской подвешенная над обрывом роскошная латрина на четыре очка. Правда, до нее довольно далеко и при желании можно заставить себя вообразить, что это беседка или какой-нибудь научный павильон, но все-таки лучше бы ее не было.

Может быть, именно из-за этой новенькой, возведенной в прошлую беспокойную ночь латрины лес закрылся облаками. Впрочем, вряд ли. Не станет лес закутываться до горизонта из-за такой малости, он и не такое видел от людей.

Во всяком случае, подумал Перец, я каждое утро

смогу приходить сюда. Я буду делать, что мне прикажут, буду считать на испорченном «мерседесе», буду преодолевать штурмовую полосу, буду играть в шахматы с менеджером и попробую даже полюбить кефир: наверное, это не так уж трудно, если большинству людей это удалось. А по вечерам (и на ночь) я буду ходить к Алевтине, есть малиновое варенье и лежать в директорской ванне. В этом даже что-то есть, подумал он: вытираться директорским полотенцем, запахиваться в директорский халат и греть ноги в директорских шерстяных носках. Два раза в месяц я буду ездить на биостанцию получать жалованье и премии, не в лес, а именно на биостанцию, и даже не на биостанцию, а в кассу, не на свидание с лесом и не на войну с лесом, а за жалованьем и за премией. А утром, рано утром, я буду приходить сюда и смотреть на лес издали, и кидать в него камушки.

Кусты позади с треском раздвинулись. Перец осторожно оглянулся, но это был не директор, а все тот же Домарошцинер. В руках у него была толстая папка, и он остановился поодаль, глядя на Переца сверху вниз влажными глазами. Он явно что-то знал, что-то очень важное, и принес сюда к обрыву эту странную тревожную новость, которой не знал никто в мире, кроме него, и ясно было, что все прежнее теперь уже не имеет значения и от каждого потребуется все, на что он способен.

— Здравствуйте, — сказал он и поклонился, прижимая папку к бедру. — Доброе утро. Как отдыхали?

— Доброе утро, — сказал Перец. — Спасибо.

— Влажность сегодня семьдесят шесть процентов, — сообщил Домарошцинер. — Температура — семнадцать градусов. Ветра нет. Облачность — ноль баллов. — Он неслышно приблизился, держа руки по швам и, наклонившись к Перцу корпусом, продолжал: — Дубль-вэ сегодня равно шестнадцати...

— Какой дубль-вэ? — спросил Перец, поднимаясь.

— Число пятен, — быстро сказал Домарошцинер. Глаза его забегали. — На солнце, — сказал он. — На с-с-с... — Он замолчал, пристально глядя Перцу в лицо.

— А зачем вы мне это говорите? — спросил Перец с неприязнью.

— Прошу прощения, — быстро сказал Домарошцинер. — Больше не повторится. Значит, только влажность, облачность... гм... ветер и... О противостояниях тоже прикажете не докладывать?

— Слушайте, — сказал Перец мрачно. — Что вам от меня надо?

Домарошцинер отступил на два шага и склонил голову.

— Прошу прощения, — сказал он. — Возможно, я помешал, но есть несколько бумаг, которые требуют... так сказать, немедленного... вашего личного... — Он протянул Перецу папку, как пустой поднос. — Прикажете доложить?

— Знаете что... — сказал Перец угрожающе.

— Да-да? — сказал Домарошцинер. Не выпуская папки, он стал поспешно шарить по карманам, видимо ища блокнот. Лицо его посинело, как бы от усердия.

Дурак и дурак, подумал Перец, стараясь взять себя в руки. Что с него взять?

— Глупо, — сказал он по возможности сдержанно. — Понимаете? Глупо и несколько не остроумно.

— Да-да, — сказал Домарошцинер. Изогнувшись, придерживая папку локтем и бедром, он бешено строчил в блокноте. — Одну секунду... Да-да?

— Что вы там пишете? — спросил Перец.

Домарошцинер с испугом взглянул на него и прочитал:

— «Пятнадцатого июня... время: семь сорок пять... место: над обрывом...»

— Слушайте, Домарошцинер, — сказал Перец с раздражением. — Какого черта вам от меня надо? Что вы все время за мной шляется? Хватит, надоело! (Домарошцинер строчил.) И шутка эта ваша глупая, и нечего около меня шпионить. Постыдились бы, взрослый человек... Да перестаньте вы писать, идиот! Глупо же! Лучше бы зарядку сделали или умылись, вы только поглядите на себя, на что вы похожи! Тьфу!

Дрожащими от ярости пальцами он стал застегивать ремешки на сандалиях.

— Правду, наверное, про вас говорят, — пыхтел он, — что вы везде крутитесь и все разговоры записываете. Я думал, это шутки у вас такие дурацкие... Я верить не хотел, я вообще таких вещей не терплю, но вы уж, видно, совсем обнаглели...

Он выпрямился и увидел, что Домарошцинер стоит по стойке смирно и по щекам его текут слезы.

— Да что с вами сегодня? — испугавшись, спросил Перец.

— Я не могу... — пробормотал Домарошцинер, всхлипывая.

— Чего не можете?

— Зарядку... Печень у меня... справка... и умываться...

— Да господи боже мой, — сказал Перец. — Ну не

можете и не надо, я просто так сказал... Ну что вы, в самом деле, за мной ходите? Ну поймите вы меня, ради бога, неприятно же это... Я против вас ничего не имею, но поймите...

— Не повторится! — восторженно вскричал Домарощинер. Слезы на его щеках мгновенно высохли. — Никогда больше!

— А ну вас, — сказал Перец устало и пошел сквозь кусты. Домарощинер ломился следом. «Паяц старый, — подумал Перец, — юродивый...»

— Весьма срочно, — бормотал Домарощинер, тяжело дыша. — Только крайняя необходимость... Ваше личное внимание...

Перец оглянулся.

— Какого черта? — воскликнул он. — Это же мой чемодан, отдайте его сюда, где вы его взяли?

Домарощинер поставил чемодан на землю и открыл было кривой от удущья рот, но Перец его слушать не стал, а схватился за ручку чемодана. Тогда Домарощинер, так ничего и не сказав, лег на чемодан животом.

— Отдайте чемодан! — сказал Перец, леденя от ярости.

— Ни за что! — просипел Домарощинер, ерзая коленками по гравию. Папка мешала ему, он взял ее в зубы и обнял чемодан обеими руками. Перец рванул изо всех сил и оторвал ручку.

— Прекратите это безобразие! — сказал он. — Сейчас же!

Домарощинер помотал головой и что-то промышчал. Перец расстегнул воротник и растерянно огляделся. В тени дуба неподалеку стояли почему-то два инженера в картонных масках. Поймав его взгляд, они вытянулись и щелкнули каблуками. Тогда Перец, затравленно озираясь, торопливо пошел по дорожке вон из парка. Всякое уже, кажется, бывало, лихорадочно думал он, но это уж совсем... Это они сговорились... бежать, бежать надо! Только как бежать? Он вышел из парка и повернул было к столовой, но на пути его снова оказался Домарощинер, грязный и страшный. Он стоял с чемоданом на плече, синее лицо его было залито не то слезами, не то водой, не то потом, глаза, затянутые белой пленкой, блуждали, а папку со следами клыков он прижимал к груди.

— Не сюда изволите... — прохрипел он. — Умоляю... в кабинет... невыносимо срочно... притом интересы субординации...

Перец шархнулся от него и побежал по главной

улице. Люди на тротуарах стояли столбом, закинув головы и выкатив глаза. Грузовик, мчавшийся навстречу, затормозил с диким визгом, врезался в газетный киоск, из кузова посыпались люди с лопатами и начали строиться в две шеренги. Какой-то охранник прошел мимо строевым шагом, держа винтовку на караул...

Дважды Перец пытался свернуть в переулок, и каждый раз перед ним оказывался Домарощинер. Домарощинер уже не мог говорить, он только мычал и рычал, умоляюще закатывая глаза. Тогда Перец побежал к зданию Управления. Ким, думал он лихорадочно, Ким не позволит... неужели и Ким?.. запрусь в уборной... пусть попробуют... ногами буду бить... теперь все равно...

Он ворвался в вестибюль, и сейчас же с медным дребезгом сводный оркестр грянул встречный марш. Мелькнули напряженные лица, вытаращенные глаза, выгнутые груди. Домарощинер настиг его и погнал по парадной лестнице, по малиновым коврам, по которым никогда никому не разрешалось ходить, через какие-то незнакомые двусветные залы, мимо охранников в парадной форме, при орденах, по вошеному скользкому паркету, наверх, на четвертый этаж, и дальше, по портретной галерее, и снова наверх, на пятый этаж, мимо накрашенных девиц, замерших, как манекены, в какой-то роскошный, озаренный лампами дневного света тупик, к гигантской кожаной двери с табличкой «Директор». Дальше бежать было некуда.

Домарощинер догнал его, проскользнул у него под локтем, страшно, как эпилептик, захрипел и распахнул перед ним кожаную дверь. Перец вошел, погрузился ступнями в чудовищную тигровую шкуру, погрузился всем своим существом в строгий начальственный сумрак приспущенных портьер, в благородный аромат дорогого табака, в ватную тишину, в размеренность и спокойствие чужого существования.

— Здравствуйте, — сказал он в пространство. Но за гигантским столом никого не было. И никто не сидел в огромных креслах. И никто не встретил его взглядом, кроме мученика Селивана на исполинской картине, занимавшей всю боковую стену.

Позади Домарощинер со стуком уронил чемодан. Перец вздрогнул и обернулся. Домарощинер стоял, шатаясь, и протягивал ему папку, как пустой поднос. Глаза у него были мертвые, стеклянные. Сейчас умрет человек, подумал Перец. Но Домарощинер не умер.

— Необычайно срочно... — просипел он, задыха-

ясь. — Без визы директора невозможно.. личной... никогда бы не осмелился...

— Какого директора? — прошептал Перец. Страшная догадка начала смутно формироваться в его мозгу.

— Вас... — просипел Домарошцинер. — Без вашей визы... отнюдь...

Перец оперся о стол и, придерживаясь за его полированную поверхность, побрел в обход к креслу, которое показалось ему самым близким. Он упал в прохладные кожаные объятия и обнаружил, что слева стоят ряды разноцветных телефонов, а справа тома в тисненном золотом переплетях, а прямо — монументальная чернильница, изображающая Тангейзера и Венеру, над нею — белые умоляющие глаза Домарошцинера и протянутая папка. Он стиснул подлокотники и подумал: «Ах, так? Дряни вы, сволочи, холопы... так, да? Ну-ну, подонки, холуи, картонные рыла... Ну хорошо, пусть будет так...»

— Не трясите папкой над столом, — сказал он сурово. — Дайте ее сюда.

В кабинете возникло движение, мелькнули тени, взлетел легкий вихрь, и Домарошцинер оказался рядом, за правым плечом, и папка легла на стол и раскрылась, словно бы сама собою, выглянули листы отличной бумаги, и он прочел слово, напечатанное крупными буквами: «ПРОЕКТ».

— Благодарю вас, — сказал он сурово. — Вы можете идти.

И снова взлетел вихрь, возник и исчез легкий запах пота, и Домарошцинер был уже около двери и пятился, наклонив корпус и держа руки по швам, — страшный, жалкий и готовый на все.

— Одну минутку, — сказал Перец. Домарошцинер замер. — Вы можете убить человека? — спросил Перец.

Домарошцинер не колебался. Он выхватил малый блокнот и произнес:

— Слушаю вас?

— А совершить самоубийство? — спросил Перец.

— Что? — сказал Домарошцинер.

— Идите, — сказал Перец. — Я вас потом вызову.

Домарошцинера не стало. Перец откашлялся и потер щеки.

— Предположим, — сказал он вслух. — А что дальше?

Он увидел на столе табель-календарь, перевернул страничку и прочитал то, что было записано на сегод-

няшный день. Почерк бывшего директора разочаровал его. Директор писал крупно и разборчиво, как учитель чистописания. «Завгруппами 9.30. Осмотр ноги 10.30. Але пудру. Кефир-зефир попроб. Машинизация. Катушка: кто украл? Четыре бульдозера!!!»

К черту бульдозеры, подумал Перец. Всё: никаких бульдозеров, никаких экскаваторов, никаких пилящих комбайнов искоренения... Хорошо бы заодно кастрировать Тузика — нельзя, жаль... и еще этот склад машин. Взорву, решил он. Он представил себе Управление — вид сверху — и понял, что очень многое нужно взрывать. Слишком многое... Взрывать и дурак умеет, подумал он.

Он выдвинул средний ящик стола и увидел там кипы бумаг, и тупые карандаши, и два филателистических зубцемера, и поверх всего этого — витой золотой генеральский погон. Один погон. Он поискал второй, шаря рукой под бумагами, укололся о кнопку и нашел связку ключей от сейфа. Сам сейф стоял в дальнем углу, декорированный под сервант. Перец поднялся и пошел через кабинет к сейфу, оглядываясь по сторонам и замечая очень много странного, чего он не заметил раньше.

Под окном стояла хоккейная клюшка, рядом с нею — костыль и протез ноги в ботинке с ржавым коньком. В глубине кабинета оказалась еще одна дверь, поперек нее была натянута веревка, а на веревке висели черные плавки и несколько штук носков, в том числе и дырявые. На двери была потемневшая металлическая табличка с вырезанной надписью «СКОТ». На подоконнике стоял полускрытый портьерой небольшой аквариум, в чистой прозрачной воде среди разноцветных водорослей мерно шевелил ветвистыми жабрами жирный черный аксолотль. А из-за картины, изображающей Селивана, торчал роскошный капельмейстерский бунчук с конскими хвостами.

Перец долго возился возле сейфа, подбирая ключи. Наконец он распахнул тяжелую броневую дверцу. Изнутри дверца оказалась оклеена неприличными картинками из фотожурналов для мужчин, а в сейфе почти ничего не было. Перец нашел там пенсне с расколотым левым стеклом, мятый картуз с непонятной кокардой и фотографию незнакомого семейства (оскалившийся отец, мать — губки бантиком и двое мальчиков в кадетской форме). Был там парабеллум, хорошо вычищенный и ухоженный, с единственным патроном в стволе, еще один витой генеральский погон и железный крест с дубовыми листьями. В сейфе была еще кipa папок, но все они были пустые, и только в самой нижней оказался черновой

проект приказа о наложении взыскания на шофера Тузика за систематическое непосещение Музея истории Управления. «Так его, так его, негодяя, — пробормотал Перец. — Подумать только, музея не посещает... Этому делу надо дать ход».

Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся... Кефироман, бабник отвратительный, резинщик... впрочем, все шоферы резинщики... нет, это надо прекратить: кефир, шахматки в рабочее время. Между прочим, что это считает Ким на испорченном «мерседесе»? Или это так и надо — какие-нибудь там стохастические процессы... Слушай, Перец, ты что-то очень мало знаешь. Ведь все работают. Никто почти не отлынивает. По ночам работают. Все заняты, ни у кого нет времени. Приказы исполняются, это я знаю, это я сам видел. Вроде бы все в порядке: охранники охраняют, водители водят, инженеры строят, научники пишут статьи, кассиры выдают деньги...

Слушай, Перец, подумал он. А может быть, вся эта карусель как раз для того, и существует, чтобы все работали? В самом деле, хороший механик чинит машину за два часа. А потом? А остальные двадцать два часа? А если к тому же на машинах работают опытные рабочие, которые машин не портят? Само же собой напрашивается: хорошего механика перевести в повара, а повара — в механика. Тут не то что двадцать два часа — двадцать два года заполнить можно. Нет, в этом есть какая-то логика. Все работают, выполняют свой человеческий долг, не то что обезьяны какие-нибудь... и дополнительные специальности приобретают... В общем-то нет в этом никакой логики, кавардак это сплошной, а не логика... Бог ты мой, я тут стою столбом, а на лес гадят, лес искореняют, лес превращают в парк. Надо скорее что-то делать, теперь я отвечаю за каждый гектар, за каждого щенка, за каждую русалку, я теперь за все отвечаю...

Он засуетился, кое-как закрыл сейф, бросился к столу, отодвинул папку и вытащил чистый лист бумаги из ящика... Но здесь же тысячи людей, подумал он. Установившиеся традиции, установившиеся отношения, они же будут смеяться надо мной... Он вспомнил потного и жалкого Домарошцинера и самого себя в приемной у директора. Нет, смеяться не будут. Плакать будут, жаловаться будут... этому... мосье Ахти... резать друг друга будут. Но не смеяться. Вот это самое ужасное, подумал он. Не умеют они смеяться, не знают они, что это такое и зачем.

Люди, подумал он. Люди, и людишки, и человечешки. Демократия нужна, свобода мнений, свобода ругани, соберу всех и скажу: ругайте! Ругайте и смейтесь... Да, они будут ругать. Будут ругать долго, с жаром и упоением, поскольку так приказано: будут ругать за плохое снабжение кефиром, за плохую еду в столовой; дворника будут ругать с особенной страстью — улицы-де который год не метены; шофера Тузика ругать будут за систематическое непосещение бани... и в перерывах будут бегать в латрину над обрывом... Нет, так я запутаюсь, подумал он. Нужен какой-то порядок. Что у меня теперь есть?

Он стал быстро и неразборчиво писать на листке: «Группа Искоренения леса, группа Изучения леса, группа Вооруженной охраны леса, группа Помощи местному населению леса...» Что там еще? Да! «Группа Инженерного проникновения в л.» И еще... «Группа Научной охраны л.» Все, кажется. Так. А чем они занимаются? Странно, мне никогда не приходило в голову, чем же здесь они занимаются. Более того, мне как-то не приходило в голову узнать, чем занимается Управление вообще. Как это можно совмещать искоренение леса с охраной леса, да при этом еще помогать местному населению... Ну, вот что, подумал он. Во-первых, никаких искоренений. Искоренение искоренить. Инженерное проникновение, наверное, тоже. Или пусть работают наверху, внизу им во всяком случае делать нечего. Пусть свои машины разбирают, пусть хорошую дорогу сделают, пусть болото это вонючее засыпят... Тогда что останется? Вооруженная охрана останется. С волкодавами. Ну, вообще-то... вообще-то лес охранять следует. Только вот... Он вспомнил лица известных ему охранников и в сомнении пожевал губами. Н-да... Ну, ладно, ну, предположим. А Управление-то зачем? Я зачем? Распустить Управление, что ли? Ему стало весело и жутко. «Вот это да, — подумал он. — Могу! Распушу — и все, — подумал он. — Кто мне судья? Я — директор, глава. Приказ — и все!..»

Тут он вдруг услышал тяжелые шаги. Где-то совсем рядом. Зазвенели стекляшки на лостре, на веревке колыхнулись сохнувшие носки. Перец поднялся и на цыпочках подошел к маленькой дверце. Там, за дверцей, кто-то ходил, неровно, словно бы спотыкаясь, но больше ничего не было слышно, а в двери не было даже замочной скважины, чтобы посмотреть. Перец осторожно подергал ручку, но дверь не поддавалась. «Кто там?» — спросил он громко, приблизив губы к щели. Никто не отозвался, но шаги не стихли — словно пьяный там бродил, заплетаясь

ногами. Перец снова подергал ручку, пожал плечами и вернулся на свое место.

В общем власть имеет свои преимущества, подумал он. Управление я, конечно, распускать не буду, глупо, зачем распускать готовую, хорошо сколоченную организацию? Ее нужно просто повернуть, направить на настоящее дело. Прекратить вторжение в лес, усилить его осторожное изучение, попытаться найти контакты, учиться у него... Ведь они даже не понимают, что такое лес. Подумаешь, лес! Дрова и дрова... Научить людей любить лес, уважать его, жить его жизнью... Нет, тут много работы. Настоящей, важной. И люди найдутся — Ким, Стоян... Рита... Господи, а менеджер чем плох?.. Алевтина... В конце концов, и этот Ахти тоже, наверное, фигура, умница, ерундой только занят... Мы им покажем, подумал он весело. Мы им еще покажем, черт возьми! Ладно. А в каком состоянии у нас текущие дела?

Он придвинул к себе папку. На первом листе было написано следующее.

«ПРОЕКТ ДИРЕКТИВЫ О ПРИВНЕСЕНИИ ПОРЯДКА

§ 1. На протяжении последнего года Управление по лесу существенно улучшило свою работу и достигло высоких показателей во всех областях своей деятельности. Освоены, изучены, искоренены и взяты под вооруженную и научную охрану многие сотни гектаров лесной территории. Непрерывно растет мастерство специалистов и рядовых работников. Совершенствуется организация, сокращаются непроизводительные расходы, устраняются бюрократические и иные непроизводственные препоны.

§ 2. Однако наряду с достигнутыми достижениями вредоносное действие Второго закона термодинамики, а также закона больших чисел все еще продолжает иметь место, несколько снижая общие высокие показатели. Нашей ближайшей задачей становится теперь упразднение случайностей, производящих хаос, нарушающих единый ритм и вызывающих снижение темпов.

§ 3. В связи с вышеизложенным предлагается в дальнейшем рассматривать проявления всякого рода случайностей незаконными и противоречащими идеалу организованности, а прикосновенность к случайности (пробабилитность) — как преступное деяние, либо, если прикосновенность к случайности (пробабилитность) не влечет за

собой тяжких последствий, — как серьезнейшее нарушение служебной и производственной дисциплины.

§ 4. Виновность лица, прикосновенного к случайности (пробабилитика), определяется и измеряется статьями Уголовного Уложения № 62, 64, 65 (исключ. пп. С. и О), 113 и 192 п. К, или § Административного Кодекса, 12,15 и 97.

Примечание. Смертельный исход прикосновенности к случайности (пробабилитности) не является, как таковой, оправдывающим либо смягчающим обстоятельством. Осуждение, либо взыскание, в этом случае производится посмертно.

§ 5. Настоящая Директива дана... месяца... дня... года. Обратной силы не имеет.

Подпись: Директор Управления (...).

Перец облизал пересохшие губы и перевернул страницу. На следующем листе был приказ об отдаче под суд сотрудника группы Научной охраны Х. Тойти в соответствии с Директивой «О привнесении порядка» «за злостное потакание закону больших чисел, выразившееся в поскользнутии на льду с сопутствующим повреждением голеностопного сустава, каковая преступная прикосновенность к случайности (пробабилитность) имела место 11 марта с. г.». Сотрудника Х. Тойти предлагалось впредь во всех документах именовать пробабилитиком Х. Тойти...

Перец щелкнул зубами и посмотрел следующий листок. Это тоже был приказ о наложении административного взыскания — штрафа в размере четырехмесячного жалования посмертно на собаководо вооруженной охраны Г. де Мюморанси, «беспечно позволившего себе быть пораженным атмосферным разрядом (молнией)». Дальше шли заявления об отпусках, просьбы об одновременном пособии по случаю утери кормильца и объяснительная записка некоего Ж. Люмбаго относительно пропажи какой-то катушки...

— Какого черта! — сказал Перец вслух и снова прочитал проект Директивы. Он вспотел. Проект был отпечатан на меловой бумаге с золотым обрезом. Посоветоваться бы с кем-нибудь, тоскливо подумал Перец, этак я совсем пропаду...

Тут дверь распахнулась, и в кабинет, толкая перед собой столик на колесиках, вошла Алевтина, одетая очень изысканно и модно, со строгим и серьезным выражением на умело подкрашенном и припудренном лице.

— Вам завтрак, — сказала она деликатным голосом.

— Закройте дверь и идите сюда, — сказал Перец.

Она закрыла дверь, толкнула столик ногой и, поправляя волосы, подошла к Перцу.

— Ну что, пусик, — сказала она, улыбаясь, — доволен ли ты теперь?

— Слушай, — сказал Перец. — Ерунда какая-то. Ты почитай.

Она села на подлокотник, левой обнаженной рукой обняла Переца за шею, а правой обнаженной рукой взяла Директиву.

— Ну, знаю, — сказала она. — Все правильно. В чем дело? Может быть, тебе Уголовное Уложение принести? Прежний директор тоже ни одной статьи не помнил.

— Да нет, подожди, — нетерпеливо сказал Перец. — При чем здесь Уложение.. при чем здесь Уложение! Ты читала?

— Не только читала, но и печатала. И стиль правила. Домарошционер ведь писать не умеет, он и читать-то только здесь научился... Кстати, пусик, — сказала она озабоченно, — Домарошционер там ждет, в приемной, ты его во время завтрака прими, он это любит. Он тебе бутерброды делать будет...

— Да плевал я на Домарошционера! — сказал Перец. — Ты мне объясни, что я...

— На Домарошционера плевать нельзя, — возразила Алевтина. — Ты у меня еще пусик, ты у меня еще ничего не понимаешь... — Она надавила Перцу на нос, как на кнопку. — У Домарошционера есть два блокнотика. В один блокнотик он записывает, кто что сказал, — для директора, а в другой блокнотик он записывает, что сказал директор. Ты, пусик, это имей в виду и никогда не забывай.

— Подожди, — сказал Перец. — Я хочу с тобой посоветоваться. Вот эту Директиву... этот бред я подписывать не буду.

— Как это — не будешь?

— А вот так. У меня рука не подыметься — такое подписать.

Лицо Алевтины стало строгим.

— Пусик, — сказала она. — Ты не упирайся. Ты подпиши. Это же очень срочно. Я тебе потом все объясню, а сейчас...

— Да что тут объяснять? — сказал Перец.

— Ну, раз ты не понимаешь, значит, тебе нужно объяснить. Вот я тебе потом и объясню.

— Нет, ты мне сейчас объясни, — сказал Перец. — Если можешь, — добавил он. — В чем я сомневаюсь.

— Ух ты мой маленький, — сказала Алевтина и поцеловала его в висок. Она озабоченно поглядела на часы. — Ну, хорошо, ну, ладно.

Она пересела на стол, подложила под себя руки и начала, глядя прищуренными глазами поверх головы Переца:

— Существует административная работа, на которой стоит все. Работа эта возникла не сегодня и не вчера, вектор уходит своим основанием далеко в глубь времен. До сегодняшнего дня он овеществлен в существующих приказах и директивах. Но он уходит и глубоко в будущее, и там он пока еще только ждет своего овеществления. Это подобно прокладке шоссе по трассированному участку. Там, где кончается асфальт, и спиной к готовому участку стоит нивелировщик и смотрит в теодолит. Этот нивелировщик — ты. Воображаемая линия, идущая вдоль оптической оси теодолита, есть неовеществленный административный вектор, который из всех людей видишь только ты и который именно тебе надлежит овеществлять. Понятно?

— Нет, — сказал Перец твердо.

— Это неважно, слушай дальше... Как шоссе не может свернуть произвольно влево или вправо, а должно следовать оптической оси твоего теодолита, так и каждая очередная директива должна служить континуальным продолжением всех предыдущих... Пусик, миленький, ты не вникай, я этого сама ничего не понимаю, но это даже хорошо, потому что вникание порождает сомнение, сомнение порождает топтание на месте, а топтание на месте — это гибель всей административной деятельности, а следовательно, и твоя, моя и вообще... Это же азбука. Ни единого дня без Директивы, и все будет в порядке. Вот эта Директива о привнесении порядка — она же не на пустом месте, она уже увязана с предыдущей Директивой о неубывании, а та увязана с Приказом о небеременности, а этот Приказ логически вытекает из Предписания о чрезмерной возмутимости, а оно...

— Какого черта! — сказал Перец. — Покажи мне эти предписания и приказы... Нет, лучше покажи мне самый первый приказ, тот, который в глубине времен.

— Да зачем это тебе?

— То есть как — зачем? Ты говоришь, что они логично вытекают. Не верю я этому!

— Пусенька, — сказала Алевтина. — Все это ты посмотришь. Все это я тебе покажу. Все это ты прочитаешь своими близорукенькими глазками. Но ты пойми:

позавчера не было директивы, вчера не было директивы — если не считать пустякового приказика о поимке машинки, да и то устного... Как ты думаешь, сколько времени может стоять Управление без директив? С утра уже сегодня неразбериха: какие-то люди ходят везде и меняют перегоревшие лампочки, ты представляешь? Нет, пусик, ты как хочешь, а Директиву подписать надо. Я ведь добра тебе желаю. Ты ее быстренько подпиши, проведи совещание с завгруппами, скажи им что-нибудь бодрое, а потом я тебе принесу все, что ты захочешь. Будешь читать, изучать, вникать... хотя лучше, конечно, не вникай.

Перец взялся за щеки и потряс головой. Алевтина живо соскочила со стола, обмакнула перо в черепную коробку Венеры и протянула вставку Перцу.

— Ну, пиши, миленький, быстренько...

Перец взял перо.

— Но отменить-то ее можно будет потом? — спросил он жалобно.

— Можно, пусик, можно, — сказала Алевтина, и Перец понял, что она врет. Он отшвырнул перо.

— Нет, — сказал он. — Нет и нет. Не стану я этого подписывать. На кой черт я буду подписывать этот бред, если существуют, наверное, десятки разумных и толковых приказов, распоряжений, директив, совершенно необходимых, действительно необходимых в этом бедламе...

— Например? — живо сказала Алевтина.

— Да господи... Да все, что угодно.. Елки-палки.. Ну хоть...

Алевтина достала блокнотик.

— Ну хотя бы... Ну хотя бы приказ, — с необычайной язвительностью сказал Перец, — сотрудникам группы Искоренения самоискорениться в кратчайшие сроки. Пожалуйста! Пусть все побросаются с обрыва... или постреляются... Сегодня же! Ответственный — Домарощинер... Ей-богу, от этого было бы больше пользы...

— Одну минуту, — сказала Алевтина. — Значит, покончить самоубийством при помощи огнестрельного оружия сегодня до двадцати четырех ноль-ноль. Ответственный — Домарощинер... — Она закрыла блокнот и задумалась. Перец смотрел на нее с изумлением. — А что! — сказала она. — Правильно! Это даже прогрессивнее... Миленький, ты пойми: не нравится тебе директива — не надо. Но дай другую. Вот ты дал, и у меня больше нет к тебе никаких претензий...

Она соскочила на пол и засуетилась, расставляя перед Перцем тарелки.

— Вот тут блинчики, вот тут варенье... Кофе в термосе, горячий, не обожгись... Ты кушай, а я быстренько набросаю проект и через полчаса принесу тебе.

— Подожди, — сказал ошеломленный Перец. — Подожди...

— Ты у меня умненький, — сказала Алевтина нежно. — Ты у меня молодец. Только с Домарощинером будь поласковее.

— Подожди, — сказал Перец. — Ты что, смеешься?

Алевтина побежала к дверям, Перец устремился за нею с криком: «Не сходи с ума!» — но схватить не успел. Алевтина скрылась, и на ее месте, как призрак, возник из пустоты Домарощинер. Уже прилизанный, уже почищенный, уже нормального цвета и по-прежнему готовый на все.

— Это гениально, — тихо сказал он, тесня Перца к столу, — это блестяще. Это наверняка войдет в историю...

Перец попятился от него, как от гигантской сколопендры, наткнулся на стол и повалил Тангейзера на Венеру.

Глава одиннадцатая

Он проснулся, открыл глаза и уставился в низкий, покрытый известковыми натеками потолок. По потолку опять шли муравьи. Справа налево — нагруженные, слева направо — порожняком. Месяц назад было наоборот, месяц назад была Нава. А больше ничего не изменилось. Послезавтра мы уходим, подумал он.

За столом сидел старец и смотрел на него, ковыряя в ухе. Старец окончательно отощал, глаза у него ввалились, зубов во рту совсем не осталось. Наверное, он скоро умрет, старец этот.

— Что же это ты, Молчун, — плаксиво сказал старец, — совсем у тебя нечего есть. Как у тебя Наву отняли, так у тебя и еды в доме больше не бывает. Ни утром не бывает, ни в обед, говорил я тебе: не ходи, нельзя. Зачем ушел? Колченога послушался и ушел, а разве Колченог понимает, что можно, а что нельзя? И Колченог этого не понимает, и отец Колченога такой же был непонятливый, и дед его такой же, и весь их Колченогов род такой был, вот они все и померли, и Колченог обязательно померет,

никуда не денется... А может быть, у тебя, Молчун, есть какая-нибудь еда, может быть, ты ее спрятал, а? Ведь многие прячут... Так если спрятал, то доставай скорее, я есть хочу, мне без еды нельзя, я всю жизнь ем, привык уже... А то Навы теперь у тебя нет, Хвоста тоже деревом убило... Вот у кого всегда еды было много — у Хвоста! Я у него горшка по три сразу съедал, хотя она всегда у него была недоброженная, скверная, потому его, наверное, деревом и убило... Говорил я ему: нельзя такую еду есть...

Кандид встал и поискал по дому в потайных местечках, устроенных Навой. Еды действительно не было. Тогда он вышел на улицу, повернул налево и направился к площади, к дому Кулака. Старец плелся следом, хныкал и жаловался. На поле нестройно и скучно покрикивали: «Эй, сей веселей, вправо сей, влево сей...» В лесу откликалось эхо. Каждое утро Кандиду теперь казалось, что лес придвинулся ближе. На самом деле этого не было, а если и было, то вряд ли человеческий глаз мог бы это заметить. И мертвяков в лесу, наверное, не стало больше, чем прежде, а казалось, что больше. Наверное, потому, что теперь Кандид точно знал, кто они такие, и потому, что он их ненавидел. Когда из леса появлялся мертвяк, сразу раздавались крики: «Молчун! Молчун!» И он шел туда и уничтожал мертвяка скальпелем, быстро, надежно, с жестоким наслаждением. Вся деревня сбегалась смотреть на это зрелище и неизменно ахала в один голос и закрывалась руками, когда вдоль окутанного паром туловища распаивался страшный белый шрам. Ребятишки больше не дразнили Молчуна, они теперь боялись его до смерти, разбегались и прятались при его появлении. О скальпеле в домах шептались по вечерам, а из шкур мертвяков по указанию хитроумного старосты стали делать корыта. Хорошие получались корыта, большие и прочные...

Посреди площади стоял торчком по пояс в траве Слухач, окутанный лиловатым облачком, с поднятыми ладонями, со стеклянными глазами и пеной на губах. Вокруг топтались любопытные детишки, смотрели и слушали, раскрывши рты, — это зрелище им никогда не надоедало. Кандид тоже остановился послушать, и ребятишек как ветром сдуло.

— В битву вступают новые... — металлическим голосом бредил Слухач. — Успешное передвижение... обширные места покоя... новые отряды подруг... Спокойствие и Слияние...

Кандид пошел дальше. Сегодня с утра голова у него была довольно ясная, и он чувствовал, что может думать, и стал думать, кто же он такой, этот Слухач, и зачем он. Теперь имело смысл думать об этом, потому что теперь Кандид уже кое-что знал, а иногда ему даже казалось, что он знает очень много, если не все. В каждой деревне есть свой слухач, и у нас есть слухач, и на Выселках, а старец хвастался, какой особенный был слухач в той деревне, которая нынче грибная. Наверное, были времена, когда многие люди знали, что такое Одержание, и понимали, о каких успехах идет речь; и наверное, тогда они были заинтересованы, чтобы многие это знали, или воображали, что заинтересованы, а потом выяснилось, что можно прекрасно обойтись без многих и многих, что все эти деревни — ошибка, а мужики — не больше чем козлы... это произошло, когда научились управлять лиловым туманом и из лиловых туч вышли первые мертвяки... и первые деревни очутились на дне первых треугольных озер... и возникли первые отряды подруг... А слухачи остались, и осталась традиция, которую не уничтожили просто потому, что они об этой традиции забыли. Традиция бессмысленная, такая же бессмысленная, как весь этот лес, как все эти искусственные чудовища и города, из которых идет разрушение, и эти жуткие бабы-амазонки, жрицы партеногенеза, жестокие и самодовольные повелительницы вирусов, повелительницы леса, разбухшие от парной воды.. и эта гигантская возня в джунглях, все эти Великие Разрыхления и Заболачивания, чудовищная в своей абсурдности и грандиозности затея... Мысли текли свободно и даже как-то машинально, за этот месяц они успели проложить себе привычные и постоянные русла, и Кандид наперед знал, какие эмоции возникнут у него в следующую секунду. У нас в деревне это называется «думать». Вот сейчас возникнут сомнения... Я же ничего не видел. Я встретил трех лесных колдуний. Но мало ли кого можно встретить в лесу. Я видел гибель лукавой деревни, холм, похожий на фабрику живых существ, адскую расправу с рукоедом... гибель, фабрика, расправа... Это же мои слова, мои понятия. Даже для Навы гибель — это не гибель, а Одержание... Но я-то не знаю, что такое Одержание. Мне это страшно, мне это отвратительно, и все это просто потому, что мне это чуждо, и, может быть, надо говорить не «жестокое и бессмысленное натравливание леса на людей», а «планомерное, прекрасно организованное, четко продуманное наступление нового на старое», «своевременно созревшего, налившее-

гося силой нового на загнившее бесперспективное старое»... Не извращение, а революция. Закономерность. Закономерность, на которую я смотрю извне пристрастными глазами чужака, не понимающего ничего и потому — именно потому — воображающего, что он понимает все и имеет право судить. Словно маленький мальчик, который негодует на гадкого петуха, так жестоко топчущего бедную курочку...

Он оглянулся на Слухача. Слухач с обычным своим обалделым видом сидел в траве и вертел головой, вспоминая, где он и что он. Живой радиоприемник. Значит, есть и живые радиопередатчики... и живые механизмы, и живые машины — да, например, мертвяки... Ну почему, почему все это, так великолепно придуманное, так великолепно организованное, не вызывает у меня ни тени сочувствия — только омерзение и ненависть...

Кулак неслышно подошел к нему сзади и треснул его ладонью между лопаток.

— Встал тут и глазеет, шерсть на носу, — сказал он. — Один вот тоже все глазел, открутили ему руки-ноги, так больше не глазеет. Когда уходим-то, Молчун? Долго ты мне будешь голову морочить? У меня ведь старуха в другой дом ушла, шерсть на носу, и сам я третью ночь у старосты ночую, а нынче вот думаю пойти к Хвостовой вдове ночевать. Еда вся до того перепрела, что и старый пень этот уже жрать ее не желает, кривится, говорит: перепрело у тебя все, не то что жрать — нюхать невозможно, шерсть на носу... Только к Чертовым Скалам я не пойду, Молчун, а пойду я с тобой в Город, наберем мы там с тобой баб. Если вору встретятся, половину отдадим, не жалко, шерсть на носу, а другую половину в деревню приведем, пусть здесь живут, нечего им там плавать зря, а то одна тоже вот плавала, дали ей хорошенько по соплям — больше не плавает и воды видеть не может, шерсть на носу... Слушай, Молчун, а может, ты наврал про Город и про баб этих? Или, может, привиделось тебе: отняли у тебя вору Наву — тебе с горя и привиделось. Колченог вот не верит: считает, что тебе привиделось. Какой же это Город в озере, шерсть на носу, — все говорили, что на холме, а не в озере. Да разве в озере можно жить, шерсть на носу? Мы же там все потонем, там же вода, шерсть на носу, мало ли что там бабы, а я в воду даже за бабами не полезу, я плавать не умею, да и зачем? Но я могу в крайнем случае на берегу стоять, пока ты их из воды таскать будешь... Ты, значит, в воду полезешь, шерсть на носу, а я на берегу останусь, и мы с тобой этак быстро управимся...

— Ты дубину себе сломал? — спросил Кандид.

— А где я тебе в лесу дубину возьму, шерсть на носу? — возразил Кулак. — Это на болото надо идти — за дубиной. А у меня времени нету, я еду стерег, чтобы старик ее не сожрал, да и зачем мне дубина, когда я драться ни с кем не собираюсь... Один вот тоже дрался, шерсть на носу...

— Ладно, — сказал Кандид, — я тебе сам сломаю дубину. Послезавтра выходим, не забудь.

Он повернулся и пошел обратно. Кулак не изменился. И никто из них не изменился. Как он ни старался втолковать им, они ничего не поняли и, кажется, ничему не поверили.

Мертвяки бабам служить не могут, это ты, Молчун, загнул, брат, втроем не разогнуть. Бабы мертвяков до полусмерти боятся, ты на мою посмотри, а потом рассказывай. А что деревня потонула, так это же Одержание произошло, это ж всякий и без тебя знает, и при чем тут твои бабы — непонятно... И вообще, Молчун, в Городе ты не был, чего уж там, признайся, мы не обидимся, уж больно занятно ты рассказываешь. А только в Городе ты не был, это мы все знаем, потому что кто в Городе побывает — обратно уже не возвращается... И Наву твою никакие там не бабы, а просто воры отобрали, наши воры, местные. Никогда бы тебе, Молчун, от воров не отбиться. Хотя мужчина ты, конечно, смелый, и как ты с мертвяками обходишься — это просто смотреть страшно...

Идея надвигающейся гибели просто не умещалась в их головах. Гибель надвигалась слишком медленно и начала надвигаться слишком давно. Наверное, дело было в том, что гибель — понятие, связанное с мгновенностью, сиюминутностью, с какой-то катастрофой. А они не умели и не хотели обобщать, не умели и не хотели думать о мире вне их деревни. Была деревня, и был лес. Лес был сильнее, но лес ведь всегда был и всегда будет сильнее. При чем здесь гибель? Какая еще гибель? Это просто жизнь. Вот когда кого-нибудь деревом придавливает — это, конечно, гибель, но тут просто голову нужно иметь на плечах и соображать, что к чему... Когда-нибудь они спохватятся. Когда не останется больше женщин; когда болота подойдут вплотную к домам; когда посреди улиц ударят подземные источники и над крышами повиснет лиловый туман... А может быть, и тогда они не спохватятся — просто скажут: «Нельзя здесь больше жить — Одержание». И уйдут строить новую деревню...

Колченог сидел у порога, поливал бродилом выводок грибов, поднявшихся за ночь, и готовился завтракать.

— Садись, — сказал он Кандиду приветливо. — Есть будешь? Хорошие грибы.

— Поем, — сказал Кандид и сел рядом.

— Поешь, поешь, — сказал Колченог. — Навы теперь у тебя нету, когда ты еще без Навы приспособишься... Я слышал, ты опять уходишь. Кто же это мне сказал?.. А, ну да, ты же мне и сказал: ухожу, мол. Что это тебе дома не сидится? Сидел бы ты дома, хорошо бы тебе было... В Тростники идешь или в Муравейники? В Тростники бы я тоже с тобой ходил. Свернули бы мы сейчас с тобой по улице направо, миновали бы мы с тобой редколесье, в редколесье бы грибов набрали заодно, захватили бы с собой бродила, там же и поели бы — хорошие в редколесье грибы, в деревне такие не растут, а тут ешь-ешь, и все мало... А как поели бы, вышли бы мы с тобой из редколесья, да мимо Хлебного болота, там бы опять поели — хорошие злаки там рождаются, сладкие, просто удивляешься, что на болоте да на грязи — и такие злаки произрастают... Ну а потом, конечно, прямо за солнцем, три дня бы шли, а там уже и Тростники...

— Мы с тобой идем к Чертовым Скалам, — терпеливо напомнил Кандид. — Выходим послезавтра. Кулак тоже идет.

Колченог с сомнением покачал головой.

— К Чертовым Скалам... — повторил он. — Нет, Молчун, не пройти нам к Чертовым Скалам, не пройти. Это ты знаешь где — Чертовы Скалы? Их, может, и вообще нигде нет, а просто так говорят: Скалы, мол, Чертовы... Так что к Чертовым Скалам я не пойду, не верю я в них. Вот если бы в Город, например, или, еще лучше, в Муравейники — это тут рядом, рукой подать... Слушай, Молчун, а пошагали-ка мы с тобой в Муравейники! И Кулак пойдет... Я ведь в Муравейниках, как ногу себе повредил, так с тех пор там и не был. Нава, бывало, все просила меня: сходим, говорит, Колченог, в Муравейники... Охота, видишь, ей было посмотреть душло, где я ногу повредил... А я ей говорю, что не помню я, где это душло, и вообще, может быть, Муравейников больше нет, давно я там не был...

Кандид жевал гриб и смотрел на Колченога. А Колченог говорил и говорил, говорил о Тростниках, говорил о Муравейниках, глаза его были опущены, и он только изредка взглядывал на Кандида. Хороший ты человек, Колченог, и добрый ты, и оратор видный, и староста с

тобой считается, и Кулак, а старец тебя просто-таки боится, и не зря ты был лучшим приятелем и спутником известного Обиды-Мученика, человека ищущего и беспокойного, ничего не нашедшего и стигнувшего где-то в лесу... Однако вот только беда: не хочешь ты, Колченог, меня в лес отпускать, жалешь убогого. Лес — место опасное, гибельное, куда многие ходили, да не многие назад возвращались, а если возвращались, то сильно напуганные, а бывает, и покалеченные... у кого нога поломана, у кого что... Вот и хитришь ты, Колченог, то сам притворяешься полоумным, то делаешь вид, что Молчуна полоумным считаешь, а в действительности-то уверен ты в одном: если уж Молчуну удалось один раз вернуться, потерявши девочку, то дважды таких чудес не случается...

— Слушай, Колченог, — сказал Кандид. — Выслушай меня внимательно. Говори что хочешь, думай что хочешь, но я прошу тебя об одном: не бросай меня, пойдти в лес со мною. Ты мне очень нужен в лесу, Колченог. Послезавтра мы выходим, и я очень хочу, чтобы ты был с нами. Понимаешь?

Колченог смотрел на Кандида, и выцветшие глаза его были непроницаемы.

— А как же, — сказал он. — Я тебя вполне понимаю. Вместе и пойдём. Как вот отсюда выйдем, свернем налево, дойдем до поля и мимо двух камней — на тропу. Эту тропу сразу отличить можно: там валунов столько, что ноги сломаешь... Да ты ешь грибы, Молчун, ешь, они хорошие... По этой, значит, тропе дойдем мы до грибной деревни, я тебе про нее, по-моему, рассказывал, она пустая, вся грибами поросла, но не такими, как эти, например, а скверными, их мы есть не станем, от них болеют и умереть можно. Так что мы в этой деревне даже останавливаться не будем, а сразу пойдём дальше и спустя время дойдем до чудаковой деревни, там горшки делают из земли, вот додумались! Это после того случилось у них, как синяя трава через них прошла. И ничего, не заболели даже, только горшки из земли делать стали... У них мы тоже останавливаться не будем, нечего нам у них там останавливаться, а пойдём мы сразу от них направо — тут тебе и будет Глиняная поляна.

А может быть, не брать мне тебя? — думал Кандид. Ты уже был там, лес тебя уже жевал, и как знать, может быть, ты уже катался по земле, крича от боли и страха, а над тобой нависала, закусив прелестную губку и растопырив детские ладошки, молоденькая девушка. Не знаю, не

знаю. Но идти надо. Захватить хотя бы двух, хотя бы одну, узнать все, разобраться до конца... А дальше? Обреченные, несчастные обреченные. А вернее — счастливые обреченные, потому что они не знают, что обречены, что сильные их мира видят в них только грязное племя насильников, что сильные уже нацелились в них тучами управляемых вирусов, колоннами роботов, стенами леса, что все для них уже predetermined и — самое страшное — что историческая правда здесь, в лесу, не на их стороне, они — реликты, осужденные на гибель объективными законами, и помогать им — значит идти против прогресса, задерживать прогресс на каком-то крошечном участке его фронта. Но только меня это не интересует, подумал Кандид. Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс, я и прогрессом-то его называю только потому, что нет другого подходящего слова... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали! Если бы меня подобрали эти подруги, вылечили и обласкали бы, приняли бы меня как своего, пожалели бы — что ж, тогда бы я, наверное, легко и естественно стал бы на сторону этого прогресса, и Колченог, и все эти деревни были бы для меня досадным пережитком, с которым слишком уж долго возятся... А может быть, и нет, может быть, это было бы не легко и не просто: я не могу, когда людей считают животными. Но может быть, дело в терминологии, и, если бы я учился языку у женщин, все звучало бы для меня иначе: враги прогресса, зажавшиеся бездельники... Идеалы... Великие идеи... Естественные законы природы... И ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня. На любом языке это не для меня. Плевать мне на то, что Колченог — это камешек в жерновах их прогресса. Я сделаю все, чтобы на этом камешке жернова затормозили. И если мне не удастся добраться до биостанции — а мне, наверное, не удастся, — я сделаю все, что могу, чтобы эти жернова остановились. Впрочем, если мне удастся добраться до биостанции... М-да. Странно, никогда раньше мне не приходило в голову посмотреть на Управление со стороны. И Колченогу не приходит в голову посмотреть на лес со стороны. И этим подругам, наверное, тоже. А ведь это любопытное зрелище — Управление, вид сверху. Ладно, об этом я подумаю потом.

— Значит, договорились, — сказал он. — Послезавтра выходим.

— А как же, — немедленно отвечивал Колченог. — Сразу от меня налево...

На поле вдруг зашумели. Завизжали женщины. Много голосов закричали хором:

— Молчун! Эй, Молчун!

Колченог встрепенулся.

— Никак мертвяки! — сказал он, торопливо поднимаясь. — Давай, Молчун, давай не сиди, посмотреть хочу.

Кандид встал, вытащил из-за пазухи скальпель и зашагал к окраине.

1965 г.

«Вот чем я болен — тоской по пониманию».

Тицета людских усилий, надежд, устремлений — с этой мыслью закрываешь «Улитку на склоне». Эта лучшая, может быть, из повестей Стругацких была написана в роковом 1965 году, сейчас же после крушения хрущевской оттепели, и судьба ее так же необычна, как и содержание. Впервые она была опубликована разъятой на две половины, на «Лес» и «Управление» — то есть выхолощена, лишена музыкального контрапункта — переключки сюжетов, персонажей, картин; лишена единого смысла — чудовищное варварство, невозможное в нормальном обществе... Но оказалось, что и в таком виде книга сохранила свое очарование и обличительную силу. «Лесную» половину, вышедшую заметным тиражом — 65 тысяч, — читатели не только заметили; ее перепечатывали, переписывали от руки (это я видел сам). Вторая половина появилась в иркутском журнале «Байкал», ничтожным тиражом — тысяч пять? — и просто не добралась до читателей, ибо рядом с «Улиткой» журнал поместил дерзкую статью критика Аркадия Белинкова. Одну крамолу помножили на другую, номера журнала изъяли из библиотек, и книга была окончательно загнана в подполье. Вплоть до 1988 года...

Параллель, которую почему-то никто не замечает: «Улитка на склоне» провела в небытии чуть меньше, чем «Мастер и Маргарита», — двадцать три полных года. А ведь есть закон, почти абсолютный: слава или бесславие книг наступают примерно через двадцать лет после публикации — они должны вылезаться, причем не в столе автора и не в редакционном шкафу, а в умах читателей. Книги чахнут без людского общества — как сами люди.

Мы до сих пор не осмыслили «Улитку», ибо не могли ее обсуждать, не могли спорить и гневаться друг на друга и так приходиться к истине.

Мы предлагаем это послесловие, чтобы побудить читателей к размышлению. Вот только один из возможных — многих — предметов для спора.

Мораль повести, ее нравственный заряд кажется ясным: «Какое мне дело до их прогресса, это не мой прогресс... Здесь не голова выбирает. Здесь выбирает сердце. Закономерности не бывают плохими или хорошими, они вне морали. Но я-то не вне морали!» Это думает Кандид о «славных подругах», он формулирует точно и исчерпывающе: «Идеалы... Великие идеи... И ради этого уничтожается половина населения! Нет, это не для меня».

Верно — это не для нормальных людей. Верно — в 1965 году не знали, а теперь известно: уничтожена была половина населения. Не в Лесу выдуманном — у нас. И реляции «славных подруг» нам знакомы: «В битву вступают новые... Успешное передвижение... Спокойствие и Слияние...» Знаем цену этому Спокойствию. Хорошо знаем.

*Безумные амазонки-властолюбивы, «жрицы партеногенеза» — не более чем носительницы крайней, доведенной до полного уж абсурда, тоталитарной идеи. Как полагается, они стремятся к уничтожению — по отечественной классической терминологии — «внутреннего врага»; абсурд в том, что таковым объявляется не инакомыслящий — тунеядец, капиталист, еврей, христианин, кулак, интеллигент, коммунист, вредитель и так далее, — а мужчина. Он — объект жгучей и неистовой ненависти. Нелепость? Конечно — в том смысле, что половой инстинкт — штука могучая, и очень трудно представить себе, как можно увлечь женщин столь противоестественной идеей. Стругацкие взяли эту крайнюю модель, привели доказательство *ad absurdum*, чтобы вскрыть идиотизм той ненависти, к которой мы привыкли: групповой, национальной, расовой и пр. Беда в том, что мы взращены ненавистью, в трех ее водах купаны, полагаем ее нормой бытия — вст нам и напоминают о нашей моральной ущербности, напоминают, если вдуматься, резко и безжалостно.*

«Тебе если по морде вовремя не дать, ты родного отца в бетонную площадку превратишь. Для ясности». Это говорит странный персонаж — шофер Тузик. Давайте теперь, держа в памяти приговор «славным подругам»: «Мне это страшно, мне

это отвратительно...» — поразмыслим над этим субъектом и спросим себя — следом за Перецем: «Все время этот Тузик, что за елки-палки? Свет на нем клином сошелся, что ли? То есть в известном смысле сошелся...»

В каком смысле?! Не забудьте, читатель, Стругацкие, как и все настоящие писатели, словами не бросаются, и раз уж оно сказано, то свет на Тузике все-таки сходится. «Кефироман, бабник отвратительный, резищик...» — думает дальше Перец. Так что же в нем особенного? Да то, что имя им легион, как сказано в Евангелии. Миллионы таких, масса — если пользоваться марксистским словарем. «Боже мой... они пьют кефир, они пьют безумно много кефира... они играют в фанты и в бутылочку... они меняются женщицами» — это тоже мысли Переца, и не о Тузике уже, обо всех. И опять о Тузике, о его словаре: «дамочку попытались использовать», «девки... стервы... бабочки... падлы... сучки...», о пятнадцатилетней жене, которой он пытался расплачиваться «с приятелями за приятелевых любовниц». Или — о Домароцинере: «Не везет Домароцинеру. Возьмет новую сотрудницу, поработает она у него полгода — и рожать...» Или — о Квентине, который «по ночам плачет и ходит спать к буфетчице, когда буфетчица не занята с кем-нибудь другим...» Или — об Алевтине, «которую никто никогда не любил нежно и чисто».

Напомним: это ведь не та проза, где сексуальная тема вводится, так сказать, в директивном порядке, для соблазна и представительства, как говорили Ильф и Петров. Это Стругацкие, а они о сексе и эротике писать не любят — не их жанр... Но здесь, помимо Тузика и прочих — и помимо «славных подруг» с их антисексуальным бунтом, — они ввели еще один сюжет, так сказать, обобщающий. Чтобы стать директором Управления, надо переспать с библиотекаршей Алевтиной — это действует без осечки: сейчас же выходит сводный оркестр — играть встречный марш...

Еще один абсурд? Конечно. Но заметьте, это всемогущество секса полностью симметрично с абсурдом полного отказа от него — в «лесной» части. И напрашивается простенькая мысль, что чудовищная затея «подруг» не на пустом месте выросла, что надоело им звать сучками и падлами, не хотят больше — без вас обойдемся, козлики...

Это лишь один и не самый показательный сюжет, мы разобрали его только потому, что он неявен, скрыт под очевидными «ужасными чудесами» (Ст. Лем) и Леса, и Управления.

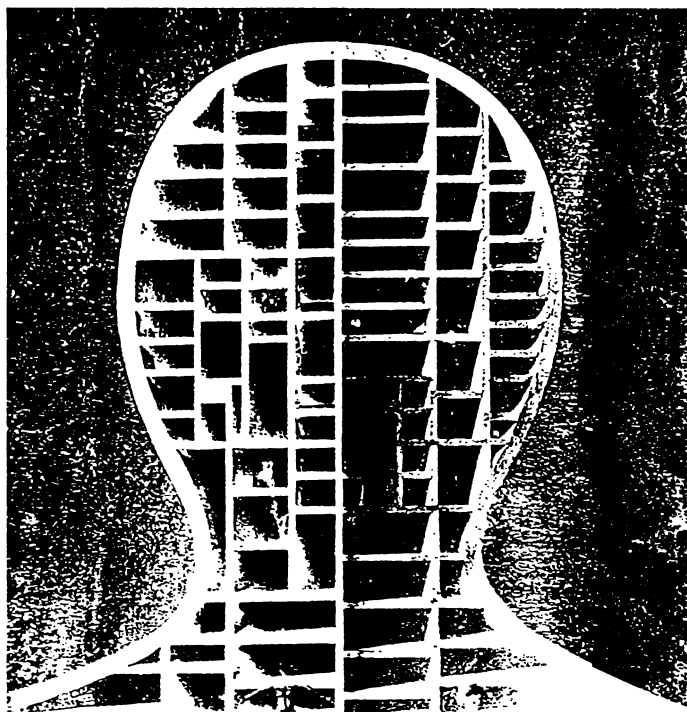
Стругацкие не отказываются от морального суждения, но каждый раз предлагают нам, прежде чем сесть в судейское кресло, поразмыслить. «Улитка на склоне» более чем любая из книг Стругацких призывает нас к пониманию: в мире есть чуждые нам ценности, составляющие основу жизни других людей. Поэтому нам говорится: «Вот чем я болен — тоской по пониманию».

А. Зеркалов

Второе нашествие марсиан

Записки здравомыслящего

повесть



1 июня (три часа пополуночи). Господи, теперь еще Артемида! Оказывается, она все-таки спуталась с этим Никостратом. Дочь называется... Ну ладно.

Около часу ночи я был разбужен сильным, хотя и отдаленным, грохотом и поражен зловещей игрой красных пятен на стенах спальни. Грохот был рокочущий и перекатывающийся, подобный тому, какой бывает при землетрясениях, так что весь дом колебался, звенели стекла, и пузырьки подпрыгивали на ночном столике. Испугавшись, я бросился к окну. Небо на севере полыхало: казалось, будто там, за далеким горизонтом, земля разверзлась и выбрасывает к самым звездам фонтаны разноцветного огня. А эти двое, ничего не видя и не слыша, озаряемые адскими сполохами и сотрясаемые подземными толчками, обнимались на скамейке под самым моим окном и целовались врасос. Я сразу узнал Артемиду и решил было, что это вернулся Харон и она так ему обрадовалась, что вот целуется с ним как невеста, вместо того чтобы вести его прямо в спальню. А через секунду в свете зарева я узнал знаменитую заграничную куртку господина Никострата, и сердце у меня упало. Вот в такие минуты человек теряет здоровье. И ведь нельзя сказать, что это был для меня гром с ясного неба. Слухи были, намеки, всякие шуточки. И все же я был совсем убит.

Держась за сердце и совершенно не понимая, что нужно предпринять, я, как был босиком, потащился в гостиную и стал звонить в полицию. Однако попробуйте дозвониться в полицию, когда вам требуется. Телефон полиции долго был занят, и вдобавок дежурным оказался Пандарей. Я его спрашиваю, что за феномен наблюдается за горизонтом. Он не понимает, что такое феномен. Я его спрашиваю: «Вы можете мне сказать, что происходит за северным горизонтом?» Он осведомляется, где это, и я уже не знаю, как ему объяснить, но тут до него доходит. «А-а, — говорит он, — вы это насчет пожара?» — и сообщает, что некоторое горение действительно наблюдается, но что это за горение и чего, пока не установлено. Дом трясется, все скрипит, на улице истошно кричат что-то про войну, а этот старый осел начинает рассказывать мне, что к нему в участок тут привели Минотавра: пьян мертвецки, осквернил угол особняка господина Лаомедонта, на ногах не стоит и даже драться не может. «Вы

меры принимать будете или нет?» — прерываю я его. «Я вам об этом и толкую, господин Аполлон, — обижается этот осел. — Мне нужно протокол составлять, а вы у меня весь телефон оборвали. Если вас всех так уж волнует этот пожар...» — «А если это война?» — спрашиваю я. «Нет, это не война, — заявляет он. — Я бы знал». — «А если это извержение?» — спрашиваю я. Он не понимает, что такое извержение, я больше не могу и вешаю трубку. Я весь вспотел от этого разговора, вернулся в спальню и надел халат и туфли.

Грохот словно бы утих, но сполохи продолжались, а эти двое больше не целовались и даже не сидели обнявшись. Они стояли, держась за руки, причем всякий мог их увидеть, потому что от огня за горизонтом было светло как днем, только свет был не белый, а красно-оранжевый, и по нему ползли облака дыма, коричневого, с оттенком жидкого кофе. Соседи бегали по улице кто в чем, госпожа Эвридика хватала всех за пижамы и требовала, чтобы ее спасали, и один только Миртил деловито выкатил из гаража свой грузовик и принялся вместе с женой и сыновьями выносить из дому свое имущество. Это была настоящая паника, как в добрые старые времена, давно такой не видел. Но я-то понимал, что если действительно началась атомная война, то лучшего места, чем наш городок, — укрыться, отсидеться, переждать — не найти во всей округе. А если это извержение, то происходит оно далеко, и опять же нашему городку ничто не угрожает. Да и сомнительно было, что это извержение: какое тут у нас может быть извержение!

Я поднялся наверх и стал будить Гермению. Ну, тут было как обычно: «Отстань, пьяница; нечего было пить на ночь; ничего я сейчас не хочу» — и прочее. Тогда я стал громко и убедительно рассказывать ей об атомной войне и об извержении, несколько сгущая при этом краски, потому что иначе ничего бы у меня не получилось. Ее проняло, она вскочила с постели, оттолкнула меня и устремилась прямо в столовую, бормоча: «А вот я сейчас посмотрю, и тогда берегись». Отперев буфет, она обследовала бутылку с коньяком. Я был спокоен. «Откуда же ты такой вернулся? — спросила она, недоверчиво принохиваясь. — Из какого гнусного ночного вертепа?» Но когда она посмотрела в окно, когда она увидела на улице полураздетых соседей, когда она увидела Миртила, который в одних подштанниках торчал на своей крыше и глядел на север в полевой бинокль, ей стало не до меня. Правда, оказалось, что северный горизонт уже вновь погрузился в тишину и

темноту, но угадывалась там еще туча дыма, совершенно скрывавшая звезды. Что там говорить, моя Гермiona — это вам не какая-нибудь госпожа Эвридика. И возраст не тот, и воспитание иное. Я не успел проглотить рюмку коньяку, как она уже волокла чемоданы и во весь голос звала Артемиду. «Зови, зови, — с горечью подумал я, — так она тебя и услышит». И тут Артемиды появляется в дверях своей комнаты. Господи, бледная как смерть, вся трясется, но на ней уже пижама, в волосах болтаются бигуди, и она спрашивает: «Что такое? Что это вы все?»

Как хотите, а это тоже характер. Не будь этого феномена, нипочем бы я ничего не узнал, а уж Харон и подавно. Наши взгляды встретились, она ласково улыбнулась мне дрожащими губами, и я не решился произнести слова, которые вертелись у меня на языке. Чтобы успокоиться, я ушел к себе и начал упаковывать марки. Дрожишь, говорил я ей мысленно, трепещешь! Одинок тебе, страшно, незащитно. А он вот не поддержал тебя, не защитил. Сорвал цветок удовольствия и побежал по своим делам. Нет уж, милая моя, если человек бесчестен, то он бесчестен до конца.

Между тем, как я и ожидал, паника быстро шла на убыль. Установилась обыкновенная ночь, земля больше не колыхалась, дома не скрипели. Госпожу Эвридику кто-то увел к себе. Никто больше не кричал о войне, и вообще кричать стало больше не о чем. Выглянув в окно, я увидел, что улица опустела, только кое-где в домах еще виднелся свет да Миртил на своей крыше блестел исподним среди звезд. Я окликнул его и спросил, что там видно. «Ладно, ладно, — раздраженно ответил он. — Ложитесь, храпите. Вы захрапите, а они вам как дадут...» Я спросил, кто это — они. «Ладно, ладно, — ответствовал Миртил. — Умники нашлись. Со своим Пандареем. Дурак он, ваш Пандарей, и больше ничего». Услышав про Пандарея, я решил снова позвонить в полицию. Звонить пришлось долго, а когда я в конце концов дозвонился, Пандарей сообщил мне, что новостей никаких особенных нет, но в остальном все в порядке, пьяному Минотавру впрыснули успокаивающее, сделали промывание желудка, и теперь он угомонился; что же касается пожара, то горение давно прекратилось, тем более что это оказалось никакое не горение, а большой праздничный фейерверк. Пока я вспоминал, какой же это сегодня праздник, Пандарей повесил трубку. Глуп он все-таки и отвратительно воспитан, и всегда был таким. Странно видеть таких людей в нашей полиции. Наш полицейский должен быть интеллигентом, он должен быть

образцом для молодежи, герой, которому хочется подражать, чтобы ему можно было без опасения вручить не только оружие и власть, но и воспитательную деятельность. А Харон называет такую полицию «компанией очкариков» и заявляет, что такая моя полиция никакому правительству не нужна, потому что она начнет хватать и перевоспитывать самых полезных государству людей, начиная с премьер-министра и полицей-президента. Не знаю, не знаю, может быть. Но чтобы старший полицейский не понимал, что такое феномен, и хамил при исполнении обязанностей — это совсем уже никуда не годится.

Спотыкаясь о чемоданы, я пробрался к буфету и налил себе рюмку коньяку как раз в тот момент, когда в столовую вернулась Гермiona. Она сказала, что это сумасшедший дом, что положиться здесь ни на кого нельзя, что мужчины здесь не мужчины, а женщины не женщины. Что я законченный алкоголик, что Харон турист, что Артемида белоручка, совершенно не приспособленная к жизни. И так далее. Может быть, кто-нибудь объяснит, зачем ее подняли среди ночи и заставили собирать чемоданы? Я ответил Гермione как мог и укрылся у себя в спальне. У меня все болело, и теперь я точно знаю, что завтра у меня опять обострится экзема. Мне уже сейчас хочется чесаться, но пока я еще сдерживаюсь.

Около трех часов земля задрожала снова. Послышался шум от многих моторов и лязг железа. Оказалось, что мимо дома проходит колонна военных грузовиков и бронетранспортеров с войсками. Они двигались медленно с притушенными фарами, и Миртил увязался за каким-то броневиком, затрусил рядом, держась за выступ люка и что-то крича. Не знаю, что ему ответили, но, когда колонна прошла и он остался один на улице, я его окликнул и спросил, какие новости. «Ладно, ладно, — сказал Миртил. — Знаем мы эти маневры. Разъезжают тут умники за мои деньги». И тут я все понял окончательно. Происходят большие военные учения — возможно, даже с применением атомного оружия. Стоило огород городить!

Господи, уснуть бы теперь спокойно!

2 июня. Весь чешусь. И главное, я никак не могу решиться поговорить с Артемидой. Не выношу я этих сугубо личных разговоров, этого интима. И потом, откуда я знаю, что она мне ответит? Черт знает, что делать с этими дочерьми. Если бы я хоть понимал, чего ей не хватает! Есть муж, и не какой-нибудь сутулый мозгляк, а мужчина крепкий, в самой поре, не урод какой-нибудь, не калека и вместе с тем

не потаскун. А мог бы: казначейская племянница на него устремляет призывные взоры, и Тиона глазки ему делает, это же всем известно, и я уже не говорю о гимназистках, дачницах или мадам Персефоне, которая из всех кошек самая что ни на есть кошачья кошка, и ни один кот устоять против нее не может. Но я же знаю, что Артемиды ответит мне на это. Скучно, скажет, папочка, смертная у нас здесь тоска. И ведь крыть нечем! Молодая красивая женщина, детей нет, темперамент завидный, нестись бы ей в вихре развлечений, танцы, флирт и прочее. А Харон, к сожалению, из этих, из философистов. Мыслитель. Тоталитаризм, фашизм, менеджеризм, коммунизм. Танцы — сексуальный наркотик; гости — сплошь болваны, один другого страшнее. О том, чтобы в винт или в четыре короля, — и заикнуться не смей. И притом ведь не дурак выпить! Рассадит вокруг стола пятерых своих умников, поставит пять бутылок коньяку и пошел рассуждать до самого утра. Девчонка позевает, позевает, хлопнет дверью и спать уйдет. Разве это жизнь? Я понимаю, мужчине — мужское, но ведь, с другой стороны, и женщине — женское! Нет, я люблю моего зятя, он мой зять, и я его люблю. Но сколько же можно рассуждать? И что от этих рассуждений меняется? Ясно же: сколько ты ни рассуждай о фашизме, фашизму от этого ни тепло, ни холодно, охнуть не успеешь, напялят на тебя железную каску, и — вперед, да здравствует вождь! А вот если ты перестанешь обращать внимание на молодую жену, она тебе тем же и отплатит. И тут уж никакие философствования не помогут. Я понимаю, образованный человек должен иногда рассуждать на отвлеченные темы, но надо же пропорции соблюдать, господа.

Утро было нынче волшебное. (Температура плюс девятнадцать, облачность один балл, ветер южный, 0,5 метра в секунду. Надо бы сходить на метеостанцию, проверить анемометр, я его опять уронил.) После завтрака я решил, что под лежащий камень вода не течет, и отправился в мэрию выяснить насчет пенсии. Шел и наслаждался покоем, и вдруг смотрю — на углу улицы Свободы и Вересковой собралась толпа. Оказывается, Минотавр въехал своей цистерной в ювелирную витрину, и народ собрался посмотреть, как он, грязный, распухший, с утра уже опять пьяный, дает показания дорожному инспектору. И до того он дисгармонировал с сияющим утром, что все настроение сразу пропало. И ведь ясно, полиции не надо отпускать Минотавра так рано, знали же, что непременно снова напьется, раз у него

запой. Но, с другой стороны, как его не выпустить, когда он единственный золотарь в городе? Тут уж одно из двух: либо ты занимайся перевоспитанием Минотавра и тони в нечистотах, либо иди на компромисс во имя гигиены.

Из-за Минотавра я задержался, и, когда добрался до «пяточка», все наши уже были в сборе. Я уплатил штраф, а потом одноногий Полифем угостил меня превосходной сигарой в алюминиевом футляре. Эту сигару прислал ему для меня его старшенький, Поликарп, лейтенант торгового флота. Этот Поликарп учился у меня несколько лет, пока не сбежал в юнги. Шустрый был мальчик, шалун большой. Когда он удрал из города, Полифем на меня чуть в суд не подал: мол, довел мальчишку учитель до беспутства своими лекциями о множественности миров. Сам Полифем до сих пор уверен, будто небо твердое и спутники по нему бегают наподобие мотоциклистов в цирке. Доводы мои о пользе астрономии ему недоступны, и тогда были недоступны, и сейчас по-прежнему недоступны.

Наши разговаривали о том, что городской казначей опять растратил деньги, отпущенные на строительство стадиона. Это, значит, уже в седьмой раз. Говорили мы сначала о мерах пресечения. Силен пожимал плечами и утверждал, что, кроме суда, ничего, пожалуй, не придумаешь. «Довольно полумер, — говорил он. — Открытый суд. Собраться всем городом в котловане стадиона и пригвоздить растратчика к позорному столбу прямо на месте преступления. Слава богу, — повторял он, — наш закон достаточно гибок, чтобы мера пресечения в точности соответствовала тяжести преступления». — «Я бы даже сказал, что наш закон слишком гибок, — заметил желчный Парал. — Этого казначея судили уже дважды, и оба раза наш гибкий закон огибал его стороной. Но ты-то небось полагаешь, будто так получилось потому, что судили его не в котловане, а в ратуше». Морфей, основательно подумав, сказал, что с нынешнего же дня перестанет казначея стричь и брить. Пусть-ка ходит волосатый. «Задницы вы все, — сказал Полифем. — Никак вы допереть не можете, что ему на вас плевать. У него своя компания». — «Вот именно», — подхватил желчный Парал и напомнил нам, что, кроме городского казначея, живет еще и действует городской архитектор, который проектировал стадион в меру своих способностей и теперь, естественно, заинтересован, чтобы стадион, не дай бог, не начали строить. Заика Калаид зашипел, задергался и, привлекая таким образом всеобщее внимание, напом-

нил, что именно он, Калаид, в прошлом году чуть не подрался с архитектором на Празднике Цветов. Это заявление придало разговору новый, решительный уклон. Одноногий Полифем, как ветеран и человек, не боящийся крови, предложил подстеречь обоих в подъезде у мадам Персефоны и обломать им рога. В такие решительные минуты Полифем совершенно уже перестает следить за своим языком — так и прет из него казарма. «Обломать этим вонючкам рога, — гремел он. — Дать этому дерьму копоты и отполировать сволочам мослы». Просто удивительно, как возбуждающе такие речи действуют на наших. Все загорячились, замахали руками, а Калаид шипел и дергался гораздо сильнее, чем обыкновенно, будучи не в силах от большого волнения выговорить ни слова. Но тут желчный Парал, единственный из нас сохранивший спокойствие, заметил, что, кроме казначея и архитектора, в городе проживает еще в своей летней резиденции главный их дружок — некий господин Лаомедонт, и все сразу замолчали и принялись раскуривать свои потухшие за разговором сигары и сигареты, потому что господину Лаомедонту не очень-то обломаешь рога и тем более не отполируешь мослы. И когда в наступившей тишине заика Калаид уже совершенно произвольно разразился наконец заветным: «Н-надавать по сопатке!» — все посмотрели на него с неудовольствием.

Я вспомнил, что мне давно пора в мэрию, вложил недокуренную сигару в алюминиевый футляр и поднялся на второй этаж, в приемную господина мэра. Меня поразило необычное оживление в канцелярии. Все служащие были как бы несколько взволнованны. Даже господин секретарь, вместо того чтобы заниматься обычным для него рассматриванием собственных ногтей, запечатывал сургучными печатями большие конверты с видом, впрочем, чрезвычайно брезгливым и одолжительным. С чувством большой неловкости приблизился я к этому прилизанному по новейшей моде красавчику. Господи, я бы все на свете отдал, чтобы не иметь к нему никакого дела, не видеть его и не слышать. Я и раньше не любил господина Никострата, как и всех молодых хлыщей в нашем городе, по правде сказать, не любил его еще тогда, когда он у меня учился, — за лень, за наглость, за дерзкие выходки, а после вчерашнего мне даже смотреть на него было тошно. Я представления не имел, как мне с ним держаться. Но выхода не было, и в конце концов я решился произнести: «Господин Никострат, слышно что-нибудь по поводу моего дела?» Он даже не взглянул на

меня, так сказать, не удостоил взглядом. «Извините, господин Аполлон, но ответ из министерства еще не пришел», — сказал он, продолжая ставить печати. Я потоптался и пошел к выходу, чувствуя себя отвратительно, как это всегда со мной бывает в присутственных местах. Однако совершенно неожиданно он остановил меня удивительным сообщением. Он сказал, что связи с Марафинами нет со вчерашнего дня. «Да что вы говорите! — сказал я. — Неужели маневры еще не кончились?» — «Какие маневры?» — удивился он. Тут меня прорвало. До сих пор не знаю, стоило ли это делать, но я пристально посмотрел прямо ему в лицо и сказал: «Как так — какие? Да те самые, которые вы изволили наблюдать прошлой ночью». — «Разве это были маневры? — с завидным хладнокровием произнес он, снова склоняясь над своими конвертами. — Это же был фейерверк. Почитайте утренние газеты». Надо, надо было сказать ему пару слов, тем более что в этот момент мы в комнате были одни. Да разве я могу так?

Когда я вернулся на «пятак», спор уже шел о сущности ночного феномена. наших прибыло: подошли Миртил и Пандарей. Пандарей был в расстегнутом кителе, небритый и усталый после ночного дежурства. Миртил выглядел не лучше, потому что всю ночь ходил вокруг дома дозором и ждал беды. У всех в руках были утренние газеты, и обсуждалась заметка «Нашего наблюдателя» под названием «Праздник на пороге». «Наш наблюдатель» сообщал, что Марафины готовятся к празднованию своего стопятидесятитрехлетия и что, как ему стало известно из обычно хорошо осведомленных источников, вчерашней ночью был произведен тренировочный фейерверк, которым могли любоваться жители окрестных городов и селений в радиусе до двухсот километров. Стоит Харону уехать в командировку, как наша газета катастрофически глупеет. Хоть бы потрудились прикинуть, как это должен выглядеть фейерверк с расстояния в двести километров. Хоть бы задумались, с каких это пор фейерверки сопровождаются подземными толчками. Все это я немедленно изложил нашим, но они ответили, что и сами знают, который нынче год, и посоветовали почитать «Вестник Милеса». В «Вестнике» черным по белому было написано, что этой ночью «жители Милеса могли любоваться впечатляющим зрелищем военных учений с применением новейших средств боевой техники». «А я что говорил!» — воскликнул было я, но меня прервал Миртил. Он рассказал, что рано утром к его бензоколон-

ке подъехал заправиться незнакомый шофер фирмы «Дальние перевозки», взял сто пятьдесят литров бензина, две банки автола, ящик мармеладу и по секрету сообщил, будто этой ночью взорвались по неизвестной причине подземные заводы ракетного горючего. Погибло якобы двадцать три человека охраны и вся ночная смена, да еще сто семьдесят девять человек пропало без вести. Мы все ужаснулись, но тут желчный Парал агрессивно осведомился: «А зачем же тогда, спрашивается, ему понадобился мармелад?» Этот вопрос поставил Миртила в тупик. «Ладно, ладно, — сказал он. — Слыхали. Хватит с меня». Нам тоже нечего было сказать. Действительно, при чем здесь мармелад? Калаид пошипел, побрызгал, но так ничего и не сказал. И тогда вперед выдвигается этот старый осел Пандарей. «Старички, — говорит он. — Слушайте. Никакие это были не ракетные заводы. Мармеладные это были заводы, ясно? Ну, теперь держитесь». Мы так и сели. «Подземные мармеладные заводы? — говорит Парал. — Ну, старина, ты сегодня в отличной форме». Мы стали хлопать Пандарей по спине, приговаривая: «Да, Пан, сразу видно, плохо ты нынче спал, старина. Заездил тебя Минотавр, Пан, плохо твое дело. Пора, пора тебе на пенсию, Пан, дружище!» — «Полицейский, а сам сеет панику», — обиженно сказал Миртил, единственный, кто принял Пандареевы слова всерьез. «На то он и Пан, чтобы сеять панику», — сострил Димант. И Полифем тоже сострил очень удачно, хотя и совершенно неприлично. Пока мы так развлекались, Пандарей стоял столбом, распухал на глазах и только ворочал головой, совсем как бык, которого одолевают матадоры. В конце концов он застегнул китель на все пуговицы и, глядя поверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-р-разойдись! Именем закона». Миртил пошел к себе на бензоколонку, а остальные наши отправились в трактир.

В трактире мы сразу заказали пива. Вот удовольствие, которого я был лишен, пока не уволился на пенсию! В таком маленьком городке, как наш, учителя знают все. Родители твоих учеников почему-то воображают, будто ты чудотворец и своим личным примером способен помещать их детям устремиться по стопам родителей. Трактир с утра до поздней ночи буквально кишит этими родителями, и если ты позволяешь себе невинную кружку пива, то на следующий день непременно имеешь унижительный разговор с директором. А я люблю трактир! Люблю посидеть в доброй мужской компании, ведя неторопливые серьезные беседы на произвольные темы, рас-

сеянно ловя слухом гул голосов и звон стаканов за спиной, люблю рассказать и выслушать соленый анекдотец, сыграть в четыре короля — по маленькой, но с достоинством — и при выигрыше заказать всем по кружке. Ну ладно.

Япет подал нам пиво, и мы заговорили о войне. Одноногий Полифем заявил, что если бы это была война, то уже началась бы мобилизация, а желчный Парал возразил, что, если б это была война, мы бы уже ничего не знали. Не люблю я разговоров о войне и с удовольствием завел бы разговор о пенсиях, но где уж мне... Полифем положил костыль поперек стола и спросил, что, собственно, Парал понимает в войнах. «Знаешь ты, например, что такое базука? — грозно спросил он. — Знаешь ты, что такое сидеть в окопе, на тебя прут танки и ты еще не заметил, что навалил полные штаны?» Парал возразил, что про танки и про полные штаны он ничего не знает и знать не хочет, а вот про атомную войну мы все знаем одинаково. «Ложись ногами к взрыву и ползи на ближайшее кладбище», — сказал он. «Шпаком ты был, шпаком и умрешь», — сказал одноногий Полифем. — Атомная война — это война нервов, понял? Они нас, а мы их, и кто первый навалит в штаны, тот и проиграл». Парал только пожал плечами, и Полифем распалился окончательно. «Базуки! — орал он. — Тарзоны! Р-раз — и полные штаны! Верно, Аполлон?» Накричавшись вдоволь, он ударился в воспоминания, как мы с ним отбивали в снегах танковую атаку. Терпеть не могу этих воспоминаний. Сплошные полные штаны. Не знаю, может, так оно все и было, не помню. Да и не люблю к этому возвращаться. А Полифем как был казармой, так и остался. Представления не имею, что же еще нужно оторвать человеку, чтобы он навсегда перестал быть унтер-офицером. А может быть, все дело в том, что не довелось ему попасть в «котел», как мне. Или тут в характере дело?

Мы засиделись, и я решил заодно пообедать. Обычно у Япета кормят хорошо, но на этот раз фирменный его суп с клецками густо отдавал деревянным маслом, и я об этом так и сказал. Оказывается, у Япета третий день болят зубы, да так невыносимо, что он ничего толком не может попробовать. «А помнишь, Феб, как я выбил тебе зуб?» — грустно спросил он. Еще бы я не помнил! Это было в седьмом классе, мы вместе ухаживали за Ифигенией и дрались каждый день. Боже мой, как далеки те времена, когда я мог драться! Ифигения, оказывается,

теперь замужем за каким-то инженером на юге, у нее уже внуки и грудная жаба.

Когда я шел к Ахиллесу, у дома господина Лаомедонта стояла эта его страшная красная машина с бронестеклами, и за рулем раскуривал этот гнусный молодчик, который всегда надо мной издевается. И теперь он пристал ко мне так, что пришлось с достоинством перейти на другую сторону улицы, не обращая на него никакого внимания. Ахиллес восседал за кассой и рассматривал свой «Космос». С тех пор как он раздобыл этот синий треугольник с серебряной надпечаткой, он взял за правило доставать альбом как раз к моему приходу, словно бы случайно. Я его вижу насквозь и потому виду не подаю. Хотя, по правде говоря, сердце у меня всегда при этом обливается кровью. Одно утешение, что треугольник у него все-таки с наклейкой. Я ему так и сказал. «Да, — сказал я, — ничего не скажешь, Ахилл, отличная вещь. Жаль только, что с наклейкой». Он весь перекосячился и проворчал, что зелен, мол, виноград. «Что поделаешь, — ответил я ему спокойно. — Наклейка есть наклейка, и никуда от нее не уйдешь. Лично я эту марку за такую цену не взял бы. Зачем она мне с наклейкой? У некоторых, конечно, — сказал я, — такие широкие взгляды, что они берут и гашеные и с наклейками, но это не по мне, несерьезно. Я беру их разве что для обменного фонда. Всегда ведь найдется простак, которому что с наклейкой, что без — все едино». Я тебя отучу тыкать мне в нос серебряную надпечатку!

А в общем мы хорошо провели с ним время. Он меня убеждал, будто вчерашний фейерверк — это полярное сияние редкого вида, случайно совпавшее с особым видом землетрясения, а я ему втолковывал про маневры и взрыв мармеладного завода. Спорить с Ахиллесом невозможно. Ведь видно же, что человек сам в свои слова не верит, а спорит, упорствует. Сидит как монгольский истукан, смотрит в окно и твердит одно и то же, что, мол, в этом городе не я один разбираюсь в феноменах природы. Можно подумать, что они там в своем фармацевтическом училище действительно упражнялись в серьезных науках. Нет, ни с кем из наших невозможно довести хоть какой-нибудь спор до разумного завершения. Вот Полифем, например. Он никогда не спорит по существу. Истина его не интересует, ему одно важно: посрамить оппонента. Положим, спор идет о форме нашей планеты. Совершенно точными, известными каждому образованному человеку аргументами я доказываю ему, что Земля

есть, грубо говоря, шар. Он ожесточенно и безуспешно атакует каждый аргумент по очереди, а когда мы доходим до формы земной тени во время лунных затмений, он вдруг заявляет что-нибудь вроде: «Тень, тень... Наводишь тут тень на ясный день. Бородавку сначала под носом выведи да волосы на своей плечи отрасти, а тогда уж и спорь». Или, скажем, Парал. Пospорил я с ним как-то о способах излечения алкоголизма. Оглянуться не успел, как мы перешли к внешней политике тогдашнего президента, а от нее — к проблеме панспермии. И что самое удивительное — до панспермии и до внешней политики мне тогда не было и сейчас нет никакого дела, а алкоголизмом мучительно для всех окружающих страдал двоюродный племянник Гермियोны. Сейчас-то он в армии, военфельдшер, а в то время жизнь моя была сплошным кошмаром. Да, алкоголизм есть бич народов.

Спор наш закончился тем, что Ахиллес достал заветную бутылочку, и мы выпили по рюмке джина. Торговля у Ахиллеса идет неважно. У меня такое впечатление, что ему и на джин бы не хватало, если бы не мадам Персефона. Вот и сегодня опять пришли от нее. «Могу предложить антигест», — говорит Ахиллес деликатным шепотом. «Нет, — отвечает посыльная, — просили чего-нибудь повернее, пожалуйста». Повернее, видите ли, ей. Прибегал еще поваренок от Япета за зубными каплями, а больше никто не приходил, и мы побеседовали всласть. Я обменял розовый «Монумент» на его серию «Красный крест». Собственно, «Красный Крест» мне не нужен, но Харон позавчера сказал, что к нему в редакцию пришло объявление: «Возьму «Красный Крест», предлагаю любую перевернутую надпечатку из стандарта». Надо признаться, что, как это ни странно, Харон — единственный человек в нашем доме, который надо мной не хихикает. Вообще, если подумать, он совсем не плохой человек, и Артемида поступает не только аморально, но и неблагоприятно. А каков этот Никострат!

Возвращаюсь я домой в девять вечера и вижу, что они опять сидят у меня в саду, в тени и, правда, не целуются, но надо же все-таки совесть иметь. Я вышел в сад, взял Артемиду за руку и говорю этому хлыщу: «До свидания, господин Никострат, спокойной ночи». Артемида вырывает у меня свою руку и, ни слова не говоря, уходит. А этот распутник, весьма неуклюже пытаюсь сгладить неловкость, затевает со мной разговор о муниципальных рекомендациях, которые следует прилагать к прошению о пенсии. И я стою и его слушаю. Его палкой надо гнать

из сада, а я его слушаю. Деликатность моя проклятая. И неуверенность. Вот уж действительно комплекс неполноценности. И тут он вдруг скверно ослабляется и говорит: «А как поживает очаровательная госпожа Гермiona? Вы, господин Аполлон, не промах. От такой экономки я бы тоже не отказался». У меня сердце упало, и я совсем уже онемел. А он, не дождавшись ответа, — да и зачем ему мой ответ? — удалился, хохоча на всю улицу, и я остался один в темном саду.

Да, ничего не поделаешь. Наши отношения с Гермioniной придется все-таки как-то урегулировать. Знаю ведь, что ни к чему это мне, но спокойствие душевное требует жертв.

3 июня. Иногда меня охватывает настоящий ужас при мысли о том, что дело с моей пенсией не образуется. У меня все стесняется внутри, и я совершенно ничем не могу заниматься. Но если рассуждать логически, дело должно кончиться самым благоприятным образом. Во-первых, я проработал учителем тридцать лет, если не считать перерыва на войну. Точнее, даже тридцать лет и два месяца. Во-вторых, я ни разу не менял место службы, никогда не прерывал стажа на переезды и другие отвлекающие обстоятельства и только однажды, семь лет назад, брал кратковременный отпуск за свой счет. А участие в военных действиях не может считаться перерывом стажа. Это же ясно. По самым приблизительным подсчетам, через мои классы прошло более четырех тысяч учеников, почти все нынешнее население города. В-третьих, последние годы я все время был на виду и трижды замещал директора гимназии на время его отпуска. В-четвертых, работал я безупречно, имею шестнадцать благодарностей министерства, личный адрес покойного министра ко дню моего пятидесятилетия, а также бронзовую медаль «За усердие на ниве народного просвещения». Целый ящик в моем столе специально отведен под благодарственные адреса родителей. В-пятых, моя специальность. Сейчас все свихнулись на этом космосе, так что астрономия — предмет актуальный. По-моему, это тоже довод. Вот как окинешь все это взглядом, и кажется: какие могут быть сомнения? На месте министра я бы, не задумываясь, назначил мне первый разряд. Господи, тогда бы я наконец успокоился. Ведь, по сути дела, мне не так уж много надо в жизни. Три-четыре сигареты, рюмка коньяку, кое-какая мелочь на карты, вот и все. Ну и марки, конечно. Первый разряд — это сто пятьдесят в месяц. Сто я отдаю

Гермионе на хозяйство, двадцать — на книжку про черный день, а то, что останется, это уж будет мое. Тут и на марки хватит, и на все прочее. Неужели я не заслужил?

Плохо, что старый человек никому не нужен. Выжмут его как лимон, и иди подыхай. Благодарности, адреса? Кого это сейчас интересует? Медаль? У кого их нет? И обязательно ведь кто-нибудь прицепится, что был в плену. В плену был? Был. Три года? Три года. Все! Значит, стаж прерывался на три года, получите свой третий разряд и не раздувайте нашу переписку.

Вот если бы знакомства! А кстати, ведь один мой ученик, а именно — генерал Алким, и поныне сидит в Нижнем конгрессе. Что, если ему написать? Он меня должен помнить, у нас с ним было много тех маленьких конфликтов, о которых с таким удовольствием вспоминают ученики, ставши взрослыми. Ей-богу, напишу. Так прямо и начну: «Здравствуй, мальчик. Вот я уже и старик...» Подожду немного и напишу.

Сегодня весь день сидел дома: Гермiona вчера была в гостях у тетки и принесла оттуда большой пакет со старыми марками. Разбирая их, получил огромное удовольствие. Это ни с чем нельзя сравнить. Это как бесконечный медовый месяц. Оказалось несколько отличных экземпляров, правда, все с надклейками, придется реставрировать. Миртил разбил у себя во дворе палатку и живет там со своей семьей. Хвастался, что может собраться и выехать за десять минут. Рассказывал, что связи с Марафинами по-прежнему нет. Наверняка врет. Пьяный Минотавр наехал своей грязной цистерной на красный автомобиль господина Лаомедонта и подрался с шофером. Обоих отвели в участок. Потом Минотавра заперли до вытрезвления, а шофера, говорят, отвезли в больницу. Есть все-таки справедливость на свете. Артемид сидит тихо, как мышка: вот-вот должен вернуться Харон. Я уж Гермione ничего не рассказываю. Может быть, как-нибудь обойдется. Эх, получить бы первый разряд!

4 июня. Только что кончил читать вечерние газеты, но по-прежнему ничего не понимаю. Несомненно, какие-то изменения произошли. Но какие именно? И вследствие каких событий? Любят у нас приврать, вот что.

Утром, попив кофе, я отправился на «пяточок». Утро было хорошее, теплое. (Температура плюс восемнадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, 1 метр в секунду по моему анемометру.) Выйдя за калитку, я увидел, что

Миртил суетится вокруг разложенной на земле палатки. Я спросил его, что это он. «Ладно, ладно, — ответил он с сильным раздражением. — Умники нашлись. Ну и сидите, ждите, пока вас всех перережут». Я Миртилу ни на грош не верю, но от таких разговоров у меня всегда мурашки. «Да что еще случилось?» — спросил я. «Марсианцы», — коротко ответил он и принялся уминать палатку коленом. Я его не сразу понял, и, может быть, именно поэтому у меня от этого странного слова возникло ощущение, будто надвигается нечто страшное и неодолимое. Ноги у меня ослабели, и я присел на бампер грузовика. Миртил молчал, только пыхтел и сопел. «Как ты сказал?» — спросил я. Он упаковал палатку, перекинул ее в кузов и закурил. «Марсианцы напали, — сказал он шепотом. — Теперь нам всем конец. Марафины сожгли, говорят, дотла, десять миллионов убитых в одну ночь, представляешь? А нынче пожаловали к нам в мэрию. Власть теперь ихняя, так что все. Сеять уже запретили, а теперь, говорят, желудки всем вырезать будут. Желудки им зачем-то нужны, представляешь? Я этого дожидаться не буду, желудок мне самому нужен. Я как услышал про все это, так сразу и решил: эти новые порядочки не для меня, пропади оно тут все пропадом, а я еду к брату на ферму. Я уже старуху с ребятами отправил на автобусе. Отсидимся, осмотримся, а там видно будет». — «Постой, — сказал я, отчетливо понимая, что он все врет, но слабая все более. — Постой, Миртил, что ты такое говоришь? Кто напал? Кто сжег? У меня сейчас зять в Марафинах». — «Накрылся твой зять, — сказал Миртил сочувственно и бросил окурочек. — Считай, что дочка твоя овдовела. То-то секретарю раздольище... Ну, я поехал. Прощай, Аполлон. Мы все с тобой всегда были по-доброму. Я на тебя зла не имею, и ты меня лихом не поминай». — «Господи! — в отчаянии закричал я, совсем уже ослабев. — Да кто напал-то?» — «Марсианцы, марсианцы! — сказал он, снова переходя на шепот. — Оттуда! — Он поднял палец к небу. — С кометы подвалили». — «Может быть, марсиане?» — с надеждой спросил я. «Ладно, ладно, — сказал он, забираясь в кабину. — Ты учитель, тебе виднее. А вот мне так все равно, кто мне кишки выпустит...» — «Господи, Миртил, — сказал я, поняв окончательно, что все это вранье. — Ну нельзя же так. Ты же пожилой человек, у тебя внуки. Какие могут быть марсиане, если Марс — безжизненная планета? Нет там жизни, это научный факт». — «Ладно, ладно, — проворчал Миртил, но было

видно, что он засомневался. — Какой там еще факт». — «Да не ладно, а так оно и есть на самом деле, — сказал я. — Спроси любого ученого. Да что там ученого, это каждый школьник знает!» Миртил крикнул и вылез из кабины. «Пропади оно все пропадом! — сказал он, запуская пятерню в затылок. — Кого слушать-то? Тебя мне слушать? Или Пандарея мне слушать? Ничего не пойму». Он плюнул и ушел в дом.

Я тоже решил вернуться домой, чтобы позвонить в полицию. Пандарей, как оказалось, был очень занят, потому что Минотавр проломил решетку в камере и сбежал, так что Пандарею теперь нужно было организовывать облаву. Кто-то действительно часа полтора назад приезжал в мэрию, какое-то начальство, может быть, даже марсиане, ходят слухи, что марсиане, но насчет вырезания желудков никаких указаний не поступало, и вообще ему не до марсиан, потому что один Минотавр, на его взгляд, хуже всех марсиан, вместе взятых.

Я поспешил на «пяточок».

Почти все наши толпились у входа в мэрию и яростно спорили по поводу каких-то странных следов в пыли. Оставил эти следы приезжавший марсианин, это им было точно известно. Морфей твердил, что таких чудовищ даже он, старый парикмахер и массажист, не видывал еще никогда. «Пауки, — говорил он, — громадные мохнатые пауки. То есть самцы у них мохнатые, а самки голые. Ходят на задних лапах, а передними хватают. Видал следы? Жуткое дело! Словно дырки. Это он здесь прошел». — «Дело не в том, что прошел, — рассудительно говорил Силен. — У нас на Земле сила тяжести больше, вот Аполлон подтвердит, так что они просто ногами ходить не способны. Для этого у них есть специальные пружинные ходули, они-то и оставляют в пыли дырки». — «Правильно, ходули, — невнятно подтверждал Япет с повязанной щекой. — Да только это не ходули. Это у них машина такая, это я в кино видел. Не на колесах у них машины, а на таких рычагах, на ходулях». — «Опять наш казначей отвертелся, — сказал желчный Парал. — В прошлый раз град был необыкновенной силы, в позапрошлый объявилась саранча, а теперь вот он марсиан подстроил — на уровне эпохи, в связи с освоением космических пространств». — «Не могу я на эти следы равнодушно смотреть, — твердил Морфей. — Жуткое дело. Пошли, старички, вышьем, а?» Калаид, который уже давно бился, шипел и содрогался, произнес наконец: «По-п-погодка нынче хорошая, старички! К-как

спалось?» Всегда он из-за своего дефекта речи отстает от событий. А ведь он все-таки ветеринар, мог бы что-нибудь сказать полезное по поводу следов. «А Миртил уже деру дал, — сказал Димант, глупо хихикая. — Прощай, говорит, Димант, мы с тобой всегда были по-доброму. Присмотри, говорит, за бензоколонкой, и, если что, сожги ты ее, говорит, чтобы не оставлять неприятелю». Тут я осторожно спросил, что слышно о Марафинах. «Марафины, говорят, сожгли, — охотно ответил Димант. — Звонили, говорят, оттуда, предлагают сохранять спокойствие». Я совершенно уверился в том, что все это бессмысленные слухи, и приготовился было опровергать их, но тут раздался вой полицейской сирены, и мы все обернулись.

Через площадь заячьим зигзагом бежал, шатаясь, расхлюстанный и опухший Минотавр, а за ним на полицейском вездеходе гнался Пандарей. Он стоял, держась за ветровое стекло, что-то выкрикивал и размахивал наручниками. «Все, сейчас догонит», — сказал Морфей. «Это как сказать, — возразил Димант. — Видал, что делает?» Минотавр подбежал к телеграфному столбу, обхватил его руками и ногами и стал карабкаться вверх. Однако Пандарей уже соскочил с машины и вцепился ему в штаны. Вдвоем с младшим полицейским они оторвали золотаря от столба, повалили его в вездеход и надели наручники. После этого младший полицейский уехал, а Пандарей, утираясь носовым платком и на ходу расстегиваясь, направился к нам. «Поймал, — сообщил Морфей, обращаясь к Диманту. — Вечно ты споришь». Пандарей приблизился и спросил, что тут у нас новенького. Ему объяснили про марсианские следы. Он немедленно присел на корточки и погрузился в исследование обстоятельств. Я даже проникся к нему невольным уважением, потому что сразу бросалась в глаза настоящая профессиональная хватка: он глядел на эти следы как-то сбоку и ничего не трогал руками. У меня появилось предчувствие, что вот сейчас все разъяснится. Пандарей двигался вдоль следов утицей, широко поводя обтянутым задом, и все время повторял: «Ага... Все ясно... Ага... Ясно...» Мы нетерпеливо ждали, храня молчание, и только Калаид силился что-то сказать и шипел. Наконец Пандарей с кричением выпрямился и, озирая площадь, словно бы в расчете кого-то обнаружить, отрывисто произнес: «Двое. Деньги вынесли в мешке. У одного трость с клинком, второй курит «Астру». — «Я тоже курю «Астру», — сказал желчный Парал, и Пандарей сразу на него уста-

вился. «Кого двое? — спросил Димант. — Марсиан?» — «Сначала я думал, что это не наши, — медленно проговорил Пандарей, не сводя глаз с Парала. — Сначала я подумал, что это ребята из Милеса, я их знаю». Тут разразился Калаид. «Н-н-нет, не догнать ему на машине», — объявил он. «А как же марсиане? — сказал Димант. — Не понимаю...» Пандарей, по-прежнему игнорируя прямые вопросы, разглядывал Парала. «Дай-ка мне твою сигарету, старичок», — сказал он. «Это зачем?» — спросил Парал. «Интересуюсь я посмотреть твой прикус, — объяснил Пандарей, — а также, где ты сегодня был с шести до семи утра». Мы поглядели на Парала, а Парал сказал, что, по его мнению, Пандарей самый большой дурак в мире, если не считать того кретина, который принял Пандарей на работу в полицию. Мы были вынуждены с ним согласиться и принялись хлопать Пандарей по спине, приговаривая: «Да, Пандарей, это ты, старик, дал маху. Не понял ты, старина Пан, что это следы марсианина. Хотя, конечно, откуда тебе знать, старичина, про марсиан? Это тебе не золотарь, Пан!» Пандарей начал понемногу разбухать, но тут из мэрии вышел одноногий Полифем и с ходу врезался в наше веселье. «Дрянь дело, старички! — озабоченно сказал он. — Марсиане наступают, взяли Милес! Наши отходят, жгут посевы, рвут за собой мосты!» У меня опять ослабели ноги и не стало даже сил протолкаться к скамейке и сесть. «Высадили десант на юге: две дивизии, — хрипел Полифем. — Скоро будут здесь!» — «Они уже были здесь, — сказал Силен. — На таких специальных ходулях. Вон следы...» Полифем только глянул и сразу же с негодованием сказал, что это его следы, и все сразу поняли — точно, его. Даже не его, а его костыля. Для меня это было большим облегчением. А Пандарей, как только до него дошло, застегнул китель на все пуговицы и, глядя вверх голов, гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Я вошел в мэрию. Все там было забито какими-то плоскими мешками, которые стояли вдоль стен в коридорах, на лестничных площадках и даже в приемной. От мешков исходил незнакомый запах, и окна везде были раскрыты настежь, но в остальном все было как обычно. Господин Никострат сидел за своим столом и полировал ногти. Туманно ухмыляясь и с очень неясной интонацией, он дал мне понять, что о марсианах по долгу службы распространяться не имеет права, однако может положительно утверждать, что к вопросу о пенсии все это вряд

ли имеет какое-нибудь отношение. Достоверно только одно: пшеницу в наших местах сеять отныне будет невыгодно, а выгодно будет сеять некий новый питательный злак с универсальными, как он выразился, свойствами. Вот в этих мешках содержатся семена, и с сегодняшнего дня их начнут распределять между фермами округа. «А откуда мешки?» — спросил я. «Доставлены», — ответил он веско. Я превозмог робость и осведомился, кто их доставил. «Официальные лица», — сказал он, выбрался из-за стола, извинился и развинченной своей походкой удалился в кабинет мэра. Я зашел в канцелярию и побеседовал с машинистками и со сторожем. Как это ни странно, они подтвердили почти все слухи о марсианах, но не оставили у меня впечатления подлинной информированности. Ох, уж эти мне слухи! Никто в них не верит, но все их повторяют. Дело доходит до искажения простейших фактов. Вот, например, Полифем и его взорванные мосты. Что было на самом деле? Полифем явился на «пяточок» первым. Его увидели из окна и пригласили в канцелярию починить пишущую машинку. Пока он трудился, развлекая девиц рассказами о том, как ему оторвало ногу, в канцелярию вошел господин мэр, постоял, послушал с задумчивым видом, произнес загадочную фразу: «Да, господа, мосты, видимо, сожжены» — и вернулся в свой кабинет, куда немедленно потребовал бутерброды с сардинами и бутылку фаргосского пива. А Полифем растолковал девицам, что мосты обыкновенно уничтожают за собой при отступлении, дабы воспрепятствовать продвижению противника. Остальное понятно. Глупость какая! Я счел своим долгом объяснить служащим мэрии, что таинственная фраза господина мэра означает всего-навсего: решение принято бесповоротно. Естественно, на всех лицах изобразилось сразу же облегчение, смешанное, впрочем, с некоторым разочарованием.

На «пяточке» никого не оказалось, Пандарей всех разогнал. Почти совсем уже успокоившись, я направился к Ахиллесу рассказать о новых моих приобретениях и прощупать почву относительно архитектурной серии: может быть, он возьмет гашеную, раз чистую все равно не достать. Ведь берет же он с надклейками. Однако Ахиллес тоже находился под гнетом распространившихся слухов. На мое предложение он рассеянно ответил, что подумает, и тут же, сам того не заметив, подал мне блестящую идею. «Марсиане, — сказал он, — новая власть. А ты знаешь, Феб, новая власть — новые марки». Я поразился, как эта простая мысль не пришла мне в

голову самому. Действительно, если бы слухи были хоть отчасти верны, то первой же разумной акцией этих мифических марсиан был бы выпуск новых, своих марок или по крайней мере надпечатывание наших старых. Я торопливо простился с Ахиллесом и напрямик направился на почту. Ну, конечно же, никакой корреспонденции с новыми марками не поступало и вообще ничего нового на почте не было. Когда мы наконец отучимся верить слухам? Ведь хорошо известно, что Марс обладает чрезвычайно разреженной атмосферой, климат его чрезмерно суров и почти отсутствует вода, являющаяся основой всей жизни. Мифы о каналах давно и решительно развенчаны, ибо каналы оказались не чем иным, как оптическим обманом. Короче говоря, все это напоминает мне панику в позапрошлом году, когда одноногий Полифем бегал по городу с дробовиком и кричал, что из столичного зоопарка бежал гигантский тритон-людоед. Миртил тогда ухитрился вывезти весь дом и не решался вернуться в город две недели.

Сумеречный разум моих необразованных сограждан, убаюканный монотонной жизнью, при малейших колебаниях рождает поистине фантастические призраки. Наш мир подобен погруженному в ночной сон курятнику, где стоит лишь нечаянно коснуться перышка какой-нибудь пеструшки, дремлющей на шестке, как все приходит в неопишваемое волнение, мечется, кудахчет и разбрасывает помет во все стороны. А по-моему, жизнь и без того достаточно беспокойна. Всем нам следовало бы беречь свои нервы. Я читал, что слухи опасны для здоровья в гораздо большей степени, чем даже курение. Автор доказывал это с цифрами в руках. Там еще было написано, что сила воздействия панического слуха прямо пропорциональна невежеству масс, и это верно, хотя должен признаться, что даже самые образованные из нас удивительно легко поддаются общему настроению и готовы мчаться куда глаза глядят вместе с обезумевшей толпой.

Все это я намерен был рассказать нашим, когда по дороге в трактир заметил, что на «пяточке» вновь собралась толпа. Я повернул туда и убедился, что слухи уже оказали свое разрушительное действие. Моих рассуждений и слушать никто не стал. Все были возбуждены сверх всякой меры, а ветераны потрясали оружием, которое не успели должным образом освободить от смазки. Выяснилось, что из казарм восемьдесят восьмого пехотного полка пришли в увольнение солдаты и рассказали нечто несообразное.

Позапрошлой ночью полк был поднят по тревоге и в течение некоторого времени, а именно до утра, в полной боевой готовности просидел в бронетранспортерах и грузовиках на плацу. Утром тревогу отменили, и вчерашний день прошел обычным порядком. Этой ночью все повторилось с той, однако, разницей, что утром в казармы прибыл на вертолете полковник генерального штаба, приказал выстроить полк в каре и, не вылезая из вертолета, произнес длинную, совершенно непонятную речь, после чего улетел, и тогда полк почти целиком распустили в увольнение. Надо сказать, что солдаты, успевшие уже изрядно подзаправиться у Япета, говорили крайне невнятно и то и дело начинали известную неприличную песню «Ниоба-Ниобея, нисколько не робея...». Однако было ясно, что в речи полковника генерального штаба о марсианах не было сказано ни слова. Полковник говорил, собственно, только о двух вещах — о патриотическом долге солдата и о его желудочном соке, причем каким-то неуловимым образом связывал эти два понятия воедино. Сами солдаты во всех этих тонкостях не разобрались, но поняли твердо, что всякий, кто с нынешнего утра будет пойман сержантом с жевательной резинкой «нарко» или с сигаретой «опи», немедленно загремит в карцер на десять суток и будет там сгноен. Сразу после отлета полковника командир полка, не распуская каре, приказал младшим офицерам и сержантам произвести в казармах тщательные обыски на предмет изъятия всех сигарет и жевательных резинок, содержащих тонизирующие вещества. Больше солдаты ничего не знали, да и знать не хотели. Крепко обняв друг друга за плечи, они с таким угрожающим видом грянули: «Ниоба-Ниобея, скупаю по тебе я», что мы поспешно расступились и выпустили их.

Тут Полифем со своим костылем и дробовиком взгромоздился на скамейку и заорал, что генералы нас предали, что кругом шпионы и что настоящие патриоты должны сплотиться вокруг знамени, поскольку патриотизм и так далее. Этот Полифем жить не может без патриотизма. Без ноги он жить может, а вот без патриотизма у него не получается. Когда он охрип и замолчал, чтобы перекурить, я попытался все-таки как-то вразумить наших и стал рассказывать, что жизни на Марсе нет и быть не может, все это выдумки. Однако говорить мне опять не дали. Сначала Морфей сунул мне под нос утреннюю столичную газету с большой статьей «Есть ли жизнь на Марсе?». В этой статье все прежние научные данные

подвергались ироническому сомнению, а когда я, не потерявшись, попробовал дискутировать, Полифем протиснулся ко мне, схватил меня за ворот и грозно захрипел: «Бдительность усыпляешь, зараза? Шпион марсианский, дерьмо плешивое! К стенке тебя!» Я не могу, когда со мной так обращаются. У меня началось сердцебиение, и я крикнул полицию. Хулиганство какое! В жизни Полифему этого не прощу. Что он себе воображает! Я вырвался, обозвал его одноногой свиньей и ушел в трактир.

Приятно было убедиться, что патриотические вопли Полифема были противны не только мне. В трактире уже находился кое-кто из наших. Все обсади Кронидархивариуса, поили его по очереди пивом и выпытывали насчет утреннего посещения марсиан. «Чего там марсиане, — говорил Кронид, с трудом ворочая белками. — Марсиане как марсиане. Одного зовут Калханд, другого — Элей, оба южане, с такими вот носами...» — «Ну, а машина?» — спрашивали его. «Машина как машина, черная, летает... Нет, не вертолет. Летает, и все. Да что я вам — летчик? Откуда я могу знать, как она летает?..» Я пообедал, дождался, пока от него отстанут, взял две порции джина и подсел к нему. «Насчет пенсий ничего нового не слышно?» — спросил я. Однако Кронид уже ничего не понимал. Глаза у него слезились, он только хлопал, как автомат, рюмку за рюмкой и бормотал: «Марсиане как марсиане, один Калханд, другой Элей... Черные, летают... Нет, не дирижабли... Эбей, говорю... Не я, а летчик...» Потом он заснул.

Когда в трактир ввалился Полифем со своей бандой, я демонстративно пошел домой. Миртил так и не уехал. Он снова разбил свою палатку, сидит и варит ужин на газовой плитке. Артемиды дома не было, ушла куда-то, не сказавшись, а Гермiona чистила ковры. Чтобы успокоиться, я занялся реставрацией марок. Приятно все-таки думать, какого мастерства я достиг. Не знаю, способен ли кто-нибудь отличить мой наведенный клей от настоящего. Во всяком случае, Ахиллес не способен.

Теперь о сегодняшних газетах. Удивительные нынче газеты. Почти все полосы заняты рассуждениями различных медиков о разумных режимах питания. С каким-то противоестественным негодованием говорится о медицинских препаратах, содержащих опий, морфий и кофеин. Что же, если у меня теперь заболит печень, я должен терпеть? Ни в одной газете нет филателистического отдела, о футболе — ни слова, зато все газеты перепечатавают гигантскую, совершенно бессодержа-

тельную статью о значении желудочного сока. Можно подумать, что я и без них не знаю, какое значение имеет желудочный сок. Ни одной телеграммы из-за границы, ни слова о последствиях эмбарго — завели глупую дискуссию о пшенице, в пшенице, мол, не хватает витаминов, пшеница, мол, слишком легко поражается вредителями, а некий Марсий, магистр сельскохозяйственных наук, договорился до того, что тысячелетняя история культивирования пшеницы и других полезных злаков (овса, кукурузы, маиса) является всемирной ошибкой человечества, каковую ошибку, впрочем, еще не поздно исправить. Я в пшенице ничего не понимаю, специалистам виднее, но статья написана в недопустимо критиканском, я бы сказал, в подрывном тоне. Сразу видно, что этот Марсий — типичный южанин, нигилист и крикун.

Вот уже двенадцать часов, а Артемиды все нет. И домой она не вернулась, и в саду ее не видно, а между тем на улицах полно пьяных солдат. Могла бы и позвонить, где находится. Я все жду — придет Гермiona и спросит, что происходит с Артемидой. Представления не имею, как я буду отвечать. Не люблю я таких разговоров, не выношу. Спрашивается, в кого у меня такая дочь? Покойница была очень скромная женщина, единственный раз только она увлеклась городским архитектором, но увлечение это было — две-три записочки, одно письмо. И сам я никогда не был кобелем, как выразился бы Полифем. До сих пор с ужасом вспоминаю свой визит к мадам Персефоне. Нет, такое времяпрепровождение не для цивилизованного человека. Все-таки любовь, даже самая что ни на есть плотская, — это таинство, и заниматься любовью в компании даже хорошо знакомых и доброжелательных людей совсем не так увлекательно, как это описывается в некоторых книгах. Упаси бог, я, конечно же, не думаю, что моя Артемидка предается сейчас вакхическим пляскам среди бутылок, но она могла бы по крайней мере позвонить. Можно только удивляться глупости моего зятя. Я бы на его месте давно вернулся.

Я совсем уже собрался было закрыть дневник и отправиться спать, когда в голову мне пришла следующая мысль. А Харон ведь, по-видимому, недаром так задержался в Марафинах. Страшно подумать, но я, кажется, догадываюсь, в чем тут дело. Неужели же они решились? Я вспоминаю сейчас все эти сборища под моей крышей, этих его странных приятелей с вульгарными привычками и скверными манерами — какие-то механики с грубыми голосами, пьющие виски без сельтерской и курящие от-

вратительные дешевые сигары; какие-то стриженные крикуны с болезненным цветом лица, щеголяющие в джинсах и пестрых рубашках, никогда не вытирающие ноги в передней; и все их разговоры о всемирном правительстве, о какой-то технократии, об этих немислимых «измах», органическое неприятие всего, что гарантирует мирному человеку покой и безопасность; я вспоминаю и понимаю теперь, что произошло. Да, мой зять и его сообщники были экстремистами, и вот они выступили. Все эти разговоры о марсианах — это, конечно, искаженные отголоски истинных событий. Заговорщики всегда обожали громкое, таинственно звучащее слово, и не исключено, что теперь они называют себя «марсианами», или каким-нибудь «обществом по благоустройству планеты Марс», или, скажем, «марсианским возрождением». Даже то, что магистр сельскохозяйственных наук носит имя Марсий, звучит для меня многозначительно: вполне вероятно, он является главой переворота. Что остается непонятным, так это неприязнь путчистов к пшенице и нелепая их заинтересованность в желудочном соке. Наверное, это просто отвлекающий маневр для того, чтобы сбить с толку общественность.

Конечно, я плохо разбираюсь в путчах и революциях, мне трудно найти объяснение всему, что сейчас происходит, но я знаю одно. Когда нас гнали, как баранов, замерзать в окопах, когда черные рубашки лапали наших жен на наших же постелях, где вы были тогда, господа экстремисты? Тоже навешивали на себя значки и орали: «Да здравствует вождь!» Если вам так нравятся перевороты, почему вы делаете их всегда не вовремя? Кому вы сейчас нужны с вашими переворотами? Мне? Или Миртилу? Или, может быть, Ахиллесу? Почему вы не оставите нас в покое? Все вы, господа, унтер-офицеры, и ничем вы не лучше дурака-патриота Полифема.

Экзема, дрянь, замучила. Чешусь, как обезьяна на ярмарке, никакие капли не помогают, никакие мази. Врут все аптекари. Никакие лекарства мне не нужны. Покой мне нужен, вот что!

Если у Харона достанет ума не остаться в задних рядах, первый разряд мне обеспечен.

5 июня. Этой ночью спал плохо. Сначала разбудила Артемида, которая явилась только в час пополуночи. Я совсем решил поговорить с нею начистоту, но ничего не вышло: она меня поцеловала и заперлась в своей спальне. Пришлось принять снотворное, чтобы успо-

кояться. Задремал, приснилась какая-то ерунда. А в четыре часа утра я был опять разбужен, на этот раз Хароном. Все спят, а он разговаривает громко, на весь дом, словно, кроме него, здесь никого нет. Я накинул халат и вышел в гостиную. Господи, на него смотреть было страшно. Я сразу понял, что переворот не удался.

Он сидел за столом, жадно поедая все, что ему приносила заспанная Артемида, и тут же на столе, прямо на скатерти, были разложены замасленные части какого-то огнестрельного оружия. Он был небрит, глаза у него были красные, воспаленные, волосы взлохмачены и торчали слипшимися космами, и за едой он чавкал, как золотарь. Он был без пиджака и, надо полагать, именно в таком виде заявился в дом. Ничего в нем не осталось от главного редактора небольшой, но уважаемой газеты. Сорочка на нем была разорвана и выпачкана землей, руки грязные, с обломанными ногтями, а на груди виднелись ужасные вспухшие царапины. Поздороваться со мной он не подумал, только глянул сумасшедшими глазами и пробормотал, давясь пищей: «Дождались, сволочи!» Я пропустил это дикое приветствие мимо ушей, потому что видел: человек не в себе, но сердце у меня упало, и ноги ослабели так, что я вынужден был тут же присесть на диван. И Артемида была сильно испугана, хотя всячески старалась это скрыть. Но Харон не обращал на нее никакого внимания, а только гаркал на всю округу: «Хлеба!», или: «Бренди, черт подери!», или: «Где горчица, Арта? Я уже двадцать раз просил!» Никакого разговора в обычном смысле этого слова у нас не получилось. Тщетно стараясь преодолеть сердцебиение, я спросил Харона, как он съездил. В ответ он прорычал совершенно невразумительно, что съездил он по морде, да, видно, не тому, кому следовало. Я попытался переменить тему, направить разговор в более мирное русло и осведомился насчет погоды в Марафинах. Он посмотрел на меня, как будто я его смертельно оскорбил, и только прорычал в тарелку: «Идиоты безмозглые...» Решительно нельзя было с ним разговаривать. Он все время ругался последними словами — и когда ужинал, и потом, когда, отодвинув локтем тарелку, принялся ободранными руками собирать свое оружие. Хорошо еще, что Гермiona спит так крепко и не присутствовала при этой сцене, она не переносит грубости. Все у него были сволочи, и я никак не мог понять, что произошло. В общем вышло так, что «вся эта сволочь докатилась в своем сволочизме до того, что теперь любая распоследняя сво-

лочь может делать со всей этой сволочью что угодно, и никакая сволочь пальцем не пошевелит, чтобы помешать всей этой сволочи заниматься любым дерьмом». Бедняжка Артемида стояла за его плечом, ломая пальцы, и слезы бежали по ее щекам. Время от времени она умоляюще взглядывала на меня, но что я мог сделать? Мне самому нужна была помощь, у меня словно пелена какая-то стояла перед глазами от нервного напряжения. Ни на минуту не переставая ругаться, он собрал свое оружие (это оказался современный армейский автомат), вставил обойму и тяжело поднялся на ноги, сбросив на пол две тарелки. Артемида, моя бедная девочка, с бледным без кровинки лицом так и потянулась к нему, и тогда он, казалось, немного смягчился. «Ну-ну, малыш, — сказал он, перестав ругаться и неловко обнимая ее за плечи, — я мог бы взять тебя с собой, да только вряд ли это тебя обрадует. Я ведь знаю тебя как облупленную».

Даже я ощутил мучительную необходимость, чтобы Артемида нашла сейчас какие-то нужные слова. И, словно уловив мою телепатею, девочка, заливаясь слезами, задала ему главный, по моему мнению, вопрос: «Что же теперь с нами будет?» Я сразу понял, что с Хароновой точки зрения это были совсем не самые нужные слова. Он сунул автомат под мышку, похлопал Артемиду по заду и, неприятно оскалась, сказал: «Не беспокойся, детка, ничего нового с тобой не будет», после чего направился прямо к выходу. Но я не мог ему позволить уйти просто так, не давши никаких объяснений. «Одну минутку, Харон, — сказал я, преодолевая слабость. — Что же теперь будет? Что с нами сделают?» Этот мой единственный вопрос привел его в неопишемую ярость. Он остановился на пороге, повернулся вполборота и, как-то болезненно дергая коленом, прошипел сквозь зубы следующие странные слова: «Хоть бы одна сволочь спросила, что она должна делать. Так нет же, каждая сволочь спрашивает только, что с ней будут делать. Успокойтесь, ваше будет царство небесное на Земле». После этого он вышел, громко хлопнув дверью, и через минуту на улице заворчал, удаляясь, его автомобиль.

Следующий час прошел словно в аду. У Артемиды началось нечто вроде истерики, хотя больше это напоминало приступ неудержимого бешенства. Она перебила всю посуду, оставшуюся на столе, сорвала и швырнула в телевизор скатерть, стучала кулаками в дверь и сдавленным голосом кричала что-то вроде: «Так я для тебя дура?.. Дура я для тебя, да?.. А ты?.. А ты... Да наплевать

мне на тебя... Ты как хочешь, и я как хочу!.. Понял?.. Понял?.. Понял?.. Еще прибежишь, еще на коленях!..» Наверное, надо было дать ей воды, отшлепать ее по щекам и все такое, но я сам был распростерт на диване, и не было никого, кто бы принес мне таблетку валидола. Кончилось тем, что Артемида умчалась к себе, не обратив на меня никакого внимания, а я, отлежавшись немного, дополз до кровати и забылся в каком-то полубомороке.

Утро выдалось пасмурное, дождливое. (Температура плюс семнадцать, облачность десять баллов, ветра нет.) Объяснение Артемиды с Гермией по поводу беспорядка в гостиной я, к счастью, проспал. Знаю только, что был скандал и обе ходят надутые. На лице Гермией, когда она подавала кофе, явственно обозначалось намерение закатить выговор и мне, однако она промолчала. Вероятно, я очень плохо выгляжу, а она женщина добрая, за что я ее и ценю. После кофе я собрался было с силами сходить на «пяточок», но тут является мальчишка-рассыльный и приносит мне так называемую повестку, подписанную Полифемом. Оказывается, я рядовой член «Добровольной Городской Антимарсианской Дружины», и мне уже предписывается «прибыть к десяти часам утра на площадь Согласия, имея при себе огнестрельное либо холодное оружие и запас пищи на три дня». Да что я ему, молокосос какой-нибудь? Разумеется, я из принципа никуда не пошел. От Миртила, который все еще живет в палатке, я узнал, что с самого рассвета в мэрию прибывают фермеры, забирают там мешки с семенами нового злака и везут их к себе на поля. Якобы урожай пшеницы, обреченный на уничтожение, скупается правительством на корню на выгодных условиях, вручается также задаток за урожай нового злака. Фермеры подозревают во всем этом очередную аграрную аферу, но поскольку с них не требуют ни денег, ни письменных обязательств, не знают, что и подумать. Миртил уверяет (меня!), что никаких марсианцев нет, потому что жизнь на Марсе невозможна, а есть просто новая аграрная политика. Однако выехать из города он готов в любой момент и на всякий случай тоже взял себе мешок семян. В газетах, как и вчера, одна пшеница и желудочный сок. Если так пойдет дальше, я откажусь от подписки. По радио — тоже пшеница и желудочный сок, я уже не включаю, а смотрю только телевизор, где все как было до путча. Господин Никострат приехал на машине, Артемида выскочила ему навстречу, и они укатили. Не желаю об этом думать. Может быть, это судьба в конце концов.

Поскольку болтовня о пшенице и этом желудочном соке не прекращается, путч, по-видимому, все-таки удался. Харон же, по свойственной ему неуживчивости, не получил того, на что рассчитывал, со всеми так рассорился и оказался в оппозиции. Боюсь, что из-за него у нас еще будут неприятности. Когда такие сумасшедшие, как Харон, берутся за автомат, они стреляют. Боже мой, настанет ли когда-нибудь время, когда у меня не будет неприятностей?

6 июня. Температура плюс шестнадцать, облачность девять баллов, ветер юго-западный, шесть метров в секунду. Исправил анемометр.

Экзема совсем замучила, приходится бинтовать руки. Вдобавок ноют обмороженные уши — наверное, к перемене погоды.

Марсиане так марсиане. Надоело мне об этом спорить.

7 июня. Глаз до сих пор болит, заплыл и ничего не видит. Хорошо, что это левый глаз. Примочки Ахиллеса помогают лишь отчасти. Ахиллес говорит, что синяк будет замечен не менее недели. Сейчас он красно-синий, потом сделается зеленым, потом пожелтеет и исчезнет совсем. Какая все-таки жестокость, какое бескультурье! Ударить пожилого человека, всего лишь собиравшегося задать невинный вопрос. Если марсиане начинают с этого, то я не знаю, чем они кончат. И жаловаться некому, одно только и остается делать — ждать прояснения обстановки. Глаз так болит, что страшно даже вспомнить, как я радовался сегодняшнему безмятежному утру. (Температура плюс двадцать, облачность ноль баллов, ветер южный, один метр в секунду.)

Когда, позавтракав, я поднялся на чердак, чтобы произвести метеорологические наблюдения, я с некоторым удивлением заметил, что поля за городом приняли определенно синеватый оттенок. Вдали поля до такой степени сливались с лазурью неба, что линия горизонта как таковая была совершенно размыта, хотя прозрачность воздуха была очень хороша и всякая дымка отсутствовала. Эти новые марсианские семена взошли удивительно быстро. Надо ожидать, что не сегодня завтра они окончательно забьют пшеницу.

Придя на площадь, я обнаружил, что почти все наши, а также огромное количество прочих обывателей, которым надлежало бы быть сейчас на работе, фермеры, а также школьники, которым надлежало бы заниматься

играми, столпились вокруг трех больших автофургонов, украшенных разноцветными плакатами и рекламными картинками. Я подумал было, что это бродячий цирк, тем более что рекламы предлагали полюбоваться несравненными канатоходцами и другими обыкновенными героями манежа, однако Морфей, стоявший здесь уже давно, объяснил мне, что никакой это не цирк, а передвижные донорские пункты. Внутри там помещаются специальные насосы с кишками, и при каждом насосе сидит здоровенный детина в докторском халате, который предлагает каждому, кто заходит, отсосать излишки и дает удивительную цену: пятерку за стакан. «Какие излишки?» — спросил я. Оказалось, что излишки желудочного сока. Весь мир помешался на желудочном соке.

«Неужели это марсиане?» — спросил я. «Какие там марсиане, — сказал Морфей. — Здоровенные волосатые парни. Один кривой». — «Ну и что же, что кривой? — естественно, возразил я. — Представитель любой расы, будь то на Земле или на Марсе, если ему повредят один глаз, становится кривым». Тогда я еще не знал, что эти мои слова являются пророчеством. Просто меня раздражало самомнение Морфея. «В жизни не слышал о кривых марсианах», — заявил он.

Публика вокруг прислушивалась к нашему разговору, и он в приступе тщеславия счел необходимым поддержать свое сомнительное реноме дискуSSIONЕРА. А ведь ничего в этом предмете не смыслит! «Никакие это не марсиане, — заявляет он. — Обыкновенные ребята из столичных пригородов. Там таких дюжина на каждый трактир». — «Наши сведения о Марсе настолько скудны, — спокойно говорю я, — что предположение, будто марсиане похожи на парней из пригородных трактиров, во всяком случае, не противоречит никакой научной истине». — «Это точно, — вмешивается стоящий рядом незнакомый фермер. — Это вы очень убедительно сказали, господин-не-знаю-как-вас-величать. У этого кривого руки по локоть в татуировке, и все голые бабы. Как засучил он рукава, да как подошел ко мне с этой кишкой, — нет, думаю, ни к чему нам это». — «Так что говорит наука насчет татуировки у марсиан?» — ехидно спрашивает Морфей. Это он хотел меня уколоть. Дешевый прием, от него так и разит парикмахерской. Такими штучками меня не собьешь. «Профессор Зефир, — говорю я, глядя ему прямо в глаза, — главный астроном Марафинской обсерватории, ни в одной из своих многочисленных статей не отрицает такого обыкновения у марсиан». — «Это точ-

но, — подтверждает фермер. — Они в очках, им виднее». И Морфею пришлось все это проглотить. Он пришипился и со словами: «Пива выпить...» — стал выбираться из толпы, а я остался ждать, что будет дальше.

Некоторое время ничего не было. Все только стояли, глазели и тихо переговаривались. Фермеры да торговцы — нерешительный народ. Потом в первых рядах произошло движение. Какой-то сельский житель сорвал вдруг с себя соломенную шляпу, с размаху ударил ее себе под ноги и громко закричал: «Эх! Пять монет — тоже деньги, не так, что ли?» Произнеся эти слова, он решительно поднялся по ступенькам деревянной лестнички и просунулся в дверь фургона, так что нам осталась видна лишь задняя половина его туловища, вся в пыли и в репьях. Что он там говорил и о чем спрашивал — за дальностью расстояния осталось неизвестным. Я видел только, что вначале поза его была напряженной, затем он как бы расслабился, принялся переступать ногами, сунул руки в карманы и, подавшись назад, покачал головой. Затем он, ни на кого не глядя, осторожно опустился на землю, подобрал свою шляпу и, тщательно отряхнув ее от пыли, смешался с толпой. В двери же фургона возник человек действительно очень большого роста и действительно кривой на один глаз. Если бы не белый халат, он со своей черной повязкой через лицо, небритой щетиной и волосатыми татуированными руками вполне сошел бы за преступного обитателя трущоб. Мрачно оглядев нас, он неторопливо опустил завернутые рукава, вытащил сигарету и, закурив, произнес грубым голосом: «А ну, заходи! Пять монет дается. За каждый стаканчик пять монет. Деньги ведь! Наличными. Ты за пять монет сколько горб ломать должен? А здесь проглотил кишку, и вся недолга! Ну?!» Я смотрел на него и не мог надивиться близорукости администрации. Да как же можно рассчитывать, что обыватель, и даже фермер, согласится доверить свой организм такому громиле? Я выбрался из толпы и пошел на «пяточок».

Все наши были уже там, все с дробовиками, а некоторые и с белыми повязками на рукавах. Полифем напялил старую военную фуражку и, обливаясь потом, произносил речь. У него выходило, что злодеяния марсиан стали уже абсолютно нестерпимыми, и что все патриоты стонут и обливаются кровью под их игом, и что пришла наконец пора дать настоящий отпор. А виною всему, утверждал Полифем, являются дезертиры и предатели вроде толстозадых зажавшихся генералов, аптекаря Ахиллеса, труса Миртила и этого отступника Аполлона.

В глазах у меня потемнело, когда я услышал последние слова. Я совершенно потерял дар речи и опомнился только, заметив, что никто, кроме меня, Полифема не слушает. Все, оказывается, слушали не одного дурака, а Силену, который только что вернулся из мэрии и рассказывал, будто налоги впредь будут взиматься исключительно желудочным соком и что из Марафин пришло указание, приравнивающее отныне желудочный сок к обычным денежным единицам. Желудочный сок якобы будет теперь иметь хождение наравне с деньгами, и все банки и сберегательные кассы готовы обменивать его на валюту. Желчный Парал сейчас же заметил: «Окончательно докатились. Золотой запасец порастранжирили и теперь желудочным соком деньги обеспечить пытаются». — «Как же это так? — сказал Димант. — Не понимаю. Это что же, теперь нужно будет посуду специальную заводить, вроде кошельков? А если я им воды вместо сока принесу?» — «Слушай, Силен, — сказал Морфей. — Я тебе десятку должен. Соком возьмешь?» Очень он оживился, вечно ему не хватало денег на выпивку, вечно он пил за чужой счет. «Хорошие времена, старички! — воскликнул он. — Захочется мне, например, выпить, иду это я в банк, выделяю им излишки, получаю наличными и — в трактир». Тут Полифем снова заорал. «Купили вас! — орал он. — Продались марсианам за желудочный сок! Вы тут продались, а они вон по городу разъезжают, как по своему Марсу!»

И действительно, через площадь медленно и совсем не производя никакого шума двигалась очень странная машина черного цвета, словно бы вовсе без колес, без окон и без дверей. За нею с криками и свистом бежали мальчишки, некоторые пытались прицепиться к ней сзади, но она была совершенно гладкая, как рояль, и прицепиться им было не за что. Очень необычная машина. «Неужели она действительно марсианская?» — спросил я. «Ну а чья же еще? — раздраженно сказал Полифем. — Твоя, что ли?» — «Никто не говорит, что моя, — возразил я ему. — Мало ли машин на свете, что же они, все марсианские?» — «А я и не говорю, что все, труба ты старая! — заорал Полифем. — Я говорю, марсиане, гады, разъезжают по городу, как у себя дома! А вы тут все продались!» Я только плечами пожал, не желая связываться, а Силен очень рассудительно ответил ему: «Извини, Полифем, но твои крики начинают меня утомлять. И не одного меня. По-моему, мы все исполнили свой долг. Мы вступили в дружину, мы почистили оружие, что же еще, спрашивает-

ся?» — «Патрули! Патрули нужны! — с надрывом сказал Полифем. — Дороги надо перекрывать! Не пропускать марсиан в город!» — «Да как же ты их не пропустишь?» — «Да черт бы тебя подрал, Силен! Как не пропустишь? Очень просто! Стой, кто идет? Буду стрелять! И пали!» Не могу я этого слушать. Не человек, а казарма. «Ну, может, создадим патрули? — сказал Димант. — Трудно нам, что ли?» — «Это не наше дело, — решительно сказал я. — Пусть вот Силен подтвердит, что это незаконно. На это есть армия. Пускай она и занимается патрулями и всякой стрельбой».

Не выношу я этих военных игр и в особенности, если командует Полифем. Садизм какой-то. Были, помню, у нас в городе противоатомные учения, так он для полной имитации разбросал везде дымовые шашки, чтобы никто не манкировал противогазами. Сколько людей отравилось — это же кошмар. Он же унтер-офицер, ему ничего поручать нельзя. Или однажды приперся в школу на урок гимнастики, преподавателя изругал последними словами и принялся на своей ноге показывать ребятишкам строевой шаг. Ведь если его в патруль поставить, он будет палить из своего дробовика по каждому, пока в город продовольствие подвозить не перестанут. Он и по марсианам, пожалуй, шарахнет, чего доброго, а те в отместку возьмут и город сожгут. Но наше старичье как дети, ей-богу. В патрули так в патрули. Плюнул я демонстративно и пошел в мэрию.

Господин Никострат полировал ногти и на мои стесненные вопросы ответил примерно так. Финансовая политика правительства в новых условиях несколько меняется. Большую роль в денежном обращении будет теперь играть так называемый желудочный сок. Следует ожидать, что в ближайшее время указанный сок начнет иметь хождение наравне с деньгами. Специального распоряжения о пенсиях пока нет, но есть веские основания полагать, что раз налоги принимаются так называемым желудочным соком, то и пенсии будут выплачиваться все тем же так называемым желудочным соком. Сердце у меня упало, но я собрался с духом и прямо спросил господина Никострата, нельзя ли понимать его слова так, что этот так называемый желудочный сок не является собственно желудочным соком, а представляет собой некий символ новой финансовой политики. Господин Никострат неопределенно пожал плечами и, продолжая рассматривать ногти, произнес: «Желудочный сок, господин Аполлон, это желудочный сок». — «Зачем же мне

желудочный сок?» — спросил я в полном отчаянии. Он вторично пожал плечами и заметил: «Вы же прекрасно знаете, что желудочный сок необходим каждому человеку». Мне было абсолютно ясно, что господин Никострат либо врет, либо чего-то недоговаривает. Я так отчаялся, что потребовал свидания с господином мэром. Но мне было отказано. Тогда я покинул мэрию и записался в патруль.

Если человеку, беспорочно проработавшему тридцать лет на ниве народного просвещения, предлагают в награду пузырек желудочного сока, то этот человек вправе демонстрировать любую степень негодования. Марсиане тут виноваты или не марсиане — не имеет решительно никакого значения. Я не выношу никаких анархических действий, но за свои права готов драться с оружием в руках. И хотя всем понятно, что протест мой носит чисто символический характер, пусть они об этом задумаются, пусть они знают, что имеют дело не с тварью бессловесной. Конечно, если бы донорские пункты стали у нас системой и если бы банк и сберегательная касса действительно принимали бы желудочный сок в обмен на валюту, я отнесся бы ко всему этому иначе. Однако о банках и сберкассах рассказывал один только Силен, и это пока всего лишь неподтвержденный слух. А что касается донорских пунктов, то Морфей, записавшись в патруль и решив немедленно sprysnutь это дело, отдал себя в руки кривого громилы, вернулся с красными слезящимися глазами и, показав нам новенькую, хрустящую пятерку, сообщил, что фургоны сейчас уезжают. Значит, ни о какой системе не может быть и речи: приехали и уехали. Успел сдать излишки — хорошо, не успел — пеняй на себя. По-моему, это возмутительно.

Полифем назначил меня в паре с зайкой Калаидом патрулировать площадь Согласия и прилегающие к ней улицы с двенадцати до двух часов ночи. Выдав нам удостоверения, написанные от руки Силеном, он растроганно похлопал меня по плечу и сказал: «Старая гвардия! Что бы эти дерьмовые пшакки делали без нас, Феб? Я знал, что в решительный час ты будешь рядом». Мы обнялись и прослезились оба. В сущности, ведь Полифем неплохой человек, просто он любит, чтобы ему подчинялись беспрекословно. Вполне понятное желание. Я попросил у него разрешения быть свободным и направился к Ахиллесу. Патруль патрулем, а на всякий случай следовало предпринять кое-какие меры. Что такое желудочный сок,

спрашивал я Ахиллеса. Кому он может понадобиться? На что он годен? Ахиллес сказал, что этот сок нужен для успешного переваривания пищи и, пожалуй, больше ни для чего. Это я и без него знал. «Скоро я смогу предложить тебе большую партию так называемого желудочного сока, — сказал я. — Может быть, возьмешь?» Он ответил, что подумает, и тут же предложил обменять мой неполный «зоосад» на беззубцовую авиапочту двадцать восьмого года. Ничего не скажешь, беззубцовочка эта — вещь уникальная, но у Ахиллеса она с двумя надклейками и с каким-то сальным пятном. Не знаю, не знаю.

Выйдя из аптеки, я снова увидел марсианскую машину. Возможно, это была та самая машина, а может быть, и другая. Нарушая все правила уличного движения, она плыла посередине улицы, двигаясь, правда, со скоростью пешехода, так что я имел возможность хорошо ее рассмотреть — я шел в трактир, и нам было по пути. Самое первое мое впечатление оказалось совершенно правильным: более всего машина походила на очень запыленный рояль обтекаемой формы. Время от времени под нею что-то вспыхивало, и она слегка подпрыгивала, но это, видимо, не было неисправностью, потому что она продолжала неуклонно продвигаться вперед, не останавливаясь ни на секунду. Ни окон, ни дверей различить было нельзя даже с близкого расстояния, но больше всего меня поражало отсутствие колес. Правда, мое сложение не позволяло мне нагнуться достаточно низко, чтобы заглянуть под днище. Вероятно, там все-таки были колеса — не может же быть, чтобы так уж ни одного колеса не было.

Неожиданно машина остановилась. И конечно же, она остановилась перед особняком господина Лаомедонта. Помнится, я с горечью подумал: ведь есть же на свете люди, для которых новый ли президент, старый ли президент, марсиане или кто-нибудь еще — не составляет никакой разницы. Всегда, думал я, любая власть относится к ним с уважением и вниманием, которого они отнюдь не заслуживают и даже, если говорить об уважении, наоборот. Однако произошло нечто совершенно неожиданное. Справедливо полагая, что из машины сейчас кто-то выйдет и я увижу наконец живого марсианина, я остановился в сторонке и стал наблюдать вместе с другими обывателями, ход мыслей которых совпадал, по видимому, с моим. К нашему изумлению и разочарованию, из машины, однако, вышли вовсе не марсиане, а какие-то приличные молодые люди в узких пальто и

одинаковых беретах. Трое из них подошли к парадному входу и позвонили, а двое в свободных позах, засунув руки глубоко в карманы своих пальто, расположились рядом с машиной, опершись на нее разными частями тела. Парадная дверь открылась, трое вошли внутрь, и оттуда сейчас же донеслись странные, не очень громкие звуки, словно кто-то один принялся там небрежно передвигать мебель, а другие стали размеренными ударами выбивать ковер. Двое, оставшиеся возле машины, не обращали на эти звуки никакого внимания. Они пребывали в прежних позах, один рассеянно смотрел вдоль улицы, а другой, позевывая, разглядывал верхний этаж особняка. Не переменили они позу и через минуту, когда из парадной двери медленно и осторожно, как слепой, вышел мой обидчик, шофер господина Лаомедонта. Лицо его было бледно, рот широко раскрыт, глаза выпучены и стеклянны, а обе руки он крепко прижимал к животу. Сойдя на тротуар, он прошел несколько шагов, с крихтением сел, посидел немного, сутулясь все больше и больше, а затем повалился на бок, скорчился, перебрал ногами и замер неподвижно. Должен признаться, что сначала я ничего не понял. Все происходило так неторопливо, в такой спокойной деловой обстановке, на фоне такого обычного городского шума, что у меня невольно возникло и укрепилось ощущение, будто так, собственно, и должно быть. Я не испытывал никакого беспокойства и не искал никаких объяснений. Я так доверял этим молодым людям, таким приличным, таким сдержанным... Вот один из них рассеянно поглядел на лежащего шофера, закурил сигарету и снова стал разглядывать верхний этаж. Мне даже показалось, что он улыбается. Потом послышался топот ног, и из подъезда один за другим вышли: молодой человек в узком пальто, промакивающий губы платочком; господин Лаомедонт в роскошном восточном халате, без шляпы и в наручниках; другой молодой человек в узком пальто, снимающий на ходу перчатки; и наконец, третий молодой человек в узком пальто, нагруженный оружием. Правой рукой он прижимал к груди три или четыре автомата, в левой руке он нес несколько пистолетов, просунув палец сквозь спусковые скобы, и еще на каждом плече у него висело по ручному пулемету. На господина Лаомедонта я взглянул только один раз, и этого было вполне достаточно — у меня до сих пор сохранилось впечатление чего-то красного, мокрого и липкого. Вся кавалькада неторопливо пересекла тротуар и скрылась в недрах машины. Оставшиеся снару-

жи двое молодых людей лениво оттолкнулись от полированного борта, подошли к лежащему шоферу, осторожно взяли его за руки и за ноги и, слегка раскачав, бросили в подъезд. Один из них затем извлек из кармана и аккуратно приклеил рядом со звонком какую-то бумагу, после чего машина, не разворачиваясь, с прежней скоростью двинулась в обратном направлении, а оставшиеся молодые люди с самым скромным видом прошли через раступившуюся толпу и скрылись за углом.

Когда я очнулся от столбняка, в который был ввергнут неожиданностью и необычностью случившегося, и вновь обрел способность размышлять, я ощутил нечто вроде психического потрясения, как если бы передо мной свершилось поворотное действие истории. Я уверен, что нечто подобное пережили и ощутили и остальные свидетели. Мы все сгрудились перед подъездом, но никто не решался войти внутрь. Я надел очки и через головы прочитал прокламацию, наклеенную под звонком. Прокламация гласила: «Наркотики — яд и позор нации! Пришла пора покончить с наркотиками. И мы с ними покончим, а вы нам поможете. Беспощадно покараем тех, кто распространяет наркотики». Будь это кто-нибудь другой, разговоров хватило бы часа на два, а тут все только обменивались междометиями, не в силах побороть еще привычную робость: «Ай-яй-яй-яй...», «Надо же, а!», «Эхе-хе-хе-хе...», «Да, господа, увы!..» Кто-то вызвал полицию и врача. Врач вошел в дом и занялся там шофером. Потом прибыл Пандарей на полицейском вездеходе. Он потоптался на крыльце, несколько раз перечитал прокламацию, почесал в затылке и даже заглянул в двери, но войти трусил, хотя врач раздраженно звал его в самых непочтительных выражениях. Он встал в дверях, расставив ноги, засунув ладони за ремень и надувшись, как индюк. С появлением полиции толпа несколько осмелела и заговорила более определенно: «Таким, значит, манером, а?», «Да, что уж тут, все ясно...», «Интересно, господа!», «В жизни бы не поверил...» Я с тревогой чувствовал, что языки развязываются, и хотел уже уйти, хотя любопытство одолевало меня, но тут Силен обратился к Пандарей с прямым вопросом: «Итак, Пан, закон все-таки восторжествовал? Решились наконец?» Пандарей значительно поджал губы и, поколебавшись, произнес: «Я так полагаю, что это не мы решились». — «Как же это так — не вы? А кто же тогда?» — «Я так полагаю, что это столичная жандармерия», — громовым шепотом произнес Пандарей, оглядевшись по сторонам.

«Какая же это жандармерия? — возразили в толпе. — Жандармерия и вдруг в марсианской машине! Нет, никакая это не жандармерия». — «Так что же это, по-вашему? Сами марсиане, что ли?» Пандарей надулся еще больше и гаркнул: «Эй, кто там про марсиан? Осторожно!» Но на него больше не обращали внимания. Языки развязались окончательно: «Машина, может, и марсианская, да сами они не марсиане, это точно. Повадки у них наши, человеческие». «Верно! Какое, спрашивается, марсианам дело до наркотиков?», «Э, старина, новая метла чисто метет. А до желудочного сока нашего какое им дело?», «Нет, господа, это были не люди. Слишком, понимаете ли, спокойные, слишком молчаливые. Думается мне, что это были сами марсиане. Работают, как машины», «Правильно, машины! Роботы! Зачем марсианам руки пачкать? У них роботы есть». Пандарей, не удержавшись, тоже вмешался с предположением. «Нет, старички, — провозгласил он. — Никакие это не роботы. Это теперь порядок такой. В жандармерию теперь набирают исключительно глухонемых. В целях сохранения государственной тайны». Гипотеза эта вызвала сначала изумление, а затем ядовитые реплики, большей частью очень остроумные, но я запомнил только замечание желчного Парала. Парал выразился в том смысле, что неплохо было бы и в полицию набирать исключительно глухонемых, но не в целях сохранения государственной тайны, а чтобы ограждать ни в чем не повинных людей от белиберды, извергаемой на них этими официальными лицами. Расстегнувшийся было Пандарей, конечно, сейчас же раздулся, снова застегнул китель и заорал: «Поговорили — все!» И нам, к сожалению, пришлось разойтись, хотя именно в эту минуту подкатила карета «скорой помощи». Старый осел так рассвирепел, что мы могли лишь издали наблюдать, как из подъезда выносят изувеченного шофера, а следом, к нашему удивлению, еще два каких-то тела. До сих пор неизвестно, кто были эти двое.

Все наши направились в трактир, и я тоже. За стойкой непринужденно расположились те самые двое молодых людей в узких пальто. Как и прежде, они были спокойны и молчаливы, пили джин и рассеянно смотрели поверх голов. Я заказал себе полный обед и, насыщаясь, наблюдал, как самые любопытные из наших постепенно придвигаются к молодым людям. Смешно было смотреть, как неумело Морфей пытается завести с ними разговор насчет погоды в Марафинах, а Парал, вознамерившись взять быка за рога, предлагает им выпивку. Молодые

люди, как бы не видя никого вокруг, исправно поглощали придвигающиеся к ним напитки, но продолжали хранить бесстрастное молчание. Шутки их не смешили, намеки их не задевали, а прямых вопросов они словно бы даже и не слышали вовсе. Я не знал, что и думать. Я то восхищался их необычайной выдержкой, их полным равнодушием к смешным попыткам втянуть их в разговор, то начинал склоняться к мысли, что это действительно марсианские роботы, что отвратительная внешность марсиан не позволяет им представать перед нами самолично, то подозревал в них самих марсиан, о которых мы, в сущности, до сих пор ничего не знаем. Наши, обнаглев, сгрудились вокруг молодых людей и уже без всякого стеснения обсуждали их личности, а кое-кто осмеливался даже пробовать на ощупь материал их пальто. Все теперь были убеждены, что перед ними роботы. Япет даже начал беспокоиться. Подавая мне бренди, он расстроено сказал: «Как же так — роботы? Взяли по два джина, по два бренди, две пачки сигарет, а платить кто будет?» Я объяснил ему, что программа робота, предусматривающая потребление напитков и сигарет, без сомнения, должна предусматривать и какой-то способ оплаты потребленного. Япет успокоился, но тут у стойки началась драка.

Как потом стало известно, желчный Парал заключил пари с дураком Димантом, что Димант приложит к руке робота горящую сигарету и ничего от этого не случится. Своими же глазами я увидел вот что. Из развлекающейся толпы, подобно пробке из бутылки, вырвался вдруг Димант. Он пролетел спиной вперед через весь зал, мелко суча ногами, опрокидывая столики и встречающих, и упал в углу. Не прошло и секунды, как совершенно подобным же образом, но в другом углу оказался Парал. Наши бросились врассыпную, а я, ничего еще тогда не поняв, увидел, что молодые люди по-прежнему тихо сидят у стойки и задумчиво, одинаковым движением подносят к губам рюмки со спиртным.

Парала и Диманта подняли и оттащили за кулисы приводить в себя. Я взял свой стакан и тоже проследовал за кулисы. Мне захотелось выяснить, что произошло. Я пришел в тот момент, когда Димант уже очнулся и сидел с самым идиотским видом, ощупывая свою грудь. Парал еще не приходил в себя, но уже глотал джин и запивал содовой. Рядом с ним, держа наготове полотенце, стояла служанка, чтобы подвязать ему челюсть, когда он очнется. Там я узнал описанную выше версию инцидента и

согласился с остальными, что Парал провокатор, а Димант просто дурак, не лучше Пандарея. Однако, высказав эти разумные соображения, наши ничуть не удовлетворились, а забрали себе в голову, что этого так оставить нельзя. Полифем, державшийся до этого в тени, заявил, что это будет первая боевая акция нашей дружины. Этих молодчиков мы встретим, когда они выйдут из трактира, сказал он и принялся командовать, кто из нас где должен встать и по какому месту и когда начинать бить. Я немедленно отмежевался от этой затеи. Во-первых, я вообще противник насилия, во мне нет решительно ничего от унтер-офицера. Во-вторых, я не видел тогда за молодыми людьми никакой особенной вины. И наконец, я планировал вовсе не драться с ними, а поговорить о своих делах. Я потихоньку выбрался из-за кулис, вернулся к своему столику, и именно эти мои действия положили начало дальнейшему, столь огорчительному для меня событию.

Впрочем, даже сейчас, когда я гляжу на прожитый день совсем другими глазами, я должен констатировать, что логика моих поступков была и остается безупречной. Молодые люди — не из наших мест, рассуждал я. Тот факт, что они прибыли на марсианской машине, свидетельствует об их скорее всего столичном происхождении. Более того, участие их в экзекуции господина Лаомедонта свидетельствует об их несомненной принадлежности к власти имущим: вряд ли против господина Лаомедонта послали бы каких-нибудь рядовых исполнителей. Таким образом, по логике вещей получалось, что молодые люди обязательно должны были быть хорошо осведомлены в новых обстоятельствах и могли сообщить мне многое из того, что меня интересует. Не в моем положении маленького человека, над которым издевается шофер господина Лаомедонта и которого отказывается информировать секретарь мэрии, можно пренебречь случаем получить правдивую информацию. С другой стороны, молодые люди отнюдь не вызывали во мне каких-либо опасений. Тот факт, что они несколько жестоко обошлись с господином Лаомедонтом и его телохранителями, нимало не настораживал меня. Это была их служба, и это был господин Лаомедонт, которому давно уже надлежало воздать по заслугам. Что же до инцидента с Паралом и Димантом, то, господа мои, Димант глуп, и иметь с ним дело невозможно, а Парал кого угодно способен вывести из себя своими желчными остротами. Я не говорю уже о том, что и сам никому не позволил бы называть

меня роботом и тем более прижигать мне руку сигаретой.

Поэтому, когда я, допив бренди, направился к молодым людям, я был совершенно уверен в успехе своего предприятия. План предстоящей беседы я продумал во всех деталях, приняв во внимание и род их деятельности, и их настроение в связи с только что имевшим место инцидентом, и их природные, видимо, молчаливость и сдержанность. Вначале я намеревался попросить у них извинения за бездарное поведение моих компатриотов. Далее я представился бы, выразил бы надежду, что не обременяю их своей беседой, посетовал бы на качество бренди, которое Япет частенько доликает дешевыми сортами, и предложил бы им угоститься из моей персональной бутылки. И только после этого и после того, как мы обсудили бы погоду в Марафинах и в нашем городе, я рассчитывал мягко, деликатно перейти к основному вопросу. Направляясь к ним, я отметил, что один из них занят раскуриванием сигареты, а другой, отвернувшись от стойки, внимательно и, как мне показалось, с интересом следит за моим приближением. Поэтому я решил обратиться именно к нему. Подойдя, я приподнял шляпу и сказал: «Добрый вечер». И тогда этот молодчик сделал какое-то ленивое движение плечом, и тотчас в голове у меня словно разорвалась граната. Ничего не помню. Помню только, что я долгое время лежал за кулисами рядом с Паралом, глотал джин, запивая содовой, и кто-то прикладывал мне к пораженному глазу мокрую холодную салфетку.

И вот теперь я спрашиваю себя: чего же ждать дальше? Никто не вступился за меня, никто не поднял голоса протеста. Все повторяется вновь. Опять молодчики, наводящие ужас, избивают граждан на улицах. А когда Полифем привез меня домой в своей индивидуальной малолитражке, дочь моя, равнодушная, как и все остальные, целовалась в саду с господином секретарем. Нет, если бы даже я знал, чем все это кончится, я все равно должен был бы, обязан был бы попытаться завязать с ними беседу. Я был бы более осторожен, я не приближался бы к ним, но от кого еще я могу получить сведения? Я не желаю трястись над каждым медяком, я не способен давать уроки через силу, я не хочу продавать дом, в котором прожил столько лет. Я боюсь этого, и я хочу покоя.

8 июня. Температура плюс семнадцать, облачность восемь баллов, ветер южный, три метра в секунду. Сижу

дома, никуда не выхожу, никого не вижу. Опухоль уменьшилась, и поврежденное место почти не болит, но общий вид все равно безобразен. Весь день рассматривал марки и смотрел телевизор. В городе все по-прежнему. Вчера ночью наша золотая молодежь осадила заведение мадам Персефоны, занятое солдатами. Говорят, было форменное сражение. Поле боя осталось за армией. (Это вам не марсиане.) В газетах ничего особенного. Об эмбарго ни слова, такое впечатление, будто его отменили совсем. Есть странное выступление военного министра, набранное петитом, о том, что наше участие в Боевом Содружестве является бременем для страны и не так уж обременительно, как это может показаться на первый взгляд. Слава богу, догадался через одиннадцать лет! Но главным образом пишут о фермере по имени Перифант, который замечателен тем, что способен давать до четырех литров желудочного сока в сутки без всякого вреда для своего организма. Сообщается его трудная биография со многими интимными подробностями, приводятся интервью с ним, и несколько раз передавали сцены из его жизни по телевизору. Плотный грубоватый мужчина сорока пяти лет, без какого-нибудь интеллекта. Посмотришь на него и никак не подумаешь, что перед тобой удивительный феномен. Он все время упирал на свой обычай высасывать по утрам кусочек сахара. Надо будет попробовать.

Да! В нашей газете есть статья ветеринара Калаида о вреде наркотиков. Калаид там прямо пишет, что регулярное потребление наркотиков крупным рогатым скотом исключительно вредно в смысле отделения желудочного сока. Приводится даже диаграмма. Интересное наблюдение: вот ведь написано у Калаида все черным по белому, а читать невыносимо трудно. Все кажется, будто он пишет и заикается. Но в общем получается, что господина Лаомедонта истребили за то, что он препятствовал гражданам свободно выделять желудочный сок. Создается впечатление, будто желудочный сок является неким краеугольным камнем новой государственной политики. Такого еще не бывало. Но если подумать, то почему бы и нет?

Вернулась из гостей Гермiona и рассказала, что в бывшем особняке господина Лаомедонта оборудуется стационарный донорский пункт по приему желудочного сока. Если это правда, то я одобряю и поддерживаю. Я вообще за всякую стационарность и устойчивость.

Марочки мои, марочушечки! Одни вы меня никогда не раздражаете.

9 июня. Температура плюс шестнадцать, облачность пять баллов, небольшой дождь. Опухоль исчезла совершенно, однако, как и предсказывал Ахиллес, все пространство вокруг глаза приняло безобразный зеленый оттенок. На улице появиться невозможно: ничего, кроме глупых шуток, не услышишь. Утром позвонил в мэрию, но господин Никострат изволил пребывать в юмористическом настроении и абсолютно ничего нового по поводу пенсии не сообщил. Конечно же, я разволновался, попробовал ускокоться марками, но даже марки меня не утешили. Тогда послал Гермioniу в аптеку за успокаивающим, но она вернулась с пустыми руками. Оказывается, Ахиллес получил специальный циркуляр выдавать успокаивающее исключительно по рецептам городского врача. Я разозлился и позвонил ему, затеял ссору, а сказать по правде — что с него взять? Все лекарства, содержащие наркотики, строжайше учитываются полицией и специальным уполномоченным от мэрии. Что ж, лес рубят — щепки летят. Взял и выпил коньяку, прямо при Гермioniе. Помогло. Даже лучше. А Гермioniа и не пикнула.

Утром к Миртилу, который все еще живет в палатке, вернулось семейство. Честно говоря, я обрадовался. Это был верный признак того, что положение в стране стабилизируется. И вдруг после обеда я вижу, что Миртил снова сажает их всех в автобус. В чем дело? «Ладно, ладно, — отвечает мне Миртил в своей обычной манере. — Все вы здесь умники, а я дурак...» В общем, он ходил на «пяточок» и узнал там, будто казначея и архитектора марсиане намерены привлечь к ответственности за растрату и махинации; якобы их даже куда-то уже вызвали. Я попытался объяснить Миртилу, что это хорошо, что это справедливо, но куда там! «Ладно, ладно, — отвечал он. — Справедливо... Сегодня казначея с архитектором, завтра мэра, а послезавтра я не знаю кого, может быть, и меня. Нечего тут. Тебе вот они в глаз подвесили, это что — тоже справедливо?» Не могу я с ним разговаривать. Ну его.

Звонил господин Корибант, он, оказывается, замещает Харона в газете. Голос жалкий, дрожащий, какие-то у них там в газете неприятности с властями. Умолял сказать, скоро ли вернется Харон. Я говорил с ним, конечно, очень сочувственно, но не сказал ни слова о том, что Харон уже один раз возвращался. Интуитивно я чувствую, что не стоит об этом распространяться. Бог знает, где сейчас Харон и что он делает. Не хватает мне еще неприятностей из-за политики. Сам о нем никому не

говору и Артемиде с Гермиейой запретил. Гермияона сразу меня поняла, но Артемида разыграла сцену.

10 июня. Только теперь я кое-как пришел в себя, хотя по-прежнему болен и измучен. Экзема разыгралась так, как еще не бывало. Весь покрылся волдырями, все время чешусь, хотя знаю, что нельзя. И неотвязно преследуют меня жуткие фантомы, от которых я хотел бы избавиться, но не могу. Я понимаю: идти убивать из-под палки, убивать, чтобы не убили тебя. Это тоже мерзко и скверно, но это по крайней мере естественно. А ведь их-то никто не заставляет. Партизаны! Я-то знаю, что это такое. Но мог ли я ожидать, что на склоне лет мне доведется снова увидеть это своими глазами?

Началось все с того, что вчера утром вопреки всем ожиданиям я получил очень дружелюбный ответ от генерала Алкима. Он писал, что хорошо помнит меня, очень меня любит и желает мне всяческого благополучия. Письмо это сильно взволновало меня. Я просто места себе не находил. Я посоветовался с Гермиейой, и она была вынуждена согласиться, что такой случай упускать нельзя. Нас обоих смущало только одно — беспокойные времена. И тут мы видим, что Миртил сворачивает свой временный лагерь и начинает перетаскивать вещи обратно в дом. Это явилось последней каплей. Гермияона сделала мне очень элегантную черную повязку через пораженный глаз, я забрал папку с документами, сел в свой автомобиль и отправился в Марафины.

Погода мне благоприятствовала, я спокойно ехал по пустынному шоссе между синееющими полями и обдумывал возможные варианты своих действий в зависимости от различных обстоятельств. Однако, как всегда, очень скоро обнаружилось непредвиденное. Примерно в сорока километрах от города двигатель начал чихать, машина задержалась, стала плохо тянуть, а потом и совсем остановилась. Случилось это на вершине холма, и, когда я вылез на дорогу, передо мной открылся мирный сельский пейзаж, выглядевший, правда, несколько непривычно из-за синевы зреющих злаков. Помню, что, несмотря на задержку, я был совершенно спокоен и не удержался полюбоваться разбросанными в отдалении аккуратными белыми фермами. Синие хлеба стояли очень высоко, достигая местами человеческого роста. Никогда доселе в наших краях не урождались такие обильные хлеба. Шоссе, прямое как стрела, просматривалось до самого горизонта.

Я открыл капот и некоторое время осматривал двигатель, надеясь найти неисправность. Но я слишком неважный механик, и довольно скоро, отчаявшись, я выпрямил усталую спину и огляделся, пытаюсь сообразить, у кого можно получить помощь. Однако ближайшая ферма была все-таки слишком далеко, а на дороге виднелась только одна машина, которая приближалась со стороны Марафин, двигаясь с довольно высокой скоростью. Сначала я обрадовался, но вскоре, к своему большому сожалению, убедился, что это одна из черных марсианских машин. Впрочем, я не потерял надежды полностью, потому что помнил, что в марсианских машинах могут находиться и обыкновенные люди. Перспектива голосовать этот мрачный, черный механизм не слишком меня прельщала, боязно было, что там могут оказаться все-таки марсиане, к которым я испытывал инстинктивный страх. Но что мне оставалось делать? Я вытянул руку поперек шоссе и сделал несколько шагов навстречу машине, достигшей уже подножья холма. И тут началось ужасное.

Машина была в пятидесяти метрах от меня, когда сверкнула вдруг желтая вспышка, машина подпрыгнула и встала дыбом. Раздался громовой удар, шоссе заволочлось облаком дыма. Затем я увидел, что машина словно бы пытается взлететь, она уже поднялась было над облаком, сильно кренясь набок, но тут рядом с нею одна за другой сверкнули еще две вспышки, двойной удар перевернул ее, и она всей тяжестью грохнулась об асфальт, так что я ощутил содрогание почвы своими ослабевшими от неожиданности ногами. Страшная авария, подумалось мне в первый момент. Машина загоралась, и из нее стали выбираться какие-то охваченные огнем черные фигуры. В ту же минуту поднялась стрельба. Я не мог понять, кто стреляет, откуда стреляют, но я отчетливо видел, в кого стреляют. Черные фигурки метались в дыму и пламени и падали одна за другой. Сквозь треск выстрелов я услышал душераздирающие нечеловеческие крики, и вот уже все они лежали, распростерты возле опрокинутой машины, продолжая гореть, а стрельба все еще не прекращалась. Потом машина взорвалась с ужасающим треском, белый неземной свет ударил мне по глазу, и горячий плотный воздух хлестнул мне в лицо. Я невольно зажмурился, а когда вновь открыл глаз, то с ужасом увидел, как прямо ко мне вверх по шоссе бежит, раскорячившись, словно огромная обезьяна, черное существо, обьятое пламенем, и хвост черной копоты тянется следом за ним. В ту же секунду из синих хлебов слева от меня выскочил

человек в военной форме, с автоматом наперевес, остановился посередине дороги спиной ко мне, быстро присел на корточки и принялся расстреливать черную пылающую фигуру почти в упор. Ужас мой стал так велик, что первое оцепенение покинуло меня, я нашел в себе силы повернуться и со всех ног бросился к своему автомобилю. Как безумный я нажимал на стартер, ничего не видя перед собой, забыв, что двигатель не работает, а потом силы вновь покинули меня, и я остался сидеть в машине, бессмысленно глядя перед собой, пассивный и оглушенный свидетель страшной трагедии. Безразличие овладело мною. Словно во сне я видел, как на шоссе выходят один за другим вооруженные люди, как они окружают место катастрофы, нагибаются над горящими телами, переворачивают их и обмениваются короткими возгласами, едва слышными за шумом крови, бьющейся у меня в висках. У подножия холма их собралось четверо, а человек в военной форме, судя по погонам — офицер, стоял на прежнем месте, в нескольких шагах от последнего убитого, и перезаряжал свой автомат. Потом я увидел, как он неторопливо приблизился к лежащему, наклонил дуло автомата и дал короткую очередь. Лежащий отвратительно дернулся, и меня тут же вырвало прямо на руль и на брюки. А потом началось самое страшное.

Офицер быстро оглядел небо, затем повернулся ко мне, посмотрел — я никогда не забуду этого холодного беспощадного взгляда — и, держа автомат за рукоятку, направился к моей машине. Я слышал, как стоящие внизу что-то ему кричат, но он не обернулся. Он шел ко мне. Вероятно, на несколько секунд я впал в беспамятство, потому что дальше ничего не помню до того момента, когда очутился стоящим рядом со своим автомобилем перед этим офицером и еще двумя инсургентами. Боже, что это были за люди! Все трое были давно не бриты и грязны, одежда их была измазана и обтрепана, и мундир офицера тоже был в безобразном состоянии. Офицер был в каске, один из штатских — в черном берете, другой, носивший очки, был вообще без головного убора. «Вы что, оглохли?» — резко говорил офицер, трясая меня за плечо, а человек в берете морщился и цедил сквозь зубы: «Да оставьте вы его, зачем вам это нужно?» Я собрал остатки своих слабых сил и заставил себя говорить спокойно, потому что понимал, что речь идет о моей жизни. «Что вам угодно?» — спросил я. «Натуральный обыватель, — сказал человек в берете. — Ничего он не знает и ничего знать не хочет!» — «Подождите, инженер, —

раздраженно сказал офицер. — Кто вы такой? — спросил он меня. — Что вы здесь делаете?» Я, ничего не скрывая, объяснил ему все, и, пока я говорил, он все время озирался и то и дело оглядывал небо, словно боялся дождя. Человек в берете один раз прервал меня, крикнув: «Я не желаю рисковать! Я уйду, а вы как хотите!» — после чего повернулся и побежал вниз. Но двое остались и выслушали меня до конца, а я все пытался угадать по их лицам свою судьбу, но ничего хорошего для себя не видел, и тогда мне в голову пришла спасительная мысль, и я, забыв про все, что только что говорил, сразу выпалил: «Имейте в виду, господа, я тесть господина Харона». — «Какого Харона?» — спросил инсургент в очках. «Главного редактора окружной газеты». — «Ну и что?» — спросил инсургент в очках, а офицер все оглядывал небо. Я растерялся: они явно не знали Харона. Но я все-таки сказал: «Мой зять в первый же день взял автомат и ушел из дому». — «Вот как? — сказал инсургент в очках. — Это делает ему честь». — «Все это вздор, — сказал офицер. — Что у вас в городе? Что с войсками?» — «Не знаю, — сказал я. — У нас в городе все тихо». — «Вход в город свободный?» — спросил офицер. «По-моему, да, — сказал я и счел своим долгом добавить: — Но вас могут задержать патрули городской антимарсианской дружины». — «Что? — сказал офицер, и на ожесточенном лице его впервые изобразилось что-то похожее на удивление. Он даже перестал смотреть на небо и стал смотреть на меня. — Какая дружина?» — «Антимарсианская, — сказал я. — Во главе с унтер-офицером Полифемом. Может быть, вы знаете? Он инвалид». — «Чертовщина какая-то, — сказал офицер. — Можете вы нас отвезти в город?» У меня упало сердце. «Разумеется, — сказал я. — Но мой автомобиль...» — «Да, — сказал офицер. — Что там у вас с ним?» Я набрался решимости и соврал: «Кажется, заклинило двигатель». Офицер присвистнул и, не говоря больше ни слова, повернулся и скрылся в хлебах. Инсургент в очках продолжал пристально меня разглядывать, а потом вдруг спросил: «У вас есть внуки?» — «Да! — соврал я в полном отчаянии. — Двое! Один грудной...» Он сочувственно покивал. «Ужасно, — сказал он. — Вот это мучит меня больше всего. Они ничего не знают и теперь никогда не узнают...»

Я ничего не понимал из его слов, и я ничего не хотел понимать, я молился только, чтобы он скорее ушел и ничего мне не сделал. Почему-то мне вдруг представилось, что этот тихий человек в очках — самый страшный

из них. Несколько секунд он ждал моего ответа, а потом закинул свой автомат за плечо и сказал: «Советую вам поскорее уходить отсюда. До свидания». Я не стал даже дожидаться, пока он скроется. Я повернулся и как мог быстро пошел с холма в сторону города. Словно какая-то буря несла меня на своих крыльях. Я не чувствовал ног, я не ощущал одышки, кажется, я слышал какой-то механический рокот и гул за своей спиной, но я даже не обернулся, а только попробовал бежать. Но отошел я недалеко, когда навстречу мне с проселочной дороги вывернул небольшой грузовик, битком набитый фермерами. Я был в полубеспамятстве, но нашел в себе силы преградить им дорогу. Я замахал руками и закричал: «Стойте! Туда нельзя! Там партизаны!» Грузовик остановился, меня окружили грубые простые люди, почему-то вооруженные винтовками. Меня хватали за грудь, трясли, ругали черными словами, я ничего не понимал, я был в ужасе и только через некоторое время сообразил, что меня принимают за пособника инсургентов. Ноги мои подкосились, но тут из кабины вылез шофер, оказавшийся, к счастью, моим бывшим учеником. «Да что вы, ребята! — заорал он, хватая за руки замахивающихся. — Это же господин Аполлон, городской учитель! Я его знаю». Не сразу, но в конце концов все успокоились, и я рассказал о том, что видел. «Ага, — сказал шофер. — Так мы и поняли. Сейчас мы их выловим. Пошли, ребята». Я хотел продолжать свой путь в город, но он убедил меня, что мне безопаснее быть с ними, а машину мою он спокойно починит, пока ребята будут ловить бандитов. Меня посадили в кабину, и грузовик покатился к месту трагедии. Вот и вершина холма, вот мой автомобиль, но дальше дорога была совершенно пуста. Не было ни трупов, ни обломков, только остались горелые пятна на асфальте да неглубокая выбоина на том месте, где произошел взрыв. «Понятное дело, — сказал шофер, останавливая грузовик. — Подобрали уже. Во-он они летят...» Все загомонили и стали тоже указывать на горизонт в сторону Марафин, но, как я ни всматривался в безмятежное небо своим единственным глазом, так ничего и не увидел.

Потом фермеры со сноровкой, свидетельствующей об определенном опыте, без лишней суеты и споров разбились на две группы по десять человек. Группы эти рассыпались в цепи и пошли прочесывать хлеба — одна направо, другая налево. «У них автоматы, — предупредил я. — И гранаты тоже, кажется, есть». — «Это нам хорошо

известно», — отвечали мне, и через некоторое время донеслись крики, говорящие о том, что облава напала на след. Шофер тем временем занялся починкой моей машины, а я, присевши на заднее сиденье, откинулся в блаженном полубабытьи, наконец-то получив время для нервного отдохновения. Шофер не только устранил неисправности (оказалось, что в бензопроводе — воздушная пробка), но и почистил переднее сиденье, испачканный мною руль и приборный щиток. Слезы благодарности выступили у меня на глазах, я пожал ему руку и уплатил сколько мог. Он остался доволен. Этот простой добрый человек (я так и не смог вспомнить его имени) оказался, кроме того, и весьма разговорчивым в отличие от большинства фермеров, людей тоже простых и добрых, но угрюмых и замкнутых. Он многое объяснил мне из происходящего. Оказывается, инсургенты, которых народ называет попросту бандитами, появились в округе уже на другой день после пришествия марсиан. Первое время они дружески общались с фермерами, и тогда выяснилось, что большинство из них было жителями Марафин, людьми, как правило, образованными и на первый взгляд безобидными, если не считать военных. Намерения их остались для фермеров непонятными. Вначале они призывали сельских жителей подняться против новой власти, но необходимость в этом объясняли крайне смутно — все твердили о гибели культуры, о вырождении и прочих книжных вещах, не затрагивающих интересы сельского человека. Однако фермеры их кормили и давали им ночлег, потому что обстановка оставалась неясной и еще неизвестно было, чего можно ожидать от новых порядков. Когда же обнаружилось, что от новых властей ничего плохого, кроме хорошего, не видно, когда власть, давши хорошую цену, скупила на корню урожай (даже не урожай, а всходы), когда она выдала щедрый аванс под урожай синего хлеба, когда словно с неба стали падать деньги за бесполезный до того желудочный сок и когда, с другой стороны, выяснилось, что бандиты устраивают засады против представителей администрации, везущих в деревню деньги, когда уполномоченный из Марафин ясно дал понять, что с этим безобразием надобно для всеобщей пользы скорее кончать, тогда отношение к инсургентам совершенно переменялось.

Несколько раз мы прерывали нашу беседу и прислушивались. С полей доносились редкие выстрелы, и каждый раз мы удовлетворенно кивали друг другу и перемигивались. Я уже совсем оправился и сел за руль, чтобы

развернуть машину домой (у меня и в мыслях, конечно, не осталось продолжать путь в Марафины: бог с ним, с Алкимом, раз на дорогах такое творится), когда облава возвратилась на шоссе. Сначала четверо фермеров притащили к грузовику два неподвижных тела. Одного убитого я узнал — это был человек в берете, которого офицер называл инженером. Другой, юноша, почти мальчик, был мне незнаком. С некоторым облегчением я заметил, что он, к счастью, не убит, а только тяжело ранен. Затем гурьбой, весело переговариваясь, вернулись и остальные участники облавы. Они привели пленного со связанными руками, которого я тоже узнал, хотя теперь он был без очков. Победа была полная, никто из фермеров не пострадал. Я испытал большое моральное удовлетворение, видя, как эти простые люди, еще, казалось бы, разгоряченные боем, выказывают тем не менее несомненное душевное благородство, обращаясь с поверженным противником почти по-рыцарски. Раненому перевязали раны и довольно бережно уложили в кузов. Пленному хотя и не развязали рук, но дали напиться и сунули в рот сигарету. «Ну вот и сделали дело, — сказал мой друг шофер. — Теперь в округе поспокойнее станет». Я счел своим долгом сообщить, что инсургентов было по крайней мере пятеро. «Ничего, — ответил он. — Значит, двое ушли. Никуда они не денутся. Что в нашей округе, что в соседней — порядки одни. Перебьют или переловят». — «А этих вы куда отправите?» — спросил я. «Отвезем. Тут километрах в сорока есть марсианский пост. Там их всех принимают: и живых и мертвых, каких доставишь». Я еще раз поблагодарил его, пожал ему руку, и он отправился к своему грузовику, сказавши остальным: «Поехали, что ли?» И тут пленного провели мимо меня, и он приостановился на секунду и взглянул мне прямо в лицо своими близорукими глазами. Может быть, мне это показалось. Теперь я надеюсь, что мне это показалось. Но в глазах его было нечто такое, от чего сердце мое упало. Бездарный мир! Нет, я не оправдываю этого человека. Он экстремист, он партизан, он убивал и должен быть наказан, но я же не слепой. Я отчетливо видел, что это благородный человек. Не чернорубашечник, не невежда, а человек с убеждениями. Впрочем, теперь я надеюсь, что ошибся. Всю жизнь я страдаю оттого, что думаю о людях хорошо.

Грузовик покати́л в одну сторону, я — в другую, и через час я был уже дома, разбитый до последней степени, измученный и больной. Замечу, кстати, что господин

Никострат сидел в гостиной и Артемида угощала его чаем. Однако мне было не до них. Гермiona принялась хлопотать вокруг меня, расстелила постель, положила мне лед на сердце, и скоро я уснул, а когда проснулся ночью, то понял, что экзема у меня вновь обостряется. Это была ужасная, мучительная ночь.

Температура плюс семнадцать градусов, облачность десять баллов, проливной дождь.

Да, они бунтовщики, люди вредные для всеобщего спокойствия. И все-таки я не могу не пожалеть их, насквозь промокших, грязных, загнанных, подобно зверям. И во имя чего? Что это — анархизм? Протест против несправедливости? Но против какой? Я их решительно не понимаю. Странно, сейчас я припоминаю, что при облеве не было ни автоматных очередей, ни разрывов гранат. Должно быть, у них кончились боеприпасы.

11 июня (полночь). Гермiona хотела, чтобы я провел этот день в постели, но я не послушался ее и правильно сделал. В полдень я почувствовал себя достаточно хорошо и сразу после обеда решил выйти в город. Человек слаб. Не скрою, что мне не терпелось рассказать нашим о страшных и трагических происшествиях, свидетелем которых я имел несчастье быть вчера. Правда, к обеду эти события рисовались мне уже не столько в трагическом, сколько в романтическом свете. Рассказ мой на «пяточке» имел огромный успех, меня забросали вопросами, и мое маленькое тщеславие было полностью удовлетворено. Забавно было глядеть на Полифема. (Он, кстати, теперь единственный член антимарсианской дружины, который все еще таскается с дробовиком.) Когда я передал нашим свою беседу с офицером-бунтовщиком, он немедленно возгордился, положив себя причастным к отчаянной и опасной деятельности инсургентов. Он дошел даже до того, что признал инсургентов смелыми ребятами, хотя и поступающими противозаконно. Что он этим хотел сказать — я не понял, да и никто не понял. Он заявил также, что на месте инсургентов показал бы «этому мужичью» почем фунт дьма, и тогда чуть не случилась драка, потому что брат Миртила был фермером и сам Миртил происходил из фермерской семьи. Я не люблю ссор, не выношу их, и, пока драчунов растаскивали, я пошел в мэрию.

Господин Никострат был со мною отменно любезен, участливо интересовался здоровьем и с большим сочувствием выслушал мой рассказ о вчерашнем приключении. Да и не только он — все служащие бросили текущие

дела и собрались вокруг меня, так что успех был полным и здесь. Все согласилось, что я действовал мужественно и мое поведение делает мне честь. Пришлось пожать множество рук, а красотка Тиона попросила даже разрешения поцеловать меня, каковое разрешение я дал, конечно, с удовольствием. (Черт возьми, меня давно не целовали молоденькие девушки! Признаться, я даже забыл, насколько это приятно.) Насчет пенсии господин Никострат уверил меня, что все, вероятно, будет хорошо, и сообщил под большим секретом, будто вопрос о налогах теперь окончательно решен: начиная с июля налоги будут взиматься желудочным соком.

Эта наша увлекательная беседа была, к сожалению, прервана форменным скандалом. Дверь кабинета мэра вдруг распахнулась, на пороге появился господин Корибант и, стоя спиной к нам, принялся кричать на господина мэра, что он этого так не оставит, что это нарушение свободы слова, что это коррупция, что господину мэру следует помнить о печальной судьбе господина Лаомедонта и так далее. Господин мэр тоже говорил в повышенном тоне, но голос у него был потише, чем у господина Корибанта, и я так и не понял, что именно он говорил. Господин Корибант в конце концов удалился, с силой хлопнув дверью, и тогда господин Никострат объяснил мне, в чем дело. Оказывается, господин мэр оштрафовал и закрыл на неделю нашу газету за то, что господин Корибант в позавчерашнем номере опубликовал стихи, подписанные неким «икс-игрек-зет», в которых есть строчка: «А на далеком горизонте свирепый Марс горит пожаром». Господин Корибант отказывается подчиниться решению господина мэра, и вот уже второй день они ругаются то по телефону, то лично. Обсудив это происшествие, мы с господином Никостратом пришли к единому мнению, что обе стороны в этом споре по-своему правы и по-своему не правы. С одной стороны, взыскание, наложенное господином мэром на газету, чрезмерно жестоко, тем более что стихотворение в целом абсолютно безобидно, поскольку рассказывает лишь о неразделенной любви автора к ночной фее. Но с другой стороны, ситуация такова, что не следует дразнить гусей — у господина мэра и без того хватает неприятностей — хотя бы с тем же самым Минотавром, который позавчера опять напился пьян и повредил своей вонючей цистерной марсианскую машину.

Вернувшись на «пяточок», я снова присоединился к нашим. Ссора Полифема с Миртилом была уже улажена,

и беседа происходила в обычной атмосфере дружеской дискуссии. Не без удовольствия я отметил, что мой рассказ, по-видимому, направил умы собравшихся в определенное русло. Говорили об инсургентах, о боевых средствах, которыми располагают марсиане, и прочих подобных предметах.

Морфей рассказал, будто неподалеку от Милеса летательная машина марсиан, совершившая вынужденную посадку из-за непривычки пилота к повышенной силе тяжести, подвергшись нападению группы злоумышленников, перестреляла всех до единого специальными электрическими снарядами, после чего сама собою взорвалась, оставивши огромную яму со стеклянными стенками. Весь Милес якобы ходит теперь смотреть эту яму.

Миртил со слов своего брата-фермера поведал нам о жуткой банде амазонок, которые нападают на марсиан и похищают их в видах получения от них потомства. Одноногий Полифем, со своей стороны, рассказал следующее. Вчера ночью, когда он нес патрульную службу на Парковой улице, к нему бесшумно подкрались четыре марсианские машины. Незнакомый голос на ломаном языке и с неприятным шипением осведомился у него, как проехать к трактиру, и, хотя трактир не является объектом государственной важности, Полифем просто из гордости и презрения к завоевателям отказался ответить, так что марсиане поехали дальше несолоно хлебавши. Полифем уверял нас, что жизнь его при этом висела на волоске, он даже заметил якобы длинные черные стволы, направленные прямо на него, но в упорстве своем не колебался ни секунды.

«А тебе что, жалко было сказать? — спросил Миртил, не забывший еще оскорбление, нанесенное его семейству. — Знаю я таких сволочей. Приедешь, бывало, в незнакомое место, захочется тебе выпить, так нипочем не скажут, где трактир».

Дело опять чуть было не дошло до драки, но тут подошел Пандарей и, радостно улыбаясь, сообщил, что Минотавра наконец у нас из города забрали. Марсиане забрали. Подозревают Минотавра в связях с террористами и в саботаже. Мы все возмутились: оставлять в самое жаркое время года город без ассенизатора — да это же преступление!

«Хватит! — орал одноногий Полифем. — Довольно терпеть проклятое иго! Патриоты, слушай мою команду! Ста-ановись!» Мы уже начали строиться, когда Пандарей всех успокоил, сказавши, что марсиане намерены в бли-

жайшую неделю начать работу по прокладке канализации, а пока вместо Минотавра будет младший полицейский. Все сказали, что это другое дело, и вновь перешли к разговорам о террористах. И о том, что это все-таки свинство — устраивать засады.

Димант рассказал, вращая глазами, жуткую историю, что по городу третий день ходят какие-то люди и угощают встречных конфетами. «Съешь такую конфету и брык! — готов». Надеются таким образом отравить всех марсиан. Мы, конечно, в эту историю не поверили, но стало как-то жутко.

Тут Калаид, который давно уже дергался и брызгал, вдруг ляпнул: «А в-в-вот у Аполлона у самого зять террорист». От меня сразу как-то отшатнулись, а Пандарей, выпятив челюсть, веско заявил: «Это точно. Есть такие сведения и у нас».

Я возмутился до последней степени и заявил им всем, что, во-первых, тесть за зятя не отвечает; во-вторых, у самого Пандарея племянник в прошлом году сел на пять лет за развратные действия; в-третьих, с Хароном я всегда был на ножах, это любой может подтвердить, и в-четвертых, ничего такого я за Хароном не знаю — уехал человек в командировку, и ни слуху от него, ни духу. Это были неприятные минуты, но вздорность обвинения была настолько очевидна, что все кончилось благополучно, и разговор пошел о желудочном соке.

Оказывается, все наши уже второй день сдают желудочный сок и получают за него наличными. Один я в стороне. Всегда я каким-то непонятным образом оказываюсь в стороне от того, что мне выгодно. Есть на свете такие неустроенные люди: в казармах они вечно чистят сортиры, на фронте они попадают в «котлы», все неприятности они получают первыми, все блага они получают последними. Так вот я один из таких. Ну ладно. Все наши хвастались, как они теперь довольны. Еще бы не быть довольным!

Тут через площадь проехала марсианская машина, и одноногий Полифем задумчиво произнес: «А как вы полагаете, старички, если садануть ее сейчас из дробовика, пробьет или не пробьет?» — «Если, скажем, пуля, то, пожалуй пробьет», — сказал Силен. «Это куда попадешь, — возразил Миртил. — Если в лоб или в корму, то нипочем не пробить». — «А если в борт?» — спросил Полифем. «Если в борт, то, пожалуй, пробьет», — ответил Миртил. Я хотел было сказать, что граната — и та не пробивает, но Пандарей меня опередил, сказавши глупо-

комысленно: «Нет, старики, зря вы спорите. Непробиваемы они». — «И в борт непробиваемы?» — ехидно спросил Морфей. «Полностью», — сказал Пандарей. «Что, и пулей?» — спросил Миртил. «Да хоть из пушки стреляй», — сказал Пандарей с большой важностью. Тут все стали качать головами и похлопывать его по спине. «Да, Пан, — говорили они. — Это ты, Пандарей, того. Тут ты, старина Пандор, маху дал. Не подумал, старик, сболтнул». А желчный Парал немедленно подпустил шпильку, что вот ежели Пандарею пальнуть из пушки в корму, то вмятина, может быть, и останется, а вот если в лоб, то просто отскочит, и все. Ну, Пандарей раздулся, застегнул китель на все пуговицы, выкатил свои рачьи глаза и гаркнул: «Поговорили — все! Р-разойдись! Именем закона».

Не теряя времени, я отправился на донорский пункт. Конечно, тут меня опять ожидала неудача. Никакого сока у меня не взяли, и никаких денег я не получил. У них, оказывается, такой порядок, что сок сдавать надо обязательно натошак, а я всего два часа как пообедал. Выдали мне донорскую карточку и пригласили приходить завтра с утра. Впрочем, должен сказать, что донорский пункт вообще произвел на меня самое благоприятное впечатление. Оборудование новейшее. Зонд смазывается самыми лучшими сортами вазелина. Прием желудочного сока производится автоматически, но под наблюдением опытного врача, а не какого-нибудь громилы. Персонал исключительно вежлив и обходителен, сразу видно, что платят им неплохо. Все вокруг блестит чистотой, мебель новая. В ожидании очереди можно смотреть телевизор или читать свежие газеты. Да и какая очередь! Гораздо меньше и быстрее, чем в трактире. А деньги выдаются немедленно, прямо из автомата. Да, во всем чувствуется высокая культура, гуманность, забота о доноре. И подумать только, что каких-нибудь три дня назад этот дом был логовом такого человека, как господин Лаомедонт!

Однако мысль о зяте не оставляла меня, и я почувствовал необходимость обсудить эту новую досадную проблему с Ахиллесом. Я нашел его, как всегда, за кассой, рассматривающим свой «Космос». Рассказ о моих приключениях произвел на него огромное впечатление, и я почувствовал, что он смотрит теперь на меня совсем другими глазами. Но когда речь зашла о Хароне, он только пожал плечами и сказал, что образ моих действий и опасности, которым я подвергался, полностью реабилитируют не только меня, но, возможно, и самого Харо-

на. Кроме того, он вообще сомневается, что Харон способен принимать участие в чем-либо предосудительном. Харон, заявил он, скорее всего находится сейчас в Марафинах и принимает деятельное участие в восстановлении порядка, стремясь при этом сделать что-нибудь полезное для родного города, как это и приличествует всякому культурному гражданину, а местные завистники, все эти Пандарей и Калаиды, способные лишь на безответственную болтовню, просто клеветают на него.

У меня были свои сомнения на этот счет, но я, естественно, промолчал и только подивился про себя, насколько мы, жители небольшого, в сущности, городка, плохо знаем друг друга. Я понял, что напрасно заговорил с Ахиллесом на эту тему, и, сделав вид, будто его рассуждения меня вполне успокоили, перевел разговор на марки. И вот тут-то и случилось это удивительное происшествие.

Помнится, вначале я говорил несколько принужденно, потому что основной моей целью было все-таки отвлечь Ахиллеса от разговора о Хароне. Но получилось так, что речь пошла об этой сакраментальной перевернутой литографической надпечатке. В свое время я изложил Ахиллесу совершенно неопровержимые доводы в пользу того, что это фальшивка, и вопрос, казалось, был исчерпан. Однако накануне Ахиллес прочел какую-то книжонку и возомнил себя способным выдвигать свои собственные суждения. В наших отношениях это нечто небывалое. Естественно, я вышел из себя, рассердился и прямо сказал, что Ахиллес ничего не понимает в филателии, что еще год назад он не видел разницы между климшташем и кляссером и не случайно коллекция его битком набита бракованными экземплярами. Ахиллес тоже вспылил, и у нас началась самозабвенная перебранка, на которую я способен только с Ахиллесом и только по поводу марок.

Я словно бы в тумане сознавал тогда, что во время спора кто-то как будто входил в аптеку, протягивал Ахиллесу через мое плечо какую-то бумагу, и Ахиллес на секунду замолчал, чем я немедленно воспользовался, чтобы вклиниться в его некомпетентные рассуждения. Затем мне запомнилось досадное ощущение помехи, что-то постороннее все время назойливо вступало в сознание, мешая мне мыслить последовательно и логично. Однако потом это прошло, и следующим этапом этого любопытнейшего с психологической точки зрения происшествия был тот момент, когда спор наш закончился и мы замолчали, усталые и несколько обиженные друг на друга.

Помнится, что именно в этот момент я вдруг ощутил непреодолимую потребность оглядеть помещение и испытал смутное удивление, не обнаружив никаких особенных перемен. Между тем я отчетливо сознавал, что какое-то изменение за время нашего спора должно было произойти. Тут же я заметил, что Ахиллес тоже находится в состоянии некоторой душевной неудовлетворенности. Он тоже озирался, а потом прошелся вдоль прилавка, заглядывая под него. Наконец он спросил: «Скажи пожалуйста, Феб, сюда никто не заходил?» Определенно, его мучило то же самое, что меня. Его вопрос поставил все точки над «и», я понял, к чему относилось мое недоумение.

«Синяя рука!» — воскликнул я, озаренный неожиданно ярким воспоминанием. Словно наяву я увидел перед своим лицом синие пальцы, сжимающие листок бумаги. «Нет, не рука! — горячо сказал Ахиллес. — Щупальце! Как у осьминога!» — «Но я отчетливо помню пальцы...» — «Щупальце, как у спрута!» — повторил Ахиллес, лихорадочно озираясь. Потом он схватил с прилавка книгу рецептов и торопливо перелистал ее. Все во мне зашло от томительного предчувствия. Держа в руке листок бумаги, он медленно поднял на меня широко раскрытые глаза, и я уже знал, что он сейчас скажет.

«Феб, — произнес он придушенным голосом. — Это был марсианин». Оба мы были потрясены, и Ахиллес как человек, близкий к медицине, счел необходимым подкрепить меня и себя коньяком, бутылку которого он достал из большого картонного ящика с надписью «Норсульфазолум». Да, пока мы здесь спорили об этой злосчастной надпечатке, в аптеку зашел марсианин, вручил Ахиллесу письменное распоряжение сдать предъявителю сего все лекарственные препараты, содержащие наркотики, и Ахиллес, ничего не помня и не понимая, передал ему приготовленный пакет с этими лекарствами, после чего марсианин удалился, не оставив в нашей памяти ничего, кроме отрывочных воспоминаний и смутного образа, запечатленного краем глаза.

Я отчетливо помнил синюю руку, покрытую короткими редкими волосиками, и мясистые пальцы без ногтей, и я поражался, как подобное зрелище не вышибло мгновенно из моей головы всякую способность вести отвлеченные споры.

Ахиллес никакой руки не помнил, но зато он помнил длинное, непрерывно пульсирующее щупальце, протянувшееся к нему как бы из ничего. Кроме того, он помнил,

что вид этого щупальца привел его в сильное раздражение, ибо оно показалось ему совершенно ни с чем не сообразной шуткой. Помнил он и то, как в сердцах швырнул на прилавок, не глядя, сверток с лекарствами, зато он абсолютно не помнил, читал ли он предписание и клал ли его в регистрационную книгу, хотя очевидно было, что читал (раз выдал лекарства) и клал (раз оно там оказалось).

Мы выпили еще по рюмке коньяку, и Ахиллес припомнил, что марсианин стоял слева от меня и что на нем был модный свитер с вырезами, и мне вспомнилось, что на одном из синих пальцев было блестящее кольцо белого металла с драгоценным камнем. Кроме того, я вспомнил шум автомобиля. Ахиллес потер лоб и заявил, что вид предписания напоминает ему ощущение недовольства, которое вызывалось у него как бы чьими-то попытками, до неприличия назойливыми, вторгнуться в наш с ним спор с какой-то совершенно нелепой точкой зрения на филателию вообще и на перевернутые надпечатки в особенности.

Тогда я и припомнил, что точно, марсианин говорил и голос у него был пронзительный и неприятный. «Скорее низкий и снисходительный», — возразил Ахиллес. Однако я настаивал на своем, и Ахиллес, вновь разгорячившись, вызвал из лаборатории своего младшего провизора и спросил его, какие звуки он слышал на протяжении последнего часа. Младший провизор, на редкость недалекий юнец, заморгал своими глупыми глазами и промямлил, что слышал все время только наши голоса, а один раз будто бы где-то включили радио, но он не обратил на это особого внимания. Мы отослали провизора и выпили еще по капельке коньяку. Память наша прояснилась окончательно, и, хотя мы по-прежнему расхотелись в мнении относительно внешности марсианина, мы, однако же, полностью сошлись в воспроизведении последовательности имевших место фактов. Марсианин, несомненно, подъехал к аптеке на машине, не выключая двигателя, вошел в помещение, остановился слева от меня, чуть сзади, и некоторое время стоял неподвижно, рассматривая нас и прислушиваясь к нашему разговору. (Мороз прошел по моей коже, когда я осознал свою полную незащищенность в этот страшный момент.) Затем он сделал нам несколько замечаний, по-видимому, относительно филателии и, по-видимому, совершенно некомпетентных, а потом протянул Ахиллесу предписание, которое Ахиллес взял, бегом просмотрел и сунул в регистрацион-

ную книгу. Далее Ахиллес, все еще будучи вне себя от этой помехи, выдал сверток с лекарствами, и марсианин ушел, поняв, что мы не желаем принимать его в разговор. Таким образом, отвлекаясь от деталей, возникал образ существа, хотя и плохо разбирающегося в вопросах филателии, но в общем не лишённого правильного воспитания и определенной гуманности, если принять во внимание, что в то время он мог сделать с нами все, что ему было бы угодно. Мы выпили еще раз по рюмке коньяку и почувствовали себя не в силах более оставаться здесь и держать наших в неизвестности относительно этого происшествия. Ахиллес спрятал бутылку, передал дежурство младшему провизору, и мы быстрым шагом отправились в трактир.

Рассказ о визите марсианина был воспринят нашими по-разному. Одноногий Полифем откровенно счел его враньем. «Вы понюхайте, чем от них разит, — сказал он. — Нализались до синих чертей». Рассудительный Силен предположил, что это был все-таки не марсианин, а какой-нибудь негр — у негров иногда встречается синеватый оттенок кожи. Ну, а Парал остался Паралом. «Хорош аптекарь у нас, — желчно сказал он. — Приходит неизвестно кто, неизвестно откуда, подсовывает ему неизвестно какую бумажку, и тот отдает ему без звука. Нет, с такими аптекарями мы разумного общества не построим. Что это за аптекарь, который из-за своих паршивых марок не ведаёт, что творит?» Но зато все остальные были на нашей стороне, весь трактир собрался вокруг нас, даже золотая молодежь во главе с господином Никостратом отвалилась от бара послушать. Нас заставляли повторять снова и снова, где стоял я и где стоял марсианин, как он протягивал свою конечность и так далее. Очень скоро я заметил, что Ахиллес начинает украшать рассказ новыми деталями, как правило, потрясающими. (Вроде того, что, когда марсианин молчал, у него мигали только два глаза, как у нас, а когда открывал рот, открывались еще дополнительные глаза, один красный, другой белый.) Я тут же сделал ему замечание, но он возразил, что коньяк и бренди удивительным образом действуют на человеческую память, это, дескать, медицинский факт. Я решил с ним не спорить, попросил Япета подать мне ужин и, внутренне усмехаясь, стал наблюдать, как Ахиллес уверенно компрометирует себя. Через какие-нибудь десять минут все поняли, что Ахиллес окончательно заврался, и перестали обращать на него внимание. Золотая молодежь вернулась к стойке бара, и скоро

оттуда послышалось обычное: «Надоело... Скучища у нас тут. Марсиане? Ерунда, плешь... Чего бы нам отколоть, орлы?» За нашим столиком возобновился старый спор о желудочном соке. Что это такое, куда он годится, для чего он марсианам и для чего он нам самим. Ахиллес объяснил, что человеку желудочный сок нужен для переваривания пищи, пищу переваривать без него было бы невозможно. Но авторитет его был уже подорван, и никто ему не поверил. «Ты бы заткнулся, старая клизма, — сказал ему Полифем. — Чего там — невозможно. Третий день сдаю этот сок, и ничего, перевариваю. Тебе бы так переваривать».

С горя обратились за консультацией к Калаиду, но это, естественно, ничем не кончилось. Калаид после долгих судорог, за которыми в томительном ожидании следил весь трактир, выпалил только: «Ж-ж-жандарм в тридцать лет уже старик, если хочешь знать». Слова эти имели касательство к какому-то полузабытому разговору, происходившему еще на «пяточке» и до обеда, и вообще предназначались не нам, а Пандарею, который уже давным-давно ушел на дежурство. Мы оставили Калаида рожать ответ на наш вопрос, а сами пустились в спекуляцию. Силен предположил, что цивилизация Марса зашла в тупик в физиологическом отношении, собственный сок они уже вырабатывать не могут и им приходится осваивать другие источники. Япет подал голос из-за стойки, заявив, что марсиане используют желудочный сок в качестве бродила для производства особого вида энергии. «Вроде атомной», — добавил он, подумав. А дурак Димант, никогда не отличавшийся смелым полетом фантазии, заявил, что человеческий желудочный сок для марсиан все равно, что для нас коньяк или пиво, скажем, можжевелевая водка, и этим заявлением испортил аппетит всем, кто в этот момент закусывал. Кто-то предположил, что марсиане добывают из желудочного сока золото или редкие металлы, и это явно безграмотное предположение натолкнуло Морфея на очень верную мысль. «Старички, — сказал он, — а ведь в самом деле, золото они из него добывают или энергию, а надо понимать, что наш желудочный сок для марсиан — вещь очень важная. Не одурачили бы они нас, а?» Сначала его никто не понял, но потом до нас дошло, что настоящей цены на желудочный сок никто ведь не знает и что это за цена, которую назначили марсиане, — неизвестно. Вполне возможно, что марсиане, люди, надо думать, практичные, выгоняют из этого предприятия непропорционально

большой доход, пользуясь нашим невежеством. «Скупают у нас по дешевке, — взбеленился одноногий Полифем, — а потом, стервецы, загоняют на какую-нибудь комету по настоящей цене!» Я рискнул поправить его, что не на комету все-таки, а на планету, на что он с присущей ему грубостью предложил мне сначала залечить глаз, а потом уже вступать в споры. Но дело не в этом.

Всех нас предположение Морфея встревожило, и могла бы получиться очень содержательная и полезная беседа, но тут в трактир ввалился Миртил со своим братом-фермером, оба пьяные до последней степени. Выяснилось, что брат Миртила вот уже несколько дней производил опыты по перегонке барды из синего хлеба и что сегодня эти опыты наконец увенчались успехом. На стол были водружены две порядочные фляги синего первача. Все тут же отвлеклись и стали пробовать, и, надо сказать, «синюховка» произвела на нас большое впечатление. Миртил себе на горе пригласил к столу Япета, чтобы тот тоже попробовал. Япет выпил два стаканчика, постоял, закрыв левый глаз, словно бы размышляя, а затем вдруг сказал: «А ну, валите отсюда, чтобы я вас тут не видел». Сказано это было таким тоном, что Миртил, не говоря ни слова, подхватил опустевшие фляги и своего задремавшего брата и торопливо удалился. Япет оглядел нас тяжелым взглядом и, произнеся: «Взяли манеру — в мое заведение со своим пойлом приходите», вернулся за стойку. Чтобы сгладить неловкость, мы все заказали по выпивке, но прежняя непринужденность уже исчезла. Посидев еще полчаса, я отправился домой.

В гостиной господин Никострат, заняв кресло Харона, сидел напротив Артемиды и пил чай с вареньем. Я не стал вмешиваться в это дело. Во-первых, Харон, по видимому, уже отрезанный ломоть, и неизвестно, вернется ли он вообще, а во-вторых, где-то неподалеку находилась Гермiona, а от меня так разило спиртным, что я даже сам это чувствовал. Поэтому я предпочел тихонько проскользнуть в свою комнату, не обращая на себя ничего внимания. Я переоделся и просмотрел газеты. Просто удивительно! Шестнадцать полос, и ничего существенного. Словно вату жуешь. Опубликована пресс-конференция президента. Два раза ее прочитал и ничего не понял — сплошной желудочный сок.

Пойду посмотрю, как там Гермiona.

12 июня. Температура плюс двадцать градусов, облачность ноль баллов, ветра нет. От этой синюховки отвра-

тительная отрыжка. Разыгралась мигрень, весь день сидел дома. Появилась гастрономическая новинка — синий хлеб. Гермiona хвалит, Артемиде тоже понравилось, а я вот ел без всякого аппетита. Хлеб как хлеб, только синий.

13 июня. Наконец-то летняя погода, кажется, установилась. Температура плюс двадцать два, облачно... Ну и дела! Не знаю даже, с чего и начинать. Насчет пенсии ничего не известно, но в конце концов речь сейчас не об этом. Только что я начал сегодняшнюю запись, как вдруг слышу — подъезжает машина. Я было подумал, что это Миртил привез с фермы обещанную четверть синюховки, и выглянул посмотреть. И как раз вовремя выглянул. Сначала я увидел, что под фонарем стоит незнакомый легкой автомобилем, очень роскошный, а потом заметил, что по саду, прямо к скамеечке, где устроились с вечера Артемиды с господином Никостратом, решительным шагом направляется Харон. Я глазом моргнуть не успел, как господин Никострат кубарем вылетел за ограду. Вслед ему Харон с силой сверхчеловеческой запустил тросточку и шляпу, но господин Никострат не остановился, чтобы подобрать их, а только ускорил бег. Затем Харон занялся Артемидой. Мне было плохо видно, что между ними происходило, но у меня такое впечатление, что вначале Артемиды попыталась упасть в обморок, однако, когда Харон залепил ей оплеуху, отказалась от своего намерения и решила показать свой знаменитый характер. Она испустила протяжный, неприятный для слуха визг и полоснула Харона ногтями по физиономии. Повторяю, всего этого я не видел. Но когда спустя несколько минут я выглянул в гостиную, Харон, как тигр в клетке, расхаживал из угла в угол, заложив руки за спину, и на носу у него багровела свежая царапина. Артемиды же деловито собирала на стол, и я заметил, что лицо ее выглядит несколько асимметрично. Я не выношу семейных сцен, у меня от них все слабеет внутри и хочется уйти куда-нибудь и ничего не видеть и не слышать. Однако Харон заметил меня прежде, чем я успел скрыться, и противу всяких ожиданий поздоровался со мною так приветливо и тепло, что я счел необходимым войти в гостиную и завязать с ним беседу.

Прежде всего я был приятно поражен тем обстоятельством, что Харон выглядел совсем не так, как я ожидал. Это был совсем не тот заросший и ободранный бродяга, который бряцал здесь оружием и бранился неделю назад. Собственно, я ожидал, что он будет еще более

ободран и грязен. Однако передо мною сидел прежний Харон мирного времени, гладко выбритый, хорошо причесанный, элегантно и со вкусом одетый. Только багровая царапина на носу несколько портила общее впечатление, да цвет лица, непривычно смуглый, свидетельствовал о том, что последние дни этому кабинетному работнику пришлось много бывать под открытым небом.

Пришла Гермiona в бигуди, извинилась за свой вид и тоже присела за стол, и вот мы сидим, как встарь, вчетвером, единой мирной семьей. До тех пор пока женщины не удалились, убрав со стола посуду, разговор вертелся вокруг общих тем: о погоде, о здоровье, о том, кто как выглядит. Но когда мы остались одни, Харон закурил сигару и сказал, странно глядя на меня: «Ну что, отец, проиграно наше дело?» В ответ я только пожал плечами, хотя мне очень хотелось сказать, что если чье-нибудь дело и проиграно, то, во всяком случае, не наше. Впрочем, Харон, по-моему, и не ожидал ответа. При женщинах он сдерживался, и только сейчас я заметил, что он находится в состоянии почти болезненного возбуждения, в том самом состоянии, когда человек способен резко переходить от нервного смеха к нервному плачу, когда внутри у него все кипит и он испытывает неодолимую потребность излить это кипение в словах и поэтому говорит, говорит, говорит. И Харон говорил.

У людей больше нет будущего, говорил он. Человек перестал быть венцом природы. Отныне и присно и во веки веков человек будет рядовым явлением природы, как дерево или лошадь, и не больше. Культура и вообще весь прогресс потеряли всяческий смысл. Человечество больше не нуждается в саморазвитии, его будут развивать извне, а для этого не нужны школы, не нужны институты и лаборатории, не нужна общественная мысль, философия, литература — словом, не нужно все то, что отличало человека от скота и что называлось до сих пор цивилизацией. Как фабрика желудочного сока, сказал он, Альберт Эйнштейн ничем не лучше Пандарей и даже наверняка хуже, потому что Пандарей отличается редкостной прожорливостью. Не в громе космической катастрофы, не в пламени атомной войны и даже не в тисках перенаселения, а в сытой, спокойной тишине кончается, видите ли, история человечества. «Подумать только, — с надрывом проговорил он, уронив голову на руки, — не баллистические ракеты, а всего-навсего горсть медажков за стакан желудочного сока погубили цивилизацию...»

Он говорил, конечно, гораздо больше и гораздо эф-

фектнее, но я плохо воспринимаю абстрактные рассуждения и запомнил только то, что запомнил. Признаться, вначале ему удалось нагнать на меня тоску. Однако я довольно быстро понял, что все это попросту истерические словоизлияния образованного человека, пережившего крушение своих личных идеалов. И я ощутил потребность возразить ему. Не потому, конечно, что надеялся переубедить его, а потому, что его рассуждения глубоко задели меня, показались мне выпренными и нескромными, и, кроме того, мне хотелось отделаться от того тягостного впечатления, которое произвели на меня его lamentации.

«У вас была слишком легкая жизнь, сын мой, — сказал я прямо. — Вы заелись. Вы ничего не знаете о жизни. Сразу видно, что вас никогда не били по зубам, что вы не мерзли в окопах и не грузили бревна в плену. У вас всегда было что кушать и чем платить. Вот вы и привыкли смотреть на мир глазами небожителя, эдакого сверхчеловека. Экая жалость — цивилизацию продали за горсть медяков! Да скажите спасибо, что вам за нее дают эти медяки! Вам они, конечно, ни к чему. А вдове, которая одна поднимает троих детей, которая должна их выкормить, вырастить, выучить? А Полифему, калеке, получающему грошовую пенсию? А фермеру? Что вы предложили фермеру? Сомнительные социальные идеи? Книжечки-брошюрочки? Эстетскую вашу философию? Да фермер плевал на все это! Ему нужны одежда, машины, нужна уверенность в завтрашнем дне! Ему нужно иметь постоянную возможность взрастить урожай и получить за него хорошую цену! Вы смогли ему это дать? Вы, со всей вашей цивилизацией! Да никто за десять тысяч лет не смог ему это дать, а марсиане дали! Что же теперь удивляться, что фермеры травят вас, как диких зверей? Вы никому не нужны с вашими разговорами, с вашим снобизмом, с вашими абстрактными проповедями, легко переходящими в атомную стрельбу. Вы не нужны фермеру, вы не нужны горожанину, вы не нужны марсианам. Я уверен даже, что вы не нужны большинству разумных образованных людей. Вы воображаете себя цветом цивилизации, а на самом-то деле вы плесень, взросшая на соках ее. Вы возомнили о себе и теперь воображаете, будто ваша гибель — это гибель всего человечества».

Мне показалось, что я буквально убил его своей речью. Он сидел, закрыв лицо руками, он весь трясся, он был так жалок, что сердце мое облилось кровью.

«Харон, — сказал я по возможности мягко, — мальчик мой! Постарайтесь хоть на минуту спуститься из облачных сфер на грешную землю. Постарайтесь понять, что человеку больше всего на свете нужны покой и уверенность в завтрашнем дне. Ведь ничего же страшного не случилось. Вот вы говорите, что человек превратился теперь в фабрику желудочного сока. Это громкие слова, Харон. На самом-то деле произошло нечто обратное. Человек, попавший в новые условия существования, нашел превосходный способ использования своих физиологических ресурсов для упрочения своего положения в этом мире. Вы называете это рабством, а всякий разумный человек полагает это обыкновенной торговой сделкой, которая должна быть взаимовыгодной. О каком рабстве может идти речь, если разумный человек уже сейчас прикидывает, не обманывают ли его, и если его действительно обманывают, то, уверяю вас, он сумеет добиться справедливости. Вы говорите о конце культуры и цивилизации, но это уж вовсе неправда! Непонятно даже, что вы имеете в виду. Газеты выходят ежедневно, выпускаются новые книги, сочиняются новые телеспектакли, работает промышленность... Харон! Ну чего вам недостает? Вам оставили все, что у вас было: свободу слова, самоуправление, конституцию. Мало того, вас защитили от господина Лаомедонта! И вам наконец дали постоянный и верный источник доходов, который совершенно не зависит ни от какой конъюнктуры».

На этом я остановился, потому что обнаружил, что Харон вовсе не убит и не рыдает, как мне показалось, а хихикает самым неприличным образом. Я почувствовал себя в высшей степени оскорбленным, но тут Харон сказал: «Извините меня, ради бога, я не хотел вас обидеть. Мне просто вспомнилась одна забавная история». Оказывается, два дня назад Харон во главе группы инсургентов из пяти человек захватил марсианскую машину. Каково же было их изумление, когда из машины выбрался им навстречу совершенно трезвый Минотавр с портативным аппаратом для отсасывания желудочного сока. «Что, ребята, выпить захотелось? — спросил он. — Давайте, это я вам сейчас устрою. Кто первый?» Инсургенты даже растерялись. Придя в себя, они без всякого удовольствия наkostenяли Минотавру по шее за предательство и отпустили его вместе с машиной. Они-то собирались захватить машину, освоиться с управлением, затем проникнуть в ней на марсианский пост и устроить там побоище, но этот эпизод так на них подействовал,

что им стало на все наплевать. Вечером того же дня двое из них ушли по домам, а на другое утро остальных захватили фермеры. Я не совсем понял, какое отношение имеет эта история к предмету нашей беседы, но меня поразила мысль о том, что Харон, следовательно, побывал в плену у марсиан.

«Да, — ответил он на мой вопрос, — поэтому я и смеялся. Марсиане мне говорили точь-в-точь то же самое, что и вы. Правда, несколько более связно. И особенно они напирали на то, что я элита общества, что они испытывают ко мне глубокое уважение и не понимают, почему это я и мне подобные занимаются террористическими актами вместо того, чтобы создать разумную оппозицию. Они предлагают нам бороться с ними легальными средствами, гарантируя полную свободу печати и собраний. Славные ребята — марсиане, верно?»

Что я мог ему ответить? Особенно когда выяснилось, что обращались с ним превосходно, умыли его, одели, подлечили, дали ему автомобиль, конфискованный у какого-то содержателя опиумокурильни, и отпустили с миром.

«У меня нет слов», — сказал я, разведя руки. «У меня тоже, — отозвался Харон, снова помрачнев. — У меня, к сожалению, тоже пока нет слов, а их надо найти. Грош нам всем цена, если мы их не найдем». После этого он вдруг совершенно неожиданно пожелал мне спокойной ночи и ушел к себе, а я остался сидеть как дурак, охваченный неприятными предчувствиями. Ох, будут у нас еще хлопоты с Хароном! Ох, будут! И что за отвратительная манера уходить, не окончив спора? Уже первый час ночи, а сна ни в одном глазу.

Кстати, сегодня в первый раз сдавал желудочный сок. Ничего страшного, только глотать неприятно, но говорят, что к этому быстро привыкаешь. Если сдавать ежедневно по двести граммов, то это составит сто пятьдесят в месяц. Однако!

14 июня. Температура плюс двадцать два, облачность ноль баллов, ветра нет. Вышли наконец новые марки. Боже мой, какая прелесть! Я купил весь выпуск в квартблоках, а потом не удержался и купил полные листы. Хватит экономить. Теперь я могу кое-что себе позволить. Ходили с Гермией сдавать желудочный сок, в дальнейшем буду ходить один. Есть слух, будто пришел циркуляр министерства образования, подтверждающий прежнее положение о пенсиях, однако подробностей узнать мне не удалось.

Господин Никострат не вышел на службу — прислал младшего брата сказать, что простудился и гриппует. Поговаривают, однако, что вовсе не гриппует, а неосторожно где-то упал и получил внутренние повреждения. Ай да Харон! Артемида ходит тише воды, ниже травы.

Да, совсем забыл. Заглянул я сегодня в гостиную и вижу: сидит Харон, а с ним какой-то приятный господин в больших очках. Я узнал его и буквально окаменел. Это был тот самый инсургент, которого на моих глазах захватили фермеры. Он тоже меня узнал и тоже окаменел. Некоторое время мы смотрели друг на друга, потом я опомнился и, поклонившись, вышел. Не знаю, что он там обо мне говорил Харону. Впрочем, он скоро удалился. Я прямо утверждаю: мне это не нравится. Если они будут заниматься легальной борьбой, как им официально предложили, всякими там митингами, брошюрками, газетами, — тогда, пожалуйста. Но если я еще хоть раз увижу в своем доме автоматы и прочее железо, тогда уж прошу прощения, дорогой зять. Здесь наши дорожки разойдутся. Хватит с меня.

Чтобы успокоиться, перечитал сейчас вчерашнюю запись своей беседы с Хароном. По-моему, логика моя безукоризненна. Он так ничего и не сумел возразить. Жалко только, что записал я гораздо более связно и убедительно, чем говорил. Говорить я совершенно не умею, это мое слабое место.

В утренних газетах было интересное сообщение о всеобщей демобилизации и полной демилитаризации страны. Слава богу, наконец-то додумались! Надо понимать, что марсиане взяли дело обороны целиком в свои руки, и нам теперь эта оборона не будет стоить ни гроша, если не считать, конечно, желудочного сока. В речи президента об этом прямо ничего не сказано, но это читается между строк. Бывшие военные расходы, сказал он, направляются на повышение благосостояния и на развитие судостроения, предстоят определенные трудности, связанные с сокращением военной промышленности, однако это явление чисто временное. И еще он подчеркнул несколько раз, что никто от реорганизации не пострадает. Я понимаю это так, что военные промышленники и генералы получают хороший куш. Богатый народ эти марсиане! А демобилизация уже началась. Парал распространяет слухи, что и полиция тоже будет упразднена. Пандарей хотел его засадить, но мы не позволили. Слухи, конечно, это только слухи, но на месте Пандарейя я бы вел себя сейчас осторожнее.

Нет, не хочется мне сегодня ничего записывать. Возьму-ка я сейчас свою вчерашнюю речь перед Хароном и перепишу ее начисто. Хорошая речь.

15 июня. Утро выдалось на редкость чистое и ясное. (Температура плюс двадцать один, облачность ноль баллов, ветра нет.) Как приятно встать рано утром, когда солнце уже разогнало утренний туман, но воздух еще свеж и прохладен и хранит в себе ночные ароматы. Мельчайшие капли росы мириадами радуг дрожат и переливаются подобно драгоценным камням на каждой травинке, на каждом листочке, на каждой паутинке, которую хлопотливый паучок протянул за ночь от своего домика к колыхающей веточке. Нет, с художественной прозой у меня получается не так хорошо. С одной стороны, вроде бы все правильно, на месте, красиво, но все-таки как-то... не знаю, что-то не то. Ну ладно.

Второй день подряд мы все отличаемся отменным аппетитом. Говорят, все дело в синем хлебе. Действительно, это удивительный продукт. Прежде я никогда не ел хлеба вне бутербродов и вообще мало ел хлеба, теперь же я буквально им объедаюсь. Он тает во рту, как пирожное, и совершенно не обременяет желудка. Даже Артемида, которая всегда заботилась о сохранении фигуры гораздо больше, чем о сохранении семьи, не может теперь удержаться и ест так, как надлежит есть молодой, здоровой женщине ее возраста. Харон тоже ест и похваливает. На мои не лишние язвительности намеки он отвечает только: «Одно другому не мешает, отец. Одно другому не мешает».

После завтрака я направился в мэрию и пришел как раз к началу присутствия. наших на «пяточке» еще не было. Господин Никострат выглядит неважно. При каждом движении он морщится, хватается за бок и время от времени тихонько постанывает. Разговаривает он болезненным шепотом, на ногти же свои не обращает никакого внимания. За все время нашей беседы он ни разу не посмотрел на меня, но разговаривал вежливо, учтиво и без малейшей примеси обычной своей иронии. Действительно, получен циркуляр, подтверждающий прежнее положение о пенсионном обеспечении. Мои бумаги, вероятно, уже у министра. Надо думать, все обойдется благополучно и я получу первый разряд, однако не помешало бы попросить господина мэра направить министру особое письмо, в котором подтверждалось бы мое личное участие в вооруженной борьбе против инсургентов. Эта

мысль мне очень понравилась, и мы с господином Никостратом договорились, что черновик такого донесения составлю я, а он его отредактирует и представит господину мэру на рассмотрение.

А тем временем на «пяточке» уже собрались наши. Последним подошел Морфей, и мы его оштрафовали. Довольно либерализма, мы последнее время совсем запустили клубные дела. Всех страшно интересовал один вопрос: кончилось ли дело между Хароном и господином Никостратом. Меня заставили самым подробным образом описать все, что я видел, и некоторое время одноногий Полифем с Силеном спорили, что именно может быть повреждено у господина Никострата. Как человек бывалый и унтер-офицер, Полифем утверждал, что при такой схватке у господина секретаря должен быть поврежден копчик, потому что только точно нацеленный удар носком сапога в соответствующее место мог вызвать описанный мною способ оставления господином Никостратом поля боя. Силен же, как человек не менее бывалый и бывший юрист, возражал, что точно такой же эффект проистекает вследствие хорошо нацеленного удара по корпусу, а если принять во внимание позы, которые господин Никострат принимает теперь при ходьбе, то неизбежно заключение, что у него повреждено ребро с левой стороны: либо трещина, либо, может быть, даже перелом. Оба, впрочем, сошлись во мнении, что до конца дела еще далеко и что господин Никострат, человек молодой, горячий и спортивный, не преминет встретить Харона в каком-нибудь темном уголке в компании своих приятелей.

Меня расспрашивали также, продолжает ли Артемида питать благосклонность к господину Никострату, и, когда я решительно отказался отвечать на этот бестактный вопрос, заключили почти единогласно, что, конечно же, да, продолжает. «Женщина есть женщина, — сказал желчный Парал. — Женщине всегда мало одного мужчины, это лежит в ее биологической природе». Я окончательно рассердился и заметил, что такое свойство женщин лежит скорее в биологической природе некоторых мужчин, вроде Парала, и все нашли мою шутку очень остроумной, поскольку все недолюбливали Парала за его желчность, а во-вторых, вспомнили, что в свое время, еще до войны, от него убежала с коммивояжером молодая жена. Возникла весьма благоприятная ситуация, чтобы поставить наконец Парала с его вечными квазифилософскими сентенциями на место.

Уже Морфей, придумавший новую остроту, заранее давясь от смеха, хватал всех за руки и кричал: «Нет, вы послушайте, что я скажу!», но тут, как всегда не ко времени, приперся этот старый осел Пандарей и, не разобравшись в предмете разговора, объявил своим громовым голосом, что нынче к нам из-за границы пришла такая мода — жить втроем, вчетвером с одной женщиной, как это водится между кошками. Ну что тут будешь делать! Остается только руками развести. Парал немедленно ухватился за это высказывание и моментально перевел разговор на личность Пандарея. «Да, Пан, — сказал он. — Ты сегодня в ударе, старик, такого я не слыхивал даже от своего младшего зятя — майора». Второго зятя Парала знали далеко за пределами города, удержаться было невозможно, и все мы так и покатались со смеху, а Парал еще добавил со скорбным видом: «Нет, старички, зря мы все-таки демилитаризуемся. Нам, старички, надо было бы лучше деполициеизироваться или, на худой конец, депандареизироваться». Пандарей немедленно раздулся, как рыба-шар, застегнул китель на все пуговицы и гаркнул: «Поговорили — все!..»

Идти на донорский пункт было еще рано, и я направился к Ахиллесу. Я прочел ему свою переписанную начисто речь перед Хароном. Он слушал меня, раскрыв рот. Успех был полный. Вот его точные слова, когда я закончил чтение: «Это написал настоящий трибун, Феб! Где ты это взял?» Я немножко поломался для пущего эффекта, а потом объяснил, как было дело. Но он не поверил! Он объявил, что отставному учителю астрономии просто не под силу столь точно сформулировать мысли и чаяния простого народа. «Это под силу только великим писателям, — говорил он, — или великим политическим деятелям. А я что-то не вижу у нас в стране, — говорил он, — ни великих писателей, ни великих политических деятелей».

«Феб, ты украл его у марсиан, — сказал он. — Признайся, старина, я никому не скажу». Я был в растерянности. Его недоверие одновременно и льстило мне, и вызывало во мне досаду. А тут еще он вдруг показывает мне запечатанный конверт из плотной черной бумаги. «Что это?» — спрашиваю я с нарочитой небрежностью, в то время как сердце мое уже почуяло беду и заняло от дурных предчувствий. «Марки, — говорит этот гордец. — Настоящие. Оттуда!» Не помню, как я справился с собой. Словно в тумане, слушал я его восторги, выражаемые деланно-сочувственным тоном. А он вертел конверт

перед моим носом и все рассказывал мне, какая это редкость, до какой степени невозможно их нигде достать, какие баснословные суммы предлагал ему уже за них сам Хтоний и как ловко поступил он, Ахиллес, потребовав компенсации за изъятые лекарства не деньгами, а марками. Суммы, которые он небрежно называл, привели меня в полнейшее смятение. Оказывается, рыночные цены на марсианские марки так высоки, что никакая пенсия первого класса и никакой желудочный сок не способны что-либо изменить в моем положении. Но в конце концов я опомнился, меня осенило, и я попросил Ахиллеса показать мне эти марки. И все стало ясно. Этот хитрец замылся, растерялся и принялся лепетать что-то о том, будто эти марки, будучи марсианскими, боятся света подобно фотографической бумаге, что рассматривать их можно только при специальном освещении, а здесь, в аптеке, соответствующего оборудования у него нет. Я приободрился и попросил разрешения заглянуть к нему вечером домой. Без всякой живости он пригласил меня, сказавши, что, честно говоря, дома у него пока тоже нет специального оборудования, но к завтрашнему вечеру он постарается что-нибудь придумать. Вот в это я верю. Он наверняка что-нибудь придумает. Наверняка окажется, что эти марки растворяются в воздухе или что вообще смотреть на них нельзя, а можно только шупать руками.

В разгар нашей беседы я вдруг услышал чье-то дыхание над своим левым ухом и краем глаза уловил некое движение рядом с собой. Я сразу вспомнил таинственное посещение и резко обернулся, но это оказалась прислуга мадам Персефоны, которая пришла попросить чего-нибудь повернее. В поисках препарата, который удовлетворил бы мадам Персефону, Ахиллес удалился в лабораторию и, по-видимому, вознамерился не возвращаться до тех пор, пока я не уйду. Я ушел, не скрывая иронии.

На донорском пункте меня ожидал приятный сюрприз: соответствующие анализы выявили, что в силу имеющихся у меня внутренних хронических заболеваний желудочный сок мой надлежит относить к первому сорту, так что за сто граммов сока мне будут теперь выплачивать на сорок процентов больше, нежели всем прочим. Мало того, дежурный фельдшер намекнул мне, что, употребляя в умеренных, но достаточных количествах синюховку, я смогу добиться перехода в сорт экстра и получать за сто граммов на семьдесят — восемьдесят процентов больше. Я боюсь сглазить, но, кажется, наконец впервые в жизни мне немножечко повезло.

В самом радужном настроении я отправился в трактир и просидел там до позднего вечера. Было очень весело. Во-первых, Япет теперь всюю торгует синюховкой, которую поставляют ему оптом окрестные фермеры. От синюховки неприятная отрыжка, но она дешева, пьется очень легко и дает приятное, веселое опьянение. Очень нас развлек один из молодых людей в узком пальто. Я так и не научился различать их и до сегодняшнего вечера испытывал к обоим естественную неприязнь, которую разделяло со мною большинство наших. Обычно эти грозные победители господина Лаомедонта вместе или порознь проводили в трактире все время от обеда и до закрытия — сидели у стойки, пили и упорно молчали, словно бы никого не замечая вокруг. Однако сегодня этот молодой человек вдруг оторвался от стойки, подошел к нашему столику и, когда все настороженно замолчали, в наступившей тишине прежде всего заказал выпивку на всю компанию. Затем он уселся между Полифемом и Силеном и негромко произнес: «Эак». Сначала все мы решили, что у него отрыжка, и Полифем по своему обыкновению сказал ему: «С приветом». Однако молодой человек несколько обиженно пояснил, что Эак — это его имя и что назвали его так в честь сына Зевса и Эгины, отца Теламона и Пелея, деда Эанта Большого. Полифем немедленно принес свои извинения и предложил выпить за здоровье Эака, так что инцидент был полностью исчерпан. Мы все тоже представились, и очень скоро Эак почувствовал себя среди нас как дома. Он оказался прекрасным рассказчиком, мы просто животы надорвали, слушая его.

Особенно нам понравилось, как они намыливали пол в гостиной, раздевали барышень и устраивали за ними погони. Это у них называлось «играть в пятнашки», и рассказывал он об этом уморительнейшим образом. Должен признаться, что мы все ощущали все-таки некоторый стыд за наше захоlustье, где ни о чем подобном слыхом не слыхали, и поэтому очень уместной оказалась остроумная эскапада наших молодых шалопаев из компании господина Никострата.

Они появились на площади, ведя за собой на веревке крупного рыжевато-красного петуха. Господи, до чего же смешно это было! Распевая «Ниобу-Ниобею», они проследовали через всю площадь прямо в трактир. Здесь они обступили стойку и потребовали для себя бренди, а для петуха — синюховки. При этом они во всеуслышанье объявили, что празднуют наступление у петуха половой

зрелости и приглашают участвовать всех желающих. Мы чуть не лопнули. Эак тоже хохотал вместе с нами, так что город наш, как некий центр остроумных развлечений, был несколько реабилитирован в глазах этого столичного жителя.

Еще интересно было, когда пришел Ахиллес и сообщил, что из зала заседаний мэрии похищено шесть стульев полумягких. Пандарей уже обследовал место преступления и утверждает, что напал на след. Он говорит, что похитителей было двое, причем у одного была велюровая шляпа, а у другого шесть пальцев на правой ноге, но вообще-то все уверены, что стулья украл городской казначей. Желчный Парал так прямо и заявил: «Ну вот он и опять выкрутился. Теперь все будут говорить об этих дурацких стульях и начисто позабудут про последнюю растрату».

Когда я вернулся домой, Харон еще сидел в редакции, и мы поужинали втроем.

Сейчас я выглянул в окно. Дивная летняя ночь распахнула над городом бездонное небо, усеянное мириадами мерцающих звезд. Теплый ветерок струит волшебные ароматы и ласкает ветви уснувших деревьев. Чу! — слышится легкое жужжание заблудившегося в траве светлячка, спешащего на свидание к своей изумрудной возлюбленной. Сон и благодать опустились на уставший от дневных трудов городок. Нет, как-то не так все-таки. Ну ладно. Я это к тому, что красиво было, когда над городом символом мира и безопасности бесшумно прошли в вышине сияющие волшебным светом огромные летающие корабли, сразу видно, что не наши.

Свою речь я назову «Покой и уверенность» и отдам Харону в газету. Пусть только попробует не напечатать. Как это так, весь город за, а он один, видите ли, против! Не выйдет, дорогой зятек, не выйдет!

Схожу посмотрю, как там Гермiona.

Отель «У Погибшего Альпиниста»

повесть



Глава первая

Я остановил машину, вылез и снял черные очки. Все было так, как рассказывал Згут. Отель был двухэтажный, желтый с зеленым, над крыльцом красовалась траурная вывеска: «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА». Высокие ноздреватые сугробы по сторонам крыльца были утыканы разноцветными лыжами — я насчитал семь штук, одна была с ботинком. С крыши свисали мутные гофрированные сосульки толщиной в руку. В крайнее правое окно первого этажа выглянуло чье-то бледное лицо, и тут парадная дверь отворилась, и на крыльце появился лысый коренастый человек в рыжем меховом жилете поверх ослепительной нейлоновой рубашки. Тяжелой медлительной поступью он приблизился и остановился передо мною. У него была грубая красная физиономия и шея борца-тяжеловеса. На меня он не смотрел. Его меланхолический взгляд был устремлен куда-то в сторону и исполнен печального достоинства. Несомненно, это был сам Алек Сневар, владелец отеля, долины и Бутылочного Горлышка.

— Там... — произнес он неестественно низким и глухим голосом. — Вон там это произошло. — Он простер указующую руку. В руке был штопор. — На той вершине...

Я повернулся и, прищурившись, поглядел на сизую, жуткого вида отвесную стену, ограждавшую долину с запада, на бледные языки снега, на иззубренный гребень, четкий, словно нарисованный на сочно-синей поверхности неба.

— Лопнул карабин, — все тем же глухим голосом продолжал владелец. — Двести метров он летел по вертикали вниз, к смерти, и ему не за что было зацепиться на гладком камне. Может быть, он кричал. Никто не слышал его. Может быть, он молился. Его слышал только бог. Потом он достиг склона, и мы здесь услышали лавину, рев разбуженного зверя, жадный голодный рев, и земля дрогнула, когда он грянулся о нее вместе с сорока двумя тысячами тонн кристаллического снега...

— Чего ради его туда понесло? — спросил я, разглядывая зловещую стену.

— Позвольте мне погрузиться в прошлое, — проговорил владелец, склонил голову и приложил кулак со штопором к лысому лбу.

Все было совершенно так, как рассказывал Згут.

Только вот собаки нигде не было видно, но я заметил множество ее визитных карточек на снегу возле крыльца и вокруг лыж. Я полез в машину и достал корзину с бутылками.

— Привет от инспектора Згута, — сказал я, и владелец тут же вынырнул из прошлого.

— Вот достойный человек! — сказал он с живостью и весьма обыкновенным голосом. — Как он поживает?

— Неплохо, — ответил я, вручая ему корзину.

— Я вижу, он не забыл вечера, которые провел у моего камина.

— Он только о них и говорит, — сказал я и снова повернулся было к машине, но хозяин схватил меня за руку.

— Ни шагу назад! — строго произнес он. — Этим займется Кайса. Кайса! — трубно взревел он.

На крыльцо выскочила собака — великолепный сен-бернар, белый с желтыми пятнами, могучее животное ростом с теленка. Как я уже знал, это было все, что осталось от Погибшего Альпиниста, если не считать некоторых мелочей, экспонированных в номере-музее. Я был бы не прочь посмотреть, как этот кобель с женским именем станет разгружать мой багаж, но хозяин твердой рукою уже направлял меня в дом.

Мы прошли через сумрачный холл, где ощущался теплый запах погасшего камина и тускло отсвечивали лаком модные низкие столики, свернули в коридор налево, и хозяин плечом толкнул дверь с табличкой «Контора». Я был усажен в уютное кресло, позвякивающая и булькающая корзинка водворилась в углу, и хозяин распахнул на столе громоздкий грессбук.

— Прежде всего разрешите представиться, — сказал он, сосредоточенно обскабливая ногтями кончик пера. — Алек Сневар, владелец отеля и механик. Вы, конечно, заметили ветряки на выезде из Бутылочного Горлышка?

— Ах, это были ветряки?..

— Да. Ветряные двигатели. Я сам сконструировал их и сам построил. Вот этими руками.

— Что вы говорите... — пробормотал я.

— Да. Сам. И еще многое.

— А куда нести? — спросил у меня за спиной пронзительный женский голос.

Я обернулся. В дверях, с моим чемоданом в руке, стояла этакая кубышечка лет двадцати пяти, с румянцем во всю щеку, с широко расставленными и широко раскрытыми голубыми глазками.

— Это Кайса, — сообщил мне хозяин. — Кайса! Этот господин привез нам привет от господина Згута. Ты помнишь господина Згута, Кайса? Ты должна его помнить.

Кайса немедленно залилась краской и, поведя плечами, закрылась ладонью.

— Помнит, — объяснил мне хозяин. — Запомнила... Н-ну-с... Так я помещу вас в номер четыре. Это лучший номер в отеле. Кайса, отнеси чемодан господина... м-м...

— Глебски, — сказал я.

— Отнеси чемодан господина Глебски в четвертый номер... Поразительная дура, — сообщил он с какой-то даже гордостью, когда кубышечка скрылась. — В своем роде феномен... Итак, господин Глебски? — Он выжидательно взглянул на меня.

— Петер Глебски, — продиктовал я. — Инспектор полиции. В отпуске. На две недели. Один.

Хозяин прилежно записывал все эти сведения огромными корявыми буквами, а пока он писал, в контору, цокая когтями по линолеуму, вошел сенбернар. Он поглядел на меня, подмигнул и вдруг с грохотом, словно обрушилась вязанка дров, пал около сейфа, уронив морду на лапу.

— Это Лель, — сказал хозяин, завинчивая колпачок авторучки. — Сапиенс. Все понимает на трех европейских языках. Блох нет, но линяет.

Лель вздохнул и переложил морду на другую лапу.

— Пойдемте, — сказал хозяин, вставая. — Я провожу вас в номер.

Мы снова пересекли холл и стали подниматься по лестнице.

— Обедаем мы в шесть, — рассказывал хозяин. — Но перекусить можно в любое время, а равно и выпить чего-нибудь освежающего. В десять вечера — легкий ужин. Танцы, бильярд, картишки, собеседования у камина.

Мы вышли в коридор второго этажа и повернули налево. У первой же двери хозяин остановился.

— Здесь, — произнес он прежним глухим голосом. — Прошу.

Он распахнул передо мною дверь, и я вошел.

— С того самого незабываемого страшного дня... — начал он и вдруг замолчал.

Номер был неплохой, хотя и несколько мрачноватый. Шторы были приспущены, на кровати почему-то лежал альпеншток. Пахло свежим табачным дымом. На спинке кресла посередине комнаты висела чья-то брезентовая куртка, на полу рядом с креслом валялась газета.

— Гм... — сказал я озадаченно. — По-моему, здесь уже кто-то живет.

Хозяин безмолвствовал. Взгляд его был устремлен на стол. На столе ничего особенного не было, только большая бронзовая пепельница, в которой лежала трубка с прямым мундштуком. Кажется, «данхилл». Из трубки поднимался дымок.

— Живет... — произнес наконец хозяин. — Живет ли?.. Впрочем, почему бы и нет?

Я не нашелся, что ответить ему, и ждал продолжения. Чемодана моего нигде не было видно, но зато в углу стоял клетчатый саквояж с многочисленными гостиничными ярлыками. Не мой саквояж.

— Здесь, — окрепшим голосом продолжал хозяин, — вот уже шесть лет, с того самого незабываемого страшного дня, все пребывает так, как он оставил перед своим последним восхождением...

Я с сомнением посмотрел на курящуюся трубку.

— Да! — сказал хозяин с вызовом. — Это ЕГО трубка. Это вот — ЕГО куртка. А вот это — ЕГО альпеншток. «Возьмите с собой альпеншток», — сказал я ему в то утро. Он только улыбнулся и покачал головой. «Но не хотите же вы остаться там навсегда!» — воскликнул я, холодея от страшного предчувствия. «Пуркуа па?» — отвечивал он мне по-французски. Мне до сих пор не удалось выяснить, что это означало...

— Это означало «почему бы и нет?», — заметил я.

Хозяин горестно покивал.

— Я так и думал... А вот это — ЕГО саквояж. Я не разрешил полиции копаться в его вещах...

— А вот это — ЕГО газета, — сказал я. Я отчетливо видел, что это позавчерашний «Мюрский Вестник».

— Нет, — сказал хозяин. — Газета, конечно, не его.

— У меня тоже такое впечатление, — согласился я.

— Газета, конечно, не его, — повторил хозяин. — И трубку, естественно, раскурил здесь не он, а кто-то другой.

Я пробормотал что-то о недостатке уважения к памяти усопших.

— Нет, — задумчиво возразил хозяин, — здесь все сложнее. Здесь все гораздо сложнее, господин Глебски. Но мы поговорим об этом позже. Пойдемте в ваш номер.

Однако, прежде чем мы вышли, он заглянул в туалетную комнату, открыл и снова закрыл дверцы стенного шкафа и, подойдя к окну, похлопал ладонями по портьерам. По-моему, ему очень хотелось заглянуть также и под кровать, но он сдержался. Мы вышли в коридор.

— Инспектор Згут как-то рассказывал мне, — произнес хозяин после короткого молчания, — что его специальность — так называемые медвежатники. А у вас какая специальность, если это, конечно, не секрет?

Он распахнул передо мною дверь четвертого номера.

— У меня скучная специальность, — ответил я. — Должностные преступления, растраты, подлоги, подделка государственных бумаг...

Номер мне сразу понравился. Все здесь сияло чистой, воздух был свеж, на столе — ни пылинки, за промытым окном — снежная равнина и сиреневые горы.

— Жаль, — сказал хозяин.

— Почему? — спросил я рассеянно и заглянул в спальню. Здесь еще хозяйничала Кайса. Чемодан мой был раскрыт, вещи аккуратно разложены, а Кайса взбивала подушки.

— А впрочем, и не жаль несколько, — заявил хозяин. — Вам не приходилось, господин Глебски, замечать, насколько неизвестное интереснее познанного? Неизвестное будоражит мысль, заставляет кровь быстрее бежать по жилам, рождает удивительные фантазии, обещает, манит. Неизвестное подобно мерцающему огоньку в черной бездне ночи. Но ставши познанным, оно становится плоским, серым и неразличимо сливается с серым фоном будней.

— Вы — поэт, господин Сневар, — заметил я еще рассеянное.

— А как же, — сказал хозяин. — Ну вот вы и дома. Располагайтесь, отдыхайте, делайте что хотите. Лыжи, мази, снаряжение — все к вашим услугам внизу, обращайтесь при необходимости прямо ко мне. Обед в шесть, а если вздумаете перекусить сейчас или освежиться — я имею в виду напитки, — обращайтесь к Кайсе. Приветственную вас.

И он ушел.

Кайса все трудилась над постелью, доводя ее до немислимого совершенства, а я достал сигарету, закурил и подошел к окну. Я был один. Благословенное небо, всеблагий господи, наконец-то я был один! Я знаю — нехорошо так говорить и даже думать, но до чего же в наше время сложно устроиться таким образом, чтобы хоть на неделю, хоть на сутки, хоть на несколько часов остаться в одиночестве! Нет, я люблю своих детей, я люблю свою жену, у меня нет никаких злых чувств к моим родственникам, и большинство моих друзей и знакомых вполне тактичные и приятные в общении люди. Но когда изо дня

в день, из часа в час они непрерывно толкуются около меня, сменяя друг друга, и нет никакой, ни малейшей возможности прекратить эту толчею, отделить себя от всех, запереться, отключиться... Сам я этого не читал, но вот сын утверждает, будто главный бич человека в современном мире — это одиночество и отчужденность. Не знаю, не уверен. Либо все это поэтические выдумки, либо такой уж я невезучий человек. Во всяком случае, для меня две недельки отчужденности и одиночества — это как раз то, что нужно. И чтобы не было ничего такого, что я обязан делать, а было бы только то, что мне хочется делать. Сигарета, которую я закурю, потому что мне хочется, а не потому, что мне суют под нос пачку. И которую я не закурю, если мне не хочется, а не потому, что мадам Зельц не выносит табачного дыма. Рюмка бренди у горящего камина — именно в тот момент, не раньше и не позже, когда мне придет в голову, что выпить рюмку бренди у горящего камина — это хорошо. Это действительно будет неплохо. Вообще мне здесь, кажется, будет неплохо. И это просто прекрасно, мне хорошо с самим собой, с моим собственным телом, еще сравнительно не старым, еще крепким, которое можно будет поставить на лыжи и бросить вон туда, через всю равнину, к сиреневым отрогам, по свистящему снегу, и вот тогда станет совсем уже прекрасно...

— Принести что-нибудь? — спросила Кайса. — Угодно?

Я посмотрел на нее, и она опять повела плечом и закрылась ладонью. Была она в пестром платье в обтяжку, которое топорщилось на ней спереди и сзади, в крошечном кружевном фартуке, шею охватывало ожерелье из крупных деревянных бусин. Носки она держала несколько внутри и не была похожа ни на одну из моих знакомых, и это было хорошо.

— Кто у вас тут сейчас живет? — спросил я.

— Где?

— У вас. В отеле.

— В отеле? У нас тут? Да живут здесь...

— Кто именно?

— Ну — кто? Господин Мозес живет с женой. В первом и втором. И в третьем тоже. Только там они не живут. А может, с дочерью. Не разобрать. Красавица, все глазами смотрит...

— Так-так, — сказал я, чтобы ее подбодрить.

— Господин Симонэ живут. Тут вот, напротив. Ученые. Все на бильярде играют и по стенам ползают.

Шалуны они, только унылые. На психической почве. — Она снова покраснелась и принялась водить плечами.

— А еще кто? — спросил я.

— Господин дю Барнстокр, гипнотизеры из цирка...

— Барнстокр? Тот самый?

— Не знаю, может, и тот. Гипнотизеры... И Брюн...

— Кто это — Брюн?

— Да с мотоциклом они, в штанах. Тоже шалуны, хоть и молоденькие совсем.

— Так, — сказал я. — Все?

— Еще кто-то живет. Недавно вроде бы приехали. Только они просто так... Стоят просто. Не спят, не едят, только на постое стоят...

— Не понимаю, — признался я.

— А и никто не понимает. Стоят, и все. Газеты читают. Давеча туфли у господина дю Барнстокра утащили. Ищем, ищем везде — нет туфель. А они их в музей занесли, да там и оставили. И еще следы оставляют...

— Какие? — Очень мне хотелось ее понять.

— Мокрые. Так по всему коридору и идут. А еще манеру взяли мне звонить. То из одного номера, то из другого. Приду, а там никого нет.

— Ну ладно, — сказал я со вздохом. — Не понять мне тебя, Кайса. И не надо. Пойду-ка я лучше в душ.

Я раздавил окурок в девственно-чистой пепельнице и отправился в спальню за бельем. Там я сложил на столике в изголовье стопку книг, подумав мельком, что зря я их, пожалуй, сюда тащил, сбросил ботинки, сунул ноги в шлепанцы и, захватив купальное полотенце, отправился в душ. Кайса уже ушла, пепельница на столе снова сияла девственной чистотой. В коридоре было пустынно, откуда-то доносилось постукивание бильярдных шаров — должно быть, развлекался унылый шалун на психической почве. Как его... Симонэ, кажется.

Дверь в душевую я обнаружил на лестничной площадке, и дверь эта оказалась заперта. Некоторое время я стоял в нерешительности, осторожно крутя пластмассовую ручку. Кто-то неторопливо, грузным шагом прошел по коридору. Можно, конечно, спуститься в душевую на первом этаже, подумал я. А можно и не спускаться. Можно сначала пробежаться на лыжах. Я рассеянно уставился на деревянную лестницу, ведущую, видимо, на крышу. Или, например, подняться на крышу и полюбоваться видом. Говорят, здесь неопишимо хороши восходы и закаты. А все-таки свинство, что душ заперт. Или там кто-то засел? Да нет, тихо... Я еще раз подергал

ручку. А, ладно. Бог с ним, с душем. Успеется. Я повернулся и пошел к себе.

Что-то изменилось в моем номере, я почувствовал это сразу. Через секунду я понял: пахло трубочным табаком, совсем как в номере-музее. Я немедленно взглянул на пепельницу. Курящейся трубки там не было — была горка пепла вперемешку с табачными крошками. На постое стоят, вспомнилось мне. Не пьют, не едят, только следы оставляют...

И тут рядом кто-то протяжно и громко зевнул. Из спальни, стуча когтями, лениво вышел сенбернар Лель, с ухмылкой посмотрел на меня и потянулся.

— Ах, так это ты здесь курил? — сказал я.

Лель подмигнул и помотал головой. Словно муху отгонял.

Глава вторая

Судя по следам на снегу, кто-то здесь уже пытался ходить на лыжах — отъехал метров на пятьдесят, падая на каждом шагу, а затем возвратился, проваливаясь по колено, таща лыжи и палки в охапке, роняя их, подбирая и снова роняя, — казалось, над этими скорбными голубыми рытвинами и шрамами в снегу до сих пор не осели замерзшие проклятия. Но в остальном снежный покров долины был чист и нетронут, как новенькая накрахмаленная простыня.

Я попрыгал на месте, пробуя крепления, гикнул и побежал навстречу солнцу, все наращивая темп, зажмурившись от солнца и наслаждения, с каждым выдохом выбрасывая из себя скуку прокуренных кабинетов, затхлых бумаг, слезливых подследственных и брюзжащего начальства, тоску заунывных политических споров и бородатых анекдотов, мелочных хлопот жены и наскоков подрастающего поколения... унылые заслякощенные улицы, провонявшие сургучом коридоры, пустые пасти угрюмых, как подбитые танки, сейфов, выцветшие голубенькие обои в столовой, и выцветшие розовенькие обои в спальне, и забрызганные чернилами желтенькие обои в детской... с каждым выдохом освобождаясь от самого себя — казенного, высокоморального, до скрипучести законопослушного человечка со светлыми пуговицами, внимательного мужа и примерного отца, хлебосольного товарища и приветливого родственника, радуясь, что все это уходит, надеясь, что все это уходит безвозвратно, что

отныне все будет легко, упруго, кристально чисто, в бешеном, веселом, молодом темпе, и как же это здорово, что я сюда приехал... молодец Згут, умница Згут, спасибо тебе, Згут, хоть ты и lupишь своих «медвежатников» по мордам... и какой же я еще крепкий, ловкий, сильный — могу вот так, по идеальной прямой, сто тысяч километров по идеальной прямой, а могу вот так, круто вправо, круто влево, выбросив из-под лыж тонну снега... а ведь я уже три года не ходил на лыжах, с тех самых пор, как мы купили этот проклятый новый домик, и на кой черт мы это сделали, снабдились приютом на старость, всю жизнь работаешь на старость... а, черт с ним со всем, не хочу я об этом сейчас думать, черт с ней, со старостью, черт с ним, с домиком, и черт с тобой, Петер, Петер Глебски, законолюбивый чиновник, спаси тебя бог... Потом волна первого восторга схлынула, и я обнаружил, что стою возле дороги, мокрый, задыхающийся, с ног до головы запорошенный снежной пылью. Просто удивительно, как быстро проходят волны восторга. Грызть себя, уязвлять себя, нудить и зудеть можно часами и сутками, а восторг приходит и тут же уходит. Вот и уши ветром заложило... Я снял перчатку, сунул мизинец в ухо, повертел и вдруг услышал трескучий грохот, словно по соседству шел на посадку спортивный биплан. Я едва успел протереть очки, как он пронесся мимо меня — не биплан, конечно, а громадный мотоцикл из этих новых, которые пробивают стены и губят больше жизней, чем все насильники, грабители и убийцы, вместе взятые. Он обдал меня опметками снега, очки снова залепило, но я все-таки заметил тощую согнутую фигуру, развевающиеся черные волосы и торчащий, как доска, конец красного шарфа. За ездy без шлема, подумал я автоматически, пятьдесят крон штрафа и лишение водительского удостоверения на месяц... Впрочем, не могло быть и речи о том, чтобы разглядеть номер — я не мог разглядеть даже отель и половину долины в придачу — снежное облако поднялось до неба. А, какое мне дело! Я навалился на палки и побежал вдоль дороги вслед за мотоциклом к отелю.

Когда я подъехал, мотоцикл остывал перед крыльцом. Рядом на снегу валялись громадные кожаные перчатки с раструбами. Я воткнул лыжи в сугроб, почистился и снова посмотрел на мотоцикл. До чего все-таки зловещая машина. Так и чудится, что в следующем году отель станет называться «У Погибшего Мотоциклиста». Хозяин возьмет вновь прибывшего гостя за руку и скажет, показывая на проломленную стену: «Сюда. Сюда он

врезался на скорости сто двадцать миль в час и пробил здание насквозь. Земля дрогнула, когда он ворвался в кухню, увлекая за собою четыреста тридцать два кирпича...» Хорошая вещь — реклама, подумал я, поднимаясь по ступенькам. Приду вот сейчас к себе в номер, а за моим столом расселся скелет с дымящейся трубкой в зубах, и перед ним фирменная настойка на мухоморах, три кроны литр.

Посередине холла стоял невообразимо длинный и очень сутулый человек в черном фраке с фалдами до пят. Заложив руки за спину, он строго выговаривал тощему гибкому существу неопределенного пола, изящно развалившемуся в глубоком кресле. У существа было маленькое бледное личико, наполовину скрытое огромными черными очками, масса черных спутанных волос и пушистый красный шарф.

Когда я закрыл за собою дверь, длинный человек замолчал и повернулся ко мне. У него оказался галстук бабочкой и благороднейших очертаний лицо, украшенное аристократическим носом. Такой нос мог быть только у одного человека, и этот человек не мог не быть той самой знаменитостью. Секунду он разглядывал меня, словно бы в недоумении, затем сложил губы куриной гузкой и двинулся мне навстречу, протягивая узкую белую ладонь.

— Дю Барнстокр, — почти пропел он. — К вашим услугам.

— Неужели тот самый дю Барнстокр? — с искренней почтительностью осведомился я, пожимая его руку.

— Тот самый, сударь, тот самый, — произнес он. — С кем имею честь?

Я отрекомендовался, испытывая какую-то дурацкую робость, которая нам, полицейским чиновникам, вообще несвойственна. Ведь с первого же взгляда было ясно, что такой человек не может не скрывать доходов и налоговые декларации заполняет туманно.

— Какая прелесть! — пропел вдруг дю Барнстокр, хватая меня за лацкан. — Где вы это нашли? Брюн, дитя мое, взгляните, какая прелесть!

В пальцах у него оказалась синенькая фиалка. И запахло фиалкой. Я заставил себя поаплодировать, хотя таких вещей не люблю. Существо в кресле зевнуло во весь маленький рот и закинуло одну ногу на подлокотник.

— Из рукава, — заявило оно хриплым басом. — Хилая работа, дядя.

— Из рукава! — грустно повторил дю Барнстокр. — Нет, Брюн, это было бы слишком элементарно. Это действительно была бы, как вы выражаетесь, хилая работа. Хилая и недостойная такого знатока, как господин Глебски.

Он положил фиалку на раскрытую ладонь, поглядел на нее, задрал брови, и фиалка пропала. Я закрыл рот и потряс головой. У меня не было слов.

— Вы мастерски владеете лъжками, господин Глебски, — сказал дю Барнстокр. — Я следил за вами из окна. И надо сказать, получил истинное наслаждение.

— Ну что вы, — пробормотал я. — Так, бегал когда-то...

— Дядя, — воззвало вдруг существо из недр кресла. — Сотворите лучше сигаретку.

Дю Барнстокр, казалось, спохватился.

— Да! — сказал он. — Позвольте представить вам, господин Глебски: это Брюн, единственное дитя моего дорогого покойного брата... Брюн, дитя мое!

Дитя неохотно выбралось из кресла и приблизилось. Волосы у него были богатые, женские, а впрочем, может быть, и не женские, а, так сказать, юношеские. Ноги, затянутые в эластик, были тощие, мальчишеские, а впрочем, может быть, совсем наоборот — стройные девичьи. Куртка же была размера на три больше, чем требовалось. Одним словом, я бы предпочел, чтобы дю Барнстокр представил чадо своего дорогого покойника просто как племянницу или племянника. Дитя равнодушно улыбнулось мне розовым нежным ртом и протянуло обветренную исцарапанную руку.

— Хорошо мы вас шуганули? — осведомилось оно сыплю. — Там, на дороге...

— Мы? — переспросил я.

— Ну, не мы, конечно. Буцефал. Он это умеет... Все очки ему залепил, — сообщило оно дяде.

— В данном случае, — любезно пояснил дю Барнстокр, — Буцефал не есть легендарный конь Александра Македонского. В данном случае Буцефал — это мотоцикл, безобразная и опасная машина, которая медленно убивает меня на протяжении двух последних лет и в конце концов, как я чувствую, вгонит меня в гроб.

— Сигаретку бы, — напомнило дитя.

Дю Барнстокр удрученно покачал головой и беспомощно развел руки. Когда он их свел опять, между пальцами у него дымилась сигарета, и он протянул ее чаду. Чадо затянулось и капризно буркнуло:

— Опять с фильтром...

— Вы, наверное, захотите принять душ после вашего броска, — сказал мне джо Барнстокр. — Скоро обед...

— Да, — сказал я. — Конечно. Прошу прощения.

Для меня было большим облегчением удрать от этой компании. Я не чувствовал себя в форме. Меня застали врасплох. Все-таки знаменитый фокусник на арене — это одно, а знаменитый фокусник в частной жизни — это совсем другое. Я кое-как откланялся и пошел шагать через три ступеньки на свой этаж.

В коридоре по-прежнему было пусто, где-то в отдалении по-прежнему сухо пощелкивали бильярдные шары. Проклятый душ был по-прежнему заперт. Я кое-как умылся у себя в номере, переоделся и, взяв сигарету, завалился на диван. Мною овладела приятная истома, и на несколько минут я даже задремал. Разбудил меня чей-то взвизг и зловещий рыдающий хохот в коридоре. Я подскочил. В ту же минуту в дверь постучали, и голос Кайсы промяукал: «Кушать, пожалуйста!» Я откликнулся в том смысле, что да-да, сейчас иду, и спустил ноги с дивана, нашаривая туфли. «Кушать, пожалуйста!» — донеслось издали, а потом еще раз: «Кушать, пожалуйста!», а потом снова короткий визг и призрачный хохот. Мне даже послышалось бряканье ржавых цепей.

Я причесался перед зеркалом, опробовал несколько выражений лица, как-то: рассеянное любезное внимание; мужественная замкнутость профессионала; простодушная готовность к любым знакомствам и ухмылка типа «гъ». Ни одно выражение не показалось мне подходящим, поэтому я не стал далее утруждать себя, сунул в карман сигареты для чада и вышел в коридор. Выйдя, я остолбенел.

Дверь номера напротив была распахнута. В проеме, у самой притолоки, упираясь ступнями в одну филенку, а спиной — в другую, висел молодой человек. Поза его при всей неестественности казалась вполне непринужденной. Он глядел на меня сверху вниз, скалил длинные желтоватые зубы и отдавал по-военному честь.

— Здравствуйте, — сказал я, помолчав. — Вам помочь?

Тогда он мягко, как кошка, спрыгнул на пол и, продолжая отдавать честь, встал передо мною во фронт.

— Честь имею, инспектор, — сказал он. — Разрешите представиться: старший лейтенант от кибернетики Симон Симонэ.

— Вольно, — сказал я, и мы пожали друг другу руки.

— Собственно, я физик, — сказал он. — Но «от кибернетики» звучит почти так же плавно, как «от инфантерии». Получается смешно. — И он неожиданно разразился тем самым ужасным рыдающим хохотом, в котором чудились сырые подземелья, невыводимые кровавые пятна и звон ржавых цепей на прикованных скелетах.

— Что вы там делали наверху? — спросил я, преодолевая оторопь.

— Тренировался, — отвечал он. — Я ведь альпинист...

— Погибший? — сострил я и сейчас же пожалел об этом, потому что он снова обрушил на меня лавину своего замогильного хохота.

— Неплохо, неплохо для начала, — проговорил он, вытирая глаза. — Нет, я еще живой. Я приехал сюда ползать по скалам, но никак не могу до них добраться. Вокруг снег. Вот я и лазаю по дверям, по стенам... — Он вдруг замолчал и взял меня под руку. — Собственно говоря, — сказал он, — я приехал сюда проветриться. Переутомление. Проект «Мидас», слышали? Совершенно секретно. Четыре года без отпуска. Вот врачи и прописали мне курс чувственных удовольствий. — Он снова захохотал, но мы уже дошли до столовой. Оставив меня, он устремился к столику, где были расставлены закуски. — Держитесь за мной, инспектор, — гаркнул он на бегу. — Торопитесь, а не то друзья и близкие Погибшего съедят всю икру...

Столовая была большая, в пять окон. Посередине стоял огромный овальный стол персон на двадцать; роскошный, почерневший от времени буфет сверкал серебряными кубками, многочисленными зеркалами и разноцветными бутылками; скатерть на столе была крахмальная, посуда — прекрасного фарфора, приборы — серебряные, с благородной чернью. Но при всем при том порядки здесь, видимо, были самые демократические. На столике для закусок красовались закуски — хватай, что успеешь. На другой столик, поменьше, Кайса водружала фаянсовые лохани с овощным супом и бульоном — сам выбирай, сам наливай. Для желающих освежиться существовала буфетная батарея — бренди, ирландский джин, пиво и фирменная настойка на лепестках эдельвейса, как утверждал Згут.

За столом уже сидели дю Барнстокр и чадо. Дю Барнстокр изящно помешивал серебряной ложечкой в тарелке с бульоном и укоризненно косился на чадо, которое, растопырив на столе локти, уплетало овощной суп.

Во главе стола царилла незнакомая мне дама ослепительной и странной красоты. Лет ей было не то двадцать, не то сорок, нежные смугло-голубоватые плечи, лебединая шея, огромные полузакрытые глаза с длинными ресницами, пепельные, высоко взбитые волосы, бесценная диадема — это была, несомненно, госпожа Мозес, и ей, несомненно, было не место за этим простоватым табльдотом. Таких женщин я видел раньше только на фото в великосветских журналах и в супербоевиках.

Хозяин, огибая стол, уже направлялся ко мне с подносиком в руке. На подносике в хрустальной граненой рюмке жутко голубела настойка.

— Боевое крещение! — объявил хозяин, приблизившись. — Набирайте закуску поострее.

Я повиновался. Я положил себе маслин и икры. Потом я посмотрел на хозяина и положил пикуль. Потом я посмотрел на настойку и выдавил на икру пол-лимона. Все смотрели на меня. Я взял рюмку, выдохнул воздух (еще пару затхлых кабинетов и коридоров) и вылил настойку в рот. Я содрогнулся. Все смотрели на меня, поэтому я содрогнулся только мысленно и откусил половину пикуля. Хозяин крикнул. Симонэ тоже крикнул. Госпожа Мозес произнесла хрустальным голосом: «О! Это настоящий мужчина». Я улыбнулся и засунул в рот вторую половину пикуля, горько сожалея, что не бывает пикулей величиной с дыню. «Дает!» — отчетливо произнесло чадо.

— Госпожа Мозес! — произнес хозяин. — Разрешите представить вам инспектора Глебски.

Пепельная башня во главе стола чуть качнулась, поднялись и опустились чудные ресницы.

— Господин Глебски! — сказал хозяин. — Госпожа Мозес.

Я поклонился. Я бы с удовольствием согнулся пополам, так у меня пекло в животе, но она улыбнулась, и мне сразу полегчало. Скромно отвернувшись, я покончил с закуской и отправился за супом. Хозяин усадил меня напротив Барнстокров, так что справа от меня, к сожалению, слишком далеко, оказалась госпожа Мозес, а слева, к сожалению, слишком близко, оказался унылый шалун Симонэ, готовый в любую минуту разразиться жутким хохотом.

Разговор за столом направлял хозяин. Говорили о загадочном и непознанном, а точнее — о том, что в отеле происходят в последние дни странные вещи. Меня как новичка посвятили в подробности. Дю Барнстокр под-

твердил, что действительно два дня назад у него пропали туфли, которые обнаружили только к вечеру в номере-музее. Симонэ, похотывая, сообщил, что кто-то читает его книги — по преимуществу специальную литературу — и делает на полях пометки — по преимуществу совершенно безграмотные. Хозяин, заходясь от удовольствия, поведал о сегодняшнем случае с дымящейся трубкой и газетой и добавил, что ночами кто-то бродит по дому. Он слышал это своими ушами и один раз даже видел белую фигуру, скользнувшую от входной двери через холл по направлению к лестнице. Госпожа Мозес, нисколько не чинясь, охотно подтвердила эти сообщения и добавила, что вчера ночью кто-то заглянул к ней в окно. Дю Барнстокр тоже подтвердил, что кто-то ходит, но лично он считает, что это всего лишь наша добрая Кайса, так ему, во всяком случае, показалось. Хозяин заметил, что это совершенно исключено, а Симон Симонэ похвастался, будто он вот спит по ночам как мертвый и ничего такого не слышал. Но он уже дважды замечал, что лыжные ботинки его постоянно пребывают в мокром состоянии, как будто кто-то ночью бегаёт в них по снегу. Я, потешаясь про себя, рассказал про случай с пепельницей и сенбернарном, а чадо хрипло объявило — к сведению всех присутствующих, — что оно, чадо, в общем ничего особенного против этих штук-дрючек не имеет, оно к этим фокусам-покусам привыкло, но совершенно не терпит, когда посторонние валяются на его, чадиной, постели. При этом оно так целилось в меня своими окулярами, что я порадовался, что приехал только сегодня.

Атмосферу сладкой жути, воцарившуюся за столом, нарушил господин физик.

— Приезжает как-то один штабс-капитан в незнакомый город, — объявил он. — Останавливается в гостинице и велит позвать хозяина...

Внезапно он замолчал и огляделся.

— Пардон, — произнес он. — Я не уверен, что в присутствии дам, — тут он поклонился в сторону госпожи Мозес, — а также юно... э-э... юношества, — он посмотрел на чадо, — э-э...

— А, дурацкий анекдот, — сказала чадо с пренебрежением. — «Все прекрасно, но не делится пополам». Этот?

— Именно! — воскликнул Симонэ и разразился хохотом.

— Делится пополам? — улыбаясь, спросила госпожа Мозес.

— Не делится! — сердито поправило чадо.

— Ах, не делится? — удивилась госпожа Мозес. — А что именно не делится?

Дитя открыло было рот, но дю Барнстокр сделал неуправляемое движение, и рот оказался заткнут большим румяным яблоком, от которого дитя тут же сочно откусило.

— В конце концов удивительное происходит не только в нашем отеле, — сказал дю Барнстокр. — Достаточно вспомнить, например, о знаменитых летающих неопознанных объектах...

Чадо с грохотом отодвинуло стул, поднялось и, продолжая хрустеть яблоком, направилось к выходу. Черт знает что! То вдруг чудилось в этой стройной ладной фигуре молоденькая прелестная девушка. Но стоило смягчиться душою, и девушка пропадала, а вместо нее самым непристойным образом появлялся расхлябанный нагловатый подросток — из тех, что разводят блох на пляжах и накачивают себя наркотиками в общественных уборных. Я все размышлял, у кого бы спросить, мальчик это, черт возьми, или девочка, а дю Барнстокр продолжал журчать:

— ...Джордано Бруно, господа, был сожжен не зря. Космос, несомненно, обитаем не только нами. Вопрос лишь в плотности распределения разума во Вселенной. По оценкам различных ученых — господин Симонэ поправит меня, если я ошибаюсь, — только в нашей Галактике может существовать до миллиона обитаемых солнечных систем. Если бы я был математиком, господа, я бы на основании этих данных попытался установить вероятность хотя бы того, что наша Земля является объектом чьего-то научного внимания...

Самого дю Барнстокра спросить как-то неловко, размышлял я. К тому же он, по-моему, и сам не знает. Откуда ему знать? Дитя и дитя. И дело с концом. Любознному хозяину наверняка наплевать. Кайса глупа. У Симонэ спросить — пережить лишний вал загробного веселья... Впрочем, что это я? Мне-то какое до этого дело?.. Жаркого еще взять, что ли?.. Кайса, конечно, глупа, но в кулинарии толк знает...

— ...Согласитесь, — журчал дю Барнстокр, — мысль о том, что чужие глаза внимательно и прилежно изучают нашу старушку планету через бездны Космоса, — эта мысль уже сама по себе занимает воображение...

— Подсчитал, — сказал Симонэ. — Если они умеют отличать населенные системы от ненаселенных и наблю-

дают только населенные, то это будет единица минус «е» в степени минус единица.

— Неужели так и будет? — сдержанно ужаснулась госпожа Мозес, одаряя Симонэ восхищенной улыбкой.

Симонэ заржал. Он даже на стуле задвигался. Глаза его увлажнились.

— Сколько же это будет в численном выражении? — осведомился дю Барнстокр, переждав сей акустический налет.

— Приблизительно две трети, — ответил Симонэ, вытирая глаза.

— Но это же огромная вероятность! — с жаром сказал дю Барнстокр. — Я понимаю это так, что мы почти наверняка являемся объектом наблюдения!

Тут дверь в столовую за моей спиной загрохотала и задребезжала, как будто ее толкали плечом с большой силой.

— На себя! — крикнул хозяин. — На себя, пожалуйста!

Я обернулся, и в ту же секунду дверь распахнулась. На пороге появилась удивительная фигура. Массивный пожилой мужчина с совершенно бульдожьим лицом, облаченный в какое-то нелепое подобие средневекового камзола цвета семги с полами до колен. Под камзолом виднелись форменные брюки с золотыми генеральскими лампасами. Одну руку он держал за спиной, а другой сжимал высокую металлическую кружку.

— Ольга! — прорычал он, глядя перед собой мутными глазами. — Супу!

Возникла короткая суета. Госпожа Мозес с какой-то недостойной торопливостью бросилась к столику с супами, хозяин отвалился от буфета и принялся совершать руками движения, означающие готовность всячески услужить, Симонэ поспешно набил рот картофелем и выкатил глаза, чтобы не загоготать, а господин Мозес — ибо, несомненно, это был он, — торжественно вздрагивая щеками, пронес свою кружку к стулу напротив госпожи Мозес и там уселся, едва не промахнувшись мимо сиденья.

— Погода, господа, нынче — снег, — объявил он. Он был совершенно пьян. Госпожа Мозес поставила перед ним суп, он сурово заглянул в тарелку и отхлебнул из кружки. — О чем речь? — осведомился он.

— Мы обсуждали здесь возможность посещения Земли визитерами из космического пространства, — пояснил дю Барнстокр, приятно улыбаясь.

— Что это вы имеете в виду? — спросил господин

Мозес, с огромным подозрением уставясь поверх кружки на дю Барнстокра. — Не ожидал этого от вас, Барн... Барл... дю!

— О, это чистая теория! — легко воскликнул дю Барнстокр. — Господин Симонэ подсчитал нам вероятность...

— Вздор, — сказал господин Мозес. — Чепуха. Математика — это не наука... А это кто? — спросил он, выкатывая на меня правый глаз. Мутный какой-то глаз, нехороший.

— Позвольте представить, — поспешно сказал хозяин. — Господин Мозес — господин инспектор Глебски. Господин Глебски — господин Мозес.

— Инспектор... — проворчал Мозес. — Фальшивые квитанции, подложные паспорта... Так вы имейте в виду, Глебски, у меня паспорта не подложные. Память хорошая?

— Не жалуюсь, — сказал я.

— Ну так вот, не забывайте. — Он снова строго посмотрел в тарелку и отхлебнул из кружки. — Хороший суп сегодня, — сообщил он. — Ольга, убери это и дай какого-нибудь мяса. Но что же вы замолчали, господа? Продолжайте, продолжайте, я слушаю.

— По поводу мяса, — сейчас же сказал Симонэ. — Некий чревоугодник заказал в ресторане филе...

— Филе. Так! — одобрительно сказал господин Мозес, пытаясь разрезать жаркое одной рукой. Другую руку он не отнимал от кружки.

— Официант принял заказ, — продолжал Симонэ, — а чревоугодник в ожидании любимого блюда разглядывает девиц на эстраде...

— Смешно, — сказал господин Мозес. — Очень смешно пока. Соли маловато. Ольга, подай сюда соль. Ну-с?

Симонэ заколебался.

— Пардон, — сказал он нерешительно. — У меня тут появились сильнейшие опасения...

— Так. Опасения, — удовлетворенно повторил господин Мозес. — А дальше?

— Все, — сказал с унынием Симонэ и откинулся на спинку стула.

Мозес воззрился на него.

— Как — все? — спросил он с негодованием. — Но ему принесли филе?

— М-м... Собственно... Нет, — сказал Симонэ.

— Это наглость, — сказал Мозес. — Надо было вызвать метрдотеля. — Он с отвращением отодвинул от

себя тарелку. — На редкость неприятную историю вы рассказали нам, Симонэ.

— Уж какая есть, — сказал Симонэ, бледно улыбаясь. Мозес отхлебнул из кружки и повернулся к хозяину.

— Сневар, — сказал он, — вы нашли негодяя, который крадет туфли? Инспектор, вот вам работа. Займитесь-ка на досуге. Все равно вы здесь бездельничаете. Какой-то негодяй крадет туфли и заглядывает в окна.

Я хотел было ответить, что займусь обязательно, но тут чадо завело под самыми окнами своего Буцефала. Стекла в столовой задребезжали, разговаривать стало затруднительно. Все уткнулись в тарелки, а дю Барнстокр, прижав растопыренную пятерню к сердцу, расточал направо и налево немые извинения. Потом Буцефал взревел совсем уж невыносимо, за окнами взлетело облако снежной пыли, рев стремительно удалился и превратился в едва слышное жужжание.

— Совершенно как на Ниагаре, — прозвенел хрустальный голосок госпожи Мозес.

— Как на ракетодроме! — возразил Симонэ. — Зверская машина.

Кайса на цыпочках приблизилась к господину Мозесу и поставила перед ним графин с ананасным сиропом. Мозес благосклонно посмотрел на графин и отхлебнул из кружки.

— Инспектор, — произнес он, — а что вы думаете по поводу этих краж?

— Я думаю, что это шутки кого-то из присутствующих, — ответил я.

— Странная мысль, — неодобрительно сказал Мозес.

— Нисколько, — возразил я. — Во-первых, во всех этих действиях не усматривается никаких иных целей, кроме мистификации. Во-вторых, собака ведет себя так, словно в доме только свои.

— О да! — произнес хозяин глухим голосом. — Конечно, в доме только свои. Но он был для Леля не просто своим. Он был для него богом, господом!

Мозес уставился на него.

— Кто ОН? — спросил он строго.

— ОН. Погибший.

— Как интересно! — прошебетала госпожа Мозес.

— Не забивайте мне голову, — сказал Мозес хозяину. — А если вы знаете, кто занимается этими вещами, то посоветуйте — действительно посоветуйте! — ему прекратить. Вы меня понимаете? — Он обвел нас налитыми глазами. — Иначе я тоже начну шутить! — рявкнул он.

Воцарилось молчание. По-моему, все пытались представить себе, чем все это кончится, если Мозес тоже начнет шутить. Не знаю, как у других, а у меня картина получилась очень уж безотрадная. Мозес разглядывал каждого из нас по очереди, не забывая прихлебывать из кружки. Совершенно невозможно было понять, кто он таков и что здесь делает. И почему на нем этот шутовской лапсердак? (Может быть, он уже начал шутить?) И что у него в кружке? И почему она у него все время словно бы полна, хотя он на моих глазах уже прикладывался к ней раз пятьдесят и весьма основательно?

Потом госпожа Мозес отставила тарелку, приложила к прекрасным губам салфетку и, подняв глаза к потолку, сообщила:

— Ах, как я люблю красивые закаты! Этот пир красок!

Я немедленно ощутил сильнейший позыв к одиночеству. Я встал и сказал твердо:

— Благодарю вас, господа. До ужина.

Глава третья

— Представления не имею, кто он такой, — произнес хозяин, разглядывая стакан на свет. — Записался он у меня в книге коммерсантом, путешествующим по собственной надобности. Но он не коммерсант. Полоумный алхимик, волшебник, изобретатель... но только не коммерсант.

Мы сидели в каминной. Жарко полыхал уголь, кресла были старинные, настоящие, надежные. Портвейн был горячий, с лимоном, ароматный. Полутьма была уютная, красноватая, совершенно домашняя. На дворе началась пурга, в каминной трубе посвистывало. В доме было тихо, только временами издалека, как с кладбища, доносились взрывы рыдающего хохота да резкие, как выстрелы, трески удачных клапштосов. На кухне Кайса позвякивала кастрюлями.

— Коммерсанты обычно скупы, — продолжал хозяин задумчиво. — А господин Мозес не скуп, нет. «Могу ли я осведомиться, — спросил я его, — чьей рекомендации обязан я честью вашего посещения?» Вместо ответа он вытащил из бумажника стокроновый билет, поджег его зажигалкой, раскурил от него сигарету и, выпустив дым мне в лицо, ответил: «Я — Мозес, сударь. Альберт

Мозес! Мозес не нуждается в рекомендациях. Мозес везде и всюду дома». Что вы на это скажете?

Я подумал.

— У меня был знакомый фальшивомонетчик, который вел себя примерно так же, когда у него спрашивали документы, — сказал я.

— Отпадает, — с удовольствием сказал хозяин. — Билеты у него настоящие.

— Значит, взбесившийся миллионер.

— То, что он миллионер, это ясно, — сказал хозяин. — А вот кто он такой? Путешествует по собственной надобности... По моей долине не путешествуют. У меня здесь ходят на лыжах или лазят по скалам. Здесь тупик. Отсюда никуда нет дороги.

Я совсем лег в кресло и скрестил ноги. Было необычайно приятно расположиться таким вот образом и с самым серьезным видом размышлять, кто такой господин Мозес.

— Ну хорошо, — сказал я. — Тупик. А что делает в этом тупике знаменитый господин дю Барнстокр?

— О, господин дю Барнстокр — это совсем другое дело. Он приезжает ко мне ежегодно вот уже тринадцатый год подряд. Впервые он приехал еще тогда, когда отель назывался просто «Шалаш». Он без ума от моей настойки. А господин Мозес, осмелюсь заметить, постоянно навеселе, а между тем за все время не взял у меня ни бутылки.

Я значительно хмыкнул и сделал хороший глоток.

— Изобретатель, — решительно сказал хозяин. — Изобретатель или волшебник.

— Вы верите в волшебников, господин Сневар?

— Алек, если вам будет угодно. Просто Алек.

Я поднял стакан и сделал еще один хороший глоток в честь Алека.

— Тогда зовите меня просто Петер, — сказал я.

Хозяин торжественно кивнул и сделал хороший глоток в честь Петера.

— Верю ли я в волшебников? — сказал он. — Я верю во все, что могу себе представить, Петер. В волшебников, в господ бога, в дьявола, в привидения... в летающие тарелки... Раз человеческий мозг может все это вообразить, значит, все это где-то существует, иначе зачем бы мозгу такая способность?

— Вы философ, Алек.

— Да, Петер, я философ. Я поэт, философ и механик. Вы видели мои вечные двигатели?

— Нет. Они работают?

— Иногда. Мне приходится часто останавливать их, слишком быстро изнашиваются детали... Кайса! — заорал он вдруг так, что я вздрогнул. — Еще стакан горячего портвейна господину инспектору!

Вошел сенбернар, обнюхал нас, с сомнением поглядел на огонь, отошел к стене и с грохотом обрушился на пол.

— Лель, — сказал хозяин. — Иногда я завидую этому псу. Он многое, очень многое видит и слышит, когда бродит ночами по коридорам. Он мог бы многое рассказать нам, если бы умел. И если бы захотел, конечно.

Появилась Кайса, очень румяная и слегка растрепанная. Она подала мне стакан портвейна, сделала книксен, хихикнула и удалилась.

— Пышечка, — пробормотал я машинально. Все-таки это был уже третий стакан. Хозяин добродушно хохотнул.

— Неотразима, — признал он. — Даже господин дю Барнстокр не удержался и ущипнул ее вчера за зад. А уж что делается с нашим физиком...

— По-моему, наш физик имеет в виду прежде всего госпожу Мозес, — возразил я.

— Госпожа Мозес... — задумчиво произнес хозяин. — А вы знаете, Петер, у меня есть довольно веские основания предполагать, что никакая она не госпожа и не Мозес.

Я не возражал. Подумаешь...

— Вы, вероятно, уже заметили, — продолжал хозяин, — что она гораздо глупее Кайсы. И потом... — Он понизил голос. — По-моему, Мозес ее бьет.

Я вздрогнул.

— Как — бьет?

— По-моему, плеткой. У Мозеса есть плетка. Арапник. Едва я его увидел, как сразу задал себе вопрос: зачем господину Мозесу арапник? Вы можете ответить на этот вопрос?

— Ну, знаете, Алек... — сказал я.

— Я не настаиваю, — сказал хозяин. — Я ни на чем не настаиваю. И вообще о господине Мозесе заговорили вы, я бы никогда не позволил себе первым коснуться такого предмета. Я говорил о нашем великом физике.

— Ладно, — согласился я. — Поговорим о великом физике.

— Он гостит у меня не то третий, не то четвертый раз, — сказал хозяин, — и с каждым разом приезжает все более великим.

— Подождите, — сказал я. — Кого вы, собственно, имеете в виду?

— Господина Симонэ, разумеется. Неужели вы никогда раньше не слышали этого имени?

— Никогда, — сказал я. — А что, он попался на подлогах багажных квитанций?

Хозяин посмотрел на меня укоризненно.

— Героев национальной науки надо знать, — строго сказал он.

— Вы серьезно? — осведомился я.

— Абсолютно.

— Этот унылый шалун — герой национальной науки?

Хозяин покивал.

— Да, — сказал он. — Я понимаю вас... Конечно... Прежде всего манеры, а потом уже все остальное... Впрочем, вы правы. Господин Симонэ служит для меня неиссякаемым источником размышлений о разительном несоответствии между поведением человека, когда он отдыхает, и его значением для человечества, когда он работает.

— Гм... — произнес я. Это было почище арапника.

— Я вижу, вы не верите, — сказал хозяин. — Но должен вам заметить...

Он замолчал, и я почувствовал, что в каминной появился еще кто-то. Пришлось повернуть голову и скосить глаза. Это было единственное дитя покойного брата господина дю Барнстокра. Оно возникло совершенно неслышно и теперь сидело на корточках рядом с Лелем и гладило собаку по голове. Багровые блики от раскаленных углей светились в огромных черных очках. Дитя было какое-то очень одинокое, всеми забытое и маленькое. И от него исходил едва заметный запах пота, хороших духов и бензина.

— Метель какая... — сказала оно тоненьким жалобным голоском.

— Брюн, — сказал я. — Дитя мое. Снимите на минутку ваши ужасные очки.

— Зачем? — жалобно спросило чадо.

Действительно, зачем? — подумал я и сказал:

— Я хотел бы увидеть ваше лицо.

— Это совершенно не нужно, — сказала чадо, вздохнуло и попросило: — Дайте, пожалуйста, сигаретку.

Ну, конечно же, это была девушка. Очень милая девушка. И очень одинокая. Это ужасно — в таком возрасте быть одиноким. Я поднес ей пачку с сигаретами, я щелкнул зажигалкой, я поискал, что сказать, и не

нашел. Конечно, это была девушка. Она и курила, как девушка — короткими нервными затяжками.

— Как-то мне страшно, — сказала она. — Кто-то трогал ручку моей двери.

— Ну-ну, — сказал я. — Наверное, это был ваш дядя.

— Нет, — возразила она. — Дядя спит. Уронил книжку на пол и лежит с открытым ртом. И мне почему-то показалось, что он умер...

— Рюмку бренди, Брюн? — сказал хозяин глухим голосом. — Рюмка бренди не помешает в такую ночь, а, Брюн?

— Не хочу, — сказала Брюн и передернула плечами. — Вы еще долго будете здесь сидеть?

У меня сил не стало слушать этот жалобный голос.

— Черт возьми, Алек, — сказал я. — Вы хозяин или нет? Неужели нельзя приказать Кайсе провести ночь с бедной девушкой?

— Эта идея мне нравится, — сказала дитя, оживившись. — Кайса — это как раз то, что надо. Кайса или что-нибудь в этом роде.

Я в замешательстве опорожнил стакан, а дитя вдруг выпустило в камин длинный точный плевок и отправило следом окурок.

— Машина, — сказала оно сильным басом. — Слышите?

Хозяин поднялся, подхватил меховой жилет и направился к выходу. Я устремился за ним.

На дворе бушевала настоящая метель. Перед крыльцом стояла большая черная машина, возле нее в отсветах фар размахивали руками и ругались.

— Двадцать крон! — вопили фальцетом. — Двадцать крон и ни грошом меньше! Черт бы вас подрал, вы что, не видели, какая дорога?

— Да за двадцать крон я куплю тебя вместе с твоим драндулетом! — визжали в ответ.

Хозяин ринулся с крыльца.

— Господа! — загудел его мощный голос. — Это все пустяки!..

— Двадцать крон! Мне еще назад возвращаться!..

— Пятнадцать и ни гроша больше! Вымогатель! Дай мне твой номер, я запишу!..

— Скупердяй ты, вот и все! Из-за пятерки удавиться готов!..

Мне стало холодно, и я вернулся к камину. Ни собаки, ни чада здесь уже не было. Это меня огорчило. Я взял

свой стакан и направился в буфетную. В холле я задержался — дверь распахнулась, и на пороге появился громадный, залепленный снегом человек с чемоданом в руке. Он сказал «бр-р-р», мощно встряхнулся и оказался светловолосым викингом. Румяное лицо его было мокрое, на ресницах белым пухом лежали снежинки. Заметив меня, он коротко улыбнулся, показав ровные чистые зубы, и произнес приятным баритоном:

— Олаф Андварафорс. Можно просто Олаф!

Я тоже представился. Дверь снова распахнулась, появился хозяин с двумя баулами, а за ним — маленький, закутанный до глаз человечек, тоже весь залепленный снегом и очень недовольный.

— Проклятые хапуги! — говорил он с истерическим надрывом. — Подрядились за пятнадцать. Ясно, кажется, — по семь с половиной с носа. Почему двадцать? Что за чертовы порядки в этом городишке? Я, черт побери, в полицию его сволоку!..

— Господа, господа!.. — приговаривал хозяин. — Все это пустяки... Прошу вас сюда, налево... Господа!..

Маленький человечек, продолжая кричать про разбитые в кровь морды и про полицию, дал себя увлечь в контору, а викинг Олаф пробасил: «Скряга...» — и принялся оглядываться с таким видом, словно ожидал здесь обнаружить толпу встречающих.

— Кто он такой? — спросил я.

— Не знаю. Взяли одно такси. Другого не было.

Он замолчал, глядя через мое плечо. Я оглянулся. Ничего особенного там не было. Только чуть колыхалась портьера, закрывающая вход в коридор, который вел в каминную и к номерам Мозеса. Наверное, от сквозняка.

Глава четвертая

К утру метель утихла. Я поднялся на рассвете, когда отель еще спал, выскочил в одних трусах на крыльцо и, крикая и вскрикивая, хорошенько обтерся свежим пушистым снегом, чтобы нейтрализовать остаточное воздействие трех стаканов портвейна. Солнце едва высунулось из-за хребта на востоке, и длинная синяя тень отеля протянулась через долину. Я заметил, что третье окно справа на втором этаже распахнуто настежь. Видимо, кто-то даже ночью пожелал вдыхать целебный горный воздух.

Я вернулся к себе, оделся, запер дверь на ключ и

сбежал в буфетную. Кайса, красная, распаренная, уже возилась на кухне у пылающей плиты. Она поднесла мне кружку какао и сэндвич, и я уничтожил все это, стоя тут же в буфетной и слушая краем уха, как хозяин мурлыкает какую-то песенку у себя в мастерских. Только бы никого не встретить, думал я. Утро слишком хорошо для двоих. Думая об этом утре, об этом ясном небе, о золотом солнце, о пустой пушистой долине, я чувствовал себя таким же скрягой, как давешний, закутанный до бровей в шубу человечиска, закативший скандал из-за пяти крон. (Хинкус, ходатай по делам несовершеннолетних, в отпуске по болезни.) И я никого не встретил, кроме сенбернара Леля, который с доброжелательным безразличием наблюдал, как я застегиваю крепления, и утро, ясное небо, золотое солнце, пушистая белая долина — все это досталось мне одному.

Когда, совершив десятимильную пробежку к реке и обратно, я вернулся в отель перекусить, жизнь там уже была ключом. Все население вывалило погреться на солнышке. Чадо со своим Буцефалом на радость зрителям вспарывало и потрошило свежие сугробы — от обоих валил пар. Ходатай по делам несовершеннолетних, оказавшийся вне шубы жилистым остролицым типчиком лет тридцати пяти, гикая, описывал на лыжах сложные восьмерки вокруг отеля, не удаляясь, впрочем, слишком далеко. Сам господин дю Барнстокр взгромоздился на лыжи и был уже весь вывалиян в снегу, как неимоверно длинная и истощенная снежная баба. Что же касается викинга Олафа, то он демонстрировал танцы на лыжах, и я почувствовал себя несколько уязвленным, когда понял, что это — настоящий умелец. С плоской крыши на все это взирали блистательная госпожа Мозес в изящной меховой пелерине, господин Мозес в своем камзоле и с неизменной кружкой в руке и хозяин, что-то им втолковывающий. Я поискал глазами господина Симонэ. Великий физик тоже должен был быть где-то здесь — ржание и лай его я услышал мили за три от отеля. И он был здесь — висел на верхушке совершенно гладкого телефонного столба и отдавал мне честь.

Меня вообще приветствовали очень тепло. Господин дю Барнстокр поведал мне, что у меня появился достойный соперник, а госпожа Мозес с крыши прозвенела подобно серебряному колокольчику о том, что господин Олаф прекрасен, как возмужалый бог. Это меня кольнуло, и я не замедлил свалить дурака. Когда чадо, которое сегодня, несомненно, было парнем, таким диким анге-

лом без манер и без морали, предложило гонки на лыжах за мотоциклом, я бросил вызов судьбе и викингу и первым подхватил конец троса.

Десяток лет назад я занимался этим видом спорта, однако тогда мировая промышленность, по-видимому, не выпускала еще Буцефалов, да и сам я был покрепче. Короче говоря, через три минуты я снова оказался перед крыльцом, и вид у меня, вероятно, был неважный, потому что госпожа Мозес спросила, не надо ли меня растереть, господин Мозес ворчливо посоветовал растереть этого горе-спортсмена в порошок, а хозяин, мигом очутившийся внизу, заботливо подхватил меня под мышки и стал уговаривать немедленно глотнуть чудодейственной фирменной настойки — «ароматной, крепкой, утоляющей боль и восстанавливающей душевное равновесие». Господин Симонэ издевательски рыдал и гукал с вершины телефонного столба, господин дю Барнстокр, извиняясь, прижимал к сердцу растопыренную пятерню, а подъехавший ходатай Хинкус, азартно толкаясь и вертя головой, спрашивал у всех, много ли переломов и «куда его унесли».

Пока меня отряхивали, ощупывали, массировали, вытирали мне лицо, выгребали у меня из-за шивороты снег и искали мой шлем, конец троса подхватил Олаф Андварафорс, и тогда меня бросили, чтобы упиться новым зрелищем — действительно, довольно эффектным. Всеми покинутый и забытый, я все еще приводил себя в порядок, а изменчивая толпа восторженно приветствовала нового кумира. Но фортуна, знаете ли, безразлично, кто вы — белокурый бог снегов или стареющий полицейский чиновник. В апогее триумфа, когда викинг уже возвышался у крыльца, картинно опершись на палки и посылая ослепительные улыбки госпоже Мозес, фортуна слегка повернула свое крылатое колесо. Сенбернар Лель деловито подошел к победителю, пристально его обнюхал и вдруг коротким, точным движением поднял лапу прямо ему на пьексы. О большем я и мечтать не мог. Госпожа Мозес взвизгнула, разразился многоголосый взрыв возмущения, и я ушел в дом. По натуре я человек не злорадный, я только люблю во всем справедливость.

В буфетной у Кайсы я не без труда выяснил, что душ в отеле работает только на первом этаже, и поспешил за свежим бельем и полотенцем. Но как я ни спешил, а все же опоздал. Душ оказался уже занят, из-за двери доносился плеск струй и неразборчивое пение. Перед дверью стоял Симонэ, тоже с полотенцем через плечо. Я встал за

ним, а за мной сейчас же пристроился господин дю Барнстокр. Мы закурили. Симонэ, давясь от смеха, оглядываясь по сторонам, принялся рассказывать анекдот про холостяка, который поселился у вдовы с тремя дочками. Но тут, к счастью, в холле появилась госпожа Мозес, которая спросила у нас, не проходил ли здесь господин Мозес, ее супруг и повелитель. Господин дю Барнстокр галантно ответил, что, увы, нет. Симонэ, облизнувшись, впился в госпожу Мозес томным взором, а я прислушался к голосу, доносившемуся из душевой, и высказал предположение, что господин Мозес находится там. Госпожа Мозес встретила это предположение с явным недоверием. Она улыбнулась, покачала головой и поведала нам, что в особняке на Рю де Шанель у них две ванны — одна золотая, а другая платиновая, и, когда мы не нашлись, что на это ответить, сообщила, что пойдет поищет господина Мозеса в другом месте. Симонэ тут же вызвался сопровождать ее, и мы с дю Барнстокром остались вдвоем. Дю Барнстокр, понизив голос, осведомился, видел ли я досадную сцену, имевшую место между сенбернаром Лелем и господином Андварафорсом. Я доставил себе маленькое удовольствие, ответивши, что нет, не видел. Тогда дю Барнстокр описал мне эту сцену со всеми подробностями и, когда я кончил всплескивать руками и сокрушенно цокать языком, скорбно добавил, что наш добрый хозяин совершенно распустил своего пса, ибо не далее как позавчера сенбернар точно так же обошелся в гараже с госпожой Мозес. Я снова всплеснул руками и зацокал языком, на этот раз вполне искренне, но тут к нам присоединился Хинкус, который немедленно принялся раздражаться в том смысле, что деньги вот дерут за двоих, а душ вот работает только один. Господин дю Барнстокр успокоил его: извлек у него из полотенца двух леденцовых петушков на палочке. Хинкус немедленно замолчал и даже, бедняга, переменялся в лице. Он принял петушков, сунул их в рот и уставился на великого престижитатора с ужасом и недоверием. Господин дю Барнстокр, очень довольный произведенным эффектом, пустился развлекать нас умножением и делением в уме многозначных чисел.

А в душе все шумели струи, и только пение прекратилось, сменившись неразборчивым бормотанием. С верхнего этажа, тяжело ступая, сошли рука об руку господин Мозес и опозоренный собакой кумир дня Олаф. Сойдя, они расстались. Господин Мозес, прихлебывая на ходу, унес свою кружку к себе за портьеры, а викинг, не говоря

ни слова, встал в наш строй. Я посмотрел на часы. Мы ждали уже больше десяти минут.

Хлопнула входная дверь. Мимо нас, не задерживаясь, пронеслось наверх неслышными скачками чадо, оставив за собой запахи бензина, пота и духов. И тут до моего сознания дошло, что из кухни слышатся голоса хозяина и Кайсы, и какое-то странное подозрение впервые осенило меня. Я в нерешительности уставился на дверь душевой.

— Давно стоите? — осведомился Олаф.

— Да, довольно давно, — отозвался дю Барнстокр.

Хинкус вдруг неразборчиво что-то пробормотал и, толкнув Олафа плечом, устремился в холл.

— Послушайте, — сказал я. — Кто-нибудь приехал сегодня утром?

— Только вот эти господа, — сказал дю Барнстокр. — Господин Андварафорс и господин... э-э... вот этот маленький господин, который только что ушел...

— Мы приехали вчера вечером, — возразил Олаф.

Я и сам знал, когда они приехали. На секунду в воображении моем возникло видение скелета, мурлыкающего песенки под горячими струями и моющего у себя под мышками. Я рассердился и толкнул дверь. И конечно же, дверь открылась. И конечно же, в душевой никого не было. Шумела пущенная до отказа горячая вода, пар стоял столбом, на крючке висела знакомая брезентовая куртка Погибшего Альпиниста, а на дубовой скамье под нею бормотал и посвистывал старенький транзисторный приемник.

— Кэ дьябль! — воскликнул дю Барнстокр. — Хозяин! Подите сюда!

Поднялся шум. Бухая тяжелыми башмаками, прибежал хозяин. Вынырнул, словно из-под земли, Симонэ. Перегнулось через перила чадо с окурком, прилипшим к нижней губе. Из холла опасно выглянул Хинкус.

— Это невероятно! — возбужденно говорил дю Барнстокр. — Мы стоим здесь и ждем никак не менее четверти часа, не правда ли, инспектор?

— А у меня опять кто-то на постели валялся, — сообщило сверху чадо. — И полотенце мокрое.

В глазах Симонэ прыгало дьявольское веселье.

— Господа, господа... — приговаривал хозяин, делая успокаивающие жесты. Он заглянул в душевую и прежде всего выключил воду. Затем он снял с крючка куртку, взял приемник и повернулся к нам. Лицо у него было торжественное. — Господа! — произнес он глухим голосом. — Я могу только засвидетельствовать факты. Это ЕГО приемник, господа. И это ЕГО куртка.

— А, собственно, чья... — спокойно начал Олаф.

— ЕГО. Погибшего.

— Я хотел спросить, чья очередь? — по-прежнему спокойно сказал Олаф.

Я молча отстранил хозяина, вошел в душевую и запер за собой дверь. Уже содрав с себя одежду, я сообразил, что очередь, собственно, не моя, а Симонэ, но никаких угрызений совести не ощутил. Он же и устроил, подумал я со злостью. Пусть теперь постоит. Герой национальной науки. Сколько воды зря пропало... Нет, этих шутников надо ловить. И наказывать. Я вам покажу, как со мной шутки шутить...

Когда я вышел из душевой, публика в холле продолжала обсуждать происшествие. Ничего нового, впрочем, не говорилось, и я не стал задерживаться. На лестнице я миновал чадом, по-прежнему висящее на перилах. «Сумасшедший дом!» — сказала оно мне с вызовом. Я промолчал и пошел прямо к себе в номер.

Под влиянием душа и приятной усталости злость моя совершенно улеглась. Я придвинул к окну кресло, выбрал самую толстую и самую серьезную книгу и уселся, задрав ноги на край стола. На первой же странице я задремал и пробудился, вероятно, часа через полтора — солнце переместилось изрядно, и тень отеля лежала теперь под моим окном. Судя по тени, на крыше сидел человек, и я спросонок подумал, что это, должно быть, великий физик Симонэ прыгает там с трубы на трубу и гогочет. Я снова заснул, потом книга свалилась на пол, я вздрогнул и проснулся окончательно. Теперь на крыше отчетливо виднелись тени двух человек — один, по-видимому, сидел, другой стоял. Загорают, подумал я и отправился умываться. Пока я умывался, мне пришло в голову, что неплохо было бы выпить чашечку кофе для бодрости, да и перекусить не мешало бы слегка. Я закурил и вышел в коридор. Было уже что-то около трех.

На лестничной площадке я встретился с Хинкусом. Он спускался по чердачной лестнице, и вид у него был какой-то странный. Он был голый до пояса и лоснился от пота, лицо у него было белое до зелени, глаза не мигали, обеими руками он прижимал к груди ком смятой одежды.

Увидев меня, он сильно вздрогнул и приостановился.

— Загораете? — спросил я из вежливости. — Не сторгите. Вид у вас нездоровый.

Проявив таким образом заботу о ближнем, я, не дожидаясь ответа, пошел вниз. Хинкус топал по ступенькам следом.

— Захотелось вот выпить, — проговорил он хрипловато.

— Жарко? — спросил я, не оборачиваясь.

— Д-да... Жарковато.

— Смотрите, — сказал я. — Мартовское солнце в горах злое.

— Да ничего... Выпью вот, и ничего.

Мы спустились в холл.

— Вы бы все-таки оделись, — посоветовал я. — Вдруг там госпожа Мозес...

— Да, — сказал он. — Натурально. Совсем забыл.

Он остановился и принялся торопливо напяливать рубашку и куртку, а я прошел в буфетную, где получил от Кайсы тарелку с холодным ростбифом, хлеб и кофе. Хинкус, уже одетый и уже не такой зеленый, присоединился ко мне и потребовал чего-нибудь покрепче.

— Симонэ тоже там? — спросил я. Мне пришлось в голову скоротать время за бильярдом.

— Где? — отрывисто спросил Хинкус, осторожно поднося ко рту полную рюмку.

— На крыше.

Рука у Хинкуса дрогнула, бренди потекло по пальцам. Он торопливо выпил, потянул носом воздух и, вытирая рот ладонью, сказал:

— Нет. Никого там нет.

Я с удивлением посмотрел на него. Губы у него были поджаты, он наливал себе вторую рюмку.

— Странно, — сказал я. — Мне почему-то показалось, что Симонэ тоже там, на крыше.

— А вы перекреститесь, чтобы вам не казалось, — грубо ответил ходатай по делам, выпил и налил снова.

— Что это с вами? — спросил я.

Некоторое время он молча смотрел на полную рюмку.

— Так, — сказал он наконец, — неприятности. Могут быть у человека неприятности?

Было в нем что-то жалкое, и я смягчился.

— Да, конечно, — сказал я. — Извините, если я нечаянно...

Он опрокинул третью рюмку и вдруг сказал:

— Послушайте, а вы не хотите позагорать на крыше?

— Да нет, спасибо, — ответил я. — Боюсь сгореть. Кожа чувствительная.

— И никогда не загораете?

— Нет.

Он подумал, взял бутылку, навинтил колпачок.

— Воздух там хорош, — произнес он. — И вид прекрасный. Вся долина как на ладони... Горы...

— Пойдемте сыграем на бильярде, — предложил я. — Вы играете?

Он впервые посмотрел мне прямо в лицо маленькими большими глазами.

— Нет, — сказал он. — Я уж лучше подышу воздухом.

Затем он снова отвинтил колпачок и налил себе четвертую рюмку. Я доел ростбиф, выпил кофе и собрался уходить. Хинкус тупо разглядывал свою рюмку с бренди.

— Смотрите, не свалитесь с крыши, — сказал я ему.

Он криво ухмыльнулся и ничего не ответил. Я снова поднялся на второй этаж. Стука шаров не было слышно, и я толкнулся в номер Симонэ. Никто не отозвался. Из-за дверей соседнего номера слышались неразборчивые голоса, и я постучался туда. Симонэ там тоже не было. Дю Барнстокр и Олаф, сидя за столом, играли в карты. Посередине стола высилась кучка смятых банкнот. Увидев меня, дю Барнстокр сделал широкий жест и воскликнул:

— Заходите, заходите, инспектор! Дорогой Олаф, вы, конечно, приглашаете господина инспектора.

— Да, — сказал Олаф, не отрываясь от карт. — С радостью. — И объявил пики.

Я извинился и закрыл дверь. Куда же запропастился этот хохотун? И не видно его и, что самое удивительное, не слышно. А впрочем, что мне он? Погоняю шары в одиночку. В сущности, никакой разницы нет. Даже еще лучше. Я направился к бильярдной и по дороге испытал небольшой шок. По чердачной лестнице, придерживая двумя пальцами подол длинного роскошного платья, спускалась госпожа Мозес. Увидев меня, она улыбнулась совершенно обворожительно.

— Вы тоже загорали? — ляпнул я, потерявшись.

— Загорала? Я? Что за странная мысль. — Она пересекла площадку и приблизилась ко мне. — Какие странные предположения вы высказываете, инспектор!

— Не называйте меня, пожалуйста, инспектором, — попросил я. — Мне до такой степени надоело слышать это на работе... а теперь еще от вас...

— Я о-бо-жаю полицию, — произнесла госпожа Мозес, закатывая прекрасные глаза. — Это герои, это смельчаки... Вы ведь смельчак, не правда ли?

Как-то само собой получилось, что я предложил ей руку и повел ее в бильярдную. Рука у нее была белая, твердая и удивительно холодная.

— Сударыня, — сказал я. — Да вы совсем замерзли...

— Нисколько, инспектор, — ответила она и тут же спохватилась. — Простите, но как же мне вас называть?

— Может быть, Петер? — предложил я.

— Это было бы прелестно. У меня был друг Петер, барон фон Готтескнехт. Вы не знакомы?.. Однако тогда вам придется звать меня Ольгой. А если услышит Мозес?

— Переживет, — пробормотал я. Я искоса глядел на ее чудные плечи, на царственную шею, на гордый профиль, и меня бросало то в жар, то в холод. Ну, глупа, лихорадочно неслось у меня в голове, ну и что же? И пусть. Мало ли кто глуп!

Мы прошли через столовую и оказались в бильярдной. В бильярдной был Симонэ. Почему-то он лежал на полу в неглубокой, но широкой нише. Лицо у него было красное, волосы взлохмачены.

— Симон! — воскликнула госпожа Мозес и прижала ладони к щекам. — Что с вами?

В ответ Симон заклекотал и, упираясь руками и ногами в края ниши, полез к потолку.

— Боже мой, да вы уьётесь! — закричала госпожа Мозес.

— В самом деле, Симонэ, — сказал я с досадой. — Бросьте эти дурацкие штучки, вы сломаете себе шею.

Однако шалун и не думал убиваться и ломать себе шею. Он добрался до потолка, повисел там, все более наливаясь кровью, потом легко и мягко спрыгнул вниз и отдал нам честь. Госпожа Мозес заплодировала.

— Вы просто чудо, Симон, — сказала она. — Как муха!

— Ну что, инспектор, — сказал Симонэ, чуть задыхаясь. — Сразимся во славу прекрасной дамы? — Он схватил кий и сделал фехтовальный выпад. — Я вас вызываю, инспектор Глебски, защищайтесь!

С этими словами он повернулся к бильярдному столу и, не целясь, с таким треском залепил восьмерку в угол через весь стол, что у меня в глазах потемнело. Однако отступить было некуда. Я угрюмо взял кий.

— Сражайтесь, господа, сражайтесь, — сказала госпожа Мозес. — Прекрасная дама оставляет залог победителю. — Она бросила на середину стола кружевной платочек. — А я вынуждена покинуть вас. — Она послала нам воздушный поцелуй и удалилась.

— Чертовски завлекательная женщина, — заявил Симонэ. — С ума можно сойти. — Он подцепил кием платочек, погрузил нос в кружева и закатил глаза. —

Прелесть!.. У вас, я вижу, тоже без всякого успеха, инспектор?

— Вы бы побольше путались под ногами, — мрачно сказал я, собирая шары в треугольник. — Кто вас просил торчать здесь, в бильярдной?

— А зачем вы, голова садовая, повели ее в бильярдную? — резонно возразил Симонэ.

— Не в буфетную же мне ее вести... — огрызнулся я.

— Не умеете — не беритесь, — посоветовал Симонэ. — И поставьте шары ровнее, вы имеете дело с чемпионом... Вот так. Что играем? Лондонскую?

— Нет. Давайте что-нибудь попроще.

— Проще так попроще, — согласился Симонэ.

Он аккуратно положил платочек на подоконник, задержался на секунду, склонив голову и заглядывая сквозь стекло куда-то вбок, потом вернулся к столу.

— Вы помните, что сделал Ганнибал с римлянами при Каннах? — спросил он.

— Давайте, давайте, — сказал я. — Начинайте.

— Сейчас я вам напомню, — пообещал Симонэ. Он элегантно катил кием биток, установил его, прицелился и положил шар. Потом он положил еще шар и при этом разбил пирамиду. Затем, не давая мне времени извлекать его добычу из луз, он закатил подряд еще два шара и наконец скиксовал.

— Ваше счастье, — сообщил он, меля кий. — Реабилитируйтесь.

Я пошел вокруг стола, выбирая шар полегче.

— Глядите-ка, — сказал Симонэ. Он снова стоял у окна и заглядывал куда-то вбок. — Какой-то дурак сидит на крыше... Пардон! Два дурака. Один стоит, я принял его за печную трубу. Положительно, мои лавры не дают кому-то покоя.

— Это Хинкус, — проворчал я, пристраиваясь поудобней для удара.

— Хинкус — это такой маленький и все время брюзжит, — сказал Симонэ. — Ерундовый человечек. Вот Олаф — это да. Это истый потомок древних конунгов, вот что я вам скажу, инспектор Глебски.

Я наконец ударил. И промазал. Совсем несложный шар промазал. Обидно. Я осмотрел конец кия, потрогал накладку.

— Не разглядывайте, не разглядывайте, — сказал Симонэ, подходя к столу. — Нет у вас никаких оправданий.

— Что вы собираетесь бить? — спросил я недоуменно, следя за ним.

— От трех бортов в угол, — с невинным видом сообщил он.

Я застонал и пошел к окну, чтобы не видеть этого. Симонэ ударил. Потом еще раз ударил. Хлестко, с треском, с лязгом. Потом еще раз ударил и сказал:

— Пардон. Действуйте, инспектор.

Тень сидящего человека запрокинула голову и подняла руку с бутылкой. Я понял, что это Хинкус. Сейчас отхлебнет как следует и передаст бутылку стоящему. А кто это, собственно, стоит?..

— Вы будете бить или нет? — спросил Симонэ. — Что там такое?

— Хинкус надирается, — сказал я. — Ох, свалится он сегодня с крыши.

Хинкус основательно присосался, а затем принял прежнюю позу. Угощать стоявшего он не стал. Кто же это такой? А, так это же чадо, наверное... Я вернулся к столу, выбрал шар полегче и опять промазал.

— Вы читали мемуар Кориолиса о бильярдной игре? — спросил Симонэ.

— Нет, — сказал я мрачно. — И не собираюсь.

— А я вот читал, — сказал Симонэ. Он в два удара кончил партию и наконец разразился своим жутким хохотом. Я положил кий поперек стола.

— Вы остались без партнера, Симонэ, — сказал я мстительно. — Можете теперь сморкаться в свой приз в полном одиночестве.

Симонэ взял платочек и торжественно сунул его в нагрудный карман.

— Прекрасно, — сказал он. — Чем мы теперь займемся?

Я подумал.

— Пойду-ка я побреюсь. Обед скоро.

— А я? — спросил Симонэ.

— А вы играйте сами с собой в бильярд, — посоветовал я. — Или ступайте в номер к Олафу. У вас есть деньги? Если есть, то вас там примут с распростертыми объятиями.

— А, — сказал Симонэ. — Я уже.

— Что — уже?

— Уже просадил Олафу двести крон. Играет как машина, ни одной ошибки. Даже неинтересно. Это я и напустил на него Барнстокра. Фокусник есть фокусник, пусть-ка он его пощиплет...

Мы вышли в коридор и сразу же наткнулись на чадо любимого покойного брата господина дю Барнстокра. Чадо загородило нам дорогу и, нагло поблескивая вытаращенными черными окулярами, потребовало сигаретку.

— Как там Хинкус? — спросил я, доставая пачку. — Здорово надрался?

— Хинкус? Ах, этот... — Чадо закурило и, сложив губы колечком, выпустило дым. — Ну, надраться не надрался, но зарядился основательно и еще взял бутылку с собой.

— Ого, — сказал я. — Это уже вторая...

— А что здесь еще делать? — спросило чадо.

— А вы тоже с ним заряжались? — спросил Симонэ с интересом.

Чадо пренебрежительно фыркнуло.

— Черта с два! Он меня и не заметил. Ведь там была Кайса...

Тут мне пришло в голову, что пора наконец выяснить, парень это или девушка, и я раскинул сеть.

— Значит, вы были в буфетной? — спросил я вкрадчиво.

— Да. А что? Полиция не разрешает?

— Полиция хочет знать, что вы там делали.

— И научный мир тоже, — добавил Симонэ. Кажется, та же мысль пришла в голову и ему.

— Кофе пить полиция разрешает? — осведомилось чадо.

— Да, — ответил я. — А еще что вы там делали?

Вот сейчас... Сейчас она... оно скажет: «Я закусывал» и «закусывала». Не может же оно сказать: «Я закусывало»...

— А ничего, — хладнокровно сказала чадо. — Кофе и пирожки с кремом. Вот и все мои занятия в буфетной.

— Сладкое перед обедом вредно, — с упреком сказал Симонэ. Он был явно разочарован. Я тоже.

— Ну а надираться среди бела дня — это не по мне, — закончило чадо, торжествуя победу. — Пусть этот ваш Хинкус надирается.

— Ладно, — пробормотал я. — Пойду побреюсь.

— Может быть, есть еще вопросы? — спросило чадо нам вслед.

— Да нет, бог с вами, — сказал я.

Хлопнула дверь — чадо удалилось в свой номер.

— Схожу-ка и я перекушу, — сказал Симонэ, останавливаясь возле лестничной площадки. — Пойдемте, инспектор, до обеда еще час с лишним...

— Знаю я, как вы там будете перекусывать, — сказал я. — Ступайте сами, я человек семейный, меня Кайса не интересует.

Симонэ хохотнул и сказал:

— Раз уж вы человек семейный, вы мне можете сказать, парень это или девчонка? Никак не разберу.

— Занимайтесь Кайсой, — сказал я. — Оставьте эту загадку полиции... Скажите лучше, это вы учинили шуточку с душем?

— И не думал, — возразил Симонэ. — Если хотите знать, по-моему, это сам хозяин.

Я пожал плечами, и мы разошлись. Симонэ застучал ботинками по ступенькам, а я направился в свой номер. В тот момент, когда я проходил мимо номера-музея, там послышался треск, что-то с грохотом повалилось, разбилось что-то стеклянное и послышалось недовольное ворчание. Не теряя ни секунды, я рванул дверь, влетел в номер и едва не сшиб с ног самого господина Мозеса. Господин Мозес, высоко задрав одной рукою край ковра, а в другой сжимая свою неизменную кружку, с отвращением глядел на опрокинутую тумбочку и на черепки разбитой вазы.

— Проклятый притон, — прохрипел он при виде меня. — Грязное логово.

— Что вы тут делаете? — спросил я свирепо.

Господин Мозес немедленно взвинулся.

— Что я тут делаю? — взревел он, изо всех сил рванув ковер на себя. При этом он чуть не потерял равновесие и повалил кресло. — Я ищу мерзавца, который шатается по отелю, ворует вещи у порядочных людей, топает по ночам в коридорах и заглядывает в окна к моей жене! Какого дьявола я должен этим заниматься, когда в доме торчит полицейский?

Он отшвырнул ковер и повернулся ко мне. Я даже попятился.

— Может быть, я должен объявить награду? — продолжал он, взвинчивая себя все круче. — Проклятая полиция ведь и пальцем не шевельнет, пока ей не пообещают награду! Извольте, объявляю. Сколько вам нужно, вы, инспектор? Пятьсот? Тысячу? Извольте: полторы тысячи крон тому, кто найдет мои пропавшие золотые часы! Две тысячи крон!

— У вас пропали часы? — спросил я, нахмурившись.

— Да!

— Когда вы обнаружили пропажу?

— Только что!

Шутки кончились. Золотые часы — это не войлочные туфли и не занятый душ.

— Когда вы видели их в последний раз?

— Сегодня рано утром.

— Где вы их обычно храните?

— Я не храню часы! Я ими пользуюсь! Они лежали у меня на столе!

Я подумал.

— Советую вам, — сказал я наконец, — написать формальное заявление. Тогда я вызову полицию.

Мозес уставился на меня, и некоторое время мы молчали. Потом он отхлебнул из кружки и сказал:

— На кой черт вам заявление и полиция? Я вовсе не хочу, чтобы мое имя трепали вонючие газетчики. Почему вы не можете заняться этим сами? Я же объявил награду. Хотите задаток?

— Мне неудобно вмешиваться в это дело, — возразил я, пожав плечами. — Я не частный сыщик, я государственный служащий. Существует профессиональная этика, и кроме того...

— Ладно, — сказал он вдруг. — Я подумаю... — Он помолчал. — Может быть, они сами найдутся. Хотелось бы надеяться, что это очередная глупая шутка. Но если часы не найдутся до завтра, утром я напишу это заявление.

На том мы и порешили. Мозес пошел к себе, а я — к себе.

Не знаю, что новенького обнаружил Мозес у себя в номере. У меня новенького было полно. Во-первых, на двери косо висел лозунг: «Когда я слышу слово «культура», я вызываю мою полицию». Лозунг я, конечно, содрал, но это было только начало. Стол в моем номере оказался залит уже застывшим гуммиарабиком — поливали прямо из бутылки, бутылка валялась тут же — и в центре этой засохшей лужи красовался листок бумаги. Записка. Совершенно дурацкая записка. Корявыми печатными буквами было написано: «Господина инспектора Глебски извещают, что в отеле находится в настоящее время под именем Хинкус опасный гангстер, маньяк и садист, известный в преступных кругах под кличкой Филли. Он вооружен и грозит смертью одному из клиентов отеля. Господина инспектора убедительно просят принять какие-нибудь меры».

Я был до такой степени взбешен и ошарашен, что прочел записку дважды, прежде чем понял ее содержание. Потом я закурил сигарету и оглядел номер. Следов,

конечно, я никаких не заметил. Я расправил смятый лозунг и сравнил его с запиской. Буквы лозунга были тоже печатные и тоже корявые, но выписаны они были карандашом. Впрочем, с лозунгом и так все было ясно — это была, конечно, чадова работа. Просто шутка. Один из тех дурацких лозунгов, которые французы писали на своей Сорбонне. С запиской же дело обстояло значительно хуже. Мистификатор мог подсунуть записку под дверь, мог воткнуть ее в замочную скважину, просто положить на стол и придавить, например, пепельницей. Нужно было быть полным кретином или дикарем, чтобы ради дурацкой шутки загадить такой хороший стол. Я еще раз перечитал записку, изо всех сил затянулся и подошел к окну. Вот тебе и отпуск, подумал я. Вот тебе и долгожданная свобода...

Солнце было уже совсем низко, тень отеля протянулась на добрую сотню метров. На крыше по-прежнему торчал опасный гангстер, маньяк и садист господин Хинкус. Он был один.

Глава пятая

Я остановился перед номером Хинкуса и осторожно огляделся. Коридор был как всегда пуст. Из бильярдной доносился треск шаров — там был Симонэ. Дю Барнстокр продолжал чистить Олафа в номере у Олафа. Чадо возилось с мотоциклом. Мозесы были у себя. Хинкус сидел на крыше. Пять минут назад он спустился в буфетную, взял еще бутылку, зашел в номер, облачился в шубу и теперь намерен, вероятно, дышать чистым воздухом по крайней мере до обеда. А я стоял перед его номером, пробовал в замочной скважине ключи из связки, которую утащил из конторки хозяина, и готовился совершить должностной проступок. Конечно, я не имел ни малейшего права вторгаться в чужой номер и производить там обыск без ордера. Но я чувствовал, что это необходимо сделать, иначе я не смогу спокойно спать и вообще жить.

Пятый или шестой ключ мягко щелкнул, и я проскользнул в номер. Я сделал это так, как обычно делают герои шпионских боевиков — других способов я не знал. Солнце уже почти зашло за хребет, но в номере было довольно светло. Вид у номера был нежилой, кровать не смята, пепельница пуста и чиста, а оба баула стояли прямо посередине комнаты. Никак не подумаешь, что человек собирается прожить здесь две недели.

Содержимое первого, более тяжелого баула насторожило меня еще сильнее. Это был типичный фальшивый багаж: какое-то тряпье, драные простыни и наволочки и пачка книг, подобранных самым нелепым образом. Ясно было, что Хинкус валил в этот баул все, что подвертывалось под руку. Настоящий багаж содержался во втором бауле. Здесь было три смены белья, пижама, несессер, набор авторучек, пачка денег — солидная пачка, больше моей — и две дюжины носовых платков. Была там также небольшая серебряная фляжка — пустая, футляр с темными очками и бутылка с иностранной наклейкой, полная. А на самом дне баула, под бельем, я нашел массивные золотые часы со сложным циферблатом и маленький дамский браунинг.

Я сел на пол и прислушался. Пока все было тихо, но времени на размышление у меня оставалось крайне мало. Я оглядел часы. На крышке была выгравирована какая-то сложная монограмма. Золото было настоящее, червонное, с красноватым отблеском, циферблат был украшен знаками зодиака. Это были, несомненно, пропавшие часы господина Мозеса. Потом я оглядел пистолет. Безделушка с перламутровой рукояткой, никелированный ствол, калибр 0.25, оружие для рукопашного боя и, строго говоря, вообще не оружие... Вздор, все это вздор. Гангстеры не обременяют себя такой чепухой. И если на то пошло, гангстеры не воруют часов, даже таких тяжелых и массивных. Настоящие гангстеры, с именем и репутацией. Тем более в гостинице, в первый же день, с риском немедленно засыпаться.

Так-так-так... Давай-ка быстренько сформулируем. Никаких доказательств, что Хинкус — опасный гангстер, маньяк и садист, и сколько угодно доказательств, что кому-то очень хочется выдать его за гангстера. Правда, фальшивый багаж... Ладно, с этим я разберусь потом. Что делать с пистолетом и часами? Если изъять их, а Хинкус действительно вор (хотя и не гангстер), тогда он выходит сухим из воды... Если их ему подбросили... Черт, никак не соображу... Опыта не хватает. Тоже мне, Эркюль Пуаро... Если их изъять, то, во-первых, куда я их дену? Таскать при себе? Еще обвинят в воровстве... В номере прятать нельзя...

Я снова прислушался. В столовой звенели посудой — Кайса уже накрывала на стол. Кто-то протопал мимо дверей. Голос Симонэ зычно осведомился: «А где же инспектор? Где он, наш храбрец?» Пронзительно взвизгнула Кайса, леденящий хохот сотряс этаж.

Так ничего и не придумав, я торопливо разрядил обойму, сунул патроны в карман, а пистолет и часы вернул на дно баула. Я едва успел выскочить и повернуть ключ, как в другом конце коридора появился дю Барнстокр. Обратив ко мне аристократический профиль, он говорил кому-то, по-видимому, Олафу:

— Дорогой мой, о чем может быть речь? Когда это дю Барнстокры отказывались от реванша? Сегодня же, если вам будет угодно! Скажем, в десять часов вечера, у вас...

Я принял непринужденную позу (то есть вытащил зубочистку и стал ею орудовать), а дю Барнстокр повернулся и, увидев меня, приветливо помахал рукой.

— Дорогой инспектор! — провозгласил он. — Победа, слава, богатство! Таков всегдашний удел дю Барнстокров.

Я пошел ему навстречу, и мы сблизились возле дверей его номера.

— Обчистили Олафа? — спросил я.

— Представьте себе, да! — сказал он, счастливо улыбаясь. — Наш милый Олаф слишком уж методичен, играет, как машина, никакой фантазии. Даже скучно... Минуточку, что это у вас? — Он ловко выдернул у меня из нагрудного кармана игральную карту.

— А, это тот самый туз червей, которым я окончательно сразил беднягу Олафа...

Бедняга Олаф вышел из своего номера, огромный, румяный, легкий, прошел мимо нас и добродушно улыбнулся, буркнув: «Выпить перед обедом...» Дю Барнстокр, улыбаясь, проводил его глазами и вдруг, словно что-то вспомнив, схватил меня за рукав.

— Кстати, милый инспектор. Вы знаете, какую новую шутку учинил наш дорогой покойник? Зайдемте-ка на минуточку ко мне...

Он втащил меня к себе в номер, пихнул в кресло и предложил сигару.

— Где же она? — пробормотал он, похлопывая себя по карманам. — Ага! Вот, извольте взглянуть, что я получил сегодня. — Он протянул мне смятый клочок бумаги.

Это опять была записка. Корявыми печатными буквами, с орфографическими ошибками, там было написано: «Мы вас нашли. Я держу вас на мушке. Не пытайтесь бежать и не делайте глупостей. Стрелять буду без предупреждения. «Ф»».

Стиснув зубами сигару, я перечитал это послание дважды и трижды.

— Прелестно, не правда ли? — сказал дю Барнстокр, охорашиваясь перед зеркалом. — Даже подпись есть. Надо бы спросить хозяина, как звали Погибшего...

— Как она к вам попала?

— Ее подбросили в номер к Олафу, когда мы играли. Олаф отправился в буфет за спиртным, а я сидел и курил сигару. Раздался стук в дверь, я сказал: «Да-да, войдите», но никто не вошел. Я удивился, и вдруг я увидел, что у двери лежит эта записка. Видимо, ее подсунули под дверь.

— Вы, конечно, выглянули в коридор и, конечно, никого не увидели, — сказал я.

— Ну, мне пришлось довольно долго выкарабкиваться из кресла, — сказал дю Барнстокр. — Пойдемте? Откровенно говоря, я основательно проголодался. Брюн, думаю, тоже.

Я положил записку в карман, и мы отправились в столовую, захватив по дороге чадо и так и не сумев уговорить его помыть руки.

— Какой-то у вас озабоченный вид, инспектор, — заметил дю Барнстокр, когда мы подошли к столовой.

Я посмотрел в его ясные старческие глаза, и мне вдруг пришло в голову, что всю историю с этими записками устроил он. На секунду меня охватило холодное бешенство, мне захотелось затопать ногами и заорать: «Оставьте меня в покое! Дайте мне спокойно кататься на лыжах!» Но я, конечно, сдержался.

Мы вошли в столовую. Кажется, все уже были в сборе. Госпожа Мозес обслуживала господина Мозеса, Симонэ и Олаф топтались возле стола с закусками, хозяин разливал настойку. Дю Барнстокр и чадо отправились на свои места, а я присоединился к мужчинам. Симонэ зловещим шепотом рассказывал Олафу о воздействии эдельвейсовой настойки на человеческие внутренности. Упоминались: лейкемия, желтуха, рак двенадцатиперстной кишки. Олаф, добродушно хмыкая, поедая икру. Тут вошла Кайса и принялась тарыхтеть, обращаясь к хозяину:

— Они не желают идти, они сказали, раз не все собрались, так и они не пойдут. А когда все соберутся, тогда они и придут. Они так и сказали... И две бутылки пустые...

— Так пойдти и скажи, что все собрались, — приказал хозяин.

— Они мне не верят, я и так сказала, что все собрались, а они мне...

— О ком речь? — отрывисто спросил господин Мозес.

— Речь идет о господине Хинкусе, — ответил хозяин. — Он все еще пребывает на крыше, а я...

— Чего там — на крыше! — сиплым басом сказало чадо. — Вон он — Хинкус! — И оно указало вилкой с нанизанным пикулем на Олафа.

— Дитя мое, вы заблуждаетесь, — мягко произнес дю Барнстокр, а Олаф добродушно ослабился и прогудел:

— Олаф Андварафорс, к вашим услугам, детка. Можно просто Олаф.

— А почему тогда он?.. — Вилка с пикулем протянулась в мою сторону.

— Господа, господа! — вмешался хозяин. — Не надо спорить. Все это пустяки. Господин Хинкус, пользуясь той свободой, которую гарантирует каждому административная нашего отеля, пребывает на крыше, и Кайса сейчас приведет его.

— Да не идут они... — заняла Кайса.

— Какого дьявола, Сневар, — сказал Мозес. — Не хочет идти — пусть торчит на морозе.

— Уважаемый господин Мозес, — произнес хозяин с достоинством, — именно сейчас весьма желательно, чтобы все были в сборе. Я имею сообщить моим уважаемым гостям весьма приятную новость... Кайса, быстро!

— Да не идут они...

Я поставил тарелку с закуской на столик.

— Погодите, — сказал я. — Сейчас я его приведу.

Выходя из столовой, я услышал, как Симонэ сказал: «Правильно! Пусть-ка полиция займется своим делом», после чего залился кладбищенским хохотом, сопровождавшим меня до самой чердачной лестницы.

Я поднялся по лестнице, толкнул грубую деревянную дверь и оказался в круглом, сплошь застекленном павильончике с узкими скамейками для отдыха вдоль стен. Здесь было холодно, странно пахло снегом и пылью, горой громоздились сложенные шезлонги. Фанерная дверь, ведущая на крышу, была приоткрыта.

Плоская крыша была покрыта толстым слоем снега, вокруг павильончика снег был утоптан, а дальше, к покосившейся антенне вела тропинка, и в конце этой тропинки неподвижно сидел в шезлонге закутанный Хинкус. Лево́й рукой он придерживал на колене бутылку, а правую прятал за пазухой, должно быть, отогревал. Лица его

почти не было видно, оно было закрыто воротником шубы и козырьком меховой шапки, только настороженные глаза поблескивали оттуда — словно тарантул глядел из норки.

— Пойдемте, Хинкус, — сказал я. — Все собрались.

— Все? — хрипло спросил он.

Я выдохнул клуб пара, приблизился и сунул руки в карманы.

— Все до одного. Ждут вас.

— Значит, все... — повторил Хинкус.

Я кивнул и огляделся. Солнце скрылось за хребтом, снег в долине казался лиловатым, в темнеющее небо поднималась бледная луна.

Краем глаза я заметил, что Хинкус внимательно следит за мной.

— А чего меня ждать? — спросил он. — Начинали бы... Зачем людей зря беспокоить?

— Хозяин хочет сделать нам какой-то сюрприз, и ему нужно, чтобы мы все собрались.

— Сюрприз... — сказал Хинкус и покашлял. — Туберкулез у меня, — сообщил он вдруг. — Врачи говорят, мне все время надо на свежем воздухе... и мясо черномясой курицы, — добавил он, помолчав.

Мне стало его жалко.

— Черт возьми, — сказал я искренне, — сочувствую вам. Но обедать-то все-таки тоже нужно...

— Нужно, конечно, — согласился он и встал. — Пообедаю и спать сюда вернусь. — Он поставил бутылку в снег. — Как вы думаете, врут доктора или нет? Насчет свежего воздуха...

— Думаю, что нет, — сказал я. Я вспомнил, какой бледно-зеленый он спускался днем по лестнице, и спросил: — Послушайте, зачем вы так глушите водку? Ведь вам это должно быть вредно.

— Э-э! — произнес он с тихим отчаянием. — Разве можно без водки? — Он замолчал. Мы спускались по лестнице. — Без водки мне нельзя, — сказал он решительно. — Страшно. Я без водки с ума сойти могу.

— Ну-ну, Хинкус, — сказал я. — Туберкулез теперь лечат. Это вам не девятнадцатый век.

— Да, наверное, — вяло согласился он. Мы свернули в коридор. В столовой звенела посуда, гудели голоса. — Вы идите, я шубу сброшу, — сказал он, останавливаясь у своей двери.

Я кивнул и вошел в столовую.

— А где арестованный? — громогласно спросил Симонэ.

— Я же говорю, они не идут... — пискнула Кайса.

— Все в порядке, — сказал я. — Сейчас придет.

Я сел на свое место, затем, вспомнив о здешних правилах, вскочил и пошел за супом. Дю Барнстокр что-то рассказывал о магии чисел. Госпожа Мозес ахала. Симонэ отрывисто похохатывал. «Бросьте, Бардл... Дюбр... — гудел Мозес. — Все это — средневековый вздор». Я налил себе хорошую порцию супа, и тут появился Хинкус. Губы у него дрожали, и опять он был какой-то зеленоватый. Его встретил взрыв приветствий, а он, торопливо обведя стол глазами, как-то неуверенно направился к своему месту между мною и Олафом.

— Нет-нет! — вскричал хозяин, набегая на него с рюмкой настойки. — Боевое крещение!

Хинкус остановился, поглядел на рюмку и что-то сказал, неслышное за общим шумом.

— Нет-нет! — возразил хозяин. — Это — лучшее лекарство. От всех скорбей! Так сказать, панацея. Прошу!

Хинкус не стал спорить. Он выплеснул в рот зелье, поставил рюмку на поднос и сел за стол.

— Ах, какой мужчина! — восхищенно прозвенела госпожа Мозес. — Господа, вот истинный мужчина!

Я вернулся на свое место и принялся за еду. Хинкус за первым не пошел, он только положил себе немного жаркого. Теперь он выглядел не так дурно и, казалось, о чем-то сосредоточенно размышлял. Я стал слушать разглагольствования дю Барнстокра, и в это время хозяин постучал ножом о край тарелки.

— Господа! — торжественно провозгласил он. — Прошу минуточку внимания! Теперь, когда мы все собрались здесь, я позволю себе сообщить вам приятную новость. Идя навстречу многочисленным пожеланиям гостей, администрация отеля приняла решение устроить сегодня праздничный бал Встречи Весны. Конца обеда не будет! Танцы, господа, вино, карты, веселая беседа!

Симонэ с треском ударил в костлявые ладони. Госпожа Мозес тоже зааплодировала. Все оживились, и даже неуступчивый господин Мозес, сделав основательный глоток из кружки, просипел: «Ну, карты — это еще куда ни шло...» А дитя стучало вилкой о стол и показывало мне язык. Розовый язычок, вполне приятного вида. И в самый разгар этого шума и оживления Хинкус вдруг придвинулся ко мне и зашептал в ухо:

— Слушайте, инспектор, вы, говорят, полицейский...

Что мне делать? Полез я сейчас в баул... за лекарством. Мне велено пить перед обедом микстуру какую-то... А у меня там... ну, одежда кое-какая теплая, жилет меховой, носки там... Так ничего этого у меня не осталось. Тряпки какие-то — не мои, белье рваное... и книжки...

Я осторожно опустил ложку на стол и посмотрел на него. Глаза у него были круглые, правое веко подергивалось, и в глазах был страх. Крупный гангстер. Маньяк и садист.

— Ну хорошо, — сказал я сквозь зубы. — А чего вы от меня хотите?

Он сразу как-то увял и втянул голову в плечи.

— Да нет... ничего... Я только не понимаю, это шутка или как... Если кража, так ведь вы — полицейский... А может быть, конечно, и шутка, как вы полагаете?

— Да, Хинкус, — сказал я, отведя глаза и снова принимаясь за суп. — Тут все шутят. Считайте, что это шутка, Хинкус.

Глава шестая

К моему немалому удивлению, затея с вечеринкой удалась. Пообедали быстро и неосновательно, и никто не покинул столовой, кроме Хинкуса, который, пробормотав какие-то извинения, поплелся обратно на крышу промывать легкие горным кислородом. Я проводил его взглядом, испытывая что-то вроде угрызений совести. У меня мелькнула мысль, что хорошо бы сейчас снова забраться к нему в номер и извлечь из баула эти проклятые часы. Шутки шутками, а из-за этих часов у него могут быть серьезные неприятности. Хватит с него неприятностей, подумал я. Хватит с меня этих неприятностей, этих шуток и моей собственной глупости. Напьюсь, решил я, и мне сразу стало легче. Я пошарил глазами по столу и переменял рюмку на стакан. Какое мне до всего этого дело? Я в отпуске. И вообще я не полицейский. Мало ли как я там зарегистрировался... На самом деле я отставной учитель физкультуры... нет, на самом деле, если хотите знать, я торговый агент. Торгую подержанными умывальниками. И унитазами... Мельком я подумал, что для ходатая по делам, даже по делам несовершеннолетних, у Хинкуса слишком уж бедный лексикон. Я отогнал эту мысль и старательно загоготал вместе с Симонэ над какой-то его очередной суконной остротой, которую не расслышал. Я залпом проглотил

полстакана бренди и налил еще. В голове у меня зашумело.

Между тем веселье началось. Кайса еще не успела собрать грязную посуду, а господин Мозес и джо Барнстокр, делая друг другу приглашающие жесты, проследовали к карточному столику с зеленым сукном, появившемуся вдруг в углу столовой. Хозяин включил оглушительную музыку. Олаф и Симонэ одновременно устремились к госпоже Мозес, и, поскольку та оказалась не в силах выбрать кавалера, они принялись отплясывать втроем. Чадо снова показало мне язык. Правильно! Я вылез из-за стола и, ступая по возможности твердо, понес к этой разбойнице... к этому разбойнику бутылку и стакан. Сейчас или никогда, думал я. Такое расследование во всяком случае интереснее, чем кража часов и иного барахла. Впрочем, я ведь торговец. Хорошо и прямо-таки чудом сохранившиеся умывальники...

— Танец, мадамзель? — произнес я, плюхнувшись на стул рядом с чадом.

— Я не танцую, сударыня, — лениво ответило чадо. — Бросьте трепаться и дайте сигаретку.

Я дал ему сигаретку, хватил еще бренди и принялся объяснять этому существу, что его поведение — по-ведени-е! — аморально, что так нельзя. Что я когда-нибудь его выпорю, дайте мне только срок. Или, добавил я, подумав, привлеку за ношение неподобающей одежды в местах общественного пользования. Развешивание лозунгов, сказал я. Нехорошо. На дверях. Шокирует и будирует. Будирует! Я честный торговец, и я не позволю. Блестящая мысль осенила меня. Я пожалуюсь на вас в полицию, сказал я, заливаясь счастливым смехом. Со своей же стороны могу предложить вам... нет, не унитаз, конечно, это было бы неприлично, тем более за столом... но... прекрасный умывальник. Дивно сохранившийся, несмотря ни на что. Фирмы «Павел Буре». Не угодно ли? Отдыхать так отдыхать!..

Чадо отвечало мне что-то, и довольно остроумно, то хриловатым мальчишеским баском, то нежным девичьим альтом. Голова у меня шла кругом, и скоро мне стало казаться, что разговариваю я сразу с двумя собеседниками. Где-то тут обретался испорченный вставший на неправильный путь подросток, который все время хлобыстал мое бренди и за которого я нес ответственность как работник полиции, опытный торговый агент и старший по чину. И где-то тут же пребывала очаровательная пикантная девушка, которая, слава богу, ну совершенно

не походила на мою старуху и к которой я, кажется, начинал испытывать чувства более нежные, нежели отеческие. Отпихивая все время ввязывавшегося в разговор подростка, я изложил девушке свои взгляды на брак как на добровольный союз двух сердец, взявших на себя определенные моральные обязательства. И никаких велосипедов-мотоциклов, добавил я строго. Условимся об этом сразу же. Моя старуха этого не выносит. Мы условились и выпили — сначала с подростком, потом с девушкой, моей невестой. Почему бы, черт возьми, молодой совершеннолетней девице не выпить немножко хорошего коньяку? Несколько раз повторив не без вызова эту мысль, показавшуюся мне самому несколько спорной, я откинулся на стуле и оглядел зал.

Все шло прекрасно. Законы и моральные нормы не нарушались. Никто не вывешивал лозунгов, не писал записок, не крал часов. Музыка гремела. Дю Барнстокр, Мозес и хозяин резались в тринадцать без ограничения ставок. Госпожа Мозес лихо отплясывала с Симонэ что-то совершенно современное, Кайса убирала посуду. Тарелки, вилки и Олафы так и вились вокруг нее. Вся посуда на столе находилась в движении — я едва успел подхватить убегающую бутылку и облил себе брюки.

— Брюн, — сказал я проникновенно, — не обращайтесь внимания. Это все идиотские шутки. Всякие там золотые часы, пододеяльники... — Тут меня осенила новая мысль. — А что, парень, — сказал я, — не поучить ли мне тебя стрелять из пистолета?

— Я не парень, — грустно сказала девушка. — Мы же с вами обручились.

— Тем более! — воскликнул я с энтузиазмом. — У меня есть дамский браунинг...

Некоторое время мы с нею беседовали о пистолетах, обручальных кольцах и почему-то о телекинезе. Потом мною овладело сомнение.

— Нет! — сказал я решительно. — Так я не согласен. Сначала снимите очки. Я не желаю покупать kota в мешке.

Это была ошибка. Девушка обиделась и куда-то пропала, а подросток остался и принялся хамить. Но тут ко мне подошла госпожа Мозес и пригласила меня на танец, и я с удовольствием согласился. Через минуту у меня появилась твердая уверенность в том, что я болван, что судьбу свою мне надлежит связать с госпожой Мозес, и только с нею. С моей Ольгой. У нее были божественно мягкие ручки, нисколько не обветренные и совсем без

цыпок, и она охотно позволяла целовать их, и у нее были прекрасные, хорошо различимые глаза, не скрытые никакой оптикой, и от нее очаровательно пахло, и у нее не было родственника-брата, грубого, разбитного юнца, не дающего слова сказать. Правда, кругом все время почему-то оказывался Симонэ, унылый шалун и великий физик, но с этим вполне можно было смириться, поскольку он не был родственником. Мы с ним были пожилые опытные люди, мы предавались чувственным удовольствиям по совету врача и, наступая друг другу на ноги, мужественно и честно признавались: «Извини, старик, это я виноват...»

Потом я как-то внезапно протрезвел и обнаружил, что нахожусь с госпожой Мозес за портьерой у окна. Я держал ее за талию, а она, склонив голову мне на плечо, говорила:

— Посмотри, какой очаровательный вид!..

Это неожиданное обращение на «ты» смутило меня, и я принялся тупо рассматривать вид, раздумывая, как бы это поделикатнее убрать руку с ее талии, пока нас тут не застучали. Впрочем, вид действительно не был лишен очарования. Луна, наверное, уже поднялась высоко, вся долина казалась голубой в ее свете, а близкие горы словно висели в неподвижном воздухе. Тут я заметил унылую тень несчастного Хинкуса, сгорбившегося на крыше, и пробормотал:

— Бедняга Хинкус...

Госпожа Мозес слегка отстранилась и удивленно посмотрела на меня снизу вверх.

— Бедняга? — спросила она. — Почему — бедняга?

— Он тяжело болен, — объяснил я. — У него туберкулез, и он страшно боится.

— Да-да, — подхватила она. — Вы тоже заметили? Он все время чего-то боится. Какой-то подозрительный и очень неприятный господин. И совсем не нашего круга...

Я горестно покачал головой и вздохнул.

— Ну вот, и вы туда же, — сказал я. — Ничего подозрительного в нем нет. Просто несчастный одинокий человечек. Очень жалкий. Вы бы посмотрели, как он поминутно зеленеет и покрывается потом... А тут еще над ним все время шутки шутят...

Она вдруг засмеялась своим чудесным хрустальным смехом.

— Граф Грэйсток тоже, бывало, поминутно зеленел. До того забавный!

Я не нашелся, что на это ответить, и, с облегчением

сняв наконец руку с ее талии, предложил ей сигарету. Она отказалась и принялась рассказывать что-то о графах, баронах, виконтах и князьях, а я смотрел на нее и все пытался вспомнить, каким это ветром занесло меня с нею за эту портьеру. Потом портьера с треском раздвинулась, и перед нами возникло чадло. Не глядя на меня, оно неуклюже шаркнуло ногой и сипло произнесло:

— Пермете ву...

— Битте, мой мальчик, — очаровательно улыбаясь, отозвалась госпожа Мозес, подарила мне очередную ослепительную улыбку и, обхваченная чадом, заскользила по паркету.

Я отдулся и вытер лоб платком. Стол был уже убран. Тройка картежников в углу продолжала резаться. Симонэ лупил шарами в бильярдной, Олаф и Кайса испарились. Музыка гремела вполсилы, госпожа Мозес и Брюн демонстрировали незаурядное мастерство. Я осторожно обошел их стороной и направился в бильярдную.

Симонэ приветствовал меня взмахом кия и, не теряя ни секунды драгоценного времени, предложил мне пять шаров форы. Я снял пиджак, засучил рукава, и игра началась. Я проиграл огромное количество партий и был за это наказан огромным количеством анекдотов. На душе у меня стало совсем легко. Я хохотал над анекдотами, которых почти не понимал, ибо речь в них шла о каких-то кварках, левожующих коровах и профессорах с иностранными именами, япил содовую, не поддаваясь на уговоры и насмешки партнера, я преувеличенно стонал и хватался за сердце, промахиваясь, я исполнялся торжества, попадая, я придумывал новые правила игры и с жаром их отстаивал, я распоясался до того, что снял галстук и расстегнул воротник сорочки. По-моему, я был в ударе. Симонэ тоже был в ударе. Он клал невообразимые и теоретически невозможные шары, он бегал по стенам и даже, кажется, по потолку, в промежутках между анекдотами он во все горло распевал песни математического содержания, он постоянно сбивался на «ты» и говорил при этом: «Пардон, старина! Проклятое демократическое воспитание!..»

Через раскрытую дверь бильярдной я мельком видел то Олафа, танцующего с чадом, то хозяина, несущего к карточному столику поднос с напитками, то раскрасневшуюся Кайсу. Музыка все гремела, игроки азартно вскрикивали, то объявляя пики, то убивая черви, то козыряя бубнами. Время от времени слышалось хрипкое: «Послушайте, Драбл... Бандрл... дю!..», и негодующий

стук кружки по столу, и голос хозяина: «Господа, господа! Деньги — это прах...», и раздавался хрустальный смех госпожи Мозес и ее голосок: «Мозес, что вы делаете, ведь пики уже прошли...» Потом часы пробили половину чего-то, в столовой задвигали стульями, и я увидел, как Мозес хлопает дю Барнстокра по плечу рукой, свободной от кружки, и услышал, как он гудит: «Как вам угодно, господа, но Мозесам пора спать. Игра была хороша, Барн... дю... Вы — опасный противник. Спокойной ночи, господа! Пойдемте, дорогая...» Потом, помнится, у Симонэ вышел, как он выразился, запас горючего, и я сходил в столовую за новой бутылкой бренди, решивши, что и мне пора пополнить кладовые веселья и беззаботности.

В зале все еще играла музыка, но уже никого не было, только дю Барнстокр, сидя спиной ко мне за карточным столиком, задумчиво творил чудеса с двумя колодами. Он плавным движением узких белых рук извлекал карты из воздуха, заставлял их исчезать с раскрытых ладоней, пускал колоды из руки в руку мерцающей струей, веером рассыпал их в воздухе перед собой и отправлял в небытие. Меня он не заметил, а я не стал его отвлекать. Я просто взял с буфета бутылку и на цыпочках вернулся в бильярдную.

Когда в бутылке осталось чуть больше половины, я мощным ударом выбросил за борт сразу два шара и порвал сукно на бильярде. Симонэ пришел в восхищение, но я понял, что с меня достаточно.

— Все, — сказал я и положил кий. — Пойду подышу свежим воздухом.

Я миновал столовую, теперь уже совсем пустую, спустился в холл и вышел на крыльцо. Почему-то мне было грустно, что вечеринка кончилась, а ничего интересного не произошло, что я упустил шанс с госпожой Мозес и, кажется, наговорил какой-то ерунды чаду покойного брата господина дю Барнстокра, и что луна яркая, маленькая и ледяная, и что вокруг на много миль только снег да скалы. Я поговорил с сенбернардом, совершавшим ночной обход, и он согласился, что ночь действительно излишне тиха и пустынна и что одиночество — это действительно при всех его огромных преимуществах паршивая вещь, но он наотрез отказался огласить долину воем или в крайнем случае лаем. В ответ на мои уговоры он только помотал головой, отошел и лег у крыльца.

Я прошелся взад-вперед по расчищенной дорожке перед фасадом отеля, поглазел на залитый голубой луной

фасад. Светилось желтым окно кухни, светилось розовым окно в спальне госпожи Мозес, горел свет и у дю Барнстокра, и за портьерами в столовой, а остальные окна были темны, и окно в номере Олафа было раскрыто настежь, как и утром. На крыше одиноко торчал закутанный с головой в шубу страдалец Хинкус, такой же одинокий, как и мы с Лелем, но еще более несчастный, согнутый под бременем своего страха.

— Хинкус! — тихонько позвал я, но он не шевельнулся. Может быть, дремал, а может быть, не слышал сквозь теплые наушники и поднятый воротник.

Я замерз и с удовольствием ощутил, что теперь наступило самое время выпить горячего портвейна.

— Пойдем, Лель, — сказал я, и мы вернулись в холл. Там мы встретили хозяина, и я посвятил его в свой замысел. Я встретил полное понимание.

— Сейчас можно отлично посидеть в каминной, — сказал он. — Ступайте туда, Петер, а я пойду распоряджусь.

Я последовал его приглашению и, устроившись перед огнем, принялся греть озябшие руки. Я слышал, как хозяин ходит по холлу, как он что-то бубнит Кайсе и опять ходит по холлу, щелкая выключателями, потом шаги его затихли, а наверху в столовой смолкла музыка. Грузно ступая по ступенькам лестницы, он снова спустился в холл, негромко выговаривая Лелю: «Нет-нет, Лель, не приставай, — говорил он строго. — Ты опять совершил это безобразие. На этот раз прямо в доме. Господин Олаф жаловался мне, и это позор. Где это видано, чтобы добропорядочная собака...»

Итак, викинга опозорили вторично, подумал я с некоторым злорадством. Я вспомнил, как лихо Олаф отплясывал в столовой с чадом, и мое злорадство усилилось. Поэтому, когда Лель с виновато опущенной головой подошел ко мне, цокая когтями, и сунул холодный нос мне в кулак, я потрепал его по шее и шепнул: «Молодец, собака, так ему и надо!»

В этот самый момент пол слегка дрогнул под моими ногами, жалобно задребезжали стекла, и я услышал отдаленный мощный грохот. Лель вскинул голову и приподнял уши. Я машинально поглядел на часы — было десять часов две минуты. Я ждал, весь напрягшись. Грохот не повторялся. Где-то наверху с силой хлопнула дверь, звякнули кастрюли на кухне. Кайса громко сказала: «Ой, господи!» Я поднялся, но тут раздались шаги, и в каминную вошел хозяин с двумя стаканами горячего пойла.

— Слыхали? — спросил он.

— Да. Что это было?

— Обвал в горах. И не очень далеко... Подождите-ка, Петер.

Он поставил стаканы на каминную полку и вышел. Я взял стакан и снова уселся в свое кресло. Я был совершенно спокоен. Обвалы меня не пугали, а портвейн, вскипяченный с лимоном и корицей, был превыше всяческих похвал. Хорошо! — подумал я, устраиваясь поудобнее.

— Хорошо! — сказал я вслух. — Правда, Лель?

Лель не возражал, хотя у него не было горячего портвейна.

Вернулся хозяин. Он взял свой стакан, сел рядом и некоторое время молча смотрел на раскаленные угли.

— Дело швах, Петер, — глухо и торжественно произнес наконец он. — Мы отрезаны от внешнего мира.

— То есть как? — спросил я.

— До которого числа у вас отпуск, Петер? — продолжал он тем же глухим голосом.

— Скажем, до двадцатого. А в чем дело?

— До двадцатого, — медленно повторил он. — Почти двадцать дней... Да, у вас, пожалуй, есть шанс вовремя вернуться на службу.

Я поставил стакан на колени и саркастически посмотрел на этого мистификатора.

— Говорите прямо, Алек, — сказал я. — Вернулся наконец ОН?

Хозяин довольно осклабился.

— Нет. До этого, к счастью, не дошло. Должен вам сказать — между нами, — что ОН был на редкость сварливый тип, и если бы ОН вернулся... Впрочем, о мертвых либо ничего, либо хорошо. Поговорим о живых. Я рад, что у вас есть двадцать дней, потому что раньше нас, может быть, не откапают.

Я понял.

— Завалило дорогу?

— Да. Сейчас я попробовал связаться с миром. Телефон не действует. Это может означать только то, что означало уже несколько раз за последние десять лет: обвалом забило Бутылочное Горлышко, вы его проезжали, единственный проход в мою долину.

Он отпил из стакана.

— Я сразу понял, что к чему, — продолжал он. — Грохот донесся с севера. Теперь нам остается только ждать. Пока о нас вспомнят, пока организуют рабочую бригаду...

— Воды у нас хватит, — задумчиво сказал я. — А вот не впадем ли мы в людоедство?

— Нет, — сказал хозяин с видимым сожалением. — Разве что вам захочется разнообразить меню. Только я заранее предупреждаю: Кайсу я вам не отдам. Можете обглаживать господина дю Барнстокра. Он выиграл у меня сегодня семьдесят крон, старый мошенник.

— А как насчет топлива? — спросил я.

— У нас всегда есть в резерве мои вечные двигатели.

— Гм... — сказал я. — Они деревянные?

Хозяин взглянул на меня с упреком. Потом он сказал:

— Почему вы не спросите, Петер, как у нас с выпивкой?

— А как?

— С выпивкой, — гордо сказал хозяин, — у нас особенно хорошо. Одной только фирменной наливки у нас сто двадцать бутылок.

Некоторое время мы молча смотрели на угли, спокойно прихлебывая из стаканов. Мне было хорошо как никогда. Я обдумывал возникшие перспективы, и чем больше я их обдумывал, тем больше они мне нравились. Потом хозяин вдруг сказал:

— Одно меня беспокоит, Петер, если говорить серьезно. У меня такое впечатление, что я потерял хороших клиентов.

— Каким образом? — спросил я. — Наоборот, восемь жирных мух запутались в вашей паутине, и у них теперь нет никаких шансов выбраться раньше, чем через двадцать дней. А какая реклама! Все они потом будут рассказывать, как были погребены заживо и чуть не съели друг друга...

— Это так, — самодовольно признался хозяин. — Об этом я уже подумал. Но ведь мух могло быть и больше, сюда вот-вот должны были приехать друзья Хинкуса...

— Друзья Хинкуса? — удивился я. — Он сказал вам, что ждет друзей?

— Нет, не то чтобы сказал... Он звонил в Мюр на телеграф и продиктовал телеграмму.

— Ну и что?

Хозяин поднял палец и торжественно продекламировал:

— «Мюр, отель «У Погибшего Альпиниста». Жду, поторопитесь». Примерно вот так.

— Вот уж никогда бы не подумал, — пробормотал я, — что у Хинкуса есть друзья, которые согласны разделить с ним его одиночество. Хотя... почему бы и нет? Пуркуа па, так сказать...

Глава седьмая

К полуночи мы с хозяином прикончили кувшин горячего портвейна, обсудили, как бы позффектнее оповестить остальных гостей о том, что они замурованы заживо, и решили несколько мировых проблем, а именно: обречено ли человечество на вымирание (да, обречено, однако нас к тому времени уже не будет); существует ли в природе нечто недоступное познавательным усилиям человека (да, существует, однако нам этого никогда не познать); является ли сенбернар Лель разумным существом (да, является, однако убедить в этом дураков ученых не представляется возможным); угрожает ли Вселенной так называемая тепловая смерть (нет, не угрожает, ввиду наличия в сарае у хозяина вечных двигателей как первого, так и второго рода); какого пола Брюн (здесь я доказать ничего не сумел, а хозяин высказал и обосновал странную идею, будто Брюн — это зомби, то есть оживленный магией мертвец, пола не имеющий)...

Кайса прибрала в столовой, перемыла всю посуду и явилась за разрешением ложиться спать. Мы ее отпустили. Глядя ей вслед, хозяин пожаловался мне на одиночество и на то, что от него ушла жена. То есть не то чтобы ушла... тут все не так просто... но, одним словом, жены у него теперь нет. Я ответил, что не советую ему жениться на Кайсе. Во-первых, это повредило бы заведению. А во-вторых, Кайса слишком любит мужчин, чтобы сделаться хорошей женой. Хозяин согласился, что все это верно, он сам много думал об этом и пришел к точно таким же выводам. Но, сказал он, на ком же тогда ему жениться, если все мы теперь навеки замурованы в этой долине. Я оказался не в силах что-либо ему посоветовать. Я только покаялся, что женат уже вторично и таким образом, вероятно, исчерпал его, хозяина, лимит. Это была страшная мысль, и хотя хозяин тут же простил мне все, я все же ощутил себя эгоистом и ущемителем интересов ближнего. И чтобы хоть как-то скомпенсировать эти свои отвратительные качества, я решил посвятить хозяина во все технические тонкости подделки лотерейных билетов. Хозяин слушал внимательно, мне этого показалось мало, и я потребовал, чтобы он все записал. «Забудете ведь! — повторял я с отчаянием. — Протрезвеете и все забудете...» Хозяин страшно перепугался, что действительно все забудет, и потребовал практических занятий. Кажется, именно в эту минуту сенбернар Лель вдруг вскочил и глухо гавкнул. Хозяин воззрился на него.

— Не понял! — строго сказал он.

Лель гавкнул два раза подряд и направился в холл.

— Ага, — сказал хозяин, поднимаясь. — Кто-то пожаловал.

Мы последовали за Лелем. Мы были исполнены гостеприимства. Лель стоял перед парадной дверью. Из-за двери доносились странные скребущие звуки. Я схватил хозяина за руку.

— Медведь! — прошептал я. — Гризли! Ружье есть? Быстро!

— Боюсь, что это не медведь, — глухим голосом произнес хозяин. — Боюсь, что это наконец ОН. Надо отпереть.

— Не надо! — возразил я.

— Надо. Он заплатил за две недели, а прожил всего одну. Мы не имеем права. У меня отберут лицензию.

За дверью скреблись и поскуливали. Лель вел себя странно: он стоял к двери боком и смотрел на нее с вопросительным выражением, то и дело шумно потягивая воздух носом. Именно так должны вести себя собаки, впервые встретившись с привидением. Пока я мучительно подыскивал законные основания не отпирать, хозяин принял самостоятельное решение. Он смело протянул руку и отодвинул засов.

Дверь отворилась, и к нашим ногам медленно сползло облепленное снегом тело. Мы все трое бросились к нему, втащили в холл и перевернули на спину. Облепленный снегом человек застонал и вытянулся. Глаза его были закрыты, длинный нос побелел.

Хозяин, не теряя ни секунды, развил бешеную деятельность. Он разбудил Кайсу, велел ей греть воду, влил в рот незнакомцу стакан горячего портвейна, растер ему лицо шерстяной рукавицей, а затем объявил, что нужно отнести его в душевую. «Берите его под мышки, Петер, — распорядился он, — а я возьму за ноги...» Я выполнил приказание и ощутил некоторый шок — оказалось, что незнакомец был одорукий, правой руки у него не было до самого плеча. Мы перетащили беднягу в душевую, уложили на скамью, а затем прибежала Кайса в одной рубашке, и хозяин объявил мне, что дальше справится сам.

Я вернулся в каминную и допил свой портвейн. Голова у меня была совершенно ясная, я был способен анализировать и сопоставлять с необыкновенной быстротой. Одет незнакомец был явно не по сезону. На нем был кургузый пиджачок, брюки дудочкой и модельные туфли.

В здешних местах так мог быть одет только человек, едущий на автомобиле. Значит, у него что-то случилось с автомобилем, и он был вынужден добираться до отеля пешком. И видимо, издалека, раз он так обессилел и замерз. Тут я понял. Совершенно ясно: он ехал сюда на автомобиле и попал под лавину в Бутылочном Горлышке. Это был приятель Хинкуса, вот кто! Надо разбудить Хинкуса... Может быть, в машине остались еще люди, искалеченные так, что они не могут двигаться. Может быть, были жертвы... Хинкус должен знать...

Я выскочил из каминной и побежал на второй этаж. Пробегая мимо душевой, я слышал, как там обильно лилась вода и хозяин свирепым шепотом разносил Кайсу за глупость. Свет в коридоре был погашен, я довольно долго искал выключатель, а потом еще дольше стучал в дверь к Хинкусу. Хинкус не отзывался. Да ведь он все еще на крыше! — ужаснулся я. Неужели дрыхнет там? А вдруг он замерз? Я стремглав помчался к чердачной лестнице. Так и есть, сидит на крыше. Он сидел в прежней позе, нахохлившись, уйдя головой в огромный воротник и сунув руки в рукава.

— Хинкус! — гаркнул я.

Он не пошевелился. Тогда я подбежал к нему и потряс за плечо. Я обалдел. Хинкус вдруг как-то странно осел, мягко подавшись у меня под рукой.

— Хинкус! — растерянно закричал я, непроизвольно подхватывая его.

Шуба раскрылась, из нее вывалилось несколько комьев снега, свалилась меховая шапка, и только тогда я понял, что Хинкуса нет, а есть только снежное чучело, облаченное в его шубу. Вот в этот момент я и протрезвел окончательно. Я быстро огляделся. Яркая маленькая луна висела прямо над головой, и все было видно, как днем. На крыше было много следов, и все это были следы одинаковые, не разберешь чьи. Рядом с шезлонгом снег был промят, разбросан и разрыт — то ли здесь боролись, то ли просто собирали снег для чучела. Снежная долина, насколько хватало глаз, была пуста и чиста, темная полоса дороги уходила на север и терялась в серо-голубой дымке, скрывающей устье Бутылочного Горлышка.

Стоп, подумал я, стараясь держать себя в руках. Попробуем сообразить, зачем Хинкусу понадобилась вся эта бутафория. Несомненно, чтобы мы думали, будто он сидит на крыше. А он в это время находился совсем в другом месте и обдeldывал какие-то свои делишки... лже-

туберкулезник, лжебедняга... Какие же делишки и где? Я снова внимательно осмотрел крышу, попытался разобрататься в следах, ничего не понял, искал в снегу, нашел две бутылки — одна была пустая, в другой еще оставалось бренди. Вот это самое недопитое бренди доконало меня. Я понял, что с того момента, как Хинкус счел возможным выбросить коту под хвост бренди на сумму не менее трех крон, события приняли действительно серьезный оборот. Я медленно спустился на второй этаж, снова постучался к Хинкусу, и снова никто не отозвался. На всякий случай я нажал на ручку. Дверь отворилась. Готовый ко всяким неожиданностям, вытянув перед собой руку, чтобы предупредить возможное нападение из темноты, я вошел и, быстро нашарив выключатель, зажег свет. В комнате все было как будто по-прежнему, и баулы стояли на прежних местах, но оба они были раскрыты. Хинкуса, конечно, в номере не было, да я и не ожидал его здесь найти. Я присел над баулами и снова тщательно обследовал их. В них тоже все было по-прежнему, за одним маленьким исключением: исчезли и золотые часы, и браунинг. Если бы Хинкус бежал, он захватил бы деньги. Хорошая пачка, увесистая. Значит, он не бежал. Значит, он здесь. А если и отлучился, то намерен вернуться.

Одно мне было ясно: готовилось какое-то преступление. Какое? Убийство? Ограбление? Мысль об убийстве я торопливо прогнал от себя. Я просто не мог себе представить, кого здесь могут убить и зачем. Потом я вспомнил про записку, которую подбросили дю Барнстокру. Мне сделалось нехорошо. Впрочем, из записки явствовало, что его убьют лишь в том случае, если он попытается бежать...

Я выключил свет и вышел в коридор, прикрыв за собою дверь. Я подошел к номеру дю Барнстокра и потрогал ручку. Дверь была заперта. Тогда я постучал. Никто не откликнулся. Я постучал вторично и приложил ухо к замочной скважине. Невнятный, явно со сна, голос дю Барнстокра отозвался: «Одну минуточку, я сейчас...» Старик был жив, и старик не собирался бежать. Объясняться с ним мне не хотелось, я выскочил на лестничную площадку и прижался к стене под чердачной лестницей. Через минуту щелкнул ключ, скрипнула дверь. Голос дю Барнстокра с изумлением произнес: «Странно, однако...» Снова скрипнула дверь, и снова щелкнул ключ. Здесь все было в порядке — по крайней мере пока.

Нет, решительно подумал я. Убийство — это, конеч-

но, чепуха, и записку ему подбросили либо в шутку, либо для отвода глаз. А вот как насчет ограбления? Кого здесь имеет смысл грабить? Насколько я понимаю, в отеле два богатых человека: Мозес и хозяин. Так. Прекрасно. Оба на первом этаже. Номера Мозеса в южном крыле, сейф хозяина — в северном. Их разделяет холл. Если я засяду в холле... Впрочем, в контору к хозяину можно попасть и сверху, спустившись из столовой в кухню и пройдя потом через буфетную. Если припереть снаружи дверь буфетной... Решено, проведем ночь в холле, а завтра видно будет. Вдруг я вспомнил об одноруком незнакомце. Гм... Судя по всему, он приятель Хинкуса и, следовательно, сообщник. Может быть, он действительно попал в аварию, а может быть, все это комедия, вроде снежной бабы на крыше... Нет, на этом нас не поймаешь, господа!

Я спустился в холл. В душевой уже никого не было, а посередине холла стояла с ошалелым видом Кайса в ночной рубашке с мокрым подолом и держала в охапке мокрую мятую одежду незнакомца. В коридоре южного крыла горел свет, из пустовавшего номера, что напротив каминной, доносился приглушенный бас хозяина. Незнакомца, по-видимому, устроили там, а ему, может быть, только того и надо было. Хороший расчет: не потащат же полуживого человека на второй этаж...

Кайса, очнувшись, наконец двинулась было на хозяйскую половину, но я ее остановил. Я отобрал у нее одежду и обыскал карманы. К моему огромному изумлению, в карманах не оказалось ничего. Решительно ничего. Ни денег, ни документов, ни сигарет, ни носового платка — ничего.

— Что на нем сейчас? — спросил я.

— Как это? — спросила Кайса, и я оставил ее в покое.

Я вернул ей одежду и пошел посмотреть сам. Незнакомец лежал в постели, закутанный одеялом до подбородка. Хозяин поил его с ложечки чем-то горячим, приговаривая: «Надо, сударь, надо... пропотеть надо... хорошенько пропотеть надо...» Вид у незнакомца, надо сказать, был ужасный. Лицо было синее, кончик острого носа — белый как снег, один глаз был болезненно сощурен, а другой и вовсе закрыт. Он слабо постанывал при каждом вздохе. Если это и был сообщник, то он ни к черту не годился. Но несколько вопросов я должен был ему задать. В любом случае.

— Вы один? — спросил я.

Он молча смотрел на меня сощуренным глазом и тихонько стонал.

— Кто-нибудь еще остался в машине? — спросил я раздельно. — Или вы ехали один?

Незнакомец приоткрыл рот, подышал немного и снова закрыл рот.

— Слаб, — сказал хозяин. — У него все тело как тряпка.

— Черт возьми, — пробормотал я. — А ведь придется сейчас кому-нибудь ехать к Бутылочному Горлышку.

— Да, — согласился хозяин. — Вдруг там еще кто-нибудь остался... Я думаю, они попали под обвал.

— Придется вам поехать, — сказал я решительно, и в этот момент незнакомец заговорил.

— Олаф, — сказал он без выражения. — Олаф Андва-ра-форс... Позовите.

Я испытал очередной шок.

— Ага, — сказал хозяин и поставил кружку с питьем на стол. — Сейчас позову.

— Олаф... — повторил незнакомец.

Хозяин вышел, и я сел на его место. Я чувствовал себя идиотом. В то же время у меня немного отлегло от сердца: мрачная при всем ее изяществе схема, которую я построил, развалилась сама собой.

— Вы были один? — спросил я снова. — Кто-нибудь еще пострадал?

— Один... — простонал незнакомец. — Авария... Позовите Олафа... Где Олаф Андваарафорс?

— Здесь, здесь, — сказал я. — Сейчас придет.

Он закрыл глаза и затих. Я откинулся на спинку стула. Ну ладно. А куда все-таки девался Хинкус? И как там хозяйский сейф? В голове у меня была каша.

Вернулся хозяин, брови у него были высоко задраны, губы поджаты. Он наклонился к моему уху и прошептал:

— Странное дело, Петер. Олаф не отвечается. Дверь заперта, оттуда несет холодом. И мои запасные ключи куда-то пропали...

Я молча извлек из кармана связку, которую стащил у него в конторе, и протянул ему.

— Ага, — сказал хозяин. Он взял ключи. — Ну, все равно. Вы знаете, Петер, пойдете-ка вместе. Что-то мне все это не нравится...

— Олаф... — простонал незнакомец. — Где Олаф?

— Сейчас, сейчас, — сказал я ему. Я чувствовал, что у меня начала подергиваться щека. Мы с хозяином вышли в коридор. — Вот что, Алек, — сказал я. — Позовите сюда Кайсу. Пусть сидит возле этого парня и не трогается с места, пока мы не вернемся.

— Ага, — произнес хозяин, играя бровями. — Вот, значит, как дела обстоят... То-то я смотрю...

Он трусцой побежал на свою половину, а я медленно направился к лестнице. Я уже поднялся на несколько ступенек, когда хозяин позади строго произнес:

— Иди сюда, Лель. Сиди здесь... Сидеть. Никого не впускать. Никого не выпускать.

Он нагнал меня уже в коридоре второго этажа, и мы вместе подошли к номеру Олафа. Я постучал и тут же увидел на двери записку. Записка была приколота кнопкой на уровне глаз. «В соответствии с договоренностью, был, не застал. Если по-прежнему жаждете реванша, до одиннадцати часов к Вашим услугам. Дю Б.»

— Вы это видели? — быстро спросил я хозяина.

— Да. Только не успел вам сказать.

Я снова постучался и, уже не ожидая ответа, отобрал у хозяина связку ключей.

— Который? — спросил я.

Хозяин показал. Я сунул ключ в замочную скважину. Черта с два — дверь была заперта изнутри, и в скважине уже был один ключ. Пока я возился, выталкивая его, отворилась дверь соседнего номера, и, затягивая пояс халата, в коридор вышел дю Барнстокр, заспанный, но благодушный.

— Что происходит, господа? — осведомился он. — Почему постояльцам не дают спать?

— Тысяча извинений, господин дю Барнстокр, — сказал хозяин, — но у нас тут происходят кое-какие события, требующие решительных действий.

— Ах, вот как? — произнес дю Барнстокр с интересом. — Надеюсь, я не помешаю?

Я расчистил путь для своего ключа и выпрямился. Изпод двери несло зимним холодом, и я был совершенно уверен, что комната окажется пуста, как и номер Хинкуса. Я повернул ключ и распахнул дверь. Волна морозного воздуха окатила меня, но я почти не почувствовал этого. Номер не был пуст. На полу лежал человек. Света из коридора было недостаточно, чтобы узнать его. Я видел только огромные подошвы на пороге прихожей. Я шагнул в прихожую и зажег свет.

Это был Олаф Андварафорс, истый потомок конунгов и возмужалый бог. Он был явно и безнадежно мертв.

Глава восьмая

Я тщательно запер окно на все задвижки, взял чемодан и, осторожно перешагнув через тело, вышел в коридор.

Хозяин уже ждал меня с клеем и полосками бумаги. Дю Барнстокр не ушел, он стоял тут же, прислонившись плечом к стене, и выглядел постаревшим лет на двадцать. Аристократический нос его обвис и жалко подрагивал.

— Какой ужас! — бормотал он, с отчаянием глядя на меня. — Какой кошмар!..

Я запер дверь, опечатал ее пятью полосками бумаги и дважды расписался на каждой полоске.

— Какой ужас!.. — бормотал дю Барнстокр у меня за спиной. — И ни реванша теперь... ничего...

— Идите к себе в номер, — сказал я ему. — Запритесь и сидите, пока я вас не позову... Да, одну минуту. Записка ваша?

— Моя, — сказал дю Барнстокр. — Я...

— Ладно, потом, — сказал я. — Идите. — Я повернулся к хозяину. — Оба ключа от номера я забираю себе. Больше ключей нет? Хорошо. У меня к вам просьба, Алек. Ничего пока не сообщайте этому... однорукому. Соврите что-нибудь, если он станет очень уж беспокоиться. Посмотрите гараж — все ли машины на месте... Теперь вот что. Если увидите Хинкуса, задержите его, хотя бы силой. Пока все. Я буду у себя в номере. И никому ни слова, поняли?

Хозяин молча кивнул и пошел вниз.

У себя в номере я поставил чемодан Олафа на загаженный стол и раскрыл его. Здесь тоже все оказалось не как у людей. Еще хуже, чем фальшбагаж Хинкуса. Там, по крайней мере, были тряпки и книжки. А здесь, в этом плоском элегантном чемодане, занимая весь его объем, помещался какой-то прибор — черная металлическая коробка с шероховатой поверхностью... какие-то разноцветные кнопки, стеклянные окошечки, никелированные верньеры... Ни белья, ни пижамы, ни мыльницы... Я закрыл чемодан, повалился в кресло и закурил.

Ладно. Что мы имеем, инспектор Глебски? Вместо того, чтобы лежать между свежими простынями и крепко спать. Вместо того, чтобы встать пораньше, обтереться снегом и обежать на лыжах всю долину по периметру. Вместо того, чтобы потом весело пообедать, сгонять партию в бильярд, пофлиртовать с госпожой Мозес, а вечером уютно устроиться у камина со стаканом горячего портвейна. Вместо того, чтобы наслаждаться каждым днем первого настоящего отпуска за четыре года... Что мы имеем вместо всего этого? Мы имеем свежий труп. Зверское убийство. Тоскливую уголовную неразбериху.

Ладно. В ноль часов двадцать четыре минуты третье-

го марта сего года мною, полицейским инспектором Глебски, в присутствии добрых граждан Алека Сневара и дю Барнстокра обнаружен труп некоего Олафа Андварафорса. Труп находился в номере упомянутого Андварафорса, каковой номер был закрыт изнутри, но имел настежь раскрытое окно. Тело лежало ничком, вытянувшись на полу. Голова мертвого была зверским и неестественным образом вывернута на сто восемьдесят градусов, так что, хотя тело лежало ничком, лицо было обращено к потолку. Руки мертвого были вытянуты и почти касались небольшого чемодана, каковой чемодан был единственным багажом, принадлежащим убитому. В правой руке убитый сжимал ожерелье из деревянных бус, принадлежавшее, как достоверно известно, доброй гражданке Кайсе. Черты лица убитого искажены, глаза широко раскрыты, рот оскален. Вблизи рта ощущается слабый, но явственный запах какого-то едкого химического вещества, то ли карболки, то ли формалина. Определенные и недвусмысленные следы борьбы в номере отсутствуют. Покрывало застеленной кровати смято, дверцы стенного шкафа приотворены, сильно сдвинуто тяжелое кресло, предназначенное стоять в подобных номерах у стола. Следов на подоконнике, а также на покрытом снегом карнизе обнаружить не удалось. Следов на бородке ключа (я достал из кармана ключ и еще раз внимательно осмотрел его)... следов на бородке ключа при визуальном осмотре также не обнаружено. Ввиду отсутствия специалистов, инструментов и лаборатории, медицинское, дактилоскопическое и всякое иное специальное исследование провести не представилось возможным (и не представится). Судя по всему, смерть последовала в результате того, что Олафу Андварафорсу с чудовищной силой и жестокостью свернули шею.

Непонятен странный запах изо рта и непонятно, какой же гигантской силой должен обладать убийца, чтобы свернуть шею этому великану без длительной, шумной и оставляющей множество следов борьбы. Впрочем, два минуса, как известно, иногда дают плюс. Можно предположить, что Олаф был сначала отравлен, приведен в беспомощное состояние каким-то ядом, после чего его и прикончили таким злодейским способом, который, между прочим, тоже требует немалой силы. Да, такое предположение кое-что объясняет, хотя сразу же возникают новые вопросы. Зачем было добивать ослабевшего таким зверским и трудным способом? Почему его просто не ткнули ножом или не придушили веревкой, на худой

конец? Ярость, бешенство, ненависть, месть?.. Садизм?.. Хинкус? Может быть, и Хинкус, хотя Хинкус на вид жидковат... А может быть, тот, кто подбросил мне записку о Хинкусе?..

Нет, так у меня не пойдет. Ну почему это не фальшивый лотерейный билет и не подчищенная бухгалтерская книга? Там бы я быстро разобрался... Вот что мне надо делать: садиться в автомобиль и гнать по дороге до самого завала, а там попытаться перейти завал на лыжах, добраться до Мюра и вернуться с ребятами из отдела убийств. Я даже приподнялся было, но снова сел. Хороший, конечно, это был бы выход, но уж больно плохой. Оставить здесь все на произвол судьбы, дать убийце время и разные возможности... оставить дю Барнстокра, которому грозили... Да и как я переберусь через завал? Можно себе представить, что это такое: лавина в Бутылочном Горлышке.

В дверь постучали. Вошел хозяин, неся на подносе стакан с горячим кофе и сэндвичи.

— Машины все на месте, — объявил он, ставя передо мною поднос. — Лыжи тоже. Хинкуса нигде не нашел. На крыше валяются шуба и шапка, но это вы, наверное, видели.

— Да, это я видел, — проговорил я, отхлебывая кофе. — А что однорукий?

— Спит, — сказал хозяин. Он поджал губы и потрогал пальцем натеки клея на столе. — Н-да... Так вот, он спит. Станный тип. Уже порозовел и выглядит вполне прилично. Я там держу Леля. Так, на всякий случай.

— Спасибо, Алек, — сказал я. — Идите пока, и пусть все будет тихо. Пусть все спят.

Хозяин покачал головой.

— Уже не выйдет. Мозес уже встал, у него свет... Ладно, я пойду. А Кайсу я запру, она у меня дура. Хотя она еще ничего не знает.

— И пусть не знает, — сказал я.

Хозяин вышел. Я с наслаждением выпил кофе, отодвинул тарелку с сэндвичами и снова закурил. Когда я видел Олафа последний раз? Я играл на бильярде, он танцевал с чадом. Это было еще до того, как разошлись картежники. А они разошлись, когда пробило половину чего-то. Сразу после этого Мозес объявил, что ему пора спать. Ну, это время будет нетрудно установить. Но вот насколько раньше этого времени я в последний раз видел Олафа? А ведь, пожалуй, незадолго. Ладно, это мы установим. Теперь так: ожерелье Кайсы, записка дю Барнсто-

кра, слышали ли что-нибудь соседи Олафа — дю Барнстокр и Симонэ...

Я только-только начал чувствовать, что у меня вырисовывается какой-то план расследования, как вдруг услышал глухие и довольно сильные удары в стену — из номера-музея. Я даже тихонько застонал от бешенства. Я сбросил пиджак, засучил рукава и осторожно, на цыпочках вышел в коридор. По физиономии, по щекам, мельком подумал я. Я ему покажу шуточки, кто бы это ни был...

Я распахнул дверь и пулей влетел в номер-музей. Там было темно, и я быстро включил свет. Номер был пуст, и стук вдруг прекратился, но я чувствовал, что здесь кто-то есть. Я сунулся в туалет, в шкаф, за портьеры. Позади меня глухо замычали. Я подскочил к столу и отшвырнул тяжелое кресло.

— Вылезай! — яростно приказал я.

В ответ снова раздалось глухое мычание. Я присел на корточки и заглянул под стол. Там, втиснутый между тумбочками, в страшно неудобной позе, обмотанный веревкой и с кляпом во рту, сидел, скрючившись в три погибели, опасный гангстер, маньяк и садист Хинкус и таранил на меня из сумрака слезящиеся мученические глаза. Я выволок его на середину комнаты и вырвал изо рта кляп.

— Что это значит? — спросил я.

В ответ он принялся кашлять. Он кашлял долго, с надрывом, с сипением, он отплевывался во все стороны, он охал и хрипел. Я заглянул в туалетную, взял бритву Погибшего Альпиниста и разрезал на Хинкусе веревки. Бедняга так затек, что не мог даже поднять руку и вытереть физиономию. Я дал ему воды. Он жадно выпил и наконец подал голос: сложно и скверно выругался. Я помог ему встать и усадил его в кресло. Бормоча ругательства, плачевно сморщив лицо, он принялся ощупывать свою шею, запястья, бока.

— Что с вами случилось? — спросил я. Глядя на него, я испытывал определенное облегчение: оказывается, мысль о том, что где-то за кулисами убийства прячется невидимый Хинкус, очень беспокоила меня.

— Что случилось... — пробормотал он. — Сами видите, что случилось! Связали, как барана, и сунули под стол...

— Кто?

— Почему я знаю? — сказал он мрачно, и вдруг его всего передернуло. — Бог ты мой! — пробормотал он. — Выпить бы... У вас нет чего-нибудь выпить, инспектор?

— Нет, — сказал я. — Но будет. Как только вы ответите на мои вопросы.

Он с трудом поднял левую руку и отогнул рукав.

— А, черт, часы раздавил, сволочь... — пробормотал он. — Сколько сейчас времени, инспектор?

— Час ночи, — ответил я.

— Час ночи... — повторил он. — Час ночи... — Глаза у него остановились. — Нет, — сказал он и поднялся. — Надо выпить. Схожу в буфетную и выпью.

Легким толчком в грудь я усадил его снова.

— Успеется, — сказал я.

— А я вам говорю, что хочу выпить! — сказал он, повышая голос и снова делая попытку встать.

— А я вам говорю, что это успеется! — сказал я, снова пресекая эту попытку.

— Кто вы такой, чтобы распоряжаться? — уже в полный голос взвизгнул он.

— Не орите, — сказал я. — Я — полицейский инспектор. А вы на подозрении, Хинкус.

— На каком еще подозрении? — спросил он, сразу сбавив тон.

— Сами знаете, — ответил я. Я старался выиграть время, чтобы сообразить, как действовать дальше.

— Ничего я не знаю, — угрюмо заявил он. — Что вы мне голову морочите? Ничего я не знаю и знать не хочу. А вы за ваши штучки ответите, инспектор.

Я и сам чувствовал, что мне придется отвечать за мои штучки.

— Слушайте, Хинкус, — сказал я. — В отеле произошло убийство. Так что лучше отвечайте на мои вопросы, потому что, если вы будете финтить, я изуродую вас, как бог черепаху. Мне терять нечего, семь бед — один ответ.

Некоторое время он молча смотрел на меня, приоткрыв рот.

— Убийство... — повторил он как бы разочарованно. — Вот те на! А только я-то здесь при чем? Меня самого без малого уколошили... А кто убит?

— А вы как думаете — кто?

— Откуда мне знать? Когда я из столовой уходил, все вроде были живы. А потом... — Он замолчал.

— Ну? — сказал я. — Что было потом?

— А ничего не было. Я сидел себе на крыше, задремал. Вдруг чувствую, душат, валят, а больше ничего не помню. Очнулся под этим паршивым столом, чуть с ума не сошел: думал, заживо похоронили. Принялся стучать. Стучал-стучал, никто не идет. Потом вы пришли. Вот и все.

— Вы можете сказать, когда примерно вас схватили?

Он задумался и некоторое время сидел молча. Потом он вытер ладонью рот, посмотрел на пальцы, его снова передернуло, и он вытер ладонь о штанину.

— Ну? — сказал я.

Он поднял на меня тусклые глаза.

— Что?

— Я спрашиваю, когда примерно вас...

— А... Да что-то около девяти. Последний раз, когда я смотрел на часы, было восемь сорок.

— Дайте сюда ваши часы, — сказал я.

Он послушно отстегнул и протянул мне. Я заметил, что запястье у него покрыто сине-багровыми пятнами.

— Разбиты они, — сообщил он.

Часы были не разбиты, они были раздавлены. Часовая стрелка была отломлена, а минутная показывала сорок три минуты.

— Кто это был? — снова спросил я.

— Откуда мне знать? Я же говорю, что задремал.

— И не проснулись, когда вас схватили?

— Меня схватили сзади, — угрюмо произнес он. — Нет у меня глаз на заду.

— А ну, поднимите подбородок!

Он мрачно смотрел на меня исподлобья, и я понял, что я на верном пути. Я взял его двумя пальцами за челюсть и толчком вздернул его голову. Бог знает, что означали эти синяки и царапины на его худой жилистой шее, но я уверенно сказал:

— Перестаньте лгать, Хинкус. Вас душили спереди, и вы его видели. Кто это был?

Дернув головой, он освободился.

— Идите к черту, — прохрипел он. — К дьяволу. Не ваше собачье дело. Кого бы здесь ни стукнули, я к этому отношения не имею, а на остальное мне наплевать... И мне нужно выпить! — заорал он вдруг. — У меня все болит, понимаете вы это, полицейская балда?

По-видимому, он был прав. В чем бы он ни был замешан, к убийству он отношения не имел, во всяком случае, прямого. Однако и я не имел права отступить.

— Как угодно, — холодно сказал я. — Тогда я запру вас в кладовку, и вы не получите ни бренди, ни сигарет, пока не скажете все, что знаете.

— Да что вам от меня нужно?.. — простонал он. Я видел, что он вот-вот заплачет. — Чего вы ко мне привязались?

— Кто вас схватил?

— Ч-черт! — прошипел он в отчаянии. — Да не желаю я об этом говорить, можете вы это понять? Видел, да, видел, кто это был! — Его снова передернуло, прямо-таки перекосило на сторону. — Врагу своему не пожелаю такое увидеть!.. Вам, черт бы вас подрал, не пожелаю такого! Вы бы сдохли от страха!

Он был не в себе.

— Ладно, — сказал я и поднялся. — Пойдемте.

— Куда?

— За выпивкой, — сказал я.

Мы вышли в коридор. Он пошатывался и цеплялся за мой рукав. Мне было интересно, как он отреагирует, увидев наклейки на двери Олафа, но он ничего не заметил, ему явно было не до того. Я привел его в бильярдную, нашел на подоконнике полбутылки бренди, оставшиеся с вечера, и подал ему. Он жадно схватил бутылку и надолго присосался к горлышку.

— Господи, — прохрипел он, утираясь. — Смачно-то как!..

Я смотрел на него. Можно было, конечно, предположить, что он в сговоре с убийцей, что все это задумано для отвода глаз, тем более что он приехал вместе с Олафом, можно было даже предположить, что он и есть убийца и что сообщники потом связали его для создания алиби, но я чувствовал, что это слишком сложно для правды. То есть с ним явно не все в порядке: никакой он не туберкулезник, и никакой он, видимо, не ходатай по делам несовершеннолетних, и остается открытым вопрос, для чего он торчал на крыше... Меня вдруг осенило! Что бы он ни делал на крыше, это кому-то мешало, возможно, как-то мешало покончить с Олафом, и его убрали. Его убрали, а тот, кто его убирал, внушал почему-то Хинкусу невыносимый ужас, а значит, не был постояльцем отеля, ибо никого в отеле Хинкус, по-видимому, не боялся. Чепуха какая-то... И тут я вспомнил все эти истории с душем, с трубкой, с таинственными записками и вспомнил, каким зеленым и напуганным был Хинкус, когда днем спускался с крыши...

— Слушайте, Хинкус, — мягко сказал я. — Тот, кто вас схватил... ведь вы видели его и раньше, днем?

Он дико взглянул на меня и снова присосался к бутылке.

— Так, — сказал я. — Ну пойдемте. Я запроу вас в номере. Бутылку можете взять с собой.

— А вы? — хрипло спросил он.

— Что — я?

— Вы уйдете?

— Естественно, — сказал я.

— Послушайте, — сказал он. — Послушайте, инспектор... — Глаза у него бегали, он искал, что сказать. — Вы... Я... Вы... вы заглядывайте ко мне, ладно? Я, может быть, вспомню еще что-нибудь... Или, может быть, я побуду с вами? — Он умоляюще глядел на меня. — Я не убегу, и... ничего... клянусь вам...

— Вы боитесь остаться один в номере? — спросил я.

— Да, — ответил он.

— Но ведь я вас запрю, — сказал я. — И ключ унесу с собой...

В каком-то отчаянии он махнул рукой.

— Это не поможет, — пробормотал он.

— Ну-ну, Хинкус, — строго сказал я. — Будьте же мужчиной! Что вы раскисли, как старая баба?

Он ничего не ответил и только нежно прижал бутылку к груди обеими руками. Я отвел его в номер и, еще раз пообещав навестить, запер. Ключ я действительно вынул и сунул в карман. Я чувствовал, что Хинкус — это неразработанная жила и что им еще придется заниматься. Я ушел не сразу. Я постоял несколько минут у дверей, приложив ухо к замочной скважине. Слышно было, как булькает жидкость, потом скрипнула кровать, потом раздались частые прерывистые звуки. Я не сразу догадался, что это, а потом понял: Хинкус плакал.

Я оставил его наедине с совестью и направился к дю Барнстокру. Старик открыл мне немедленно. Он был страшно возбужден. Он даже не предложил мне сесть. Комната была полна сигарного дыма.

— Мой дорогой инспектор! — немедленно начал он, выделявая фантастические вещи с сигарой, которую он держал двумя пальцами в приподнятой руке. — Мой уважаемый друг! Я чувствую себя чертовски неловко, но дело зашло слишком далеко. Я должен признаться вам в одной своей маленькой провинности...

— Что вы убили Олафа Андварафорса, — мрачно сказал я, опускаясь в кресло.

Он содрогнулся и всплеснул руками.

— О боже! Нет! Я в жизни своей никого не тронул пальцем! Кэль идэ! Нет! Я хочу только чистосердечно признаться в том, что регулярно мистифицировал публику в нашем отеле... — Он прижал руки к груди, обсыпая халат сигарным пеплом. — Поверьте, поймите меня правильно: это были просто шутки! Пусть не бог весть какие изящные и остроумные, но совершенно невинные... Это у меня профессиональное, я обожаю атмосферу таинственности,

мистификации, всеобщего недоумения... Никакого злого умысла, уверяю вас! Никакой корысти...

— Какие именно шутки вы имеете в виду? — спросил я сухо. Я был зол и разочарован. Я не ожидал, что этим занимался именно дю Барнстокр. Я был о старике лучшего мнения.

— Н-ну... Все эти маленькие розыгрыши по поводу тени Погибшего Альпиниста. Ну, там, туфли, которые я сам у себя украл и сунул к нему под кровать... Шутки с душем... Вас я немножко помистифицировал — помните, пепел из трубки?.. Ну и тому подобное, я уж не упомяну всего...

— Стол у меня испоганили тоже вы? — спросил я.

— Стол? — Он растерянно посмотрел на меня, потом оглянулся на свой собственный стол.

— Да, стол. Залили клеем, безнадежно испортили хорошую вещь...

— Н-нет, — испуганно сказал он. — Клеем... стол... Нет-нет, это не я, клянусь вам! — Он снова прижал руки к груди. — Вы поймите, инспектор, ведь все, что я делал, было совершенно невинно, я никому не причинял ни малейшего ущерба... Мне даже казалось, что это всем нравится, а наш дорогой хозяин так прекрасно мне подыгрывал...

— Хозяин был с вами в сговоре?

— Нет, что вы! — Он замахал на меня руками. — Я имею в виду, что он... что ему это, в общем, нравилось, он же и сам немножко мистификатор, вы заметили? Как он говорит, знаете, таким особенным голосом, и это его знаменитое «позвольте мне погрузиться в прошлое...».

— Понятно, — сказал я. — А следы в коридорах?

Лицо дю Барнстокра сделалось сосредоточенным и серьезным.

— Нет-нет, — сказал он. — Это не я. Но я знаю, о чем вы говорите. Я это видел однажды. Это было еще до вашего приезда. Мокрые следы босых ног, они шли с лестничной площадки и вели, как это ни глупо, в номер-музей... Тоже шутка, конечно, но не моя...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Еще один вопрос. Записка, которую вам якобы подбросили, это тоже ваш розыгрыш, как я понимаю?

— Тоже не мой, — сказал дю Барнстокр с достоинством. — Передавая вам эту записку, я рассказывал чистую правду.

— Минуточку, — сказал я. — Значит, дело было так. Олаф вышел, вы остались сидеть. Кто-то постучал в дверь,

вы откликнулись, потом глянули и увидели на полу у дверей записку. Так?

— Так.

— Минуточку, — повторил я. Я ощутил приближение новой мысли. — Позвольте, господин дю Барнстокр, а почему вы, собственно, решили, что это угрожающее послание адресовано именно вам?

— Совершенно с вами согласен, — сказал дю Барнстокр. — Уже потом я понял, уже прочитав, что, будь записка адресована мне, ее, наверное, подсунули бы под мою дверь. Но в тот момент я действовал как-то подсознательно, что ли... Ведь тот, кто постучал, слышал мой голос, то есть знал, что я здесь... Вы меня понимаете? Во всяком случае, когда наш бедный Олаф вернулся, я немедленно показал ему эту записку, чтобы вместе посмеяться над нею...

— Так, — сказал я. — И что же Олаф? Смеялся?

— Н-нет, он не смеялся... У него, знаете ли, чувство юмора... В общем, он прочел, пожал плечами, и мы тут же продолжили игру. Он оставался совершенно спокоен, флегматичен и больше ни разу не вспомнил об этой записке... А я, как вы знаете, решил, что это чья-то мистификация, и, откровенно говоря, продолжаю думать так же и сейчас... Вы знаете, в узком кругу отдыхающих, скучающих людей всегда найдется человек...

— Знаю, — сказал я.

— Вы полагаете, эта записка действительно...

— Все может быть, — сказал я. Мы помолчали. — А теперь расскажите, что вы делали с того момента, как Мозесы ушли спать.

— Извольте, — сказал дю Барнстокр. — Я ожидал этого вопроса и специально восстановил в памяти всю последовательность своих действий. Дело было так. Когда все разошлись, а было это примерно в половине десятого, я некоторое время...

— Одну минуту, — прервал я его. — Это было в половине десятого, говорите вы?

— Да, примерно.

— Хорошо. Тогда скажите сначала мне вот что. Не можете ли вы припомнить, кто находился в столовой между половиной девятого и половиной десятого?

Дю Барнстокр взялся за лоб длинными белыми пальцами.

— М-м-м... — произнес он. — Это будет посложнее. Я ведь был занят игрой... Ну, естественно, Мозес, хозяин... Время от времени карту брала госпожа Мозес... Это у нас

за столиком. Брюн и Олаф танцевали, а потом... нет, пардон, еще до этого... танцевали госпожа Мозес и Брюн... Но вы понимаете, мой дорогой инспектор, я совершенно не в состоянии установить, когда это было — в половине девятого, в девять... О! Часы пробили девять, и я, помнится, оглядел зал и подумал, как мало народу осталось. Играла музыка, и зал был пуст, только танцевали Брюн с Олафом... Вы знаете, это, пожалуй, единственное ясное впечатление, которое осталось у меня в памяти, — закончил он с сожалением.

— Так, — сказал я. — А хозяин и господин Мозес хоть раз выходили из-за стола?

— Нет, — сказал он уверенно. — Оба они оказались чрезвычайно азартными партнерами.

— То есть в девять часов в зале были только трое игроков, Брюн и Олаф?

— Именно так. Это я помню совершенно отчетливо.

— Хорошо, — сказал я. — Теперь вернемся к вам. Итак, после того как все разошлись, вы посидели еще некоторое время за карточным столиком, упражняясь в карточных фокусах...

— Упражняясь в фокусах? А, вполне возможно. Иногда в задумчивости я даю волю своим пальцам, это происходит неосознанно. Да. Затем я решил выкурить сигару и направился сюда, к себе в номер. Я выкурил сигару, сел в это кресло и, признаться, вздремнул. Проснулся я словно бы от какого-то толчка — я вдруг вспомнил, что в десять часов обещал реванш бедному Олафу. Я взглянул на часы. Точного времени не помню, но было самое начало одиннадцатого, и я с облегчением понял, что опоздаю ненамного. Я наскоро привел себя в порядок перед зеркалом, взял пачку ассигнаций, сигары и вышел в коридор. В коридоре, инспектор, было пусто, это я помню. Я постучал в дверь к Олафу — никто не отозвался. Я постучал вторично, и снова без всякого успеха. Я понял, что господин Олаф сам забыл о реванше и занят какими-нибудь более интересными делами. Однако в таких вопросах я страшно щепетилен. Я написал известную вам записку и приколот ее к двери. Затем я честно прождал до одиннадцати, читая вот эту книгу, и в одиннадцать лег спать. И вот что интересно, инспектор. Незадолго до того, как вы с хозяином принялись шуметь и стучать в коридоре, меня разбудил стук в мою дверь. Я открыл, но никого не оказалось. Я лег снова и больше уже не смог заснуть.

— Угу, — сказал я. — Понятно. Значит, с того момента, как вы приколотли записку, и до одиннадцати часов,

когда вы легли спать, не произошло больше ничего существенного... не было никакого шума, движения?

— Нет, — сказал дю Барнстокр. — Ничего.

— А где вы были? Здесь или в спальне?

— Здесь, сидел в этом кресле.

— Угу, — сказал я. — И последний вопрос. Вчера до обеда вы не разговаривали с Хинкусом?

— С Хинкусом?... А, это такой маленький, жалкий... Постойте, мой милый друг... Да, конечно! Мы же все вместе стояли возле душа, помните? Господин Хинкус был раздражен ожиданием, и я успокоил его каким-то маленьким фокусом... Ах да, леденцы! Он очень забавно растерялся тогда. Обожаю такие мистификации.

— А после этого вы с ним не разговаривали?

Дю Барнстокр задумчиво сложил губы куриной гузкой.

— Нет, — сказал он. — Насколько мне помнится — нет.

— И вы не поднимались на крышу?

— На крышу? Нет. Нет-нет. На крышу я не поднимался. Я встал.

— Благодарю вас, господин дю Барнстокр. Вы оказали следствию помощь. Я надеюсь, вы понимаете, насколько неуместны были бы сейчас новые мистификации. (Он молча замахал на меня руками.) Ну вот и хорошо. Я очень советую вам принять таблетку снотворного и лечь спать. На мой взгляд, это лучшее, что вы можете сейчас сделать.

— Я попытаюсь, — с готовностью сказал дю Барнстокр.

Я пожелал ему спокойной ночи и вышел. Я направился разбудить чадо, но тут я увидел, как в конце коридора быстро и бесшумно захлопнулась приоткрытая дверь номера Симонэ. Я немедленно повернул туда.

Я вошел, не постучавшись, и сразу понял, что поступил правильно. Через открытую дверь спальни я увидел, как великий физик, прыгая на одной ноге, сдирает с себя брюки. Это было тем более глупо, что в обеих комнатах номера горел свет.

— Не трудитесь, Симонэ, — произнес я угрюмо. — Все равно вы не успеете развязать галстук.

Симонэ обессиленно опустился на кровать. Челюсть у него тряслась, глаза вылезли из орбит. Я вошел в спальню и остановился перед ним, засунув руки в карманы. Некоторое время мы молчали. Я не сказал больше ни слова, я просто смотрел на него, давая ему время осо-

знать, что он пропал. А он под моим взглядом все более снижал, голова его все глубже уходила в плечи, волнистый унылый нос становился все более унылым. Наконец он не выдержал.

— Я буду говорить только в присутствии своего адвоката, — объявил он надтреснутым голосом.

— Бросьте, Симонэ, — сказал я с отвращением. — А еще физик. Какие вам тут адвокаты?

Он вдруг схватил меня за полу пиджака и, заглядывая мне в глаза снизу вверх, просипел:

— Думайте, что хотите, Петер, но я вам клянусь: я не убивал ее.

Наступила моя очередь присесть. Я нащупал за собой стул и сел.

— Подумайте сами, зачем это мне? — страстно продолжал Симонэ. — Ведь должны быть мотивы... Никто не убивает просто так... Конечно, существуют садисты, но они ведь сумасшедшие... Тем более такое зверство, такой кошмар... Клянусь вам! Она была уже совсем холодная, когда я обнял ее!

На несколько секунд я закрыл глаза. Так. В доме был еще один труп. На этот раз — женщина.

— Вы же отлично знаете, — горячечно бормотал Симонэ, — преступлений просто так не бывает. Правда, Андре Жид писал... Но это все так, игра интеллекта... Нужен мотив... Вы же меня знаете, Петер! Посмотрите на меня: разве я похож на убийцу?

— Стоп! — сказал я. — Заткнитесь на минуту. Подумайте хорошенько и расскажите все по порядку.

Он не стал думать.

— Пожалуйста, — с готовностью сказал он. — Но вы должны поверить мне, Петер. Все, что я расскажу, будет истинная правда, и только правда. Дело было так. Еще во время этого проклятого бала... Да она и раньше давала мне понять, только я не решался... А в этот раз вы накачали меня бренди, и я решился. Почему бы нет? Ведь это же не преступление, не правда ли? Ну, и вот часов в одиннадцать, когда все угомонились, я вышел и тихонько спустился вниз. Вы с хозяином несли какую-то чепуху в каминной, что-то там о познании природы, обычная ерунда... Я тихонько прошел мимо каминной — я был в носках — и прокрался к ее номеру. У старика света не было, у нее — тоже. Дверь ее, как я и ожидал, была не заперта, это сразу придало мне бодрости. Темно было — хоть глаз выколи, но я различил ее силуэт. Она сидела на кушетке прямо напротив двери. Я тихонько ее окликнул,

она не ответила. Тогда, сами понимаете, я сел рядом с ней и, сами понимаете, обнял... Бр-р-р-р!.. Я даже поцеловать ее не успел! Она была совершенно мертвая. Лед! Окаменевшая, как дерево! И этот оскал... Я не помню, как я оттуда вылетел. По-моему, я там всю мебель поломал... Я клянусь вам, Петер, поверьте честному человеку, когда я дотронулся до нее, она была уже совершенно мертвая, холодная и окоченевшая... И потом, я не зверь...

— Наденьте брюки, — сказал я с тихим отчаянием. — Приведите себя в порядок и следуйте за мной.

— Куда? — спросил он с ужасом.

— В тюрьму! — гаркнул я. — В карцер! В башню пыток, идиот!

— Сейчас, — сказал он. — Сию минуту. Я просто не понял вас, Петер.

Мы спустились в холл навстречу вопрошающему взгляду хозяина. Хозяин сидел за журнальным столиком, положив перед собой тяжелый многозарядный винчестер. Я знаком приказал ему оставаться на месте и свернул в коридор на половину Мозесов. Лель, лежавший на пороге комнаты незнакомца, проворчал нам что-то неприятное. Симонэ семенил за мною следом, время от времени судорожно вздыхая.

Я решительно толкнул дверь в номер госпожи Мозес и остолбенел. В комнате горел розовый торшер, а на диване прямо напротив двери в позе мадам Рекамье возлежала в шелковой пижаме очаровательная госпожа Мозес и читала книгу. Увидев меня, она удивленно подняла брови, но, впрочем, тут же очень мило улыбнулась. Симонэ за моей спиной издал странный звук — что-то вроде «а-а!».

— Прошу прощения, — еле ворочая языком проговорил я и со всей возможной стремительностью закрыл двери. Затем я повернулся к Симонэ и неторопливо, с наслаждением взял его за галстук.

— Клянусь! — одними губами произнес Симонэ. Он был на грани обморока.

Я отпустил его.

— Вы ошиблись, Симонэ, — сухо сказал я. — Вернемся в ваш номер.

Прежним порядком мы проследовали в обратном направлении. Впрочем, по дороге я передумал и повел его в свой номер. Я вдруг сообразил, что номер мой не заперт, а там у меня вещественное доказательство. И кстати, не мешает показать это самое доказательство великому физику.

Войдя, Симонэ бросился в мое кресло, на секунду закрыл лицо руками, а затем принялся стучать себя по черепу кулаками, как развеселившийся шимпанзе.

— Спасен! — бормотал он с идиотской улыбкой. — Ура! Снова живу! Не таюсь, не прячусь! Ура!..

Потом он положил руки на край стола, уставился на меня круглыми глазами и произнес шепотом:

— Но ведь она была мертва, Петер! Клянусь вам. Она была убита, и мало того...

— Ерунда, — сказал я холодно. — Вы были омерзительно пьяны.

— Нет-нет, — возразил Симонэ, мотая головой. — Я был пьян, это верно, но тут что-то нечисто, тут что-то не так... Скорее, уж это был кошмар, бред. Может быть, я на самом деле немножко того, а, Петер?

— Может быть, — согласился я.

— Не знаю, просто не знаю... Я глаз не сомкнул все это время, то раздевался, то одевался... хотел даже бежать... особенно когда услышал, как вы там ходите и говорите придушенными голосами...

— Где вы находились в это время?

— Я находился... В какое, собственно, время?

— Пока мы говорили придушенными голосами.

— У себя. Я не выходил из номера.

— В какой именно комнате вашего номера вы находились?

— То в одной, то в другой... Честно говоря, пока вы допрашивали Олафа, я пытался подслушивать и сидел в спальне... — Глаза его вдруг снова выкатились. — Постойте-ка, — сказал он. — Но если она жива... тогда из-за чего вся эта суета? Что случилось? Заболел кто-нибудь?

— Отвечайте на мои вопросы, — сказал я. — Что вы делали после того, как я ушел из бильярдной?

Некоторое время он молчал, глядя на меня круглыми глазами и покусывая нижнюю губу.

— Понятно, — сказал он наконец. — Значит, все-таки что-то случилось. Ну ладно... Что я делал после того, как вы ушли? Сыграл сам с собой на бильярде и пошел к себе. Было уже около десяти, а я назначил свое предприятие на одиннадцать, надо было привести себя в порядок, освежиться, побриться, то-се... Этим я и занимался примерно до половины одиннадцатого. А потом ждал, смотрел на часы, смотрел в окошко... Остальное вы знаете... Вот так...

— Вы вернулись в номер около десяти. А точнее?

Ведь вы собирались на свидание и наверняка часто поглядывали на часы.

Симонэ тихонько свистнул.

— Ого! — сказал он. — Кажется, это следствие по всем правилам. Может быть, вы все-таки скажете мне, что произошло?

— Убит Олаф, — сказал я.

— Как — убит? Вы же только что были у него в номере... Я сам слышал, как вы с ним там разговаривали...

— Я разговаривал не с ним, — сказал я. — Олаф мертв. Поэтому постарайтесь поточнее вспомнить все, о чем я вас спрашиваю. Когда вы вернулись в свой номер?

Симонэ вытер покрытый испариной лоб. Лицо у него сделалось несчастным.

— Безумие какое-то, — пробормотал он. — Сумасшедший бред... Сначала то, теперь это...

Я применил старый испытанный прием. Пристально глядя на Симонэ, я сказал:

— Перестаньте крутить. Отвечайте на мои вопросы.

Симонэ мгновенно ощутил себя подозреваемым, и все его эмоции тут же исчезли. Он перестал думать о госпоже Мозес. Он перестал думать о бедном Олафе. Теперь он думал только о себе.

— Что вы этим хотите сказать? — пробормотал он. — Что это значит — «перестаньте крутить»?..

— Это значит, что я жду ответа, — сказал я. — Когда — точно — вы вернулись в свой номер?

Симонэ преувеличенно оскорбленно пожал плечами.

— Извольте, — сказал он. — Смешно, конечно, и дико, но... пожалуйста. Извольте. Из бильярдной я вышел без десяти десять. С точностью плюс-минус одна минута. Я посмотрел на часы и понял, что мне пора. Было без десяти десять.

— Что вы сделали, когда вошли в номер?

— Извольте. Я прошел в спальню, разделся... — Он вдруг остановился. — А знаете, Петер... Я ведь понимаю, что вам нужно. В это время Олаф был еще жив. Впрочем, откуда мне знать, может быть, это был уже не Олаф.

— Рассказывайте по порядку, — приказал я.

— Да тут нечего рассказывать по порядку... За стеной спальни двигали мебель. Голосов я не помню. Не было голосов. Но что-то там двигалось. Помнится, я показал стене язык и подумал: вот так-то, белокурая бестия, ты ляжешь баиньки, а я пойду к моей Ольге... Или что-то в

этом духе. Это было, следовательно, примерно без пяти десять. Плюс-минус три минуты.

— Так. Дальше.

— Дальше... Дальше я пошел в туалетную комнату. Я тщательно побрился электрической бритвой. Я тщательно вымылся до пояса. Я тщательно вытерся махровым полотенцем... — В голосе унылого шалуна стремительно нарастала язвительность. Впрочем, он тут же почувствовал неуместность такого тона и спохватился. — Короче говоря, в следующий раз я посмотрел на часы, когда вышел из туалетной. Было около половины одиннадцатого. Без двух-трех минут.

— Вы остались в спальне?

— Да, одевался я в спальне. Но больше я уже ничего не слышал. А если и слышал, то не обратил внимания. Одевшись, я вышел в гостиную и стал ждать. И я клятвенно утверждаю, что после вечеринки Олафа в глаза не видел.

— Вы уже утверждали клятвенно, что госпожа Мозес мертва, — заметил я.

— Ну, это я не знаю... Это я не понимаю. Уверяю вас, Петер...

— Верю, — сказал я. — Теперь скажите, когда вы в последний раз разговаривали с Хинкусом?

— Гм... Да я, пожалуй, вообще с ним никогда не разговаривал. Ни разу. Не представляю, о чем бы я мог с ним разговаривать.

— А когда вы его в последний раз видели?

Симонэ прищурился, вспоминая.

— Около душа? — произнес он с вопросительной интонацией. — Да нет, что это я! Он же обедал вместе со всеми, вы его тогда привели с крыши. А потом... куда-то он испарился, что ли... А что с ним случилось?

— Ничего особенного, — небрежно сказал я. — Еще один вопрос. Кто, по-вашему, разыгрывал все эти штучки — с душем, с пропавшими туфлями...

— Понимаю, — сказал Симонэ. — По-моему, начал это дю Барнстокр, а поддерживали его все кому не лень. Хозяин в первую очередь.

— А вы?

— И я. Я заглядывал в окна к госпоже Мозес. Обожаю такие шутки... — Он заржал было своим могильным смехом, но тут же спохватился и поспешно сделал серьезное лицо.

— И больше ничего? — спросил я.

— Ну почему же ничего? Я звонил Кайсе из пустых номеров и устраивал «посещения утопленника»...

— То есть?

— То есть бегал по коридорам босиком с мокрыми ногами. Потом я собирался соорудить небольшое привидение, да так и не собрался.

— Нам повезло, — сухо сказал я. — А часы Мозеса — ваша работа?

— Какие часы Мозеса? Золотые такие? Луковица?

Мне захотелось его ударить.

— Да, — сказал я. — Луковица. Вы их сперли?

— За кого вы меня принимаете? — возмутился Симонэ. — Что я вам — воришка?

— Нет-нет, не воришка, — сказал я, сдерживаясь. — Вы их утащили в шутку. Устроили «посещение Багдадского Вора».

— Слушайте, Петер, — сказал Симонэ очень серьезно. — Я вижу, что с этими часами тоже что-то произошло. Так вот — я их не трогал. Но я их видел. Да и все, наверное, видели. Здоровенная такая луковица, Мозес однажды при всем народе уронил ее в свою кружку...

— Хорошо, — сказал я. — Оставим это. Теперь у меня к вам вопрос как к специалисту. — Я положил перед ним чемодан Олафа и откинул крышку. — Что это может быть, как по-вашему?

Симонэ быстро оглядел прибор, осторожно извлек его из чемодана и, посвистывая сквозь зубы, принялся рассматривать со всех сторон. Потом он взвесил его в руках и так же осторожно вложил обратно в чемодан.

— Не моя область, — сказал он. — Судя по тому, как это компактно и добротнo сделано, это что-то либо военное, либо космическое. Не знаю. Даже догадаться не могу. Где вы это взяли? У Олафа?

— Да, — сказал я.

— Подумать только! — пробормотал он. — У этой дубины... Впрочем, пардон. На кой черт здесь верньеры? Ну это, вероятно, подключения? Очень странный агрегат... — Он посмотрел на меня. — Если хотите, Петер, я могу понажимать здесь клавиши и покрутить колесики и винтики. Я человек рискованный. Но имейте в виду, это очень нездоровое занятие.

— Не надо, — сказал я. — Дайте сюда. — Я закрыл чемодан.

— Правильно, — одобрил Симонэ, откидываясь в кресле. — Это надо отдать экспертам. Я даже знаю — кому... Между прочим, — сказал он, — что это вы всем этим занимаетесь? Вы — энтузиаст своего дела? Почему вы не вызовете специалистов?

Я коротко объяснил ему про обвал.

— Все одно к одному, — уныло произнес он. — Мне можно идти?

— Да, — сказал я. — И сидите в своем номере. Лучше всего ложитесь спать.

Он ушел. Я взял чемодан и искал, куда его можно спрятать. Спрятать было некуда. Военное или космическое, подумал я. Только этого мне и не хватало. Политическое убийство, шпионаж, диверсия... Тьфу, глупость! Если бы убили из-за этого чемодана, чемодан бы унесли... Куда же мне его деть? Тут я вспомнил про хозяйский сейф и, взяв чемодан под мышку — для верности, — спустился вниз.

Хозяин расположился за столиком с бумагами и арифмометром. Винчестер был у него под рукой — приклонен рядом к стене.

— Что новенького? — спросил я.

Он поднялся мне навстречу.

— Да ничего особенно хорошего, — ответил он с виноватым лицом. — Пришлось мне объяснить Мозесу, что произошло.

— Зачем?

— Он с бешеной силой рвался к вам наверх, шипел, что никому не позволит врываться среди ночи к его жене. Я просто не знал, как его остановить, и объяснил, что к чему. Я решил, что так будет меньше шума.

— Плохо, — сказал я. — Но это я сам виноват. А он что?

— А ничего. Выкатил на меня свои глазищи, отхлебнул из кружки, помолчал с полминуты, а потом стал орать — кого это я поселил на его территории да как посмел... Еле-еле я от него отбил.

— Ну ладно, — сказал я. — Вот что, Алек. Дайте мне ключ от вашего сейфа, я спрячу туда вот этот чемодан, а ключ — вы уж извините — оставлю у себя. Во-вторых, мне нужно допросить Кайсу. Приведите ее в вашу контору. А в-третьих, я очень хотел бы кофе.

— Пойдемте, — сказал хозяин.

Глава девятая

Я выпил кружку кофе и допросил Кайсу. Кофе был прекрасный. Но от Кайсы я почти ничего не добился. Во-первых, она все время засыпала на стуле, а когда я ее будил, немедленно спрашивала: «Чего это?» Во-вторых,

она, казалось, совершенно неспособна была говорить об Олафе. Каждый раз, когда я произносил это имя, она заливалась краской, принималась хихикать, совершать сложные движения плечом и закрываться ладонью. У меня осталось впечатление, что Олаф успел здесь нашалить и что произошло это почти сразу после обеда, когда Кайса сносила вниз и мыла посуду. «А бусы они у меня забрали, — рассказала Кайса, хихикая. — Сувенир, говорят, на память то есть. Шалуны они...» В общем, я отправил ее спать, а сам вышел в холл и принялся за хозяина.

— Что вы обо всем этом думаете, Алек? — спросил я.

Он с удовольствием отодвинул арифмометр и с хрустом расправил могучие плечи.

— Я думаю, Петер, что в самом скором времени мне придется дать отелю другое название.

— Вот как? — сказал я. — А что это будет за название?

— Еще не знаю, — ответил хозяин. — И это меня несколько беспокоит. Через несколько дней моя долина будет кишеть репортерами, и к этому времени я должен быть во всеоружии. Конечно, многое будет зависеть от того, к каким выводам придет официальное следствие, но ведь к частному мнению владельца пресса не может не прислушаться...

— У владельца уже есть частное мнение? — удивился я.

— Ну, может быть, не совсем правильно называть это мнением... Но, во всяком случае, у меня есть некое ощущение, которого у вас, по-моему, пока нет. Но оно будет, Петер. Оно обязательно появится и у вас, когда вы копнете это дело поглубже. Просто мы с вами по-разному устроены. Я все-таки механик-самоучка, поэтому ощущения мои, как правило, возникают вместо выводов. А вы — полицейский инспектор. У вас ощущения возникают в результате выводов, когда выводы вас не удовлетворяют. Когда они вас обескураживают. Так-то вот, Петер... А теперь задавайте ваши вопросы.

Неожиданно для себя — уж очень я отчаялся и устал — я рассказал ему о Хинкусе. Он слушал, кивая лысой головой.

— Да, — сказал он, когда я кончил. — Вот видите, и Хинкус тоже...

Обронив это таинственное замечание, он обстоятельно и без всякого понуждения рассказал, что делал после окончания карточной игры. Впрочем, знал он очень мало.

Олафа в последний раз он видел примерно тогда же, когда и я. В половине десятого он спустился вниз вместе с Мозесами, покормил Леля, выпустил его погулять, задал трепку Кайсе за неторопливость, а тут появился я. Возникла идея посидеть у камина с горячим портвейном. Он отдал распоряжение Кайсе и направился в столовую, чтобы выключить там музыку и свет.

— ...Конечно, я мог бы тогда же зайти к Олафу и свернуть ему шею, хотя я совсем не уверен, что Олаф позволил бы мне это сделать. Но я и пытаться не стал, а просто пошел вниз и погасил свет в холле. Насколько я помню, все было в полном порядке. Все двери верхнего этажа были закрыты, и стояла тишина. Я вернулся в буфетную, разлил портвейн по стаканам, и в эту минуту произошел обвал. Если вы помните, я занес вам портвейн, а сам подумал: пойду-ка я позвоню в Мюр. У меня уже тогда появилось ощущение, что дело швах. Позволив, я вернулся к вам в каминную, и больше мы не разлучались.

Я разглядывал его сквозь прикрытые веки. Да, он был очень крепким мужчиной. И, вероятно, у него хватило бы силы свернуть шею Олафу, особенно если Олаф был предварительно отравлен. И он, хозяин отеля, как никто другой, располагал возможностями отравить любого из нас. Более того, у него мог быть запасной ключ от номера Олафа. Третий ключ... Все это он мог. Но кое-чего он не мог. Он не мог выйти из номера через дверь и запереть ее изнутри. Он не мог выскочить через окно, не оставив следов на подоконнике, не оставив следов на карнизе и не оставив следов — очень глубоких и очень заметных следов — внизу под окном... Между прочим, этого никто не смог бы сделать. Оставалось предположить существование потайного люка, ведущего из номера Олафа в номер, который сейчас занимает однорукий. Но тогда преступление становится изощренно сложным, это означало бы, что его запланировали давно и с совершенно непонятной целью... А, черт, я же своими ушами слышал, как он, выключив музыку, спускался по лестнице и делал выговор Лелю. Через минуту после этого случился обвал, а потом...

— Вы мне разрешите полюбопытствовать, — сказал хозяин, — зачем вы с Симонэ заходили к госпоже Мозес?

— А, пустяки, — сказал я. — Великий физик перепил, и ему почудилось бог знает что...

— Вы не скажете мне, что именно?

— Да вздор! — сказал я с досадой, пытаюсь ухватить

за хвостик какую-то любопытную мысль, проскользнувшую у меня в сознании за несколько секунд до этого. — Вы меня сбили, Алек. Ну ладно, потом вспомню... Теперь насчет Хинкуса. Попробуйте вспомнить, выходил кто-нибудь из столовой между половиной девятого и девятью?

— Я, конечно, могу попытаться, — мягко сказал хозяин, — но ведь вы сами обратили мое внимание на тот факт, что Хинкус безумно напуган этим, скажем, существом, которое его связало.

Я впился в него глазами.

— Ну и что вы об этом думаете?

— А вы? — спросил он. — Я бы на вашем месте подумал об этом хорошенько.

— Вы шутите или нет? — сказал я раздраженно. — Я не могу сейчас заниматься мистикой, фантастикой и прочей философией. Я просто склонен думать, что Хинкус того... — Я постучал себе по темени. — Я не могу представить себе, чтобы в отеле кто-то прятался, кого мы не знаем.

— Ну хорошо, хорошо, — произнес хозяин примирительно. — Не будем спорить об этом. Итак, кто выходил из зала между половиной девятого и девятью? Во-первых, Кайса. Она приходила и уходила. Во-вторых, Олаф. Он тоже приходил и уходил. В-третьих, ребенок дю Барнстокра... Впрочем, нет. Ребенок исчез позже, вместе с Олафом...

— Когда это было? — быстро спросил я.

— Точного времени я, естественно, не помню, но хорошо помню, что мы тогда играли и продолжали играть еще некоторое время после их ухода.

— Это очень интересно, — сказал я. — Но об этом после. Так. Кто еще выходил?

— Да, собственно, остается одна только госпожа Мозес... Гм... — Он сильно поскреб ногтями обширную щеку. — Нет, — сказал он решительно. — Не помню. Я, как хозяин, в общем, следил за гостями и поэтому, как видите, кое-что помню довольно хорошо. Но вы знаете, был такой момент, когда мне чертовски везло. Это длилось недолго, всего два-три круга, но что было во время этой полосы удач... — Хозяин развел руками. — Я хорошо помню, что госпожа Мозес танцевала с ребенком, и хорошо помню, что потом она подсела к нам и даже играла. Но выходила ли она... Нет, я не видел. К сожалению.

— Ну что ж, и на том спасибо, — сказал я рассеянно.

Я уже думал о другом. — А ребенок, стало быть, ушел с Олафом, и больше они не возвращались, так?

— Так.

— И было это до половины десятого, когда вы поднялись из-за карт?

— Именно так.

— Спасибо, — сказал я и встал. — Я пойду. Да, еще один вопрос. Вы видели Хинкуса после обеда?

— После обеда? Нет.

— Ах да, вы же играли... А до обеда?

— До обеда я видел его несколько раз. Я видел его утром, когда он завтракал, потом на дворе, когда все мы играли и резвились... Потом он из моей конторы давал телеграмму в Мюр, потом... Да! Потом он спросил меня, как пройти на крышу, и сказал, что будет загорать... Ну и все, кажется. Нет, еще раз я видел его днем в буфетной, он забавлялся с бутылкой бренди. Больше я его днем не видел.

Тут мне показалось, что я поймал ускользнувшую было мысль.

— Слушайте, Алек, я совсем забыл, — сказал я. — Как записался у вас Олаф?

— Принести вам книгу? — спросил хозяин. — Или так сказать?

— Так скажите.

— Олаф Андварафорс, государственный служащий, в отпуск на десять дней, один.

Нет, это была не та мысль.

— Спасибо, Алек, — сказал я и снова сел. — Теперь займитесь своими делами, а я буду сидеть и думать.

Я обхватил голову руками и стал думать. Что же у меня есть? Мало, чертовски мало. Я узнал, что Олаф ушел из столовой между девятью и половиной десятого и больше в зал не возвращался. Теперь так. Выяснилось, что вместе с Олафом ушел этот самый ребенок. Таким образом, насколько можно пока судить, чадо — это последний человек, который видел Олафа живым. Если не считать убийцы, конечно. И если считать, что все допрошенные говорят правду. Значит, Олаф убит где-то между началом десятого и началом первого. Ничего себе, промежуток. Впрочем, Симонэ утверждает, будто без пяти десять в комнате Олафа было слышно какое-то движение, а примерно в десять минут одиннадцатого никто в номере не отзывался на стук дью Барнстокра. Но это еще ничего не значит, Олаф мог в это время выйти. Я с досадой дернул себя за волосы. Олафа вообще могли

убить не в номере... Нет, рано, рано делать выводы. У меня еще остается Брюн по делу Олафа и госпожа Мозес по делу Хинкуса... Хотя что она мне может сказать? Ну, вышла на крышу, ну, увидела Хинкуса... Минуточку, а зачем она выходила на крышу? Одна, без мужа, декольте... Ладно. Вопрос: с кого начать? Поскольку убит Олаф, а не Хинкус, и поскольку госпожа Мозес уже наверняка знает об убийстве от супруга, начнем с чада. Спросонок люди говорят иногда интересные вещи. Заодно, может быть, удастся определить, какого оно пола, мельком подумал я, поднимаясь.

Стучать в номер к чаду пришлось долго и громко. Потом за дверью зашлепали босые ноги, и сердитый сипловатый голос осведомился: какого дьявола?

— Откройте, Брюн, это я, Глебски, — сказал я.

Последовало короткое молчание. Затем голос испуганно спросил:

— Вы что, свихнулись? Три часа ночи!..

— Откройте, вам говорят! — прикрикнул я.

— А в чем дело?

— Вашему дядюшке плохо, — сказал я наугад.

— Ну да?.. Пойдите, дайте штаны надеть...

Шлепанье босых ног удалилось. Я ждал. Потом ключ в замке повернулся, дверь распахнулась, и чадо шагнуло через порог.

— Не так быстро, — сказал я, придерживая его за плечо. — Ну-ка, зайдемте в номер...

Чадо явно еще не проснулось до конца и поэтому не проявило особенной строптивости. Оно позволило вернуть себя в номер и усадить на разоренную кровать. Я сел в кресло напротив. Несколько секунд чадо смотрело на меня сквозь свои огромные черные очки, и вдруг пухлые розовые губы его задрожали.

— Так плохо? — шепотом спросило оно. — Да не молчите же, скажите что-нибудь наконец!

С некоторым удивлением я был вынужден признать, что это дикое существо, по-видимому, любит своего дядю и боится за него. Я достал сигарету и сказал, закуривая:

— Нет, ваш дядя жив и здоров. Речь пойдет о другом.

— Но вы же сказали...

— Ничего я не говорил, вам приснилось. Вот что: быстро и немедленно говорите. Когда вы расстались с Олафом? Ну, живо!

— С каким Олафом? Что вам от меня надо?

— Когда и где вы в последний раз видели Олафа?

Чадо помотало головой.

— Ничего не понимаю. При чем здесь Олаф? Что с дядей?

— Дядя спит. Дядя жив и здоров. Когда и где вы в последний раз виделись с Олафом?

— Да что вы затвердили одно и то же? — возмутилось чадо. Оно постепенно приходило в себя. — И чего вы вообще вперлись ко мне посреди ночи?

— Я вас спрашиваю...

— А мне на вас плевать! Убирайся отсюда, а то я дядю позову! Фараон чертов!

— Вы танцевали с Олафом, а потом ушли. Куда? Зачем?

— А вам-то что? Невесту приревновал?

— Хватит болтать, скверная девчонка! — гаркнул я. — Олаф убит! Я знаю, что ты — последняя, кто видел его живым! Когда это было? Где? Живо! Ну?

Наверное, я был страшен. Чадо отшатнулось и, словно защищаясь, вытянуло руки ладонями вперед.

— Нет! — прошептало оно. — Что вы! Что вы?..

— Отвечайте, — сказал я спокойно. — Вы вышли с ним из столовой и направились... Куда?

— Н-никуда... просто вышли в коридор...

— А потом?

Чадо молчало. Я не видел его глаз, и это было непривычно и неудобно.

— А потом? — повторил я.

— Позовите дядю, — сказала чадо твердо. — Я хочу, чтобы здесь был дядя.

— Дядя вам не поможет, — возразил я. — Вам поможет только одно — правда. Говорите правду.

Чадо молчало. Оно сидело, съежившись, на кровати под большим рукописным плакатом «Будем жестокими!» и молчало. Потом из-под черных очков по щекам потекли слезы.

— Слезы тоже не помогут, — сказал я холодно. — Говорите правду. Если вы будете лгать и изворачиваться, — я сунул руку в карман, — я надену на вас наручники и отправлю в Мюр. Там с вами будут говорить совсем уже посторонние люди. Дело идет об убийстве, вы понимаете это?

— Я понимаю... — едва слышно пролепетало чадо. — Я скажу...

— Правильное решение, — одобрил я. — Итак, вы с Олафом вышли в коридор. Что было дальше?

— Мы вышли в коридор... — повторило чадо механи-

чески. — А дальше... дальше... Я плохо помню, память у меня паршивая... Он что-то сказал, а я... Он что-то сказал и ушел, а я... это...

— Никуда не годится, — сказал я, покачав головой. — Попробуйте снова.

Чадо с хлюпаньем утерло нос и полезло рукой под подушку. За носовым платком.

— Ну? — сказал я.

— Это... это стыдно, — прошептало чадо. — И противно. А Олаф мертвый.

— Полиция, как и медицина, — наставительно произнес я, ощущая огромную неловкость, — не признает таких понятий, как «стыдно».

— Ну ладно, — сказала вдруг чадо, гордо вздернув голову. — Дело было так. Сначала шутки: жених или невеста, мальчик или девочка... ну, вроде как вы со мной обращались... Он тоже, наверное, принял меня неизвестно за что... А потом, когда мы вышли, он принялся меня лапать. Мне стало противно, и пришлось дать ему по морде... по лицу...

— Ну? — сказал я, не глядя на него.

— Ну, он обиделся, обругал меня и ушел. Может быть, я, конечно, зря, может, и не надо было давать волю рукам, но он тоже был хорош...

— Куда он ушел?

— Да откуда мне знать? Стану я смотреть, куда да зачем... Ушел по коридору... — Чадо махнуло рукой. — Не знаю куда.

— А вы?

— А я... А что — я? Все настроение пропало, противно, скуотища... Одно и оставалось — пойти к себе, запереться и напиться до чертиков...

— И вы напились? — спросил я, осторожно потягивая носом и исподволь оглядывая номер. Кавардак в номере был страшный, все было разбросано, все валялось кое-как, а стол был завален длинными полосами бумаги — лозунгами, как я понял. Вешать на дверях у полицейских чиновников... Спиртным действительно пахло, а на полу у изголовья постели я заметил бутылку.

— Ну, натурально, я же говорю вам!

Я наклонился и взял бутылку. Бутылка была основательно почата.

— Драть вас некому, молодой человек, — сказал я, ставя бутылку на стол, прямо на лозунг «Долой обобщения! Да здравствует мгновение!». — Вы потом все время сидели здесь?

— Да. А что делать? — Чадо по-прежнему, видимо, по старой привычке, старательно избегало родовых окончаний.

— А когда вы легли спать?

— Не помню.

— Ну хорошо, предположим, — сказал я. — А теперь подробно опишите все ваши действия с того момента, как вы вышли из-за стола, и до того момента, когда вы с Олафом удалились в коридор.

— Подробно? — спросило чадо.

— Да, со всеми подробностями.

— Ладно, — согласилось чадо, показав мелкие, острые, до голубизны белые зубы. — Значит, доедаю я десерт. Тут подсаживается ко мне пьяный инспектор полиции и начинает мне вкручивать, как я ему нравлюсь и насчет немедленного обручения. При этом он то и дело пихает меня в плечо своей лапищей и приговаривает: «А ты иди, иди, я не с тобой, а с твоей сестрой...»

Я скушал эту тираду, не моргнув глазом. Надеюсь, лицо у меня было достаточно каменное.

— Тут, на мое счастье, — продолжало чадо злорадно, — подплывает Мозесиха и хищно тащит инспектора танцевать. Они пляшут, а я смотрю, и все это похоже на портовый кабак в Гамбурге. А потом они оба ныряют за портьеру, а я смотрю на эту портьеру. И стало мне инспектора жалко, потому что парень он, в общем, неплохой, просто пить не умеет, а старый Мозес тоже уже хищно поглядывает на ту же портьеру. Тогда я встаю и приглашаю Мозесиху на пляс, причем инспектор радешенек — видно, что за портьерой он протрезвел...

— Кто в это время был в зале? — сухо спросил я.

— Все были. Олафа не было, Кайсы не было, а Симонэ наяривал в бильярд. С горя, что его инспектор отшил.

— Так, продолжайте, — сказал я.

— Ну, пляшу я с Мозесихой, она ко мне хищно прижимается — ей все равно кто, лишь бы не Мозес, — и тут у нее что-то лопается в туалете. Ах, говорит она, пардон, у меня авария. Ну, мне плевать, она со своей аварией ушлывает в коридор, а на меня набегает Олаф...

— Постойте, когда это было?

— Ну, знаете! Часы мне были ни к чему.

— Значит, госпожа Мозес вышла в коридор?

— Ну, я не знаю, в коридор, или к себе она пошла, или в пустой номер — там рядом два пустых номера... Дальше рассказывать?

— Да.

— Пляшем это мы с Олафом, он отсыпает мне разные комплименты — фигура, мол, осанка, мол, походка... а потом говорит: пойдёмте, говорит, я вам что-то интересненькое покажу. А мне что? Пожалуйста, можно и пойти... Тем более что в зале ничего интересненького я не вижу...

— А госпожу Мозес вы в зале видите в это время?

— Нет, она у себя в сухом доке, заделывает пробойны... Ну, выходим мы в коридор... а дальше вам уже рассказано.

— И госпожу Мозес вы больше не видели?

И тут произошла заминка. Крошечная такая заминочка, но я ее уловил.

— Н-нет, — сказала чадо. — Откуда? Мне было не до того. Только и оставалось — от тоски глушить водку.

Очень, очень мне мешали черные очки, и я твердо решил, что при втором допросе я эти очки сниму. Хотя бы и силой.

— Что вы делали днем на крыше? — спросил я резко.

— На какой еще крыше?

— На крыше отеля. — Я ткнул пальцем в потолок. — И не врите, я вас там видел.

— Идите-ка вы знаете куда? — ошетинилось чадо. — Что я вам — лунатик какой-нибудь по крышам бегать?

— Значит, это были не вы, — примирительно сказал я. — Ну хорошо. Теперь насчет Хинкуса. Помните, такой маленький, вы его сначала спутали с Олафом...

— Ну, помню, — сказала чадо.

— Когда вы его видели в последний раз?

— В последний?.. В последний раз это было, пожалуй, в коридоре, когда мы с Олафом вышли из столовой.

Я так и подскочил.

— Когда? — спросил я.

Чадо встревожилось.

— А что такого? — спросило оно. — Ничего такого не было... Только это мы выскочили из зала, я смотрю — Хинкус сворачивает на лестницу...

Я судорожно соображал. Они выскочили из столовой не раньше девяти часов, в девять они еще танцевали, их помнит дю Барнстокр. Но в восемь сорок три у Хинкуса раздавили часы, и, значит, в девять он уже лежал связанный под столом...

— Вы уверены, что это был Хинкус?

Чадо пожало плечами.

— Мне показалось, что Хинкус... Правда, он сразу свернул налево, на лестничную площадку... но все

равно — Хинкус, кому же еще быть? С Кайсой или с Мозесихой его не спутаешь... да и ни с кем другим. Маленький такой, сутулый...

— Стоп! — сказал я. — Он был в шубе?

— Да... в этой своей дурацкой шубе до пят, и на ногах что-то белое... А что такое? — Чадо перешло на шепот. — Это он убил, да? Хинкус?

— Нет-нет, — сказал я. Неужели Хинкус врал? Неужели это все-таки инсценировка? Часы раздавили, переведя стрелки назад... а Хинкус сидел под столом и хихикал, а потом ловко разыграл меня и сейчас хихикает у себя в номере... а его сообщник хихикает где-то в другом месте. Я вскочил.

— Сидите здесь, — приказал я. — Не смейте выходить из номера. Имейте в виду, я с вами еще не закончил.

Я пошел к выходу, потом вернулся и забрал со стола бутылку.

— Это я конфискую. Мне не нужны пьяные свидетели.

— А можно, я пойду к дяде? — спросило чадо дрожащим голосом.

Я поколебался, потом махнул рукой.

— Идите. Может быть, он убедит вас, что надо говорить правду.

Высочив в коридор, я свернул к номеру Хинкуса, отпер дверь и ворвался внутрь. Везде горел свет: в прихожей, в туалетной, в спальне. Сам Хинкус, оскаленный, мокрый, сидел на корточках за кроватью. Посередине комнаты валялся сломанный стул, и Хинкус сжимал в руках одну из ножек.

— Это вы? — сказал он хрипло и выпрямился.

— Да! — сказал я. Вид его и какое-то безумное выражение налитых кровью глаз снова поколебали мое убеждение, что он врет и притворяется. Нужно было быть великим артистом, чтобы так играть свою роль. Но я все-таки сказал свирепо: — Мне надоело слушать вранье, Хинкус! Вы мне соврали! Вы сказали, что вас схватили в восемь сорок. Но вас видели в коридоре после девяти! Вы будете говорить мне правду или нет?

На лице его промелькнула растерянность.

— Меня? После девяти?

— Да! Вы шли по коридору и свернули на лестничную площадку.

— Я? — Он вдруг судорожно хихикнул. — Я шел по коридору? — Он снова хихикнул, и еще раз, и еще, и вдруг весь затрясся от визгливого истерического хохота.

та. — Я? Меня? Вот то-то и оно, инспектор! Вот то-то и оно! — проговорил он, захлебываясь. — Меня видели в коридоре... и я тоже видел меня... И я схватил меня... и я связал меня... и я замуровал меня в стену! Я — меня.. Понимаете, инспектор? Я — меня!

Глава десятая

Спустившись в холл, я мрачно сказал хозяину:

— Там Хинкус совсем свихнулся. Есть у вас какое-нибудь успокаивающее посылнее?

— У меня все есть, — ответил хозяин, несколько не удивившись.

— Инъекцию сделать сумеете?

— Я все умею.

— Вот и займитесь, — сказал я, протягивая ему ключ.

Голова у меня гудела. Было без пяти четыре. Я устал, осатанел и, главное, не испытывал никакого охотничьего азарта. Я слишком отчетливо понимал, что это дело мне не по плечу. Ни малейшего просвета, даже наоборот — чем дальше, тем хуже. Может быть, в отеле кто-то прячется, похожий на Хинкуса? Может быть, у Хинкуса действительно есть двойник — опасный гангстер, маньяк и садист? Это кое-что объяснило бы... убийство, страх Хинкуса, его истерику... Но зато тогда пришлось бы решить вопрос, как он сюда попал, где и как ему удастся прятаться. У нас же здесь все-таки не Лувр и не Зимний дворец — у нас здесь «маленький уютный отель на двенадцать номеров: гарантируется полная приватность и совершенно домашний уют»... Ладно, займусь-ка я Мозесами.

Старик Мозес не пустил меня к себе в номер. Он вышел на стук в огромном восточном халате, с неизменной кружкой в руке и буквально выпер меня в коридор своим толстым брюхом.

— Вы намерены беседовать здесь? — устало спросил я.

— Да, намерен, — с вызовом ответил он, густо дохнув мне в лицо сложной и непонятной смесью запахов, — именно здесь. Полицейскому нечего делать в доме Мозеса.

— Тогда лучше пройдемте в контору, — предложил я.

— Ну-ну... В контору. — Он отхлебнул из кружки. — В контору — еще куда ни шло. Хотя я не вижу, о чем нам с вами разговаривать. Уж не подозреваете ли вы меня в убийстве — меня, Мозеса?

— Нет, — сказал я. — Упаси бог. Но ваши показания могут оказать неоценимую помощь следствию.

— Следствию! — Он презрительно фыркнул и снова отхлебнул из кружки. — Ну ладно, пойдете... — Пока мы шли, он брюзжал: — Часы не могли найти, обыкновенные украденные часы, а туда же — убийство, следствие...

В конторе я усадил его в кресло, а сам сел за стол.

— Значит, ваши часы так и не нашлись? — спросил я.

Он негодуяюще воззрился на меня.

— А вы что, господин полицейский, надеялись, что они сами как-нибудь найдутся?

— Была у меня такая надежда, — признался я. — Но раз не нашлись, ничего не поделаешь.

— Мне не нравится наша полиция, — заявил Мозес, пристально глядя на меня. — Мне не нравится этот отель. Какие-то убийства, какие-то обвалы... собаки, воры, шум среди ночи... Кого это вы поселили в моей комнате? Я же ясно сказал: весь этот коридор мой, за исключением каминной. Мне не нужна каминная. Как вы осмелились нарушать договор? Что это за бродяга расположился у меня в номере третьем?

— Он попал под обвал, — сказал я. — Он искалечен, обморожен. Было бы жестоко тащить его наверх.

— Но я вам заплатил за номер третий! Вы были обязаны спросить у меня разрешение!

Я не мог с ним спорить, у меня сил не было объяснять ему, что он с пьяных глаз перепутал меня с хозяином. Поэтому я просто сказал:

— Администрация отеля приносит вам свои извинения, господин Мозес, и обязуется завтра же восстановить статус-кво.

— Нищebroды! — прорычал господин Мозес и припал к кружке. — Но он по крайней мере приличный человек, этот бродяга из третьего номера? Или он тоже вор?

— Это совершенно приличный человек, — успокоительно сказал я.

— Почему же в таком случае его сторожит этот ваш гнусный пес?

— Это чистая случайность, — ответил я, закрывая глаза. — Завтра же все вернется в нормальное состояние, уверяю вас.

— Может быть, и покойник воскреснет? — ядовито осведомился паршивый старик. — Может быть, вы мне и это пообещаете? Я — Мозес, сударь! Альберт Мозес! Я

не привык ко всем этим покойникам, собакам, божедодмам, обвалам...

Я сидел с закрытыми глазами и ждал.

— Я не привык, чтобы к моей жене врывались среди ночи, — продолжал Мозес. — Я не привык проигрывать по триста крон за вечер каким-то заезжим фокусникам, выдающим себя за аристократов... Этот Барл... Бралд... Он же просто шулер! Мозес не садится за стол с шулерами! Мозес — это Мозес, сударь!..

Он еще долго бурчал, скворчал, шумно отхлебывая, рыгал и отдувался, и я на всю жизнь усвоил себе, что Мозес — это Мозес, что это Альберт Мозес, сударь, что он не привык к тому-то, тому-то и проклятому снегу и что он привык к тому-то, тому-то и хвойным ваннам, сударь... Я сидел с закрытыми глазами и, чтобы отвлечься, старался представить себе, как он ложится спать, не выпуская из рук своей кружки, как он, храпя и посвистывая, бережно держит ее на весу и время от времени отхлебывает, не просыпаясь... Потом стало тихо.

— Вот так-то, инспектор, — сказал он и поднялся. — Запомните хорошенько то, что я вам сейчас сказал, и пусть это послужит вам уроком на всю жизнь. Это многому научит вас, сударь. Спокойной ночи.

— Одну минуточку, — сказал я. — Два пустяковых вопроса. — Он в негодовании открыл было рот, но я был начеку и не дал ему говорить. — Когда примерно вы покинули зал, господин Мозес?

— Примерно? — хрюкнул он. — И таким манером вы надеетесь раскрыть преступление? Примерно! Я могу дать вам самые точные сведения. Мозес ничего не делает примерно, иначе он бы не стал Мозесом... Может быть, вы все-таки разрешите мне сесть? — осведомился он ядовито.

— Да, простите, пожалуйста.

— Благодарю вас, инспектор, — произнес он еще более ядовито и сел. — Так вот, я с госпожой Мозес, в номер которой вы столь неприличным образом ворвались нынешней ночью, не имея на то никакого права, да еще не один, да еще без стука, я уже не говорю об ордере или о чем-нибудь подобном, — я, естественно, не вправе ожидать от современной полиции соблюдения таких тонкостей закона, как бережное отношение к праву каждого честного человека пребывать в своем доме, как в своей крепости, и в особенности, сударь, если дело идет о женщине, о супруге, сударь, о супруге Мозеса, Альберта Мозеса, инспектор!

— Да-да, это было опрометчиво, — сказал я. — Я приношу вам и госпоже Мозес самые искренние извинения.

— Я не могу принять ваши извинения, инспектор, до тех пор, пока не уясню себе с полной отчетливостью, что за человек поселен в номере третьем, принадлежащем мне, на каком основании он расположился в помещении, граничащем со спальней моей супруги, и почему его сторожит собака.

— Мы еще сами не уяснили себе с полной отчетливостью, кто этот человек, — сказал я, снова закрывая глаза. — Он потерпел аварию на автомобиле, он — калека, без руки, сейчас спит. Как только будет выяснена его личность, мы вам немедленно доложим, господин Мозес. — Я открыл глаза. — А теперь вернемся к тому моменту, когда вы с госпожой Мозес покинули столовую. Когда это было точно?

Он поднес кружку к губам и грозно посмотрел на меня.

— Меня удовлетворили ваши объяснения, — заявил он. — Выражаю надежду, что вы сдержите ваше обещание и доложите немедленно. — Он отхлебнул. — Итак, мы с госпожою Мозес встали из-за стола и покинули зал примерно... — Он прищурился с большой язвительностью и повторил: — Примерно, инспектор, в двадцать один час тридцать три минуты с секундами по местному времени. Это вас удовлетворяет? Отлично. Переходите к вашему второму, и, я надеюсь, последнему вопросу.

— Мы еще не совсем закончили с первым, — возразил я. — Итак, вы вышли из зала в двадцать один тридцать три. А дальше?

— Что дальше? — злобно спросил Мозес. — Что вы хотите этим сказать, молодой человек? Уж не хотите ли вы узнать, чем я занимался, когда вернулся в свой номер?

— Следствие было бы благодарно вам, сударь, — сказал я с чувством.

— Следствие? Мне нет дела до благодарности вашего следствия! Впрочем, мне нечего скрывать. Вернувшись в свой номер, я немедленно разделся и лег спать. И спал до тех пор, пока не поднялся этот отвратительный шум и возня в принадлежащем мне третьем номере. Только природная сдержанность и сознание того, что я — Мозес, не позволили мне нагряться немедленно и разогнать весь этот сброд с полицией во главе. Но имейте в виду, сдержанность моя имеет пределы, никаким бездельникам я не позволю...

— Да-да, и будете совершенно правы, — поспешно сказал я. — Еще один, последний вопрос, господин Мозес.

— Последний! — сказал он, угрожающе потрясая указательным пальцем.

— Не заметили ли вы, в какое примерно время госпожа Мозес покидала столовую?

Наступила жуткая пауза. Мозес, наливаясь синевой, глядел на меня вытаращенными мутными глазами.

— Кажется, вы осмеливаетесь предположить, что супруга Мозеса причастна к убийству? — сдавленным голосом произнес он. Я отчаянно замотал головой, но это не помогло. — И вы, кажется, осмеливаетесь рассчитывать на то, что Мозес в этой ситуации будет давать вам какие бы то ни было показания? Или вы, быть может, полагаете, что имеете дело не с Мозесом, сударь? Может быть, вы позволили себе вообразить, будто имеете дело с каким-нибудь одноруким бродягой, укравшим у меня драгоценные золотые часы? Или, быть может...

Я закрыл глаза. На протяжении последующих пяти минут я услышал массу самых чудовищных предположений относительно своих намерений и своих замыслов, направленных против чести, достоинства, имущества, а также физической безопасности Мозеса, сударь, не какого-нибудь пса, служащего очевидным рассадником блох, а Мозеса, Альберта Мозеса, сударь, вы способны понять это или нет?.. К концу этой речи я уже не надеялся получить сколько-нибудь вразумительный ответ. Я только с отчаянием думал, что уж до госпожи Мозес мне теперь не добраться никогда. Но получилось иначе. Мозес вдруг остановился, подождал, пока я открою глаза, и произнес с невыразимым презрением:

— Впрочем, это смешно — приписывать такой мелкой личности столь хитроумные замыслы. Смешно и недостойно Мозеса. Конечно, мы имеем здесь дело с элементарной чиновничье-полицейской бестактностью, обусловленной низким уровнем культурного и умственного развития. Я принимаю ваши извинения, сударь, и честь имею откланяться. Мало того. Взвесив все обстоятельства... Я же понимаю, что у вас не останется благородства оставить в покое мою жену и избавить ее от ваших нелепых вопросов. Поэтому я разрешаю вам задать эти вопросы — не больше двух вопросов, сударь! — в моем присутствии. Немедленно. Следуйте за мной.

Внутренне ликуя, я последовал за ним. Он постучался в дверь госпожи Мозес и, когда она откликнулась, скрипуче проворковал:

— К вам можно, дорогая? Я не один.

К дорогой было можно. Дорогая в прежней позе возлежала под торшером, теперь уже полностью одетая. Она встретила нас своей чарующей улыбкой. Старый хрыч подсеменил к ней и поцеловал ей руку — тут я почему-то вспомнил, как хозяин утверждал, будто он лупит ее плеткой.

— Это инспектор, дорогая, — проскрипел Мозес, ваясь в кресло. — Вы помните инспектора?

— Ну как я могла забыть нашего милого господина Глебски? — откликнулась красавица. — Садитесь, инспектор, сделайте одолжение. Чудная ночь, не правда ли? Сколько поэзии!

Я сел на стул.

— Инспектор делает нам честь, дорогая, — объявил Мозес, — подозревая нас в убийстве этого Олафа. Вы помните Олафа? Так вот, его убили.

— Да, я уже слыхала об этом, — сказала госпожа Мозес. — Это ужасно. Милый Глебски, неужели вы действительно подозреваете нас в этом кошмарном злодеянии?

Мне все это надоело. Хватит, подумал я. К черту.

— Сударыня, — сказал я сухо. — Следствием установлено, что вчера примерно в половине девятого вечера вы покидали столовую. Вы, конечно, подтверждаете это?

Старик негодуяще заворочался в кресле, но госпожа Мозес опередила его.

— Ну, разумеется, подтверждаю, — сказала она. — С какой стати я буду это отрицать? Мне понадобилось отлучиться, и я отлучилась.

— Насколько я понимаю, — продолжал я, — вы спустились сюда, в ваш номер, а в начале десятого вновь вернулись в столовую. Это так?

— Да, конечно. Правда, я не совсем уверена относительно времени, я не смотрела на часы... Но скорее всего, это было именно так.

— Мне бы хотелось, чтобы вы вспомнили, сударыня, видели ли вы кого-нибудь на пути из столовой и обратно в столовую.

— Да... кажется, — сказала госпожа Мозес.

Она наморщила лобик, а я весь так и напрягся.

— Ну конечно! — воскликнула она. — Когда я уже возвращалась, я увидела в коридоре парочку...

— Где? — быстро спросил я.

— Ну... сразу налево от лестничной площадки. Это был наш бедный Олаф и это забавное существо... я не знаю, юноша или девушка... Кто он, Мозес?

— Минуточку, — сказал я. — Вы уверены, что они стояли слева от лестничной площадки?

— Совершенно уверена. Они стояли, держась за руки, и очень мило беседовали. Я, конечно, сделала вид, будто ничего не заметила...

Вот она, заминочка Брюн, подумал я. Чадо вспомнило, что их могли видеть перед номером Олафа, и не успело ничего сообразить, а потому принялось врать, надеясь, что пронесет.

— Я — женщина, инспектор, — продолжала госпожа Мозес, — и я никогда не вмешиваюсь в дела окружающих. При других обстоятельствах вы не услышали бы от меня ни слова, но сейчас, мне кажется, я должна, я вынуждена быть вполне откровенной. Не правда ли, Мозес?

Мозес в кресле пробурчал что-то неопределенное.

— И еще, — продолжала госпожа Мозес. — Но это уже, наверное, не имеет особенного значения... Когда я спускалась по лестнице, мне повстречался этот маленький несчастный человек...

— Хинкус, — просипел я и откашлялся. У меня что-то застряло в горле.

— Да, Финкус... его, кажется, так зовут... Вы знаете, инспектор, ведь у него туберкулез. А ведь никогда не подумаешь, правда?

— Прошу прощения, — сказал я. — Когда вы встретили его, он поднимался по лестнице из холла?

— Даже полицейскому должно быть ясно, — раздраженно прорычал Мозес. — Моя жена ясно сказала вам, что она встретила этого Фикуса, когда спускалась по лестнице. Следовательно, он поднимался ей навстречу...

— Не сердитесь, Мозес, — ласково произнесла госпожа Мозес. — Инспектор просто интересуется деталями. Наверное, это ему важно... Да, инспектор, он поднимался мне навстречу и, по-видимому, именно из холла. Он шел не спеша и, кажется, глубоко задумавшись, потому что не обратил на меня никакого внимания. Мы разминулись и пошли каждый своей дорогой.

— Как он был одет?

— Ужасно! Какая-то кошмарная шуба... как это называется... тулуп! От него даже, простите, пахло... мокрой шерстью, псиной... Не знаю, как вы, инспектор, но я думаю: если у человека нет средств прилично одеваться, ему следует сидеть дома и изыскивать эти средства, а не выезжать в места, где бывает приличное общество.

— Я бы многим здесь посоветовал, — прорычал Мо-

зес поверх кружки, — сидеть дома и не выезжать в места, где бывает приличное общество. Ну что, инспектор, вы наконец закончили?

— Нет, не совсем, — проговорил я медленно. — Еще один вопрос... Вернувшись к себе после окончания бала, вы, сударыня, наверное, легли спать и крепко заснули?

— Крепко заснула... Да как вам сказать... Так, подремала немножко, я чувствовала себя возбужденной — вероятно, выпила немного больше, чем следовало...

— Но, вероятно, вас что-то разбудило? — сказал я. — Ведь когда я позже так неловко ворвался в ваш номер — я приношу вам глубочайшие извинения, — вы не спали...

— Ах, вот вы о чем... Не спала... Да, действительно не спала, но я не могу сказать, инспектор, чтобы меня что-то разбудило. Просто я чувствовала, что сегодня мне как следует не заснуть, и решила почитать немного. И вот, как видите, читаю до сих пор... Впрочем, если вы хотели узнать, слышала ли я ночью какой-нибудь подозрительный шум, то я могу твердо сказать: нет, не слышала.

— Никакого шума? — удивился я.

Она посмотрела на Мозеса с какой-то, как мне показалось, растерянностью. Я не спускал с нее глаз.

— По-моему, никакого, — сказала она неуверенно. — А вы, Мозес?

— Абсолютно никакого, — решительно сказал Мозес. — Если не считать отвратительной возни, поднятой этими господами вокруг нищebroда...

— И никто из вас не слышал даже шума обвала? Сотрясение?

— Какого обвала? — удивилась госпожа Мозес.

— Не волнуйтесь, дорогая, — сказал Мозес. — Ничего страшного. Неподалеку в горах случился обвал, я расскажу вам об этом после... Ну что, инспектор? Теперь уже, может быть, достаточно?

— Да, — сказал я. — Теперь достаточно. — Я встал. — Еще один, самый последний вопрос.

Господин Мозес зарычал совсем как Лель, но госпожа Мозес благосклонно кивнула.

— Пожалуйста, инспектор.

— Сегодня днем, незадолго до обеда, вы поднимались на крышу, госпожа Мозес...

Она рассмеялась и перебила меня:

— Нет, я не поднималась на крышу. Я поднималась из холла на второй этаж и по рассеянности, в задумчивости, пошла дальше по этой ужасной чердачной лестнице.

Я почувствовала себя очень глупо, когда увидела вдруг перед собой дверь, доски... я даже не сразу поняла, куда попала...

Мне очень хотелось спросить ее, зачем это она поднялась на второй этаж. Я представления не имел, что ей могло понадобиться на втором этаже, хотя и можно было предположить, что речь шла об амурах с Симонэ, в которые я случайно вмешался. Но тут я посмотрел на старика, и все это вылетело у меня из головы. Потому что на коленях у Мозеса лежала плетка — мрачный черный арапник с толстой рукояткой и с многочисленными витыми хвостами, в которых поблескивал металл. Я ужаснулся и отвел глаза.

— Благодарю вас, сударыня, — пробормотал я. — Вы оказали большую помощь следствию, сударыня.

Чувствуя себя безнадежно усталым, я дотащился до холла и присел отдохнуть рядом с хозяином. Жуткое видение арапника все еще стояло у меня перед глазами, и, помотав головой, я с трудом отогнал его. Это не мое дело. Это дело семейное, меня это не касается... Глаза у меня резало, как от песка. Наверное, мне следовало бы поспать — хотя бы часа два. Мне предстояло еще допросить незнакомца, и вторично допросить чадо, и вторично допросить Кайсу, для всего этого мне понадобятся силы, и поэтому мне надо поспать. Но я чувствовал, что сейчас мне не заснуть. По отелю бродят двойники Хинкуса. Чадо дю Барнстокра врет. Да и с госпожой Мозес тоже не все ладно. Либо она спала мертвым сном, и тогда непонятно, почему она проснулась и почему она врет, что почти не спала. Либо она не спала, и тогда непонятно, почему она не слышала обвала и возни в соседней комнате. И совсем непонятно, что все-таки случилось с Симонэ... Слишком много сумасшедших в этом деле, подумал я вяло. И вообще я, наверное, действую неправильно. Как бы поступил на моем месте Згут? Он немедленно отобрал бы всех, у кого хватит силы свернуть шею двухметровому викингу, и работал бы только с ними. А я вожусь с этим слабосильным чадом, с плюгавым шизофреником Хинкусом, со старым алкоголиком Мозесом... Да и не в этом дело. Ну, найду я убийцу. А дальше? Это же типичный случай убийства в закрытой комнате. Мне сроду не доказать, как убийца туда вошел и как он оттуда вышел... Эх, беда. Кофе, что ли, выпить?

Я посмотрел на хозяина. Хозяин прилежно нажимал клавиши арифмометра и что-то записывал в счетоводную книгу.

— Послушайте, Алек, — сказал я. — Может в вашем отеле укрыться, оставаясь незамеченным, двойник Хинкуса?

Хозяин поднял голову и посмотрел на меня.

— Именно двойник Хинкуса? — деловито спросил он. — Не кто-нибудь еще?

— Да. Именно двойник Хинкуса, Алек. В вашем отеле живет двойник Хинкуса. Он не платит за постой, Алек. Он, должно быть, ворует продукты, подумайте об этом, Алек!

Хозяин подумал.

— Не знаю, — сказал он. — Ничего такого я не заметил. Я чувствую только одно, Петер. Вы заблуждаетесь. Вы идете по самому естественному пути, и именно поэтому вы заблуждаетесь особенно сильно. Вы исследуете алиби, вы собираете улики, вы ищете мотивы. А мне кажется, что в этом деле обычные понятия вашего искусства теряют свой смысл, как понятие времени при сверхсветовых скоростях...

— Это ваше ощущение? — горько спросил я.

— Что вы имеете в виду?

— Да всю эту вашу философию насчет алиби при сверхсветовых скоростях. У меня голова пухнет, а вы черт знает что городите. Принесите уж лучше кофе.

Хозяин встал.

— Вы все-таки еще не созрели, Петер, — сказал он. — А я жду, когда вы наконец созреете.

— Зачем это вам надо? Я уже перезрел, я скоро упаду.

— Не упадете! — успокоил меня хозяин. — И вы еще далеко не созрели. А вот когда вы созреете, когда я увижу, что вы готовы, тогда я вам кое-что расскажу.

— Расскажите сейчас, — вяло попросил я.

— Сейчас рассказывать бессмысленно. Вы отмахнетесь и забудете. А я хочу дождаться момента, когда мои слова покажутся вам единственным ключом к пониманию всего этого дела.

— Господи, — пробормотал я. — Могу себе представить, что это за слова!

Хозяин снисходительно улыбнулся и направился к кухне. На пороге он остановился и предложил:

— А хотите, я расскажу вам, что именно почудилось нашему великому физику?

— Ну, попробуйте, — сказал я.

— Наш великий физик полез в постель к госпоже Мозес и обнаружил там вместо живой женщины бездыханный манекен. Куклу, Петер, холодную куклу.

Глава одиннадцатая

Он стоял на пороге и, ухмыляясь, глядел на меня.

— Ну-ка, подите сюда, — сказал я. — Рассказывайте.

— А кофе?

— Черт с ним, с кофе! Я же вижу, что вы что-то знаете. Не морочьте мне голову, выкладывайте все, как есть.

Он вернулся к столику, но садиться не стал.

— Я не знаю, как все есть, — сказал он. — Я могу только кое-что предполагать.

— Откуда вы знаете, что обнаружил Симонэ?

— Ага, значит, я угадал... — Он сел и удобно развалился. — Впрочем, это ясно было по вашему обалделому виду, Петер. Согласитесь, это вышло у меня довольно эффектно...

— Слушайте, Алек, — сказал я. — Я не стану скрывать: вы мне нравитесь.

— Вы мне тоже, — сказал он.

— Заткнитесь. Вы мне нравитесь. Но это еще ничего не значит. Я не подозреваю вас, Алек. У меня, к сожалению, нет никаких оснований вас подозревать. Но в этом отношении вы ничем не отличаетесь от остальных... Я никого не подозреваю. А мне надо, мне уже пора кого-то подозревать...

— Не давайте себе воли! — сказал хозяин, подняв толстый палец.

— Я вам сказал: заткнитесь. Так вот, если вы будете морочить мне голову, то я начну вас подозревать. У вас будут неприятности, Алек. Я очень неопытен в такого рода делах, и потому у вас могут быть очень большие неприятности. Вы представить себе не можете, сколько неприятностей может причинить доброму гражданину неопытный полицейский.

— Ну, раз так, — сказал он, — тогда конечно. Значит, откуда я знаю, что видел господин Симонэ в спальне госпожи Мозес...

— Да, — сказал я. — Откуда?

Он сидел в своем кресле, широкий, кражистый, жовиальный, невыносимо довольный собой.

— Значит, так. Начнем с теории. Колдуны и знахари некоторых малоисследованных племен Центральной Африки издревле владеют искусством возвращать видимость жизни своим умершим соплеменникам...

Я застонал, и хозяин повысил голос:

— Такое явление реального мира — мертвый человек,

имеющий внешность живого и совершающий, на первый взгляд, вполне осмысленные и самостоятельные действия, — носит название зомби. Строго говоря, зомби не есть мертвец...

— Слушайте, Алек, — утомленно сказал я. — Мне все это неинтересно. Все понятно: вы репетируете свою речь перед газетчиками. Но мне все это неинтересно! Вы обещали рассказать что-то насчет госпожи Мозес и Симонэ. Вот и рассказывайте!

Некоторое время он грустно смотрел на меня.

— Да, — сказал он наконец с сожалением. — Так я и думал. Вы еще не созрели... Ну хорошо. — Он вздохнул. — Пусть будут одни факты без теории. Шесть дней тому назад, когда мой отель ошастливили посещением господин и госпожа Мозес, со мною имело место следующее происшествие. Произведя все необходимые отметки в паспортах указанных господ, я отправился в номер господина Мозеса с целью вернуть ему эти паспорта. Я постучался. Я был несколько рассеян и потому, не дожидаясь разрешения, отворил дверь. Я был немедленно наказан за нарушение элементарных норм приличия. Я увидел в кресле посередине комнаты то, что при желании можно было бы назвать госпожой Мозес. Но это не была госпожа Мозес. Это была большая, в натуральную величину, красивая кукла, очень похожая на госпожу Мозес и одетая в точности как она. Сейчас вы спросите меня, почему я уверен, что это была кукла, а не госпожа Мозес. В ответ я мог бы перечислить вам некие конкретности: неестественность позы, остекленелый взгляд, абсолютная неподвижность черт и так далее. Но в этом, по-моему, нет никакой необходимости. Всякий нормальный человек, как мне кажется, способен в течение нескольких секунд сообразить, что перед ним: манекенщица или манекен. Эти несколько секунд у меня были. А затем я был грубо схвачен за плечо и выдворен в коридор. Это грубое, но вполне оправданное действие произвел надо мною господин Мозес, который в это время, по-видимому, осматривал апартаменты своей супруги и набросился на меня сзади...

— Кукла, — сказал я задумчиво.

— Зомби, — мягко поправил меня хозяин.

— Кукла... — повторил я, не обращая на него внимания. — Какой у него багаж?

— Несколько обычных чемоданов, — сказал хозяин. — И гигантский, окованный железом, старинный дорожный сундук. Он привез с собой четверых носильщи-

ков, и бедняги измучились, затаскивая этот сундук в дом. Разворотили мне весь косяк...

— Ну что ж, — сказал я, подумав. — В конце концов это его личное дело. Я слышал о миллионере, который повсюду таскал за собой коллекцию ночных горшков... Если человеку нравится иметь манекен своей супруги в натуральную величину... что ж, денег у него много, делать ему явно нечего... между прочим, вполне возможно, что он заметил поползновения нашего Симонэ, понял все и подsunул ему вместо жены эту самую куклу... Черт побери, может быть, он возит с собой эту куклу именно для таких вот случаев! Судя по поведению госпожи Мозес... — Я представил себя на месте Симонэ и содрогнулся. — Ей-богу, славная шутка, — сказал я.

— Ну вот вы все и объяснили, — сказал хозяин.

Тон его мне не понравился. Некоторое время мы смотрели друг на друга. Он все еще был мне симпатичен. Но черт его побери, зачем ему это нужно — забивать мне мозги всей этой африканской чепухой? Я же все-таки не репортер, и рекламе этого заведения в ущерб собственной репутации я способствовать не намерен... Нет, хватит с меня. Больше я с господином Алексом Сневаром на эти темы не разговариваю. Если у него и есть цель сбить меня с толку, это ему не удастся. Он только ухудшит свое собственное положение. Ему не следовало бы обращать на себя слишком много внимания...

— Вот что, — сказал я. — Вы мне мешаете, Алек. Сидите здесь, а я пойду в каминную. Я должен хорошенько подумать.

— Уже без четверти пять, — напомнил хозяин.

— Ну и что? Спать сегодня все равно не придется. Имейте в виду, Алек, у меня вовсе нет впечатления, будто события закончились. Поэтому оставайтесь здесь в холле и будьте наготове.

— Ну что ж, надо так надо, — сказал хозяин.

Я прошел в каминную (Лель опять поворчал на меня), взял кочергу и принялся мешать тлеющие угли. Итак, происшествие с Симонэ более или менее объяснилось, и его можно выкинуть из головы. Или, наоборот, нельзя выкидывать ни в коем случае, потому что если в одиннадцать часов вечера в номере госпожи Мозес была кукла, то где же была сама госпожа Мозес? Шутка, конечно, на славу... но есть в ней что-то чрезмерно громоздкое... Шутка ли? Может быть, попытка устроить алиби?.. Да нет, какое, к черту, алиби — ночь, темно, установить это

алиби можно только на ощупь, а на ощупь получается не алиби, а шутка. Возможно, расчет был на то, что у бедняги Симонэ сдадут нервы, что он в ужасе заорет, поднимет всех на ноги, начнется скандал, тарарам, переполох... а что дальше? И главное, при чем здесь кукла? Все это можно было бы устроить без всякой куклы... Собственно, что меня здесь смущает? Только одно: комната Симонэ находится рядом с комнатой Олафа. Можно предположить, например, следующее: Мозесам нужно было, чтобы комната Симонэ начиная с одиннадцати часов и в течение некоторого времени была пуста. Вот что меня смущает. Но чтобы отвлечь господина Симонэ, совсем не нужна кукла. Конечно, рассуждая гипотетически, кукла могла бы повергнуть Симонэ в глубокий и долгий обморок, но, чтобы отвлечь Симонэ, достаточно было бы самой госпожи Мозес. Это был бы самый естественный и надежный способ. И раз прибегают к такому неестественному и ненадежному способу, как кукла, значит, надо было, чтобы госпожа Мозес находилась где-то в другом месте. Госпожа Мозес... хрупкая, изнеженная, до кретинизма светская госпожа Мозес... Нет, все это никуда меня не ведет. Окончательно выбрасывать из головы славную шутку не стоит, но и пользы от этой истории пока не видно...

То есть на редкость мерзкая ситуация: все нити никуда не ведут. Во-первых, нет ни одного подозреваемого. Во-вторых, абсолютно непонятно, как произошло преступление. Непонятно самое главное. Бог с ним, с убийцей! Объясните мне, как он убил! Как? Окно открыто, но никаких следов на подоконнике, никаких следов на снегу, на карнизе. Ни снизу, ни справа, ни слева к окну подобраться было нельзя. Остается одно — сверху. С крыши по веревке. Но тогда были бы следы на краю крыши. Можно, конечно, сходить и посмотреть снова, но я точно помню: снег разрыт только рядом с шезлонгом Хинкуса. Теперь уже ничего больше не остается, кроме Карлсона с пропеллером. Влетел, свернул соотечественнику шею и вылетел... Так что в запасе у меня только два паршивеньких предположеньица. Первое — это всякие потайные люки, замаскированные дверцы и двойные стены. А второе — какой-то гений изобрел новое техническое приспособление, позволяющее поворачивать ключ снаружи, не оставляя на нем никаких следов...

Оба предположения указывают прямо на владельца дома и механика-изобретателя. Так. Ну-с, а как выглядит у нас алиби этого человека? До половины десятого он

безвылазно сидит за карточным столом. Начиная примерно с без пяти десять и до момента обнаружения трупа он фактически либо у меня на глазах, либо где-то в пределах слышимости. У него остается на убийство примерно двадцать — двадцать пять минут, когда его не видит никто либо видит только Кайса, которой он, по его словам, задает трепку. Таким образом, теоретически он может быть убийцей, если знает потайной ход или владеет средством поворачивать ключ снаружи, не оставляя следов. Непонятны мотивы (не для рекламы же!), психологически совершенно неоправданно все его поведение, но, повторяю, теоретически он мог убить. Запомним это и пойдем дальше.

Дю Барнстокр. Алиби не имеет. Но он хилый старик, у него просто не хватит сил свернуть человеку шею. Симонэ. Алиби не имеет. Шею свернуть мог бы — парень крепкий, к тому же слегка не в себе. Непонятно, как попал в комнату к Олафу. А если попал, то непонятно, как оттуда ушел. Теоретически, конечно, мог случайно обнаружить пресловутую потайную дверь. Непонятны мотивы, непонятно все поведение после убийства. Ничего непонятно. Хинкус... Двойник Хинкуса... Хорошо бы выпить еще кофе. Хорошо бы плюнуть на все и завалиться спать...

Брюн. Да, это единственная ниточка, которая пока не оборвалась. Этот ребенок мне солгал. Ребенок видел госпожу Мозес, но сказал, что не видел. Ребенок любезничал с Олафом у дверей его номера, но сказал, что дал ему пощечину у дверей столовой... И тут я вдруг вспомнил. Я сидел вот здесь, в этом кресле. Пол дрогнул, послышался гул обвала. Я посмотрел на часы, было две минуты одиннадцатого, и тут наверху громко хлопнула дверь. Именно наверху. Кто-то с силой захлопнул дверь. Кто? Симонэ в это время брился. Дю Барнстокр спал и, возможно, проснулся именно от этого стука. Хинкус лежал связанный под столом. Хозяин и Кайса были на кухне. Мозесы были у себя. Значит, дверью могли хлопнуть либо Олаф, либо Брюн, либо убийца. Например, двойник Хинкуса... Я бросил кочергу и побежал наверх.

Номер чада был пуст, и я постучался к дю Барнстокру. Чадо, подперев кулаками щеки, уныло сидело за столом. Дю Барнстокр, закутавшись в шотландский плед, клевал носом в кресле у окна. Оба они так и вскинулись, когда я вошел.

— Снимите очки! — резко приказал я чаду, и чадо немедленно повиновалось.

Да, это была девушка. И прехорошенькая, хотя глаза

ее опухли и покраснели от слез. Подавив вздох облегчения, я сел напротив нее и сказал:

— Вот что, Брюн. Перестаньте запираяться. Лично вам ничего не грозит. Я не считаю вас убийцей, так что можете не врать. В девять часов десять минут госпожа Мозес видела вас с Олафом здесь... в коридоре, у дверей его номера. Вы сказали мне неправду. Вы расстались с Олафом не у дверей столовой. Где вы с ним расстались? Где, когда и при каких обстоятельствах?

Некоторое время она смотрела на меня, губы ее дрожали, покрасневшие глаза снова наполнились слезами. Потом она закрыла лицо ладонями.

— Мы были у него в номере, — сказала она.

Дю Барнстокр жалобно застонал.

— Нечего стонать, дядя! — сказала Брюн, немедленно рассвирепев. — Ничего непоправимого не произошло. Мы целовались, и было довольно весело, только холодно, потому что у него все время было открыто окно. Я не помню, сколько времени все это продолжалось. Помню, он вытащил из кармана что-то вроде ожерелья, какие-то бусы, и все хотел надеть мне на шею, но тут раздался грохот, и я сказала: «Слушайте — лавина!» И он вдруг отпустил меня и схватился за голову, как будто что-то вспомнил... Знаете, как люди хватаются за голову, когда что-то вспоминают, что-то важное... Это длилось буквально несколько секунд. Он бросился к окну, но сейчас же вернулся, схватил меня за плечи и буквально выкинул в коридор. Я едва не упала, а он сразу же с силой захлопнул за мной дверь. При этом он ничего не говорил, только ыругался шепотом, и еще я помню, как он повернул ключ в замке. Больше я его не видела, я дико разозлилась, потому что он поступил по-хамски, да еще обругал меня, и поэтому я сразу пошла к себе и напилась...

Дю Барнстокр снова застонал.

— Так, — сказал я. — Он схватился за голову, словно что-то вспомнил, и кинулся к окну... Может быть, его кто-нибудь позвал?

Брюн затрясла головой.

— Нет. Я ничего не слышала, только шум обвала.

— И ушли вы сразу же? Не задержались у дверей ни на секунду?

— Сразу же. Я дико разозлилась.

— Как же развивались действия после того, как вы с ним вышли из столовой? Повторите снова.

— Он сказал, что хочет мне что-то показать, — заго-

ворила она, нагнув голову. — Мы вышли в коридор, и он потянул меня к себе в номер. Я, конечно, сопротивлялась... ну, в общем, мы дурачились. Потом, когда мы уже стояли у его дверей...

— Стоп. В прошлый раз вы сказали, что видели Хивкуса.

— Да, видели. Сразу, как только мы вышли в коридор. Он как раз в этот момент сворачивал из коридора на лестницу.

— Так. Продолжайте.

— Когда мы уже стояли у дверей Олафа, появилась эта Мозесиха. Она, конечно, сделала вид, что нас не заметила, но мне стало неловко. Противно, когда шляются вокруг и пялят на тебя глаза. Н-ну... и мы зашли в номер к Олафу.

— Понятно. — Я покосился на Барнстокра. Старик сидел, возведя очи горé. Так ему и надо. Вечно эти дядюшки воображают, будто у них под крылышком произрастают ангелочки. А эти ангелочки тем временем векселя подделывают. — Ну ладно. Вы что-нибудь пили у Олафа?

— Я?

— Меня интересует, пил ли что-нибудь Олаф.

— Нет. Ни он, ни я — мы не пили.

— Теперь так... гм... Вы не заметили... м-м... Вы не заметили какого-нибудь странного запаха?

— Нет. Там был очень чистый, свежий воздух.

— Я не о комнате. Черт возьми, когда вы целовались, вы не заметили чего-нибудь странного? Странного запаха, я имею в виду...

— Ничего я такого не заметила, — сказала Брюн сердито.

Некоторое время я пытался поделикатнее сформулировать следующий вопрос, потом отчаялся и сказал напрямик:

— Есть предположение, что Олафа перед убийством отравили медленно действующим ядом. Вы не заметили ничего такого, что подтверждало бы это предположение?

— А что такого я могла заметить?

— Обычно заметно, когда человек плохо себя чувствует, — пояснил я. — Особенно это заметно, если он на ваших глазах чувствует себя все хуже и хуже.

— Ничего такого не было, — решительно сказала Брюн. — Он чувствовал себя прекрасно.

— Свет вы не зажигали?

— Нет.

— А из того, что он говорил, вы не помните ничего странного?

— Я вообще ничего не помню, — ответила Брюн тихо. — Это был обычный треп. Шуточки, остроты, хохмы... Про мотоциклы мы с ним говорили, про лыжи. По-моему, он был хороший механик. Во всех двигателях разбирался...

— И он не показал вам ничего интересного? Он ведь собирался вам что-то показать...

— Да нет, конечно. Вы что, не понимаете? Это было просто так сказано...

— Когда случился обвал, вы сидели или стояли?

— Стояли.

— Где?

— У самых дверей. Мне уже надоело, и я собиралась уходить. И тут он стал напяливать на меня это ожерелье...

— А вы уверены, что он кинулся от вас к окну?

— Н-ну, как вам сказать... Он схватился за голову, повернулся ко мне спиной, сделал шаг или два к окну... в сторону окна... ну, я не знаю, как еще вам сказать, может быть, и не к окну, конечно, но я просто ничего в комнате больше не видела, кроме окна...

— Вам не кажется, что, кроме вас, в комнате мог быть кто-нибудь еще? Может быть, вы сейчас вспомните какие-нибудь шорохи, странные звуки, на которые тогда не обратили внимания...

Она задумалась.

— Да нет, было тихо... Какой-то небольшой шум слышался, но за стеной. Олаф еще сострил, что это Симонэ у себя в номере бродит по стенам... А больше ничего не было.

— А шум действительно доносился от Симонэ?

— Да, — уверенно сказала Брюн. — Мы тогда уже стояли, и шум шел слева. Ну, самый обычный шум. Шаги, вода из крана...

— Олаф при вас передвигал какую-нибудь мебель?

— Мебель?.. А, да, было. Это он заявил, что не выпустит меня, и придвинул к двери кресло... Ну потом, конечно, отодвинул.

Я встал.

— На сегодня — все, — сказал я. — Ложитесь спать. Больше я вас сегодня не буду беспокоить.

Дю Барнстокр тоже поднялся и двинулся ко мне с протянутыми руками.

— Дорогой инспектор! Вы, конечно, понимаете, что я понятия не имел...

— Да, дю Барнстокр, — сказал я. — Дети растут, дю Барнстокр. Все дети. Впредь никогда не позволяйте ей носить черные очки, дю Барнстокр. Глаза — это зеркало души.

Я оставил их поразмыслить над этими сокровищами полицейской мудрости, а сам спустился в холл.

— Вы реабилитированы, Алек, — объявил я хозяину.

— Разве я был осужден? — удивился он, поднимая глаза от арифмометра.

— Я хочу сказать, что снимаю с вас все подозрения. Теперь у вас стопроцентное алиби. Но не воображайте, что это дает вам право опять забивать мне голову зомбизмом-момбизмом... Не перебивайте меня. Сейчас вы останетесь здесь и будете сидеть, пока я не разрешу вам встать. Имейте в виду, что с этим одноруким парнем первым должен говорить я.

— А если он проснется раньше вас?

— Я не собираюсь спать, — сказал я. — Я хочу обыскать дом. Если этот бедняга проснется и позовет кого-нибудь, даже маму, немедленно пошлите за мной.

— Слушаюсь, — сказал хозяин. — Один вопрос. Распорядок дня в отеле остается прежним?

Я подумал:

— Да, пожалуй. В девять часов завтрак. А там видно будет... Кстати, Алек, когда, по-вашему, можно ожидать здесь кого-нибудь из Мюра?

— Трудно сказать. Раскапывать завал они, может быть, начнут даже и завтра. Я помню примеры такой оперативности... Но в то же время они прекрасно знают, что нам здесь ничто не грозит... Возможно, дня через два прилетит на вертолете Цвирик, наш горный инспектор... если у него в других местах все благополучно. Вся беда в том, что им сначала нужно узнать про обвал. Короче говоря, на завтрашний день я бы не рассчитывал...

— То есть на сегодняшний?

— Да, на сегодняшний... Но завтра кто-нибудь может прилететь.

— Передатчика у вас нет?

— Ну, откуда? И главное, зачем? Это мне невыгодно, Петер.

— Понимаю, — сказал я. — Значит, завтра...

— За завтра я тоже не ручаюсь, — возразил хозяин.

— Одним словом, в ближайшие два-три дня... Хорошо. Теперь вот что, Алек. Предположим, вам понадобилось спрятаться в этом доме. Надолго, на несколько суток. Где бы вы спрятались?

— Гм... — сказал хозяин с сомнением. — Вы все-таки думаете, что в доме есть посторонний человек?

— Где бы вы спрятались? — повторил я.

Хозяин покачал головой.

— Обманывают вас, — сказал он. — Честное слово, обманывают. Здесь негде спрятаться. Двенадцать номеров, из них только два пустуют, но Кайса убирает их каждый день, она бы заметила. Человек всегда оставляет после себя всякий мусор, а у нее бзик — чистота... Подвал — он у меня закрыт снаружи на висячий замок... Чердака нет, в пространство между крышей и потолком едва руку просунешь... Служебные помещения тоже все закрываются снаружи, и, кроме того, мы там целый день крутимся, то я, то Кайса. Вот, собственно, и все.

— А верхняя душевая? — спросил я.

— Правильно. Верхняя душевая имеет место, и туда мы давно не заглядывали. И еще, может быть, стоит заглянуть в генераторную — туда я тоже нечасто наведываюсь. Посмотрите, Петер, поищите...

— Давайте ключи, — сказал я.

Я посмотрел и поискал. Я облазил подвал, заглянул в душевую, обследовал гараж, котельную, генераторную, влез даже в подземный склад солярки — я нигде ничего не обнаружил. Естественно, я и не ожидал ничего обнаружить, это было бы слишком просто, но проклятая чиновничья добросовестность не позволила мне оставлять в тылу белые пятна. Двадцать лет беспорочной службы — это двадцать лет беспорочной службы: в глазах начальства, да и в глазах подчиненных тоже, всегда лучше выглядеть добросовестным болваном, чем блестящим, хватающим вершки талантом. И я шарил, ползал, пачкался, дышал пылью и дрянью, жалел себя и ругал дурацкую судьбу.

Когда я, злой и грязный, выбрался из подземного склада, уже рассветало. Луна побледнела и склонилась к западу. Серые громады скал подернулись сиреновой дымкой. И какой же свежий, сладкий морозный воздух наполнил долину! Пропади оно все пропадом!..

Я уже подходил к дому, когда дверь распахнулась, и на крыльцо вышел хозяин.

— Ага, — произнес он, увидев меня. — А я как раз за вами. Этот бедняга проснулся и зовет маму.

— Иду, — сказал я, отряхивая пиджак.

— Собственно, он зовет не маму, — сказал хозяин, — он зовет Олафа Андварафорса.

Глава двенадцатая

Увидев меня, незнакомец живо наклонился вперед и спросил:

— Вы — Олаф Андварафорс?

Такого вопроса я не ожидал. Совсем не ожидал. Я поискал глазами стул, придвинул стул к кровати, неторопливо уселся и только тогда посмотрел на незнакомца. Был большой соблазн ответить утвердительно и посмотреть, что из этого выйдет. Но я не контрразведчик и не сыщик. Я честный полицейский чиновник. Поэтому я ответил:

— Нет. Я не Олаф Андварафорс. Я инспектор полиции, и зовут меня Петер Глебски.

— Да? — сказал он удивленно, но без всякого беспокойства. — Но где же Олаф Андварафорс?

По-видимому, он вполне оправился после вчерашнего. Тощее лицо его порозовело, кончик длинного носа, такой белый вчера, теперь был красен. Он сидел на кровати, закрываясь до пояса одеялом, ночная рубашка Алека была ему явно велика, ворот висел хомутом и обнажал острые ключицы и бледную безволосую кожу на груди. И на лице его не было растительности — только несколько волосков на месте бровей да редкие белесые ресницы. Он сидел, наклонившись вперед, и рассеянно наматывал на левую руку пустой рукав правой.

— Прошу прощения, — сказал я, — но предварительно я должен задать вам несколько вопросов.

На эти мои слова незнакомец не ответил ничего. Лицо его приняло странное выражение — до того странное, что я не сразу понял, в чем дело. А дело было в том, что одним глазом он уставился на меня, а другой глаз закатил под лоб, так что его почти не стало видно. Некоторое время мы молчали.

— Так вот, — сказал я. — Прежде всего хотелось бы узнать, кто вы такой и как вас зовут.

— Луарвик, — сказал он быстро.

— Луарвик... А имя?

— Имя? Луарвик.

— Господин Луарвик Луарвик?

Он опять помолчал. Я боролся с неловкостью, какую всегда испытываешь, разговаривая с сильно косоглазыми людьми.

— Приблизительно да, — сказал он наконец.

— В каком смысле — приблизительно?

— Луарвик Луарвик.

— Хорошо. Допустим. Кто вы такой?

— Луарвик, — сказал он. — Я — Луарвик. — Он помолчал. — Луарвик Луарвик. Луарвик Л. Луарвик.

Он выглядел достаточно здоровым и совершенно серьезным, и это удивляло больше всего. Впрочем, я не врач.

— Я хотел узнать, чем вы занимаетесь.

— Я механик, — сказал он. — Механик-водитель.

— Водитель чего? — спросил я.

Тут он уставился на меня обоими глазами. Он явно не понимал вопроса.

— Хорошо, оставим это, — поспешно сказал я. — Вы иностранец?

— Очень, — сказал он. — В большой степени.

— Вероятно, швед?

— Вероятно. В большой степени швед.

Что он — издевается надо мной? — подумал я. Непохоже. Скорее, у него вид человека, припертого к стене.

— Зачем вы сюда приехали? — спросил я.

— Здесь есть Олаф Андварафорс. Он вам все расскажет. Я не могу.

— Вы ехали к Олафу Андварафорсу?

— Да.

— Попали под обвал?

— Да.

— Ехали на автомобиле?

Он подумал.

— Машина, — сказал он.

— Зачем вам нужен Андварафорс?

— Я имею с ним дело.

— Какое именно?

— Я имею с ним дело, — повторил он. — С ним. Он расскажет.

Дверь за моей спиной скрипнула. Я обернулся. На пороге, держа кружку на отлете, стоял Мозес.

— Сюда нельзя, — сказал я резко.

Мозес из-под нависших бровей разглядывал незнакомца. На меня он не обратил никакого внимания. Я вскочил и пошел на него грудью.

— Прошу вас немедленно выйти, господин Мозес!

— Не орите на меня, — неожиданно миролюбиво предложил Мозес. — Могу же я полюбопытствовать, кого вы поселили в моем помещении.

— Не сейчас, позже... — Я стал постепенно, но настойчиво закрывать дверь.

— Извольте, извольте... — бурчал Мозес, вытеснен-

ный в коридор. — Я, конечно, мог бы протестовать...

Я закрыл дверь и снова повернулся к Луарвику Л. Луарвику.

— Это был Олаф Андварафорс? — спросил Луарвик.

— Нет, — сказал я. — Олаф Андварафорс убит сегодня ночью.

— Убит, — повторил Луарвик. В голосе его не было никаких эмоций. Ни удивления, ни страха, ни горя. Как будто я сообщил ему, что Олаф на минутку вышел и сейчас вернется. — Мертвый? Олаф Андварафорс?

— Да.

— Нет, — сказал Луарвик. — Вы неточно знаете.

— Я знаю совершенно точно. Я видел его мертвым. Сам.

— Я хочу посмотреть.

— Зачем это вам? Я понял так, что вы не знаете его в лицо.

— Я имею с ним дело, — сказал Луарвик.

— Но я же говорю вам: он убит. Умер. Его убили.

— Хорошо. Я хочу посмотреть.

Меня вдруг осенило — я вспомнил про чемодан.

— Он должен был вам что-нибудь передать?

— Нет, — ответил он равнодушно. — Мы должны говорить. Я — с ним.

— О чем?

— Я — с ним. С ним.

— Слушайте, господин Луарвик, — сказал я. — Олаф Андварафорс мертв. Его убили. Я расследую убийство. Ищу убийцу. Понимаете? Мне надо знать как можно больше об Олафе Андварафорсе. Прошу вас быть откровенным. Рано или поздно вам все равно придется рассказать все. Лучше рано, чем поздно.

Он вдруг заполз под одеяло до самого носа. Глаза у него снова глядели в разные стороны.

— Я ничего не могу сказать вам, — невнятно проговорил он сквозь одеяло.

— Почему?

— Я могу сказать только Олафу Андварафорсу.

— Откуда вы ехали? — спросил я.

Он молчал.

— Где вы живете?

Молчание. Тихое посапывание. Один глаз смотрит на меня, другой — в потолок.

— Вы выполняете чье-нибудь поручение?

— Да.

— Чье именно?

— Зачем вы хотите это знать? — спросил он. — Я

имею дело не с вами. Вы имеете дело не с нами.

— Прошу вас понять, — сказал я проникновенно. — Если мы узнаем хоть что-нибудь об Олафе, мы узнаем, кто его убийца. Ну, хорошо. Вы, по-видимому, не знаете Олафа. Но те, кто вас к нему послал, они могут что-то знать.

— Они не знают Олафа тоже, — сказал он.

— То есть как?

— Они не знают Олафа. Зачем?

Я потер обросшие щетиной щеки.

— У вас концы с концами не сходятся, — сказал я угрюмо. — Люди, которые не знают Олафа, посылают вас, который тоже не знает Олафа, с каким-то поручением к Олафу. Как это может быть?

— Это может быть. Это так.

— Кто эти люди?

Молчание.

— Где они находятся?

Молчание.

— Господин Луарвик, у вас могут быть большие неприятности.

— Зачем? — спросил он.

— При расследовании убийства каждый добрый гражданин обязан давать полиции требуемые показания, — сказал я строго. — Отказ может быть рассмотрен как соучастие.

Луарвик Л. Луарвик не реагировал.

— Не исключено, что придется вас арестовать, — добавил я. Это была явно незаконная угроза, и я поспешил поправиться: — Во всяком случае, ваше упорное заперательство очень повредит вам во время суда.

— Я хочу одеть одежду, — вдруг сказал Луарвик. — Я не хочу лежать. Я хочу видеть Олафа Андварафорса.

— С какой целью? — спросил я.

— Я хочу его видеть.

— Но вы же не знаете его в лицо.

— Я не хочу его лицо, — сказал Луарвик.

— А что же вам нужно?

Луарвик вылез из-под одеяла и снова сел.

— Я хочу видеть Олафа Андварафорса! — сказал он очень громко. Правый глаз его дергался и вращался. — Зачем вопросы? Зачем вопросы? Очень много вопросов. Почему я не вижу Олафа Андварафорса?

Я тоже потерял терпение.

— Вы хотите опознать труп? Так я вас понимаю?

— Опознать... Узнать?

— Да! Узнать!

— Хочу. Хочу видеть.

— Как вы можете его узнать, — сказал я, — если вы не знаете его в лицо?

— Какое лицо? — заорал Луарвик. — Зачем лицо? Я хочу видеть, что это не есть Олаф Андварафорс, что это есть другой!

— Почему вы думаете, что это — другой? — быстро спросил я.

— Почему вы думаете, что это Олаф Андварафорс? — возразил он.

Мы устали друг на друга. Я был вынужден признать, что этот странный человек в известном смысле прав. Я не мог бы присягнуть, что викинг со свернутой шеей наверху — это тот самый Олаф Андварафорс, которого ищет Луарвик Л. Луарвик. Это мог быть не тот Олаф Андварафорс, и это мог быть вообще не Олаф Андварафорс. С другой стороны, я не понимал, какой толк показывать труп человеку, который не знает Олафа в лицо. В лицо... А действительно, почему обязательно — в лицо? Может быть, он должен был узнать его по одежде, или по какому-нибудь перстню... или, скажем, по татуировке...

В дверь постучали, и голос Кайсы пропищал: «Одеваться, пожалуйста...» Я открыл дверь и принял у Кайсы высушенный и выглаженный костюм незнакомца.

— Одевайтесь, — сказал я, положив костюм на постель.

Потом я встал к окну и принялся смотреть на зубчатую скалу Погибшего Альпиниста, уже озаренную розовым светом восходящего солнца, на бледное пятно луны, на чистую темную синеву неба. За спиной у меня раздавалось шипение, шуршание, невнятное бормотание, почему-то двигали стулом: по-видимому, это нелегкое дело — одеваться при помощи одной руки и при таком косоглазии вдобавок. Дважды меня так и подмывало повернуться и предложить помощь, но я сдержался. Потом Луарвик сказал: «Я одел». Я обернулся. Я удивился. Я очень удивился, но тут же вспомнил, что этот человек пережил ночью, и перестал удивляться. Я подошел к нему, поправил и застегнул воротник, перестегнул пуговицы на пиджаке и пододвинул ему ногой шлепанцы хозяина. Пока я все это делал, он покорно стоял, отставив единственную руку. Пустой правый рукав я засунул ему в карман. Он посмотрел на шлепанцы и сказал с сомнением:

— Это не мое. У меня не так.

— Ваши ботинки еще не высохли, — сказал я. — Обуйте это, и пошли.

Можно было подумать, что он никогда в жизни не имел дело со шлепанцами. Дважды он с размаху пытался загнать в шлепанцы ноги и дважды промахнулся, каждый раз теряя при этом равновесие. У него вообще было неважно с равновесием — видно, ему здорово досталось, и он еще далеко не пришел в себя. Я его хорошо понимал: со мной тоже бывало такое...

Наверное, все это время какая-то машинка неслышно крутилась у меня в подсознании, потому что меня вдруг ослепила на мгновение дивная мысль: что, если Олаф — не Олаф, а Хинкус... А Хинкус — не Хинкус, а Олаф, и послал он телеграмму, чтобы вызвать вот этого странного человечка. Но от перестановки имен ничего в конечном итоге не проявилось, и я выбросил эту мысль из головы.

Рука об руку мы вышли в холл и двинулись на второй этаж. Хозяин, по-прежнему сидевший на своем посту, проводил нас задумчивым взглядом. Луарвик же на хозяина внимания не обратил совсем. Все свое внимание он сосредоточил на ступеньках лестницы. Я на всякий случай придерживал его за локоть.

Перед дверью номера Олафа мы остановились. Я внимательно осмотрел свои наклейки — все было в порядке. Тогда я достал ключ и распахнул дверь. Резкий неприятный запах ударил мне в нос — очень странный запах, похожий на запах дезинфекции. Я задержался на пороге, мне стало не по себе. Впрочем, в комнате все оставалось без изменений. Только лицо мертвеца показалось мне более темным, чем накануне, возможно, из-за освещения, и пятна кровоподтеков были теперь почти не видны. Луарвик довольно чувствительно ткнул меня в поясницу. Я шагнул в прихожую и посторонился, пропуская его посмотреть.

Можно было подумать, что он не механик-водитель, а служитель морга. С совершенно равнодушным видом он остановился над трупом и низко наклонился, закинув единственную руку за спину. Ни брезгливости, ни страха, ни благоговения — деловитый осмотр. И тем более странным показались мне его слова.

— Я удивлен, — произнес он совершенно бесцветным голосом. — Это есть Олаф Андварафорс на самом деле. Я не понимаю.

— Как вы его узнали? — сейчас же спросил я.

Он, не выпрямляясь, повернул голову и посмотрел на меня одним глазом. Он стоял, нагнувшись, расставив ноги, глядел на меня снизу вверх и молчал. Это продолжалось так долго, что у меня заныла шея. Как это он

может оставаться в такой нелепой позе? В поясницу ему вступило, что ли?.. Наконец он произнес:

— Вспомнил. Видел раньше. Тогда не знал, что Олаф Андварафорс.

— А где вы его видели раньше? — спросил я.

— Там. — Он, не разгибаясь, махнул рукой куда-то за окно. — Это не есть главное.

Вдруг он разогнулся и заковылял по комнате, смешно вертя головой. Я весь подобрался, не спуская с него глаз. Он явно искал что-то, и я уже догадывался — что именно.

— Олаф Андварафорс умер не здесь? — спросил он, останавливаясь передо мною.

— Почему вы так думаете? — спросил я.

— Я не думаю. Я сделал вопрос.

— Вы что-нибудь ищете?

— Олаф Андварафорс имел предмет, — сказал он. — Где?

— Вы ищете чемодан? — спросил я. — Вы за ним приехали?

— Где он? — повторил Луарвик.

— Чемодан у меня, — сказал я.

— Это хорошо, — похвалил он. — Я хочу его иметь здесь. Принесите.

Я пропустил мимо ушей его тон и сказал:

— Я мог бы отдать вам чемодан, но сначала вы должны ответить на мои вопросы.

— Зачем? — с огромным изумлением спросил он. — Зачем снова вопросы?

— А затем, — терпеливо ответил я, — что вы получите чемодан только в том случае, если из ваших ответов станет ясно, что вы имеете на него право.

— Не понимаю, — сказал он.

— Я не знаю, — сказал я, — ваш это чемодан или нет. Если он ваш, если Олаф привез его для вас, докажите это. Тогда я его вам отдам.

Глаза у него разъехались и снова съехались к переносице.

— Не надо, — сказал он. — Не хочу. Устал. Пойдем.

Несколько озадаченный, я вышел вслед за ним из номера. Воздух в коридоре показался на удивление свежим и чистым. Откуда в номере эта аптечная вонь? Может быть, там и раньше было что-то разлито, только при открытом окне не чувствовалось? Я запер дверь. Пока я ходил к себе за клеем и бумагой и занимался опечатыванием, Луарвик оставался на месте, погруженный, казалось, в глубокую задумчивость.

— Ну что? — спросил я. — Вы будете отвечать на вопросы?

— Нет, — решительно ответил он. — Не хочу вопросов. Хочу лежать. Где можно лежать?

— Ступайте в свою комнату, — вяло сказал я. Мною овладела апатия. Вдруг зверски разболелась голова. Потянуло лечь, расслабиться, закрыть глаза. Все это нелепое, ни на что не похожее, уродливо-бессмысленное дело словно бы воплотилось в нелепом, ни на кого не похожем, уродливо-бессмысленном Луарвике Л. Луарвике.

Мы спустились в холл, и он проковылял к себе в комнату, а я сел в кресло, вытянулся и, наконец, закрыл глаза. Где-то шумело море, играла громкая неразборчивая музыка, приплывали и уплывали какие-то туманные пятна. Во рту было такое ощущение, как будто я много часов подряд жевал сырую вату. Потом кто-то обнюхал мне ухо мокрым носом, и тяжелая голова Леля дружески прижалась к моему колену.

Глава тринадцатая

Наверное, мне все-таки удалось вздремнуть минут пятнадцать, а больше дремать мне не дал Лель. Он облизывал мне уши и щеки, тербил штанину, толкался и, наконец, легонько укусил за руку. Тогда я не выдержал и подскочил, готовый разорвать его на куски, бессвязные проклятия и жалобы теснились в моей глотке, но взгляд мой упал на столик, и я замер. На блестящей лакированной поверхности столика, рядом с бумагами и счетами хозяина, лежал огромный черный пистолет.

Это был люгер калибра 0.45 с удлиненной рукоятью. Он лежал в лужице воды, и комочки растаявшего снега еще облепляли его; и пока я смотрел, разинув рот, один комочек сорвался с курка и упал на поверхность стола. Тогда я оглядел холл. В холле было пусто, только Лель стоял рядом со столиком и, наклонив голову набок, серьезно-вопросительно смотрел на меня. Из кухни доносился звон кастрюль, слышался негромкий басок хозяина и тянуло запахом кофе.

— Это ты принес? — спросил я Леля шепотом.

Он наклонил голову на другой бок и все продолжал смотреть на меня. Лапы у него были в снегу, с лохматого брюха капало. Я осторожно взял пистолет.

Вот это было настоящее гангстерское оружие. Дальность прицельного боя — двести метров, приспособление

для установки оптического прицела, рамка для приставного приклада, рычажок перевода на автоматическую стрельбу и прочие удобства... Ствол был забит снегом. Пистолет был холодный, тяжелый, рубчатая рукоять ладно лежала в ладони. Почему-то я вспомнил, что не обыскал Хинкуса. Багаж его обыскал, шубу обыскал, а самого его — забыл. Должно быть, потому, что он представился мне жертвой.

Я извлек из рукояти обойму — обойма была полна. Я оттянул затвор, и на стол выскочил патрон. Я взял его, чтобы вставить в обойму, и вдруг обратил внимание на странный цвет пули. Она была не желтая и не тускло-серая, как обычно. Она сверкала, как никелированная, только это был не никель, а, скорее, серебро. Никогда в жизни не видел таких пуль. Я стал торопливо, один за другим выщелкивать патроны из обоймы. Все они были с такими же серебряными пулями. Я облизал пересохшие губы и снова посмотрел на Леля.

— Где ты это взял, старик? — спросил я.

Лель игриво мотнул головой и боком скакнул к двери.

— Понятно, — сказал я. — Понимаю. Подожди минутку.

Я собрал патроны в обойму, загнал обойму в рукоять и, на ходу запихивая пистолет в боковой карман, пошел к выходу. За дверью Лель скатился с крыльца и, проваливаясь в снег, поскакал вдоль фасада. Я был почти уверен, что он остановится под окном Олафа, но он не остановился. Он обогнул дом, исчез на секунду и снова появился, нетерпеливо выглядывая из-за угла. Я схватил первые попавшиеся лыжи, кое-как закрепил их на ногах и побегал следом.

Мы обогнули гостиницу, а затем Лель устремился прочь от дома и остановился метрах в пятидесяти. Я подъехал к нему и огляделся. Все это было как-то странно. Я видел ямку в снегу, откуда Лель выкопал пистолет, я видел след своих лыж позади, видел борозды, которые оставил Лель, прыгая через сугробы, а в остальном пелена снега вокруг была нетронута. Это могло означать только одно: пистолет зашвырнули сюда либо с дороги, либо из отеля. И это был хороший бросок. Я не был уверен, что сам сумел бы забросить такую тяжелую и неудобную для броска штуку столь далеко. Потом я понял. Пистолет бросили с крыши. Пистолет отобрали у Хинкуса и забросили подальше. Может быть, впрочем, и сам Хинкус забросил его подальше. Может быть, он боялся, что его застукают с этим пистолетом. А может

быть, конечно, это сделал и не Хинкус, а кто-то другой... но почти наверняка — с крыши. С дороги такой бросок мог сделать разве что хороший гранатометчик, а из окна какого-нибудь номера это сделать и вообще было бы невозможно.

— Что ж, Лель, — сказал я сенбернару, — ты молодец. А я вот — нет. Хинкуса надо было трясти поосновательней, на манер старины Згута. Правда? К счастью, это еще не поздно сделать.

И, не дожидаясь ответа Леля, я побежал обратно. Лель, разбрасывая снег, проваливаясь и размахивая ушами, скакал рядом.

Я намеревался сразу же отправиться к Хинкусу, разбудить этого сукиного сына и вытрясти из него душу, даже если это будет стоить мне выговора в послужной формуляр. Мне было теперь предельно ясно, что дела Олафа и Хинкуса связаны между собой самым непосредственным образом, что Олаф и Хинкус приехали сюда вместе отнюдь не случайно, что Хинкус сидел на крыше, вооружившись дальнобойным пистолетом, только с одной целью: держать под прицелом ближайшие окрестности и не дать кому-то уйти из отеля; что это именно он предупреждал кого-то запиской, подписанной «Ф» (тут он, правда, напутал, и записка попала явно не по адресу — дню Барнстокр не вызывает ни малейших подозрений); что он кому-то здесь страшно мешал и, вероятно, продолжает мешать, и будь я проклят, если я сейчас же не выясню — кому и почему. В этой версии была, конечно, масса противоречий. Если Хинкус, скажем, был телохранителем Олафа и мешал его убийце, то почему с ним, Хинкусом, обошлись так мягко? Почему ему тоже не свернули шею? Почему его противник пользовался исключительно гуманными средствами борьбы — донос, пленение?.. Впрочем, это как раз было бы нетрудно объяснить: Хинкус, видимо, наемный человек, и об него просто не хотели пачкать руки... Да! И надо выяснить, кому он посылал телеграмму. Я все время упускаю это из виду...

Хозяин окликнул меня из буфетной и, не говоря больше ни слова, предложил кружку горячего кофе и громадный сочный бутерброд с ветчиной. Это было как раз то, что нужно. Пока я жевал, он разглядывал меня прищуренными глазами и наконец спросил:

— Что-нибудь новенькое?

Я кивнул.

— Да. Пистолет. Только не я, а Лель. А я — идиот.

— Гм... Да. Лель — умная собака. А что за пистолет?

— Интересный пистолет, — сказал я. — Профессиональный... Между прочим, вы слышали когда-нибудь, чтобы пистолеты заряжались серебряными пулями?

Некоторое время хозяин молчал, выпячивая челюсть.

— Этот ваш пистолет заряжен серебряными пулями? — медленно произнес он.

Я кивнул.

— М-да, я читал об этом... — сказал хозяин. — Оружие заряжается серебряными пулями, когда человек собирается стрелять по призракам.

— Опять зомбизм-момбизм, — проворчал я.

— Да, опять. Вурдалака не убьешь обычной пулей. Вервольф... лисица-кигунэ... жабыя королева... Я вас предупреждал, Петер! — Он поднял толстый палец. — Я уже давно жду чего-нибудь вроде этого. А теперь оказывается, что не только я...

Я дожевал бутерброд и допил кофе. Нельзя сказать, что слова хозяина так уж совсем не задели меня. Почему-то все время так получалось, что версия хозяина — единственная и безумная — все время находила подтверждение, а все мои версии — многочисленные и реалистические — нет... Вурдалаки, призраки, привидения... Тут вся беда была в том, что тогда мне осталось бы только сложить оружие: как сказал один писатель, потусторонний мир — это ведомство церкви, а не полиции...

— Вы узнали, чей это пистолет? — спросил хозяин.

— Да есть тут у нас один охотник за вурдалаками, Хинкус его фамилия, — сказал я и вышел.

Посреди холла, весь какой-то корявый и неестественный, торчал покосившимся чучелом господин Луарвик Л. Луарвик. Одним глазом он смотрел на меня, а другим — на лестницу. Пиджак сидел на нем как-то особенно криво, брюки сползли, пустой рукав болгался и имел такой вид, словно его жевала корова. Я кивнул ему и хотел пройти мимо, но он быстро заковылял мне навстречу и загородил дорогу.

— Да? — сказал я, приостановившись.

— Один небольшой, но важный разговор, — объявил он.

— Я занят. Давайте через полчаса.

Он поймал меня за локоть.

— Очень прошу выделить. Немедленно.

— Не понимаю. Что выделить?

— Выделить несколько минут. Это важно для меня.

— Это важно для вас... — повторил я, продолжая

продвигаться к лестнице. — Если это важно только для вас, то для меня это неважно совсем.

Он тащился за мной, как привязанный, как-то странно ставя ноги — одну носком наружу, другую — носком внутрь.

— Для вас тоже важно, — сказал он. — Вы будете довольны. Вы получите все желаемое.

Мы уже поднимались по лестнице.

— А в чем, собственно, дело? — спросил я.

— Это дело относительно чемодана.

— Вы готовы отвечать на мои вопросы?

— Давайте остановимся и поговорим, — попросил он. — Ноги ходят плохо.

Ага, припекает, подумал я. Это хорошо, это мне нравится.

— Через полчаса, — сказал я. — И отпустите меня, пожалуйста, вы мне мешаете.

— Да, — согласился он. — Мешаю. Я хочу мешать. Мой разговор срочный.

— Какая там срочность, — возразил я. — Успеется. Через полчаса. Или, скажем, через час.

— Нет-нет, очень прошу вас немедленно. Многое зависит. И это быстро. Я — вам, вы — мне. Все.

Мы были уже в коридоре второго этажа, и я сжалился.

— Хорошо, пойдемте ко мне. Только давайте побыстрее.

— Да-да, это будет быстро.

Я привел его в свой номер и, присев на край стола, сказал:

— Выкладывайте.

Но он начал не сразу. Сначала он огляделся, надеясь, вероятно, что чемодан лежит где-нибудь здесь, на виду.

— Нету здесь чемодана, — сказал я. — Давайте скорее.

— Тогда я сяду, — сказал он и сел в мое кресло. — Мне очень нужен чемодан. Что вы хотите за?

— Ничего не хочу. Докажите, что вы имеете на него права, и он — ваш.

Луарвик Л. Луарвик покачал головой и сказал:

— Нет. Доказывать не буду. Чемодан не мой. Сначала я ничего не понимал. Теперь я долго думал и все понял. Олаф украл чемодан. Мне было приказано найти Олафа и сказать ему: «Отдай то, что взял. Комендант двести двадцать четыре». Я не знаю, что это значит. Не знал, что он взял. И потом, вы все время говорите — чемодан. Это меня обмануло. Не чемодан. Футляр. Вну-

три — прибор. Раньше я не знал. Когда увидел Олафа — догадался. Теперь я знаю: Олаф не убит. Олаф умер. От прибора. Прибор очень опасный. Угроза для всех. Все будут как Олаф, или может быть взрыв. Тогда все будут еще хуже. Понимаете, почему надо быстро? Олаф — дурак, он умер. Мы — умные, мы не умрем. Скорее давайте чемодан.

Все это он протараторил своим бесцветным голосом, глядя на меня по очереди то правым, то левым глазом и немилосердно терзая пустой рукав. Лицо его оставалось неподвижным, только время от времени поднимались и опускались реденькие брови. Я смотрел на него и думал, что манеры и грамматика у него остались прежние, а вот запас слов основательно увеличился. Разговорился Луарвик.

— Кто вы такой? — спросил я.

— Я эмигрант, иностранный специалист. Изгнанник. Жертва политики.

Да, разговорился Луарвик. И откуда что берется!

— Эмигрант откуда? — спросил я.

— Не надо таких вопросов. Не могу сказать. Честь. Никакого вреда вашей стране.

— Но вы мне уже сказали, что вы швед.

— Швед? Не говорил. Эмигрант, политический изгнанник.

— Прошу прощения, — сказал я. — Час назад вы сказали мне, что вы швед. Что вы даже в большей степени швед. А теперь отказываетесь?

— Не знаю... не помню... — забормотал он. — Плохо себя чувствую. Боюсь. Надо скорее чемодан.

Чем больше он меня торопил, тем меньше я был склонен спешить. Мне все было ясно: он врал, и врал страшно неумело.

— Где вы живете? — спросил я.

— Не могу сказать.

— На чем вы ехали сюда?

— Машина.

— Какой марки?

— Марки... Черный, большой.

— Вы не знаете марки своего автомобиля?

— Не знаю, он не мой.

— Но вы же механик, — сказал я со злорадством. — Какой же вы, к черту, механик, да еще водитель, если вы не разбираетесь в автомобилях?

— Дайте мне чемодан, иначе будет несчастье.

А что вы будете делать с этим чемоданом?

— Быстро увезу.
— Куда? Вы же знаете, лавина завалила дорогу.
— Это все равно. Увезу подальше. Попробую разрядить. Если не сумею, убегу. Пусть лежит там.

— Хорошо, — сказал я и соскочил со стола. —
Поехали.

— Как?

— На моей машине. У меня хорошая машина марки «Москвич». Возьмем чемодан, отвезем подальше, посмотрим.

Он не двинулся с места.

— Вам не надо. Очень опасно.

— Ничего. Я рискну. Ну?

Он сидел неподвижно и молчал.

— Чего же вы сидите? — спросил я. — Ведь опасно, надо скорее.

— Не годится, — сказал он наконец. — Попробуем по-другому. Не хотите отдать чемодан, тогда продайте чемодан. А?

— То есть? — сказал я, снова присаживаясь на край стола.

— Я даю деньги, много денег. Вы даете мне чемодан. Никто ничего не узнает, все довольны. Вы нашли чемодан, я его купил. Все.

— И сколько же вы мне дадите? — спросил я.

— Много. Сколько хотите. Вот.

Он полез за пазуху и вытащил толстенную пачку банкнот. В натуре я видел такие пачки только один раз — в Государственном банке, когда вел там дело о подлоге.

— Сколько здесь? — спросил я.

— Мало? Тогда еще вот.

Он полез в боковой карман и вытащил еще одну такую же пачку и тоже бросил ее на стол рядом со мной.

— Сколько здесь денег? — спросил я.

— Какая разница? — удивился он. — Все — ваше.

— Очень большая разница. Вы знаете, сколько здесь денег?

Он молчал, глаза его то разъезжались, то съезжались.

— Так. Не знаете. А где вы их взяли?

— Это мои.

— Бросьте, Луарвик. Кто вам их дал? Вы же явились сюда с пустыми карманами. Мозес, больше некому. Так?

— Вы не хотите деньги?

— Вот что, — сказал я. — Эти деньги я конфискую, а вас привлекаю за попытку подкупа должностного лица. Вы вляпались в очень нехорошую историю, Луарвик. Вам

остается одно: говорите все начистоту. Кто вы такой?

— Вы взяли деньги? — осведомился Луарвик.

— Я их конфисковал.

— Конфисковал... Хорошо, — сказал он. — А где чемодан?

— Вы не понимаете, что такое «конфисковал»? — спросил я. — Спросите у Мозеса... Итак, кто вы такой?

Не говоря ни слова, он встал и направился к двери. Я сгреб деньги и пошел за ним следом. Мы прошли по коридору и стали спускаться по лестнице.

— Вы напрасно не отдаете чемодан, — сказал Луарвик. — Это не будет вам полезно.

— Не угрожайте, — напомнил я.

— Вы будете причиной большого несчастья.

— Хватит врать, — сказал я. — Не хотите говорить правду — дело ваше. Но вы уже влипли по уши, Луарвик, и утянули за собой Мозеса. Теперь вы легко не отделаетесь. С часу на час сюда придет полиция, и вам все равно придется рассказать правду... Стоп! Не туда. Идите за мной.

Я взял его за пустой рукав и отвел в контору. Потом я позвал хозяина и в его присутствии пересчитал деньги и написал акт. Хозяин тоже пересчитал деньги — денег оказалось больше восьмидесяти тысяч, мое жалованье за десять лет беспорочной службы, — и подписал акт.

Все это время Луарвик стоял поодаль, неуклюже переминаясь с ноги на ногу, как человек, которому хочется уйти как можно скорее.

— Подпишите, — сказал я, протягивая ему ручку.

Он взял ручку, внимательно оглядел ее и осторожно положил на стол.

— Нет, — сказал он. — Я пойду.

— Как хотите, — сказал я. — Ваше положение это не изменит.

Он сейчас же повернулся и вышел, задев плечом за косяк. Мы с хозяином посмотрели друг на друга.

— Зачем он хотел вас подкупить? — спросил хозяин. — Что ему было надо?

— Чемодан, — сказал я.

— Какой чемодан?

— Чемодан Олафа, который стоит у вас в сейфе... — Я достал ключ и открыл сейф. — Вот этот вот.

— Он стоит восемьдесят тысяч? — спросил хозяин с уважением.

— Он стоит, наверное, гораздо больше. Тут какая-то темная история, Алек. — Я сложил деньги в сейф, снова запер тяжелую дверь, а акт положил в карман.

— Кто же этот Луарвик? — задумчиво сказал хозяин. — Откуда у него столько денег?

— У Луарвика не было ни гроша. Деньги ему дал Мозес, больше некому.

Хозяин поднял было толстый палец, чтобы что-то сказать, но раздумал. Вместо этого он энергично потер толстый подбородок, гаркнул: «Кайса!» — и вышел. Я остался сидеть за конторкой. Я принялся вспоминать. Я тщательно перебирал в памяти самые мелкие подробности, самые незначительные происшествия, свидетелем которых я был в этом отеле. Выяснилось, что запомнил я довольно много.

Оказывается, я помнил, что при первой нашей встрече Симонэ был одет в серый костюм, а на вчерашней вечеринке он был в бордовом, и запонки у него были с желтыми камешками. Я помнил, что, когда Брюн клячила у своего дяди сигарету, он всегда доставал их из-за правого уха. Я помнил, что у Кайсы есть маленькая черная родинка на правой ноздре; что дю Барнстокр, орудуя вилкой, всегда отставляет мизинец; что ключ моего номера похож на ключ от номера Олафа; и еще много подобной же дребедени. Во всей этой навозной куче я обнаружил две жемчужины. Во-первых, я вспомнил, как позавчера вечером Олаф, весь в снегу, стоял посередине холла со своим черным чемоданом и оглядывался, словно ожидал, что его встретят, и как он посмотрел мимо меня на закрытый портьерой вход на половину Мозесов, и как мне показалось, что портьера колыхнется — надо полагать, от сквозняка. Во-вторых, я вспомнил, что, когда я стоял в очереди у душа, сверху спустились рука об руку Олаф и Мозес...

Все это упорно наводило меня на мысль, что Олаф, Мозес, а теперь и Луарвик — все это одна компания, причем эта компания не стремилась афишировать, что она — одна компания. И если вспомнить, что я обнаружил Мозеса в номере-музее рядом со своим номером за пять минут до того, как нашел у себя на загаженном столе записку насчет гангстера и маньяка; и если вспомнить, что золотые часы Мозеса были подброшены — явно подброшены, а потом снова изъяты — в баул Хинкуса... и если вспомнить, что госпожа Мозес была единственным человеком, не считая, может быть, Кайсы, который отсутствовал в зале именно тогда, когда Хинкуса скрутили в бараний рог и засунули под стол... если вспомнить все это, то картина получается прелюбопытная.

В эту картину неплохо укладывается и заявление Хинкуса о том, что один из его баулов ловко превратился в фальшбагаж, и то обстоятельство, что госпожа Мозес была единственным человеком, который видел двойника Хинкуса в лицо. Ведь о Брюн никак нельзя было сказать, что она видела двойника Хинкуса: она видела только шубу Хинкуса, а кто был в этой шубе, неизвестно.

Конечно, в картине оставалось еще много белых и совершенно непонятных пятен. Но по крайней мере теперь была ясна расстановка сил: Хинкус, с одной стороны, а Мозесы, Олаф и Луарвик — с другой. Впрочем, судя по совершенно нелепым действиям Луарвика и той откровенности, с которой Мозес снабдил его деньгами, дело близилось к какому-то кризису... И тут мне пришло в голову, что я, пожалуй, напрасно держу Хинкуса взаперти. В надвигающейся схватке неплохо было бы обзавестись союзником, пусть даже таким сомнительным и явно преступным, как Хинкус.

Так я и сделаю, подумал я. Напушу-ка я на них гангстера и маньяка. Мозес небось думает, что Хинкус до сих пор валяется под столом. Посмотрим, как он себя поведет, когда Хинкус вдруг объявится в столовой за завтраком. О том, как и кто скрутил Хинкуса, о том, кто и как убил Олафа, я решил пока не думать. Я смял свои заметки, положил в пепельницу и поджег.

— Кушать, пожалуйста... — пропищала где-то наверху Кайса. — Кушать, пожалуйста.

Глава четырнадцатая

Хинкус уже поднялся. Он стоял посередине комнаты со спущенными подтяжками и вытирал лицо большим полотенцем.

— Доброе утро, — сказал я. — Как вы себя чувствуете?

Он настороженно глядел на меня исподлобья, лицо его несколько опухло, но в общем он выглядел вполне прилично. Ничего в нем не осталось от того сумасшедшего затравленного хорька, каким я видел его несколько часов назад.

— Более или менее, — буркнул он. — Чего это меня здесь заперли?

— У вас был нервный припадок, — объяснил я. Лицо у него немного перекосилось. — Ничего страшного. Хо-

зьян сделал вам укол и запер, чтобы вас никто не беспокоил. Завтракать пойдете?

— Пойду, — сказал он. — Позавтракаю и смогаюсь отсюда к чертовой матери. И задаток отберу. Тоже мне — отдых в горах... — Он скомкал и отшвырнул полотенце. — Еще один такой отдых, и свихнешься к чертовой матери. Без всякого туберкулеза... Шуба моя где, не знаете? И шапка...

— На крыше, наверно, — сказал я.

— На крыше... — пробурчал он, надевая подтяжки. — На крыше...

— Да, — сказал я. — Не повезло вам. Можно только посочувствовать... Ну мы еще поговорим об этом.

Я повернулся и пошел к двери.

— Нечего мне об этом разговаривать! — со злостью крикнул он мне вслед.

В столовой еще никого не было. Кайса расставляла тарелки с сэндвичами. Я поздоровался с нею и выбрал себе новое место — спиной к буфету и лицом к двери, рядом со стулом дю Барнстокра. Едва я уселся, как вошел Симонэ — в толстом пестром свитере, свежесбривший, с красными припухшими глазами.

— Ну и ночка, инспектор, — сказал он. — Я и пяти часов не спал. Нервы разгулялись. Все время кажется, будто тянет мертвечинкой. Аптечный такой запах, знаете ли, вроде формалина... — Он сел, выбрал сэндвич, потом посмотрел на меня. — Нашли?.. — спросил он.

— Смотря что, — ответил я.

— Ага, — сказал он и неуверенно хохотнул. — Вид у вас неважный.

— У каждого тот вид, которого он достоин, — отозвался я, и в ту же секунду вошли Барнстокры. Эти были как огурчики. Дядюшка щеголял астрой в петлице, благородно седые кудри пушисто серебрились вокруг лысой маковки, а Брюн была по-прежнему в очках, и нос у нее был по-прежнему нахально задран. Дядюшка, потирая руки, двинулся к своему месту, искательно поглядывая на меня.

— Доброе утро, инспектор, — нежно пропел он. — Какая ужасная ночь! Доброе утро, господин Симонэ. Не правда ли?

— Привет, — буркнуло чадо.

— Коньяку бы выпить, — сказал Симонэ с какой-то тоской. — Но ведь неприлично, а? Или ничего?

— Не знаю, право, — сказал дю Барнстокр. — Я бы не рискнул.

— А инспектор? — сказал Симонэ.

Я помотал головой и отхлебнул кофе, который поставила передо мной Кайса.

— Жаль, — сказал Симонэ. — А то я бы выпил.

— А как наши дела, дорогой инспектор? — спросил дю Барнстокр.

— Следствие напало на след, — сообщил я. — В руках у полиции ключ. Много ключей. Целая связка.

Симонэ снова загоготал было и сразу сделал серьезное лицо.

— Вероятно, нам придется провести весь день в доме, — сказал дю Барнстокр. — Выходить, вероятно, не разрешается...

— Почему же? — возразил я. — Сколько угодно. И чем больше, тем лучше.

— Удрать все равно не удастся, — добавил Симонэ. — Обвал. Мы здесь заперты — и надолго. Идеальная ситуация для полиции. Я бы, конечно, мог удрать через скалы...

— Но? — спросил я.

— Во-первых, из-за этого снега мне не добраться до скал. А во-вторых, что я там буду делать?.. Послушайте, господа, — сказал он. — Давайте прогуляемся по дороге — посмотрим, как там в Бутылочном Горльшке...

— Вы не возражаете, инспектор? — осведомился дю Барнстокр.

— Нет, — сказал я, и тут вошли Мозесы. Они тоже были как огурчики. То есть мадам была как огурчик... как персик... как ясное солнышко. Что касается Мозеса, то эта старая брюква так и осталась старой брюквой. Прихлебывая на ходу из кружки и не здороваясь, он добрался до своего стула, плюхнулся на сиденье и строго посмотрел на сэндвичи перед собой.

— Доброе утро, господа! — хрустальным голосом произнесла госпожа Мозес.

Я покосился на Симонэ. Симонэ косился на госпожу Мозес. В глазах его было какое-то недоверие. Потом он судорожно передернул плечами и схватился за кофе.

— Прелестное утро, — продолжала госпожа Мозес. — Так тепло, солнечно! Бедный Олаф, он не дожид до этого утра!

— Все там будем, — провозгласил вдруг Мозес хрипло.

— Аминь, — вежливо закончил дю Барнстокр.

Я покосился на Брюн. Девочка сидела нахохлившись, уткнувшись носом в чашку. Дверь снова отворилась, и

появился Луарвик Л. Луарвик в сопровождении хозяина. Хозяин скорбно улыбался.

— Доброе утро, господа, — произнес он. — Позвольте представить вам господина Луарвика Луарвика, прибывшего к нам сегодня ночью. По дороге его постигла катастрофа, и мы, конечно, не откажем ему в гостеприимстве.

Судя по виду господина Луарвика Луарвика, катастрофа была чудовищной, и он очень нуждался в гостеприимстве. Хозяин был вынужден взять его за локоть и буквально впихнуть на мое старое место рядом с Симонэ.

— Очень приятно, Луарвик! — прохрипел господин Мозес. — Здесь все свои, Луарвик, будьте как дома.

— Да, — сказал Луарвик, глядя одним глазом на меня, а другим на Симонэ. — Прекрасная погода. Совсем зима...

— Это все чепуха, Луарвик, — сказал Мозес. — Поменьше разговаривайте, побольше ешьте. У вас истощенный вид... Симонэ, напомните-ка, что там было с этим метрдротелем? Кажется, он съел чье-то филе...

И тут наконец появился Хинкус. Он вошел и сразу остановился. Симонэ пустился вновь рассказывать про метрдротеля, и пока он объяснял, что названный метрдротель не ел никакого филе, а все было наоборот, Хинкус стоял на пороге, а я смотрел на него, стараясь при этом не упускать из виду и Мозесов. Я смотрел и ничего не понимал. Госпожа Мозес кушала сливки с сухариками и восхищенно слушала унылого шалуна. Господин Мозес, правда, косился на Хинкуса, но с полнейшим равнодушием и сразу же снова обратился к своей кружке. А вот Хинкус с лицом своим совладать не сумел.

Сначала вид у него сделался совершенно обалделый, как будто его ударили бревном по голове. Затем на лице явственно проступила радость, исступленная какая-то, он даже заулыбался вдруг совершенно по-детски. А потом злобно оскалился и шагнул вперед, сжимая кулаки. Но смотрел он, к моему величайшему удивлению, не на Мозесов. Он смотрел на Барнстокров: сначала в полнейшем обалдении, потом с облегчением и радостью, а потом со злобой и с каким-то злорадством. Тут он перехватил мой взгляд, расслабился и, потупившись, направился к своему месту.

— Как вы себя чувствуете, господин Хинкус? — участливо наклоняясь вперед, осведомился дю Барнстокр. — Здешний воздух...

Хинкус вскинул на него бешеные желтые глазки.

— Я-то себя ничего чувствую, — отвечивал он, усаживаясь. — А вот какво вы себя чувствуете?

Дю Барнстокр в изумлении откинулся на спинку стула.

— Я? Благодарю вас... — Он посмотрел сначала на меня, потом на Брюн. — Может быть, я как-то задел, затронул... В таком случае я приношу...

— Не выгорело дельце! — продолжал Хинкус, с остервенением запихивая себе за воротник салфетку. — Сорвалось, а, старина?

Дю Барнстокр был в совершенном смущении. Разговоры за столом прекратились, все смотрели на него и на Хинкуса.

— Право же, я боюсь... — Старый фокусник явно не знал, как себя вести. — Я имел в виду исключительно ваше самочувствие, не больше...

— Ладно, ладно, замнем для ясности, — отвечивал Хинкус.

Он обеими руками взял большой сандвич, краем заправил его в рот, откусил и, ни на кого не глядя, принялся вовсю работать челюстями.

— А хамить-тс не надо бы! — сказала вдруг Брюн.

Хинкус коротко глянул на нее и сейчас же отвел взгляд.

— Брюн, дитя мое... — сказал дю Барнстокр.

— Р-распетушился! — сказала Брюн, постукивая ножом о тарелку. — Пьянствовать меньше надо...

— Господа, господа! — сказал хозяин. — Все это пустяки!

— Не беспокойтесь, Сневар, — поспешно сказал дю Барнстокр. — Это какое-то маленькое недоразумение... Нервы напряжены... События этой ночи...

— Понятно, что я говорю? — грозно спросила Брюн, наставив на Хинкуса черные окуляры.

— Господа! — решительно вмешался хозяин. — Господа, я прошу внимания! Я не буду говорить о трагических событиях этой ночи. Я понимаю — да, нервы напряжены. Но, с одной стороны, расследование судьбы несчастного Олафа Андварафорса находится сейчас в надежных руках инспектора Глебски, который по счастливому стечению обстоятельств оказался в нашей среде. С другой же стороны, нас вовсе не должно излишне нервировать то обстоятельство, что мы оказались временно отрезаны от внешнего мира...

Хинкус перестал жевать и поднял голову.

— Наши погреба полны, господа! — торжественно продолжал хозяин. — Все мыслимые и даже некоторые неммыслимые припасы к вашим услугам. И я убежден, что, когда через несколько дней спасательная партия прорвется к нам через обвал, она застанет нас...

— Какой такой обвал? — громко спросил Хинкус, обводя всех круглыми глазами. — Что за чертовщина?

— Да, простите, — сказал хозяин, поднося ладонь ко лбу. — Я совсем забыл, что некоторые гости могут не знать об этом событии. Дело в том, что вчера в десять часов вечера снежная лавина завалила Бутылочное Горлышко и разрушила телефонную связь.

За столом воцарилось молчание. Все жевали, глядя в тарелки. Хинкус сидел, отвесив нижнюю губу, — вид у него опять был ошарашенный. Луарвик Л. Луарвик меланхолично жевал лимон, откусывая от него вместе с кожурой. По узкому подбородку его стекал на пиджак желтоватый сок. У меня свело скулы, я отхлебнул кофе и объявил:

— Имею добавить следующее. Две небольшие банды каких-то мерзавцев избрали этот отель местом сведения своих личных счетов. Как лицо неофициальное, я могу предпринять лишь немногие меры. Например, я могу собрать материал для официальных представителей мюрской полиции. Таковой материал в основном уже собран, хотя я был бы очень благодарен каждому гражданину, который сообщит следствию какие-нибудь новые сведения. Далее я хочу поставить в известность всех добрых граждан о том, что они могут чувствовать себя в полной безопасности и свободно вести себя так, как им заблагорассудится. Что же касается лиц, составляющих упомянутые банды, то я призываю их прекратить всякую деятельность, дабы не ухудшать и без того безнадежное свое положение. Я напоминаю, что наша отрешенность от внешнего мира является лишь относительной. Кое-кто из присутствующих уже знает, что два часа назад я воспользовался любезностью господина Снеvara и отправил с почтовым голубем донесение в Мюр. Теперь я с часу на час ожидаю полицейский самолет, а постому напоминаю лицам, замешанным в преступлении, что своевременное признание и раскаяние могут значительно улучшить их участь. Благодарю за внимание, господа!

— Как интересно! — восхищенно воскликнула госпожа Мозес. — Значит, среди нас есть бандиты? Ах, инспектор, ну хотя бы намекните! Мы пойдем!

Я покосился на хозяина. Алек Сневар, повернувшись к

гостям обширной спиной, старательно перетирал рюмки, стоящие на буфете.

Разговор не возобновился. Тихонько звякали ложечки в стаканах, да шумно сопел над своей кружкой господин Мозес, сверля глазами каждого по очереди. Никто не выдал себя, но все, кому пора было подумать о своей судьбе, думали. Я запустил в этот курятник хорошего хорька, и теперь надо было ожидать событий.

Первым поднялся дю Барнстокр.

— Дамы и господа! — сказал он. — Я призываю всех добрых граждан встать на лыжи и отправиться на небольшую прогулку. Солнце, свежий воздух, снег и чистая совесть да будут нам опорой и успокоением. Брюн, дитя мое, пойдете.

Задвигались стулья, гости один за другим вставали из-за стола и покидали зал. Симонэ предложил руку госпоже Мозес — очевидно, все его ночные впечатления в значительной степени развеялись под действием солнечного утра и жажды чувственных удовольствий. Господин Мозес извлек из-за стола Луарвика Л. Луарвика, поставил его на ноги, и тот, меланхолично дожевывая лимон, потащился за ним, заплетаясь башмаками.

За столом остался только Хинкус. Он сосредоточенно ел, словно намеревался заправиться надолго, впрок. Кайса собирала посуду, хозяин помогал ей.

— Ну что, Хинкус? — сказал я. — Поговорим?

— Это насчет чего? — угрюмо проворчал он, поедая яйцо с перцем.

— Да насчет всего, — сказал я. — Как видите, смотреть вам не удастся. И на крыше больше торчат незачем. Верно?

— Не о чем нам говорить, — сказал Хинкус мрачно. — Ничего я по этому делу не знаю.

— По какому делу? — спросил я.

— Про убийство! По какому еще...

— Есть еще дело Хинкуса, — сказал я. — Вы кончили? Тогда пойдете. Вот сюда, в бильярдную. Там сейчас солнышко, и нам никто не помешает.

Он ничего не ответил. Дожевал яйцо, проглотил, утерся салфеткой и поднялся.

— Алек, — сказал я хозяину. — Будьте добры, спуститесь вниз и посидите в холле, где вы вчера сидели, понимаете?

— Понимаю, — сказал хозяин. — Будет сделано.

Он торопливо вытер руки полотенцем и вышел. Я распахнул дверь в бильярдную и пропустил Хинкуса

вперед. Он вошел и остановился, засунув руки в карманы и жуя спичку. Я взял у стены один из стульев, поставил на самое солнце и сказал: «Сядьте». Помедлив секунду, Хинкус сел и сразу сощурился — солнце било ему в лицо.

— Полицейские штучки... — проворчал он с горечью.

— Служба такая, — сказал я и присел перед ним на край бильярда в тени. — Ну, Хинкус, что там у вас произошло с Барнстокром?

— С каким еще Барнстокром? Что у нас может произойти? Ничего у нас не произошло.

— Записку угрожающую вы ему писали?

— Никаких записок я не писал. А вот жалобу я напишу. За истязание больного человека...

— Слушайте, Хинкус. Через час-другой прилетит полиция. Прилетят эксперты. Записка ваша у меня в кармане. Определить, что писали ее вы, ничего не стоит. Зачем же вы запираетесь?

Он быстрым движением перебрал изжеванную спичку из одного угла рта в другой. В зале гремела тарелками Кайса, напевая что-то тонким фальшивым голоском.

— Ничего не знаю про записку, — сказал наконец Хинкус.

— Хватит врать, Филин! — гаркнул я. — Мне все о тебе известно! Ты влип, Филин. И если ты хочешь отделаться семьдесят второй, тяни на пункт «п»! Чистосердечное признание до начала официального следствия... Ну?

Он выплюнул изжеванную спичку, покопался в карманах и вытащил мятую пачку сигарет. Затем он поднес пачку ко рту, губами вытянул сигарету и задумался.

— Ну? — повторил я.

— Путаєте вы что-то, — ответил Хинкус. — Филин какой-то. Я не Филин, я — Хинкус.

Я соскочил с бильярда и сунул ему под нос пистолет.

— А это узнаешь? А? Твоя машинка? Говори!

— Ничего не знаю, — угрюмо сказал он. — Чего вы ко мне привязались?

Я вернулся на стол, положил пистолет рядом с собой на сукно и закурил.

— Думай, думай, — сказал я. — Быстрее думай, а то поздно будет. Ты подсунул Барнстокру записку, а он отдал ее мне — этого ты, конечно, не ожидал. Пистолет у тебя отобрали, а я его нашел. Ребятам своим ты дал телеграмму, а они не успели, потому что случился обвал. А полиция будет часа через два, самое большее. Понял, какая картина?

В дверь просунулась Кайса и пропищала:

— Подать чего-нибудь? Угодно?

— Идите, идите, Кайса, — сказал я. — Ступайте.

Хинкус молчал, сосредоточенно шаря в кармане, потом извлек коробок спичек и закурил. Солнце пекло. На его лице выступил пот.

— Маху ты дал, Филин, — сказал я. — Перепутал божий дар с яичницей. Чего ты привязался к Барнстокру? Напугал бедного старика до полусмерти... Разве его приказали тебе держать на мушке? Мозеса! Мозеса надо было держать! Олух ты царя небесного, я бы тебя в дворники не взял, не то что такое поручение давать... И твоя шпана тебе это еще припомнит. Так что теперь, Филин...

Он не дал мне закончить поучение. Я сидел на краю бильярда, свесив одну ногу, а другой упираясь в пол, покуривал себе и при этом, дурак этакий, самодовольно разглядывал струйки дыма в солнечном луче. А Хинкус сидел на стуле в двух шагах от меня, и он вдруг наклонился вперед, поймал меня за свисающую ногу, изо всех сил дернул на себя и круто повернул. Недооценил я Хинкуса, прямо скажем, недооценил. Меня снесло с бильярда, и я всеми своими девяноста килограммами, плашмя, мордой, животом, коленями грохнулся об пол.

О том, что случилось дальше, я могу только догадываться. Коротко говоря, примерно через минуту я пришел в себя окончательно и обнаружил, что сижу на полу, прислонясь к бильярду, подбородок у меня разбит, два зуба шатаются, со лба на глаза течет кровь, а правое плечо ломит совершенно невыносимо. Хинкус валялся тут же неподалеку, скорчившись и обхватив руками голову, а над ним, как Георгий Победоносец над поверженным Змием, возвышался ослабившийся героический Симонэ, держа в руке обломок самого длинного и самого тяжелого кия. Я утер кровь со лба и поднялся. Меня пошатывало. Хотелось лечь в тень и забыться. Симонэ нагнулся, поднял с пола пистолет и подал его мне.

— Вам повезло, инспектор, — сказал он, сияя. — Еще секунду, и он проломил бы вам голову. Куда вам попало? По плечу?

Я кивнул. У меня перехватило дыхание, и говорить я не мог.

— Подождите-ка, — сказал Симонэ и выскочил в столовую, бросив на бильярд обломок кия.

Я обошел стол и присел в тени так, чтобы видеть Хинкуса. Хинкус все еще лежал неподвижно. Экий дьявол, а ведь посмотришь на него — соплей перешибить

можно... Да, джентльмены, это настоящий ганмен в лучших чикагских традициях. И откуда только они берутся в нашей добропорядочной стране? И подумать только — ведь у Згута такой же оклад, как у меня. Да его озолотить надо!.. Я достал из кармана платок и осторожно промокнул ссадину на лбу.

Хинкус застонал, заворочался и попытался встать. Он все еще держался за голову. Симонэ вернулся с графином воды. Я взял у него графин, кое-как добрался до Хинкуса и полил ему на лицо. Хинкус зарычал и оторвал одну руку от макушки. Физиономия у него опять была зеленоватая, но теперь это объяснялось естественными причинами. Симонэ присел на корточки рядом с ним.

— Надеюсь, я не перестарался? — озабоченно сказал он. — Времени разбираться у меня, сами понимаете, не было.

— Ничего, старина, все будет в порядке... — Я поднял руку, чтобы похлопать его по плечу, и застонал от боли. — Сейчас я его возьму в оборот.

— Мне уйти? — спросил Симонэ.

— Нет уж, вы лучше останьтесь. А то как бы он не взял в оборот меня. Принесите еще воды... на случай обмороков...

— И бренди! — с энтузиазмом сказал Симонэ.

— Правильно, — сказал я. — Мы его живо приведем в порядок. Только никому не говорите, что случилось.

Симонэ принес еще воды и бутылку коньяку. Я разжал Хинкусу рот и влил в него полстакана чистого. Еще полстакана чистого выпил я сам. Симонэ, запасшийся третьим стаканом, выпил с нами за компанию. Потом мы оттащили Хинкуса к стенке, прислонили его спиной, я снова облил его из графина и два раза ударил по щекам. Он открыл глаза и громко задышал.

— Еще коньяку? — спросил я.

— Да... — сипло выдохнул он.

Я дал ему еще коньяку. Он облизнулся и решительно произнес:

— Что вы там говорили насчет семьдесят второй «ц»?

— Там видно будет, — сказал я.

Он помотал головой и сморщился.

— Нет, так не пойдет. Мне бессрочная и так обеспечена.

— Wanted and listed? — сказал я.

— В точности так. У меня теперь только один интерес: уклониться от галстука. И между прочим, все шансы у меня есть — к Олафу я отношения не имею, сами

знаете, а тогда что остается? Незаконное ношение оружия? Ерунда, это еще доказать надо, что я его носил...

— А нападение на инспектора полиции?

— Так об этом и речь! — сказал Хинкус, осторожно ощупывая макушку. — По-моему, так никакого нападения и не было, а было одно только сплошное чистосердечное признание до начала официального следствия. Как ваше мнение, шеф?

— Признания пока еще не было, — напомнил я.

— Сейчас будет, — сказал Хинкус. — Но вот в присутствии этого физика-химика обещаете, шеф? Семьдесят вторую «ц» — обещаете?

— Ладно, — сказал я. — Для начала будем считать, что имела место драка на личной почве в состоянии опьянения. То есть это ты был в состоянии опьянения, а я тебя урезонивал.

Симонэ заржал.

— А я что? — спросил он.

— А вы помогли мне справиться... Ладно, хватит болтать. Рассказывай, Филин. И смотри, если ты хоть слово соврешь. Ты мне два зуба расшатал, сволочь!..

— Значит, так, — начал Хинкус. — Меня намылил сюда Чемпион. Слыхали про Чемпиона? Еще бы не слышать... Так вот в позапрошлый месяц откопал Чемпион где-то одного типа. Где он его откопал, чем его на крючок взял, я не знаю, и настоящего его имени я тоже не знаю. У нас его звали Вельзевулом. Правильно звали, жуткий тип... Сработал он нам всего два дела, но зато дела были для простого человека ну никак не подъемные, и сработал при этом чисто, красиво... да вы и сами это знаете. Второй Национальный банк — раз, броневик с золотыми слитками — два. Знакомые дела, шеф, а? Тот! Дела эти вы не раскрыли, а кого вы посажали, те в полной мере ни при чем, это вам самим хорошо известно. В общем, сработал он нам эти два дела и вдруг решил завязать. Почему — это вопрос особый, но Вельзевул наш рванул когти, и нас намылили кого куда ему наперехват. Засечь его, взять на мушку и свистнуть Чемпиону... Ну, а в крайнем случае было велено кончить Вельзевула на месте. Вот я его и засек, и тут все мое чистосердечное признание.

— Так, — сказал я. — Ну, а кто у нас здесь в отеле Вельзевул?

— Тут я, как вы правильно сказали, дал маху, шеф. Это вы мне глаза открыли, а я-то грешил на этого фокусника, на Барнстокра. Во-первых, вижу — магиче-

ские штучки, разные фокусы. А во-вторых, подумал: если Вельзевул захочет под кого-нибудь замаскироваться, то под кого? Чтобы без лишнего шума... Ясно — под фокусника!

— Что-то ты тут путаешь, — сказал я. — Фокусы ладно. Но ведь Барнстокр и Мозес — это небо и земля. Один — тощий, длинный, другой — толстый, приземистый...

Хинкус махнул рукой.

— Я его в разных видах видел, и толстым, и тонким. Никто не знает, какой вид у него натуральный... Это бы вам надо понять, шеф. Вельзевул — он ведь не простой человек. Колдун, оборотень! У него власть над нечистой силой...

— Понес, понес, — сказал я предостерегающе.

— Правильно, — согласился Хинкус. — Конечно, никто не поверит, кто сам не видел... А вот, например, баба эта, с которой он разъезжает, кто это, по-вашему, шеф? Я ведь своими глазами видел, как она сейф в две тонны весом выворотила и несла по карнизу. Под мышкой несла. Была она тогда маленькая, шупленькая, ни дать ни взять — ребенок, подросточек, вроде Барнстокровой этой девчонки... а ручищи — во, метра два... да что там — метра три длиной...

— Филин, — сказал я строго. — Хватит врать.

Хинкус снова махнул рукой и приуныл было, но, впрочем, тут же оживился.

— Ну хорошо, — сказал он. — Пускай я вру. Но вот я, извиняюсь, вас голыми руками положил, шеф, а ведь вы мужчина рослый, умелый... Так сами подумайте, кто мог меня таким манером скрутить, как младенца, и засунуть под стол?

— Кто? — спросил я.

— Она! Теперь-то я усек, как все это случилось. Он меня узнал, запомнил. И когда он увидел, что я сижу на крыше и живьем его из дома не выпущу, он и насрал на меня свою бабу. Под моим же видом насрал... — В глазах у Хинкуса всплеснулся пережитый ужас. — Матерь пресвятая, сижу я там, а оно стоит передо мной, то есть я сам и стою — голый, покойник, и глаза вытекли... Как я там со страха не подох, как с ума не сошел — не понимаю. Пью и ведь не пьянею, как на землю лью... Это надо же, проник, значит, он, что у меня в черепушке того, не все в порядке, наследственное это у меня, от папаша досталось. Тому, бывало, тоже всякое чудилось — как схватит ружье, как начнет палить... Вот Вельзевул и

решил: либо с ума меня свести, либо запугать до потери сознания, чтобы я смылся с глаз долой. А когда увидел, что не получается, ну, делать нечего, тут он силу и применил...

— А почему он тебя просто не прихлопнул? — спросил я.

Хинкус затряс головой.

— Нет, этого он не может. Ведь, если правду сказать, почему он завязал? Когда броневик брали, сами знаете, охрану пришлось шлепнуть. Наши ребята погорячились, а получается вроде бы, что кровь-то на нем, на Вельзевуле... А у него вся чародейская сила пропасть может, если он человеческую жизнь погубит. Чемпион нам так и сказал. А то разве кто-нибудь посмел бы его выслеживать? Да упаси бог!

— Ну, допустим, — проговорил я неуверенно.

Я опять ничего не понимал. Хинкус, как он и сам признался, был, несомненно, психом. Но в его сумасшествии была своя логика. В рамках этого сумасшествия все концы сходились с концами, и даже серебряные пули находили свое место в общей картине. И все это как-то странно переплеталось с действительностью. Сейф из Второго Национального и в самом деле исчез самым загадочным образом, «растворился в воздухе», как говорили, разводя руками, эксперты, и единственные следы, которые вели из помещения, вели на карниз. А свидетели ограбления броневика, словно сговорившись, упорно твердили под присягой, будто все началось с того, что какой-то человек ухватил броневик под днище и перевернул эту машину набок... Черт его знает, как все это понимать.

— Ну, а серебряные пули? — на всякий случай спросил я. — Почему пистолет заряжен серебряными пулями?

— Потому и заряжен, — снисходительно пояснил Хинкус. — Свинцовой пулей оборотня не возьмешь. Чемпион с самого начала на всякий случай подготовил серебряные пульки, подготовил и Вельзевулу показал: вот, мол, смерть-то твоя, имей, мол, в виду, не рыпайся.

— А почему же они остались в отеле? — спросил я. — Тебя связали, а сами остались...

— Этого я не знаю, — признался Хинкус. — Этого я сам не понимаю. Я как утром увидел Барнстокра, так прямо обалдел. Я ведь думал, их тут давным-давно и след простыл... Тьфу, не Барнстокра, конечно... Но я-то думал тогда, что Барнстокр... В общем, Вельзевул здесь, а почему он здесь остался, этого я не знаю. Может быть,

тоже не может через завал перебраться... Он хоть и колдун, но не господь же бог. Летать, например, он не умеет, это уж точно известно. Через стены проходить — тоже... Правда, ежели подумать, баба эта его — или кто она там есть — любой завал могла бы расковырять в два счета. Присобачил бы он ей вместо рук ковши, как у экскаватора, и готово дело...

Я повернулся к Симонэ.

— Ну, — сказал я, — а что скажет по этому поводу наука?

Лицо Симонэ меня удивило. Физик был очень серьезен.

— В рассуждениях господина Хинкуса, — произнес он, — есть по крайней мере одна очень интересная деталь. Вельзевул у него не всемогущ. Чувствуете, инспектор? Это очень важно. И очень странно. Казалось бы, в фантазиях этих темных невежественных людей никаких законов и ограничений быть не может. Но они есть... А как, собственно, был убит Олаф?

— Этого я не знаю, — решительно сказал Хинкус. — Об Олафе ничегошеньки не знаю, шеф. Как на духу говорю. — Он прижал руку к сердцу. — Могу только сказать, что Олаф — не наш, и ежели его действительно прикончил Вельзевул, то не понимаю — зачем... Тогда вообще получается, что Олаф не человек, а какая-нибудь погань, вроде самого Вельзевула... Я же говорю, нельзя Вельзевулу людей убивать. Что он — враг себе, что ли?

— Так-так-так, — сказал Симонэ. — А как же все-таки был убит Олаф, инспектор?

Я коротко изложил ему факты: про запертую изнутри дверь, про свернутую шею, про пятна на лице, про аптечный запах. Рассказывая, я не спускал глаз с Хинкуса. Хинкус, слушая, ежился, бегал глазами и, наконец, умоляюще попросил еще глоточек. Мне ясно было, что все это ему внове, и пугает это его до содрогания. А Симонэ совсем нахмурился. Глаза у него стали отсутствующими, обнажились желтоватые зубы-лопаты. Дослушав, он тихонько выругался. Больше он ничего не сказал.

Я хлебнул коньяку и угостил Хинкуса — оба мы чувствовали себя неважно. Не знаю, как я, а Хинкус был совсем зеленый и время от времени осторожно ощупывал голову. Потом я оставил физика размышлять и снова взялся за Хинкуса.

— А как же ты его, Филин, выследил? Ты же не знал заранее, в каком он обличье...

Несмотря на свою зеленоватость, Хинкус самодовольно усмехнулся.

— Это мы тоже умеем, — сказал он. — Не хуже вас, шеф. Во-первых, Вельзевул хоть и колдун, но дурак. Всюду за собой таскает свой кованный сундук. Таких во всем свете больше ни у кого нет. Мне одно и оставалось — расспрашивать, куда этот сундук поехал. Второе — деньгам счету не знает... Сколько из кармана достанет, столько и платит. Такие люди, сами понимаете, нечасто попадают. Где он проехал, там одни только о нем и разговоры. Не фокус. В общем, выследил я его, я свое дело знаю... Ну, а что с Барнстокром осечка получилась — ничего не скажешь: напылил мне в глаза старикашка, чтоб ему пусто было. Леденцы эти его проклятые... А потом — захожу я в холл, сидит он там один, думает, что никто его не видит, и в руках у него куколка какая-то деревянная. Так что он с этой куколкой делал, господи! Да, осечка вышла, конечно...

— И к тому же он все время с этой женщиной, — сказал я задумчиво.

— Нет, — сказал Хинкус. — Женщина — это, шеф, не обязательно. Она не всегда при нем. Это когда на дело надо идти, он ее откуда-то раздобывает... Да и не женщина она вовсе, тоже вроде оборотня. Куда она девается, когда ее нет, этого никто не знает.

Тут я поймал себя на том, что я, солидный, опытный полицейский, сижу здесь и с полной серьезностью обсуждаю с помешанным бандитом всякие сказки насчет оборотней, чародеев и колдунов. Я виновато оглянулся на Симонэ и обнаружил, что физик исчез, а вместо него в дверях, прислонившись к косяку, стоит хозяин с винчестером под мышкой, и я вспомнил все его намеки, все эти его разговорчики насчет зомби и его толстый указательный палец, совершающий многозначительные движения. Еще более устыдившись, я раскурил сигарету и с нарочитой строгостью сказал:

— Так. Хватит об этом. Ты видел когда-нибудь раньше этого однорукого?

Которого?

— Ты сидел с ним рядом за столом.

— А, это который лимоны жрал... Нет, в первый раз. А что?

— Ничего, — сказал я. — Когда должен был прибыть Чемпион?

— Вечером я его ждал. Не приехал. Теперь-то я понимаю — лавина.

— На что же ты, дурак, рассчитывал, когда напал на меня?

— А куда мне было деваться? — сказал Хинкус с тоской. — Сами посудите, шеф. Полицию мне было дожидаться ни к чему. Я человек известный, пожизненная мне обеспечена. Вот я и решил: отберу пистолет, шлепну кого надо, а сам подамся к завалу... либо сам как-нибудь переберусь, либо Чемпион меня подберет. Чемпион ведь сейчас тоже не спит. Самолеты не только у полицейских есть...

— Сколько человек должно прибыть с Чемпионом?

— Не знаю. Не меньше трех. Ну, конечно, самые отборные...

— Ладно, вставай, — сказал я и не без труда поднялся сам. — Пойдем, я тебя запру.

Хинкус, постанывая и кричя, тоже встал. Мы с хозяином повели его вниз, по черной лестнице, чтобы ни с кем не встречаться. В кухне мы все-таки встретили Кайсу, и, увидев меня, она взвизгнула и спряталась за плиту.

— Не визжи, дура, — строго сказал ей хозяин. — Горячую воду приготовить, бинты, йод... Сюда, Петер, в чулан его.

Я осмотрел чулан, и он мне понравился. Дверь закрывалась снаружи висячим замком и была крепкая, надежная. Других выходов и даже окон в чулане не было.

— Будешь сидеть здесь, — сказал я Хинкусу на прощание, — пока полиция не прилетит. И не вздумай проявлять какую-нибудь активность — пристрелю на месте.

— Ну да! — заныл Хинкус. — Филина под замок, а этот ходит себе на свободе, с него все как с гуся вода... Нехорошо, шеф. Несправедливо получается... И раненый я, башка болит...

Я не стал с ним разговаривать, запер дверь и сунул ключ в карман. Огромное количество ключей скопилось у меня в кармане. Еще пара часов, подумал я, и все ключи, какие есть в отеле, мне придется таскать на себе.

Потом мы прошли в контору, Кайса принесла воду и бинты, и хозяин принялся меня обрабатывать.

— Какое оружие есть в отеле? — спросил я у него.

— Винчестер, два охотничьих дробовика. Пистолет. Оружие есть, а вот кто из него будет стрелять?

— Н-да, — сказал я. — Тяжеловато.

Дробовики против пулеметов. Дю Барнстокр против отборных головорезов. Да и не будут они перестрелками заниматься, знаю я этого Чемпиона — сбросит с самолета какую-нибудь зажигательную пакость и перещелкает нас всех в чистом поле, как куропаток...

— Пока вы были наверху, — сообщил хозяин, ловко обмывая мне лоб вокруг ссадины, — сюда ко мне заявился Мозес. Положил на стол мешок с деньгами — именно мешок, я не преувеличиваю, Петер, — и потребовал, чтобы я все это тут же при нем положил в сейф. Он, видите ли, считает, что при таком положении дел его имущество находится в серьезной опасности.

— А вы? — спросил я.

— Тут я немного промахнулся, — признался хозяин. — Не сообразил и ляпнул ему, что ключи от сейфа у вас.

— Спасибо, Алек, — сказал я с горечью. — Вот теперь начнется охота на полицейского инспектора...

Мы помолчали. Хозяин обкручивал меня бинтами, мне было больно, прямо тошнило от боли. Должно быть, этот подонок все-таки сломал мне ключицу. Радиоприемник хрипел и потрескивал, передавали местные новости. О лавине в Бутылочном Горлышке не было сказано ни слова. Потом хозяин отступил на шаг и критически оглядел дело рук своих.

— Ну, вот так будет достаточно прилично, — сказал он.

— Спасибо, — сказал я.

Он взял таз и деловито осведомился:

— Кого вам прислать?

— К чертям, — сказал я. — Спать хочу. Возьмите винчестер, сядьте в холле и стреляйте в каждого, кто приблизится к этой двери. Мне нужно хоть часок поспать, иначе я сейчас упаду. Проклятые вурдалаки. Вонючие оборотни.

— У меня нет серебряных пуль, — кротко напомнил хозяин.

— Стреляйте свинцовыми, черт бы вас подрал! И прекратите разводиться здесь ваши суеверия! Эта банда водит меня за нос, а вы им помогаете... Ставни у вас здесь есть на окне?

Хозяин поставил таз, молча подошел к окну и опустил железную штору.

— Так, — сказал я. — Хорошо... Нет, свет включать не надо... И вот еще что, Алек... Поставьте кого-нибудь... Симонэ или эту девчонку... Брюн... пусть следят за небом. Объясните им, что дело идет о жизни и смерти. Как только появится какой-нибудь самолет, пусть поднимают тревогу...

Хозяин кивнул, взял таз и пошел к двери. На пороге он остановился.

— Хотите мой совет, Петер? — сказал он. — Последний.

— Ну?

— Отдайте вы им чемодан, и пусть они убираются с ним прямо в свой ад, откуда они вышли. Неужели вы не понимаете: единственное, что их здесь держит, — это чемодан...

— Понимаю, — сказал я. — Уж это-то я понимаю. И именно поэтому я буду спать здесь на жестких стульях, упираясь головой в ваш проклятый сейф, и расстреляю серебряными пулями любую сволочь, которая попытается отобрать у меня чемодан. Если увидите Мозеса, передайте все это ему. Выражений можете не смягчать. И скажите ему, что на стрелковых соревнованиях я брал призы именно с люгером калибра 0.45. Все. Идите и оставьте меня в покое.

Глава пятнадцатая

Наверное, это был служебный проступок. Помощи мне было ждать не от кого, а гангстеры могли налететь с минуты на минуту. Я мог рассчитывать только на то, что Чемпиону сейчас уже не до Вельзевула. Наткнувшись вчера вечером на завал, он мог растеряться и впопыхах наделать глупостей — вроде попытки захватить вертолет на Мюрском аэродроме. Я знал, что полиция давно следит за этим бандитом, и надежда моя имела некоторые основания. А кроме того, я больше просто не держался на ногах. Проклятый Филин меня доконал. Я расстелил газеты и какую-то отчетность перед сейфом, придвинул конторку к двери, а сам улегся, положив люгер рядом с собою. Заснул я мгновенно, а когда проснулся, было уже начало первого.

В дверь негромко, но настойчиво стучали.

— Кто там? — гаркнул я, торопливо нащупывая ручку люгера.

— Это я, — отозвался голос Симонэ. — Откройте, инспектор.

— Что, самолет?

— Нет. Но надо поговорить. Открывайте. Сейчас не время спать.

Он был прав. Спать было не время. Хрустя зубами от боли, я поднялся — сначала на четвереньки, а потом, упираясь в сейф, на ноги. Плечо болело ужасно. Бинт сполз на глаза, подбородок распух. Я включил свет,

оттащил конторку от двери и повернул ключ. Затем я отступил, держа люгер наготове.

Вид у Симонэ был торжественный и деловой, хотя чувствовалось в нем и какое-то возбуждение.

— Ого! — сказал он. — Вы тут как в крепости. И совершенно напрасно: никто на вас не собирается нападать.

— Этого я не знаю, — сказал я угрюмо.

— Да вы здесь ничего не знаете, — сказал Симонэ. — Пока вы дрыхли, инспектор, я выполнил за вас всю вашу работу.

— Да что вы говорите? — произнес я язвительно. — Неужели Мозес уже в наручниках, а его сообщница арестована?

Симонэ нахмурился. Куда девался унылый шалун, еще вчера беспечно бегавший по стенам?

— В этом нет никакой необходимости, — сказал он. — Мозес ни в чем не виновен. Здесь все гораздо сложнее, чем вы думаете, инспектор.

— Только не рассказывайте мне о вурдалаках, — попросил я, усаживаясь верхом на стул рядом с сейфом.

Симонэ усмехнулся.

— Никаких вурдалаков. Никакой мистики. Сплошная научная фантастика. Мозес — не человек, инспектор. Тут наш хозяин оказался прав. Мозес и Луарвик — это не земляне.

— Они прибыли к нам с Венеры, — сказал я понимающе.

— Этого я не знаю. Может быть, с Венеры, может быть, из другой планетной системы, может быть, из соседствующего пространства... Этого они не говорят. Важно то, что они — не люди. Мозес находится на Земле уже давно, больше года. Примерно полтора месяца назад он попал в лапы к гангстерам. Они его шантажировали, непрерывно держали на мушке. Ему еле-еле удалось вырваться и бежать сюда. Луарвик — что-то вроде пилота, он ведает переброской. Отсюда туда. Они должны были отбыть вчера в полночь. Но в десять часов вечера случилась какая-то авария, что-то у них взорвалось в аппаратуре. В результате — обвал, а Луарвику пришлось добираться сюда на своих двоих... Им надо помочь, инспектор. Это просто наша обязанность. Если гангстеры успеют сюда раньше полиции, они их убьют.

— Нас тоже, — сказал я.

— Возможно, — согласился он. — Но это наше, земное дело. А если мы допустим убийство инопланетников, это будет позор.

Я смотрел на него и уныло думал: слишком много сумасшедших в этом отеле. Вот вам еще один псих.

— Короче говоря, что вам от меня надо? — спросил я.

— Отдайте им аккумулятор, Петер, — сказал Симонэ.

— Какой аккумулятор?

— В чемодане аккумулятор. Энергия для их роботов. Олаф не убит. Он вообще не живое существо. Он — робот, и госпожа Мозес тоже. Это роботы, им нужна энергия для того, чтобы они могли функционировать. В момент взрыва погибла их энергетическая станция, прекратилась подача энергии, и все их роботы в радиусе ста километров оказались под угрозой. Некоторые, вероятно, успели подключиться к своим портативным аккумуляторам. Госпожу Мозес подключил к аккумулятору сам Мозес... а я, если вы помните, принял ее за мертвую. А вот Олаф почему-то подключиться не успел...

— Ага, — сказал я. — Не успел он подключиться, упал, да так ловко, что свернул себе шею. Вывернул ее, понимаете ли, на сто восемьдесят градусов...

— Вы совершенно напрасно язвите, — сказал Симонэ. — Это у них квазиагонические явления. Выворачиваются суставы, несимметрично напрягаются псевдомышцы... Я ведь так и не успел вам сказать: у госпожи Мозес тоже была свернута шея.

— Ну ладно, — сказал я. — Квазимышцы, псевдосвязки... Вы же не мальчик, Симонэ, вы должны понимать: если пользоваться арсеналом мистики и фантастики, можно объяснить любое преступление, и всегда это будет очень логично. Но разумные люди в такую логику не верят.

— Я ожидал этого возражения, Петер, — сказал Симонэ. — Все это очень легко проверить. Отдайте им аккумулятор, и они в вашем присутствии снова включат Олафа. Ведь хотите же вы, чтобы Олаф снова был жив...

— Не пойдет, — сказал я сразу.

— Почему? Вы не верите — вам предлагают доказательства. В чем дело?

Я взялся за свою бедную забинтованную голову.

Действительно, в чем дело? Для чего я слушаю этого болтуна? Дать ему в руки винтовку и погнать на крышу как доброго гражданина, обязанного содействовать закону. А Мозесов запереть в подвале. И Луарвика туда же. Подвал бетонированный, прямое попадание выдержит... И Барнстокров туда же, и Кайсу. И будем держаться. А в

самом крайнем случае я этих Мозесов выдам. С Чемпионом шутки плохи. Дай бог, чтобы он согласился на переговоры...

— Ну, что же вы молчите? — сказал Симонэ. — Сказать нечего?

Но мне было что сказать.

— Я не ученый, — медленно проговорил я. — Я — полицейский чиновник. Слишком много вранья накручено возле этого чемодана... Погодите, не перебивайте. Я вас не перебивал. Я готов во все это поверить. Пожалуйста. Пусть Олаф и эта баба — роботы. Тем хуже. Госпожа Мозес уже совершила... то есть ее руками уже совершено несколько преступлений. Такие страшные орудия в руках гангстеров — слуга покорный. Если бы я мог, я бы с удовольствием выключил и госпожу Мозес тоже. А вы предлагаете мне, полицейскому, вернуть гангстерам орудия преступления! Понимаете, что у вас получается?

Симонэ в затруднении похлопал себя по темени.

— Слушайте, — сказал он. — Если налетят гангстеры, нам всем конец. Ведь вы наврали насчет почтовых голубей? На полицию ведь рассчитывать нечего? А если мы поможем бежать Мозесу и Луарвику, у нас хоть совесть будет чиста.

— Это у вас она будет чиста, — сказал я. — А у меня она будет замарана по самые уши. Полицейский своими руками помогает бежать бандитам.

— Они не бандиты! — сказал Симонэ.

— Они бандиты! — сказал я. — Они самые настоящие гангстеры. Вы же сами слышали показания Хинкуса. Мозес был членом банды Чемпиона. Мозес организовал и произвел несколько преступно дерзких нападений, нанеся государству и частным лицам огромный урон. Если вам угодно знать, Мозесу полагается не менее двадцати пяти лет каторжной тюрьмы, и я обязан сделать все, чтобы он получил эти двадцать пять лет.

— Черт возьми, — сказал Симонэ. — Вы что, не понимаете? Его запутали! Его шантажом втянули в эту банду! У него не было никакого выхода!

— В этом будет разбираться суд, — сказал я холодно.

Симонэ откинулся на спинку кресла и посмотрел на меня прищурившись.

— А вы, однако, порядочная дубина, Глебски, — сказал он. — Не ожидал.

— Придержите язык, — сказал я. — Идите и займи-

тесь своими делами. Что там у вас в программе? Чувственные удовольствия?

Симонэ покусал губу.

— Вот тебе и первый контакт, — пробормотал он. — Вот тебе и встреча двух миров.

— Не капайте мне на мозги, Симонэ, — сказал я зло. — И уходите отсюда. Вы мне надоели.

Он поднялся и пошел к двери. Голова его была опущена, плечи ссутулились. На пороге он остановился и сказал, полуобернувшись:

— А ведь вы пожалеете об этом, Глебски. Вам будет стыдно, очень стыдно.

— Возможно, — сказал я сухо. — Это мое дело... Кстати, вы стрелять умеете?

— Да.

— Это хорошо. Возьмите у хозяина винтовку и идите на крышу. Возможно, нам всем скоро придется стрелять.

Он молча вышел. Я осторожно погладил вспухшее плечо. Ну и отпуск. И чем все это кончится — неясно. Черт побери, неужели это действительно пришельцы? Уж больно здорово все совпадает... «Вам будет стыдно, Глебски»... Что ж, может быть, и будет. А что делать? Хотя, в общем-то, какая мне разница, пришельцы они или нет? Где это сказано, что пришельцам разрешается грабить банки? Землянам, видите ли, не разрешается, а им можно... Ладно. Что же мне все-таки делать? Того и гляди, начнется осада, а гарнизон у меня совершенно ненадежный.

На всякий случай я снял телефонную трубку. Ничего. Мертвая тишина. Все-таки скотина этот Алек. Не мог запасться аварийной сигнализацией. А вдруг сейчас бы у кого-нибудь приступ аппендицита? Торгаш несчастный, только бы ему деньги тянуть с клиентов...

В дверь снова постучали, и я снова поспешно схватился за люгер. На этот раз меня почтил вниманием сам господин Мозес — он же оборотень, он же венерианец, он же старая брюква с неизменной кружкой в руке.

— Сядьте у двери, — сказал я. — Вон стул.

— Я могу и постоять, — пророкотал он, глядя на меня исподлобья.

— Дело ваше, — сказал я. — Что вам нужно?

Все так же вызверясь, он отхлебнул из кружки.

— Какие вам еще нужны доказательства? — спросил он. — Вы губите нас. Все это понимают. Все, кроме вас. Что вам от нас нужно?

— Кто бы вы ни были, — сказал я, — вы совершили ряд преступлений. И вы за них будете отвечать.

Он шумно потянул носом воздух, подошел к стулу и сел.

— Конечно, мне, наверное, уже давно нужно было обратиться к вам, — сказал он. — Но я все надеялся, что как-нибудь обойдется, и мне удастся избежать контакта с официальными лицами. Если бы не эта проклятая авария, меня бы здесь уже не было. Не было бы никакого убийства. Вы нашли бы связанного Филина и размотали бы клубок всех преступлений, которые совершил Чемпион с моей помощью. Я клянусь, что все убытки, которые принесло вам мое пребывание здесь, будут возмещены. Частично я даже возмещаю их — я готов вручить вам ассигнации государственного банка общей суммой на миллион крон. Остальное ваше государство получит золотом, чистым золотом. Что вам еще нужно?

Я смотрел на него, и мне было нехорошо. Мне было нехорошо, потому что я ему сочувствовал. Я сидел лицом к лицу с явным преступником, слушал его и сочувствовал ему. Это было какое-то наваждение, и, чтобы избавиться от этого наваждения, я сухо спросил:

— Это вы изгадили стол и наклеили записку?

— Да. Я боялся, что иначе записку слует сквозняком. А главное, я хотел, чтобы вы сразу поняли, что это не мистификация.

— Золотые часы?..

— Тоже я. И браунинг. Мне нужно было, чтобы вы поверили, чтобы вы заинтересовались Хинкусом и арестовали его.

— Это было очень неуклюже сделано, — сказал я. — Все получилось наоборот. Я понял это так, что Хинкус — никакой не гангстер, а просто кому-то выгодно выдать его за гангстера.

— Да? — сказал Мозес. — Вот, значит, в чем дело... Ну что ж, этого следовало ожидать. Не умею я такие вещи... не для того я здесь...

Я снова ощутил прилив сочувствия и снова попытался взвинтить себя.

— Все у вас как-то неуклюже получается, господин Вельзевул, — сказал я. — Ну какой же вы к чертовой матери пришелец? Вы просто негодяй. Богатый, развратный, до предела обнаглевший негодяй. И притом еще пьяница...

Мозес отхлебнул из кружки.

— Роботы ваши... — продолжал я. — Самка из светского салона... Спортсмен-викинг... Неужели вы хоть на

секунду можете себе вообразить, что я поверю, будто это роботы?

— То есть вы хотите сказать, что наши роботы слишком похожи на людей? — спросил Мозес. — Но согласитесь, нам иначе нельзя. Это довольно точные копии людей, которые существуют на самом деле. Почти двойники... — Он снова отхлебнул из кружки. — А что касается меня, инспектор, то я, к сожалению, не могу показаться вам в своем истинном обличье. К сожалению — потому что тогда бы вы сразу поверили мне.

— Рискните, — сказал я. — Покажитесь. Я как-нибудь переживу.

Он покачал головой.

— Во-первых, вряд ли вы так уж легко это переживете, — грустно сказал он. — А во-вторых, вряд ли я это переживу. Господин Мозес, которого вы видите, это скафандр. Господин Мозес, которого вы слышите, это трансляционное устройство. Но может быть, мне придется рискнуть — я оставляю это на самый крайний случай. Если окажется, что убедить вас совершенно невозможно, я рискну. Для меня это почти верная гибель, но тогда вы, может быть, отпустите хотя бы Луарвика. Он-то здесь совсем ни при чем...

И тут я наконец рассвирепел.

— Куда отпущу? — заорал я. — Разве я вас держу? Что вы мне все врете? Если бы вам нужно было уйти, вы бы давно ушли! Перестаньте врать и говорите правду: что это за чемодан? Что в нем? Вы мне долбите, что вы пришельцы. А я склонен полагать, что вы просто банда иностранных шпионов, укравших ценную аппаратуру...

— Нет! — сказал Мозес. — Нет! Все совсем не так. Наша станция разрушена, ее может починить только Олаф. Он — робот-смотритель этой станции, понимаете? Конечно, мы бы ушли давным-давно, но куда нам идти? Без Олафа мы совершенно беспомощны, а Олаф выключен, и вы не дадите аккумулятор!

— И опять врете! — сказал я. — Госпожа Мозес ведь тоже робот, как я понял! У нее, как я понял, тоже есть аккумулятор...

Он закрыл глаза и замотал головой так, что затряслись брылья.

— Ольга — простое рабочее устройство. Носильщик, землекоп, телохранитель... Ну неужели вы не понимаете, что нельзя одним и тем же горючим питать ну, я не

знаю... грубый трактор, например, и самолет... Это же разные системы...

— У вас на все готов ответ, — угрюмо сказал я. — Но я не эксперт. Я простой полицейский. Я не уполномочен вести переговоры с вурдалаками и пришельцами. Я обязан передать вас в руки закона, вот и все. Кто бы вы ни были на самом деле, вы находитесь на территории моей страны и подлежите ее юрисдикции. — Я встал. — С этой минуты считайте себя арестованным, Мозес. Я не намерен заирать вас, я догадываюсь, что это бессмысленно. Но если попытаетесь бежать, я буду стрелять. И напоминаю: все, что вы с этой минуты скажете, может быть обращено против вас на суде.

— Так, — сказал он, помолчав. — Со мной вы решили. Пусть будет так. — Он отхлебнул из кружки. — Ну, а Луарвик-то в чем виноват? Против него-то вы ничего не можете иметь... Заприте меня и отдайте чемодан Луарвику. Пусть по крайней мере хоть он спасется...

Я снова сел.

— Спасется... При чем здесь — спасется? Почему это вы так уверены, что Чемпион настигнет вас? Может быть, он давным-давно лежит под обвалом... может быть, его уже сцапали... да и самолет достать не так-то легко... Если вы действительно невиновны, то почему вы так паникуете? Подождите сутки-другие. Прибудет полиция, я сдам вас на руки властям, власти соберут экспертов, специалистов...

Он затряс брыльями.

— Плохо, не годится. Во-первых, мы не имеем права входить в организованный контакт. Я здесь всего-навсего наблюдатель. Я наделал ошибок, но все это поправимые ошибки... Неподготовленный контакт может иметь и для вашего, и для нашего мира самые ужасные последствия... Но даже не это сейчас самое главное, инспектор. Я боюсь за Луарвика. Он не кондиционирован для ваших условий, никогда не предполагалось, что ему потребуется провести на вашей планете более суток. А у него вдобавок поврежден скафандр, вы же видите — нет руки... Он уже отравлен... он слабеет с каждым часом...

Я стиснул зубы. Да, у него на все был готов ответ. Мне не за что было зацепиться. Мне ни разу не удалось поймать его. Все было безукоризненно логично. Я был вынужден признать, что, если бы речь не шла обо всех этих скафандрах, контактах и псевдомышцах, такие показания удовлетворили бы меня полностью. Я испыты-

вал жалость и был склонен идти навстречу, я терял непредубежденность...

В самом-то деле. Юридические претензии у меня были только к Мозесам... к Мозесу. Луарвик был формально чист, хотя он тоже мог быть сообщником, но на это я бы еще мог закрыть глаза... Настоящий уголовник никогда не предложит себя заложником. Мозес предлагал. Ну хорошо, запереть Мозеса и... Что «и»? Отдать Луарвику аппарат? Что я знаю про этот аппарат? Только то, что мне сказал Мозес. Да, все, что говорит Мозес, звучит правдоподобно. А если это удачная интерпретация совершенно иных обстоятельств? Если я просто не нашел вопроса, который бы разрушил эту интерпретацию?

Если отбросить все слова, правдивы они или нет, — налицо два несомненных факта. Закон требует, чтобы я задержал этих людей впредь до выяснения обстоятельств. Вот факт номер один. А вот факт номер два: эти люди хотят уйти. Не важно, от чего они в действительности хотят уйти — от закона, от гангстеров, от преждевременного контакта или еще от чего-нибудь... Они хотят уйти.

Вот два факта, и они абсолютно противостоят друг другу...

— Что там у вас вышло с Чемпионом? — угрюмо спросил я.

Он исподлобья взглянул на меня, лицо его перекосилось. Потом он опустил глаза и стал рассказывать.

Если отвлечься от зомбизма-момбизма и всяких там псевдосвязок, это была совершенно банальная история вполне заурядного шантажа. Примерно два месяца назад господин Мозес, у которого были достаточно веские основания скрывать от официальных лиц не только свои истинные занятия, но и самый факт своего существования, начал ощущать признаки назойливого и пристального внимания к своей особе. Он попытался переменить местожительство. Это не помогло. Он попытался отпугнуть преследователей. Это тоже не помогло. В конце концов, как это всегда бывает, к нему явились и предложили полюбовную сделку. Он окажет посильное содействие в ограблении Второго Национального, ему заплатят за это молчанием. Разумеется, его заверили, что беспокоят его в первый и в последний раз. Как водится, он отказывался. Как водится, они настаивали. Как водится, он в конце концов согласился.

Мозес утверждал, что иного выхода у него не было.

Смерти как таковой он не боялся: они там все умеют преодолевать страх смерти. На этом этапе он мог даже не особенно опасаться попыток разоблачения: свернуть свои мастерские и остаться просто богатым бездельником ему ничего не стоило, а свидетельства агентов Чемпиона, пострадавших при столкновении с роботами, вряд ли были бы приняты всерьез. Но и смерть, и разоблачение грозили надолго приостановить всю громадную работу, которая была так успешно начата несколько лет назад. Короче говоря, он рискнул уступить Чемпиону, тем более что убытки, понесенные Вторым Национальным, ему нетрудно было возместить чистым золотом.

Дельце провернули, и Чемпион действительно исчез с горизонта. Впрочем, всего на месяц. Через месяц он объявился вновь. На этот раз речь шла о броневике с золотом. Но теперь положение существенно изменилось. Мудрый Чемпион предъявил злосчастной жертве показания восьми свидетелей, исключавшие для Мозеса хоть какую-нибудь возможность алиби, плюс киноленту, на которой была запечатлена вся процедура ограбления банка, — не только три или четыре гангстера, готовых пойти на отсидку за приличный гонорар, но и Ольга с сейфом под мышкой, и сам Мозес с неким аппаратом («форсажгенератором») в руках. В случае отказа Мозесу грозила уже не дешевая газетная шумиха. Теперь ему грозило формальное судебное преследование, а значит, и полное разоблачение всех его тайн, а значит, преждевременный контакт на чудовищно невыгодных для его стороны условиях. Как и многие другие жертвы шантажа, уступая в первый раз, Мозес всего этого не предусмотрел.

Положение было ужасно. Отказ означал преступление перед своими. Согласие ничего не меняло, потому что теперь-то он понимал, какая железная рука держит его за горло. Бежать в другой город, в другую страну не имело смысла: он уже убедился, что рука у Чемпиона не только железная, но и длинная. Немедленно бежать с Земли он тоже не мог: подготовка транспорта требовала десяти — двенадцати земных суток. Тогда он связался со своими и потребовал эвакуации в кратчайшие сроки. Да, он был вынужден совершить еще одно преступление — теперь это означало только увеличение долга, лишние триста тридцать пять килограммов золота, стоимость необходимой отсрочки. Когда подошло время, он бежал, обманув агентуру Чемпиона своим двойником. Он знал, что за

ним будет погоня, он знал, что Хинкусы рано или поздно нападут на его след, — он только надеялся, что ему удастся опередить их...

— Вы можете верить или не верить, инспектор, — закончил Мозес. — Но я хочу, чтобы вы поняли: есть всего две возможности. Либо вы отдаете нам аккумулятор, и мы еще попытаемся спастись. Повторяю, в этом случае все убытки, понесенные вашими согражданами, будут полностью возмещены. Либо... — Он отхлебнул из кружки. — Постарайтесь, пожалуйста, это понять, инспектор. Я не имею права попасть живым в руки официальных лиц. Понимаете, это мой долг. Я не могу рисковать будущим наших миров. Это будущее еще только начинается. Я провалился, но я ведь первый, а не последний наблюдатель на вашей Земле. Это вы понимаете, инспектор?

Я понимал только одно: дело мое дрянь.

— Чем вы, собственно, здесь занимались? — спросил я.

Мозес покачал головой.

— Я не могу вам этого сказать, инспектор. Я исследовал возможности контакта. Я его готовил. А конкретно... Да это к тому же и очень сложно, инспектор. Вы ведь не специалист.

— Идите, — сказал я. — И позовите сюда Луарвика.

Мозес грустно поднялся и вышел. Я оперся локтями на стол и положил голову на руки. Люгер приятно охлаждал правую щеку. Мельком я подумал, что таскаюсь теперь с этим люгером, как Мозес со своей кружкой. Я был смешон. Я был жалок. Я ненавидел себя. Я ненавидел Згута с его дружескими советами. Я ненавидел всю эту банду, собравшуюся здесь. Верить или не верить... В том-то и дело, черт возьми, что я верил. Я не первый год работаю, я чувствую, когда люди говорят правду. Но ведь люди же, люди! А если я поверил, то они для меня не люди! Да я просто не имею права верить. Это просто самоубийство — верить! Это значит — взять на себя такую ответственность, на которую я не имею никакого права, которой я не хочу, не хочу, не хочу... Она раздавит меня, как клопа! Ладно. Хинкуса я, во всяком случае, поймал. И Мозеса я тоже не выпущу. Пусть будет что будет, а Мозеса я не выпущу! Пусть будет что будет, а тайна Второго Национального и тайна золотого броневика раскрыты. Вот так-то. А если здесь замешана межпланетная политика, так я — простой полицейский, пусть

политикой занимается тот, кому это положено... В обморок бы сейчас брякнуться, подумал я с тоской. И пусть делают, что хотят...

Дверь скрипнула, и я встрепенулся. Но это был не Луарвик. Вошли Симонэ и хозяин. Хозяин поставил передо мной кружку кофе, а Симонэ взял у стены стул и уселся напротив меня. Мне показалось, что он сильно осунулся и даже как-то пожелтел.

— Ну что вы надумали, инспектор? — спросил он.

— Где Луарвик? Я вызывал Луарвика.

— Луарвику совсем плохо, — сказал Симонэ. — Мозес делает ему какие-то процедуры. — Он неприятно оскалился. — Вы его загубите, Глебски, и это будет скотский поступок. Я знаю вас, правда, всего два дня, но никак не мог ожидать, что вы окажетесь всего-навсего чучелом с золотыми пуговицами.

Свободной рукой я взял кружку, поднес ее ко рту и поставил обратно. Не мог я больше пить кофе. Меня уже тошнило от кофе.

— Отстаньте вы от меня. Все вы болтуны. Алек заботится о своем заведении, а вы, Симонэ, просто интеллектуал на отдыхе...

— А вы-то? — сказал Симонэ. — Вы-то о чем заботитесь? Бляху лишнюю вам захотелось на мундир?

— Да, — холодно сказал я. — Бляху. Люблю, знаете ли, бляхи.

— Вы — мелкая полицейская сошка, — сказал Симонэ. — В кои-то веки судьба вам бросила кусок. В первый и последний раз в жизни. Звездный час инспектора Глебски! В ваших руках оказалось действительно важное решение, а вы ведете себя, как распоследний тупоголовый...

— Заткнитесь, — сказал я устало. — Перестаньте болтать и хоть минуту просто подумайте. Оставим в стороне то, что Мозес — обыкновенный преступник. Вы, я вижу, ни черта не смыслите в законе. Вы, кажется, воображаете, будто существует один закон для людей, и другой закон для вурдалаков. Но оставим в стороне все это. Пусть они прищельцы. Пусть они жертвы шантажа. Великий контакт... — Я вяло помахал рукой с люгером. — Дружба миров и так далее... Вопрос: что они делают у нас на Земле? Мозес сам признался, что он наблюдатель. За чем он, собственно, наблюдает? Что им здесь понадобилось?.. Не скальтесь, не скальтесь... Мы здесь с вами занимаемся фантастикой, а в фантастических романах, насколько я помню, прищельцы на Земле

занимаются шпионажем и готовят вторжение. Как, по вашему мнению, в такой ситуации должен поступать я, чиновник с золотыми пуговицами? Должен я исполнить свой долг или нет? А вы сами, Симонэ, как землянин, что вы думаете о своем долге?

Симонэ молча щерился, уставясь на меня. Хозяин прошел к окну и поднял штору. Я оглянулся на него.

— Зачем вы это сделали?

Хозяин ответил не сразу. Прижимаясь лицом к стеклу, он оглядывал небо.

— Да вот все посматриваю, Петер, — медленно сказал он, не оборачиваясь. — Жду, Петер, жду... Вы бы приказали девочке вернуться в дом. Там, на снегу, она прямо готовая мишень... Меня она не слушает...

Я положил люгер на стол, взял кружку обеими руками и, закрыв глаза, сделал несколько глотков. Готовая мишень... Все мы здесь — готовые мишени... И вдруг я ощутил, как сильные руки взяли меня сзади за локти. Я открыл глаза и дернулся. Боль в ключице была такой острой, что я едва не потерял сознание.

— Ничего, Петер, ничего, — ласково сказал хозяин. — Потерпите.

Симонэ с озабоченным и виноватым видом уже засовывал люгер к себе в карман.

— Предатели!.. — сказал я с удивлением.

— Нет-нет, Петер, — сказал хозяин. — Но надо быть разумным. Не одним законом жива совесть человеческая.

Симонэ, осторожно зайдя сбоку, похлопал меня по карману. Ключи звякнули. Заранее покрывшись потом в ожидании жуткой боли, я рванулся изо всех сил. Это ничем не кончилось, и, когда я опомнился, Симонэ уже выходил из комнаты с чемоданом в руке. Хозяин, все еще придерживая меня за локти, тревожно говорил ему вслед:

— Поторапливайтесь, Симонэ, поторапливайтесь, ему плохо...

Я хотел заговорить, но у меня перехватило горло, и я только захрипел. Хозяин озабоченно наклонился надо мной.

— Господи, Петер, — проговорил он, — на вас лица нет...

— Бандиты... — прохрипел я. — Арестанты...

— Да, да, конечно, — покорно согласился хозяин. — Вы всех нас арестуете и правильно сделаете, только

потерпите немного, не рвитесь... ведь вам же очень больно, а я вас пока все равно не выпущу...

Да, не выпустит. Я и раньше видел, что он здоровый медведь, но такой хватки все-таки не ожидал. Я откинулся на спинку стула и перестал сопротивляться. Меня мучило, тупое безразличие овладело мною. И где-то на самом доньшке души слабо тлело чувство облегчения — ситуация больше не зависела от меня, ответственность взяли на себя другие. По-видимому, я снова потерял сознание, потому что оказался вдруг на полу, а хозяин стоял рядом со мной на коленях и смачивал мне лоб мокрой тряпкой. Едва я открыл глаза, он поднес к моим губам горлышко бутылки. Он был очень бледен.

— Помогите мне сесть, — сказал я.

Он беспрекословно повиновался. Дверь была распахнута настежь, по полу тянуло холодом, слышались возбужденные голоса, потом что-то грохнуло, затрещало. Хозяин болезненно сморщился.

— Проклятый сундук, — произнес он сдавленным голосом. — Опять косяк разворотили...

Под окном голос Мозеса гаркнул с нечеловеческой силой:

— Готовы? Вперед!.. Прощайте, люди! До встречи! До настоящей встречи!..

Голос Симонэ прокричал в ответ что-то неразборчивое, а затем стекла дрогнули от какого-то жуткого хлопка и свиста. И стало тихо. Я поднялся на ноги и пошел к двери. Хозяин сутился рядом, широкое лицо его было белое и рыхлое, как вата, по лбу стекал пот. Он беззвучно шевелил губами — наверное, молился.

Мы вышли в пустой холл, по которому гулял ледяной ветер, и хозяин пробормотал: «Давайте выйдем, Петер, вам надо подышать свежим воздухом...» Я оттолкнул его и двинулся к лестнице. Мимоходом я с глубоким злорадством отметил, что входная дверь снесена начисто. На лестнице, на первых же ступеньках, мне стало дурно, и я вцепился в перила. Хозяин попытался поддержать меня, но я отпихнул его здоровым плечом и сказал: «Убирайтесь к черту, слышите?..» Он исчез. Я медленно пополз по ступенькам, цепляясь за перила, миновал Брюн, испуганно прижавшуюся к стене, поднялся на второй этаж и побрел в свой номер. Дверь номера Олафа была распахнута настежь, там было пусто, резкий аптечный запах расплзался по коридору. Добраться бы до

дивана, думал я. Только бы добраться до дивана и лечь... И тут я услышал крик.

— Вон они!.. — завопил кто-то. — Поздно! Будь оно все проклято, поздно!

Голос сорвался. Внизу в холле затопали, что-то упало, покатилося, и вдруг я услышал ровное далекое гудение. Тогда я повернулся и, спотыкаясь, побежал к чердачной лестнице...

Вся широкая снежная долина распахнулась передо мной. Я зажмурился от солнечного блеска, а потом различил две голубоватые, совершенно прямые лыжни. Они уходили на север, наискосок от отеля, и там, где они кончались, я увидел четкие, словно нарисованные на белом, фигурки беглецов. У меня отличное зрение, я хорошо видел их, и это было самое дикое и нелепое зрелище, какое я помню.

Впереди мчалась госпожа Мозес с гигантским черным сундуком под мышкой, а на плечах ее грузно восседал сам старый Мозес. Правее и чуть отставая, ровным финским шагом неся Олаф с Луарвиком на спине. Билась на ветру широкая юбка госпожи Мозес, вился пустой рукав Луарвика, и старый Мозес, не останавливаясь ни на секунду, страшно и яростно работал многохвостой плетью. Они мчались быстро, сверхъестественно быстро, а сбоку, им наперерез, сверкая на солнце лопастями и стеклами кабины, заходил вертолет.

Вся долина была наполнена мощным ровным гулом, вертолет медленно, словно бы неторопливо, снижался, прошел над беглецами, обогнал их, вернулся, спускаясь все ниже, а они продолжали стремительно мчаться по долине, будто ничего не видя и не слыша, и тогда в это могучее монотонное гудение ворвался новый звук, злобный отрывистый треск, и беглецы заметались, а потом Олаф упал и остался лежать неподвижно, а потом кубарем покатилося по снегу Мозес, а Симонэ рвал на мне воротник и рыдал мне в ухо: «Видишь? Видишь? Видишь?..» А потом вертолет повис над неподвижными телами и медленно опустился, скрыв от нас тех, кто лежал неподвижно, и тех, кто пытался еще ползти... Снег закрутился вихрем от его винтов, сверкающая белая туча горбом встала на фоне сизых отвесных скал. Снова послышался злобный треск пулемета, и Алек сел на корточки, закрыв глаза ладонями, а Симонэ все рыдал, все кричал: «Добился! Добился своего, дубина, убийца!»

Вертолет так же медленно поднялся из снежной тучи

и, косо уйдя в пронзительную синеву неба, исчез за хребтом. И тогда внизу тоскливо и жалобно завыл Лель.

Эпилог

С тех пор прошло больше двадцати лет. Вот уже год, как я в отставке. У меня внуки, и я иногда рассказываю младшенькой эту историю. Правда, в моих рассказах она всегда кончается благополучно: пришельцы благополучно отбывают домой в своей сверкающей ракете, а банду Чемпиона благополучно захватывает подросшая полиция. Сначала пришельцы отбывали у меня на Венеру, а потом, когда на Венере высадились первые экспедиции, мне пришлось перенести господина Мозеса в созвездие Волопаса. Впрочем, не об этом речь.

Сначала факты. Бутылочное Горлышко расчистили через два дня. Я вызвал полицию и передал ей Хинкуса, миллион сто пятнадцать тысяч крон и свой подробный отчет.

Но следствие, надо сказать, кончилось ничем. Правда, в разрытом снегу было найдено более пятисот серебряных пуль, но вертолет Чемпиона, забравший трупы, исчез бесследно. Через несколько недель супружеская чета туристов-лыжников, путешествовавших неподалеку от нашей долины, сообщила, что они видели, как какой-то вертолет прямо у них на глазах упал в озеро Трех Тысяч Дев. Были организованы розыски, однако ничего интересного обнаружить не удалось. Глубина этого озера, как известно, достигает местами четырехсот метров, дно его ледяное, и рельеф дна постоянно меняется. Чемпион, по видимому, погиб — во всяком случае, на уголовной сцене он больше не появлялся. Банда его, благодаря Хинкусу, который торопился спасти свою шкуру, была частично отловлена, а частично рассеялась по всей Европе. Гангстеры, попавшие под следствие, ничего существенного к показаниям Хинкуса не добавили — все они были убеждены, что Вельзевул был колдуном или даже самим дьяволом. Симонэ считал, что один из роботов, уже в вертолете, очнулся и в последней вспышке активности сокрушил все, до чего мог дотянуться. Очень может быть, и если это так, то не завидую я Чемпиону в его последние минуты...

Симонэ сделался тогда главным специалистом по этому вопросу. Он создавал какие-то комиссии, писал в газеты и журналы, выступал по телевидению. Оказалось,

что он и в самом деле был крупным физиком, но это нисколько ему не помогло. Ни огромный его авторитет не помог, ни прошлые заслуги. Не знаю, что о нем говорили в научных кругах, но никакой поддержки там он, по-моему, не получил. Комиссии, правда, функционировали, всех нас, даже Кайсу, вызывали в качестве свидетелей, однако ни один научный журнал, насколько мне известно, не опубликовал по этому поводу ни строчки. Комиссии распадались, снова возникали, то объединялись с Обществом исследования летающих тарелок, то отмежевывались от него, материалы комиссий то засекречивались властями, то вдруг начинали широко публиковаться, десятки и сотни халтурщиков вились вокруг этого дела, вышло несколько брошюр, написанных фальшивыми свидетелями и подозрительными очевидцами, и кончилось все это тем, что Симонэ остался один с кучкой энтузиастов — молодых ученых и студентов. Они совершили несколько восхождений на скалы в районе Бутылочного Горлышка, пытаюсь обнаружить остатки разрушенной станции. Во время одного из этих восхождений Симонэ погиб. Найти так ничего и не удалось.

Все остальные участники описанных выше событий живы до сих пор. Недавно я прочитал о чествовании дю Барнстокра в Международном обществе иллюзионистов — старику исполнилось девяносто лет. На чествовании «присутствовала очаровательная племянница юбиляра Брюнхилд Канн с супругом, известным космонавтом Перри Канном». Хинкус отсиживает свою бессрочную и ежегодно пишет прошения об амнистии. В начале срока на него было сделано два покушения, он был ранен в голову, но как-то вывернулся. Говорят, он пристрастился вырезать по дереву и неплохо подрабатывает. Тюремная администрация им довольна. Кайса вышла замуж, у нее четверо детей. В прошлом году я ездил к Алеку и видел ее. Она живет в пригороде Мюра и очень мало изменилась — все так же толста, все так же глупа и смешлива. Я убежден, что вся трагедия прошла совершенно мимо ее сознания, не оставив никаких следов.

С Алеком мы большие друзья. Отель «У Межзвездного Зомби» процветает — в долине теперь уже два здания, второе построено из современных материалов, изобилует электронными удобствами и очень мне не нравится. Когда я приезжаю к Алеку, я всегда поселяюсь в своем старом номере, а вечера мы проводим, как встарь, в

каминной, за стаканом горячего портвейна со специями. Увы, одного стакана теперь хватает на весь вечер. Алек сильно высох и отпустил бороду, нос у него стал бордовый, но он по-прежнему любит говорить глухим голосом и не прочь подшутить над гостями. Он, как и раньше, увлекается изобретательством и даже запатентовал новый тип ветряного двигателя. Диплом на изобретение он держит под стеклом над своим старым сейфом в старой конторе. Вечные двигатели обоих родов все еще не пущены; впрочем, дело за деталями. Насколько я понял, для того, чтобы его вечные двигатели работали действительно вечно, необходимо изобрести вечную пластмассу. Мне всегда очень хорошо у Алека — так спокойно, уютно. Но однажды он шепотом признался мне, что держит теперь в подвале пулемет Брена — на всякий случай.

Я совсем забыл упомянуть о сенбернаре Леле. Лель умер. Просто от старости. Алек любит рассказывать, что этот удивительный пес незадолго до смерти научился читать.

А теперь обо мне. Много-много раз во время скучных дежурств, во время одиноких прогулок и просто бессонными ночами я думал обо всем случившемся и задавал себе только один вопрос: прав я был или нет? Формально я был прав, начальство признало мои действия соответствующими обстановке, только начальник статского управления слегка побранил меня за то, что я не отдал чемодан сразу и тем самым подвергал свидетелей излишнему риску. За поимку Хинкуса и за спасение миллиона с лишним крон я получил премию, а в отставку вышел в чине старшего инспектора — предел, на который я мог рассчитывать. Мне пришлось немало помучиться, пока я писал отчет об этом странном деле. Я должен был исключить из официальной бумаги всякий намек на мое субъективное отношение, и в конце концов это мне, по видимому, удалось. Во всяком случае, я не стал ни посмешищем, ни человеком с репутацией фантазера. Конечно, в отчете многого не было. Как можно описать в полицейской бумаге эту жуткую гонку на лыжах через снежную равнину? Когда при болезни у меня поднимается температура, я снова и снова вижу в бреду это дикое, нечеловеческое зрелище и слышу ледящий душу свист и клет... Нет, формально все обошлось. Правда, товарищи иногда посмеивались надо мной под веселую руку, однако чисто дружески, без зла и язвительности. Згуту я рассказал больше, чем другим. Он долго размышлял, скреб железную свою щетину, вонял трубкой, но так

ничего путного и не сказал, только пообещал мне, что дальше него эта история не пойдет. Неоднократно я заводил разговор на эту тему с Алеком. Каждый раз он отвечал односложно и только однажды, пряча глаза, признался, что тогда его больше всего интересовала целостность отеля и жизнь клиентов. Мне кажется, потом он стыдился этих слов и жалел, что признался. А Симонэ до самой своей гибели так и не сказал мне ни слова.

Наверное, они все-таки действительно были пришельцами. Никогда и нигде я не выражал своего личного мнения по этому поводу. Выступая перед комиссиями, я всегда строго придерживался сухих фактов и того отчета, который представлял своему начальству. Но теперь я почти не сомневаюсь. Раз люди высадились на Марсе и Венере, почему бы не высадиться кому-нибудь и у нас, на Земле? И потом, просто невозможно придумать другую версию, которая объясняла бы все темные места этой истории. Но разве дело в том, что они были пришельцами? Я много думал об этом и теперь могу сказать: да, дело только в этом. Они, бедняги, попались как кур в ошип, и обойтись с ними так, как обошелся я, было, пожалуй, слишком жестоко. Наверное, все дело в том, что они прилетели не вовремя и встретились не с теми людьми, с которыми им следовало встретиться. Они встретились с гангстерами и с полицией. Ну ладно. А если бы они встретились с контрразведкой или с военными? Было бы им лучше? Вряд ли...

Совесьть у меня болит, вот в чем дело. Никогда со мной такого не было: все делал правильно, чист перед богом, законом и людьми, а совесьть болит. Иногда мне становится совсем плохо, и мне хочется найти кого-нибудь из них и просить, чтобы они простили меня. Мысль о том, что кто-то из них, может быть, еще бродит среди людей, замаскированный, неузнаваемый, мысль эта не дает мне покоя. Я даже вступил было в Общество имени Адама Адамского, и они вытянули из меня массу денег, прежде чем я понял, что все это только болтовня и что они никогда не помогут мне найти друзей Мозеса и Луарвика...

Да, они пришли к нам не вовремя. Мы не были готовы их встретить. Мы не готовы к этому и сейчас. Даже сейчас и даже я, тот самый человек, который все это пережил и передумал, снова столкнувшись с подобной ситуацией, прежде всего спрошу себя: а правду ли они говорят, не скрывают ли чего-нибудь, не таится ли в их

появлении какая-то огромная беда? Я-то старый человек, но у меня, видите ли, есть внучки...

Когда мне становится плохо, жена садится рядом и принимается утешать меня. Она говорит, что, если бы я даже не чинил препятствий Мозесу и всем им удалось бы уйти, это все равно привело бы к большой трагедии, потому что тогда гангстеры напали бы на отель и, вероятно, убили бы всех нас, оставшихся в доме. Все это совершенно правильно. Я сам научил ее говорить так, только теперь она уже забыла об этом, и ей кажется, что это ее собственная мысль. И все-таки от ее утешений мне становится немножечко легче. Но ненадолго. Только до тех пор, пока я не вспоминаю, что Симон Симонэ до самой своей смерти так и не сказал мне ни одного слова. Ведь мы не раз встречались с ним — и на суде Хинкуса, и на телевидении, и на заседаниях многих комиссий, и он так и не сказал мне ни одного слова. Ни одного слова. Ни одного.

1969 г.

Публикации

УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Повесть

- 1966 — в книге «Эллинский секрет» в Ленинграде были опубликованы главы 2, 4, 7, 8, 11 повести, то есть главы о Лесе
- 1968 — в журнале «Байкал», №№ 1, 2, главы 1, 3, 5, 6, 9, 10 — об Управлении по делам леса
- 1988 — в журнале «Смена», №№ 11—15
- 1989 — в книге «Волны гасят ветер», Ленинград
- 1990 — в книге «Волны гасят ветер», Ленинград, СП «СМАРТ»; в книге «Трудно быть богом; Улитка на склоне», «ДЭМ», Москва

ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН: ЗАПИСКИ ЗДРАВОМЫСЛЯЩЕГО

Повесть

- 1967 — в журнале «Байкал», № 1
- 1968 — в книге «Стажеры; Второе нашествие марсиан», Москва
- 1983 — в книге «Жук в муравейнике», Кишинев
- 1989 — в книге «Избранное», т. 2, Москва
- 1990 — в книге «Избранное»; в книге «Сочинения. Т. 2», Москва; в книге «Второе нашествие марсиан», Ленинград, СП «СМАРТ»

ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Повесть

- 1970 — в журнале «Юность», №№ 9 — 12
- 1982 — в книге «Отель «У Погибшего Альпиниста», Москва
- 1983 — в книге «Отель «У Погибшего Альпиниста», Москва
- 1989 — в книге «Посещение» из серии «Волшебный фонарь», «Текст»; в книге «Отель «У Погибшего Альпиниста»; «Пикник на обочине», «Текст», Москва

Составил А. Л. Керзин

Содержание

5 УЛИТКА НА СКЛОНЕ

Повесть

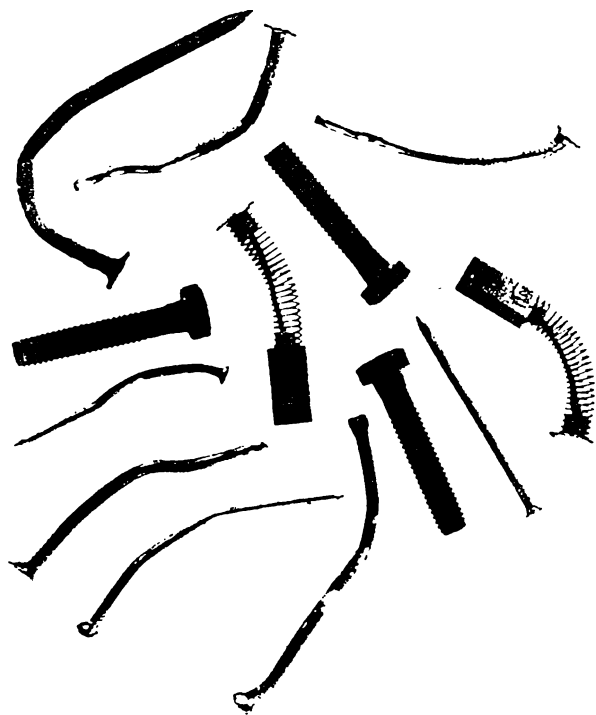
189 ВТОРОЕ НАШЕСТВИЕ МАРСИАН

Повесть

263 ОТЕЛЬ «У ПОГИБШЕГО АЛЬПИНИСТА»

Повесть

428 Публикации



Стругацкий А., Стругацкий Б.

С87 Улитка на склоне. Второе нашествие марсиан. Отель «У Погибшего Альпиниста»: Повести.— М.: «Текст», 1992. — 430 с.

4702010201-020

С _____ подп.

92

ISBN 5-85950-019-X

Аркадий Натанович Стругацкий
Борис Натанович Стругацкий

Улитка на склоне

Второе нашествие марсиан

Отель «У Погибшего Альпиниста»

Собрание сочинений, т. 5

Редактор Я. Л. Нагинская
Художественный редактор А. М. Драговой
Технический редактор Л. Е. Синенко
Корректоры Т. В. Калинина, Н. М. Пушина

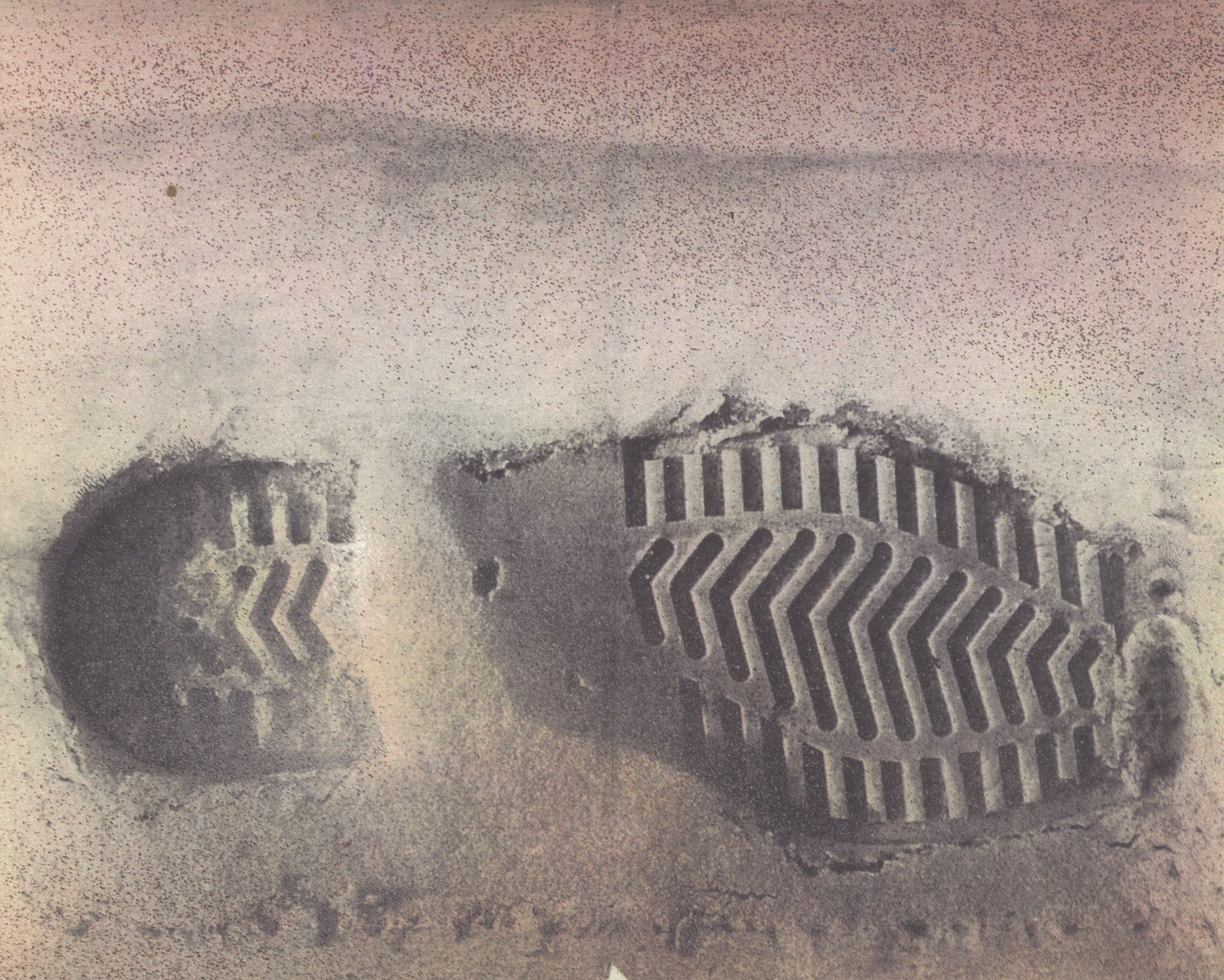
Сдано в набор 30.05.91. Подписано в печать 02.09.91.
Формат 84×108¹/₃₂. Бумага тип. № 2. Гарнитура «Таймс».
Печать высокая. Усл. печ. л. 22,68. Усл. кр.-отт. 23,94.
Уч.-изд. л. 24,82. Тираж 225 000 экз. Заказ № 7964. С 3.

Издательство «Текст»
125190, Москва, А-190, а/я 89
Редакционно-издательская фирма «РИФ»
Всесоюзного центра кино и телевидения
для детей и юношества
101000, Москва, Чистопрудный бульвар, 12-а

Набор и диапозитивы изготовлены
в типографии издательства «Новости»
Москва, ул. Ф. Энгельса, 46

Отпечатано с готовых диапозитивов
на ордена Трудового Красного Знамени
ПО «Детская книга» Мининформпечати РФ.
127018, Москва, Сущевский вал, 49

Отпечатано с фотополимерных форм «Целлофот»



Извне Путь на Амальтею Стажеры
Полдень, XXII век Далекая Радуга
Попытка к бегству
Трудно быть богом Хищные вещи века
Понедельник начинается в субботу
Сказка о Тройке

Улитка на склоне Второе нашествие марсиан

Отель «У Погибшего Альпиниста»

Обитаемый остров Мальш

Пикник на обочине Парень из преисподней

За миллиард лет до конца света

Повесть о дружбе и недружбе

Град обреченный Хромая судьба

Жук в муравейнике

Волны гасят ветер Отягощенные злом

